Чарлз Перси СНОУ

Портреты и размышления

Эссе. Интервью. Выступления.



Чарлз Перси СНОУ

МОСКВА ПРОГРЕСС

Портреты и размышления
Чарльз Перси Сноу

Аннотация
Чарлз Перси Сноу. Эссе. Интервью. Выступления
Хранитель мудрости
Портреты и размышления
  Портреты
    Величайший из романистов
    «Тихий Дон» — великий роман
    Ричард Олдингтон
    Творчество Троллопа
    Диккенс
    Генри Джеймс
    Г. Дж. Уэллс
    Роберт Фрост
    Эйнштейн
    Резерфорд
    Г. Г. Харди
    Дж. Д. Бернал
  Лекции и статьи
    Две культуры и научная революция
    Наука и государственная власть
    Воинствующая моральность науки
    Заметки о гуманизме

Что могут гуманисты?
О величии души
Возможности и надежды
Такова жизнь романа
Интервью
Говорить правду
Именной указатель

Аннотация

Чарлз Перси Сноу (1905–1980) — один из крупнейших английских писателей-реалистов XX века, видный общественный и государственный деятель, ученый-физик — знаком нашему читателю по романам «Наставники», «Коридоры власти», «Смерть под парусом» и др.

Менее известно публицистическое наследие Ч. П. Сноу. В сборник включены статьи и выступления в защиту мира, его знаменитая лекция «Две культуры», очерки о выдающихся писателях XIX и XX вв., эссе по проблемам науки и культуры.

Чарлз Перси Сноу
Эссе. Интервью. Выступления

Хранитель мудрости

Мало кто из писателей, с кем мне доводилось встречаться, оказывался столь похожим на свою прозу и публицистику, как Чарлз Перси Сноу.

И от его массивной, слегка флегматичной фигуры, и от его творчества веяло солидностью, основательностью, полным пренебрежением к требованиям переменчивой моды. Своей внешней сдержанностью, немногословностью он напоминал вулкан, внутри которого постоянно кипела работа мысли, — вулкан, всегда готовый к извержению продуманных суждений и точных наблюдений, что сопровождалось порой гулкими раскатами добродушного смеха.

Знаменитая английская ироничность часто окрашивала его манеру беседы, да и стиль произведений. Вот, скажем, одна только фраза из романа «Наставники», характеризующая леди Мюриэл, супругу умирающего ректора: «Под ледяной самоуверенностью она скрывала — даже от своих близких — тоску по сердечной теплоте в отношениях с людьми». Ничего подобного нельзя было заметить в самом Сноу. Держался он неиз-

менно с достоинством, но отнюдь не чопорно, даже став лордом. И насколько тверд бывал в отстаивании своих взглядов в ходе разгоравшихся полемик, настолько мягок, доброжелателен в повседневном обхождении с людьми.

По первому впечатлению общение с ним, как и чтение его книг, представлялось делом простым. Однако и то и другое требовало изрядной внутренней мобилизации, ибо Сноу обладал редкостным умением вовлекать своего читателя или собеседника в круг занимавших его проблем, заставлять серьезно задуматься над ними.

Трудно было не попасть под обаяние этой привлекательной личности. У него был крутой лоб мыслителя, большие руки хирурга и зоркий взгляд художника. Проницательные голубые глаза, казавшиеся чуть усталыми, увеличивались толстыми стеклами очков и становились от этого еще выразительнее. По свидетельству друзей и близких, он рано начал выглядеть старше своего возраста, и тут не помогло увлечение спортом, особенно присущее ему в юности.

Чарлз Перси Сноу родился 15 октября 1905 года в Лестере, небольшом городе Средней Англии, и был вторым из четырех сыновей мелкого служащего, который ради денег работал на обувной

фабрике, а для души играл на органе и даже состоял членом «Королевского общества органистов», чем несказанно гордилась вся семья.

Уже в школе проявились великолепные способности Сноу, в том числе его феноменальная память, не раз повергавшая в изумление как учителей, так и однокашников. Он стал единственным из выпуска, кому удалось прямо после школы поступить в Лестерский университетский колледж. О целеустремленности и редкой работоспособности свидетельствует его стремительное продвижение по научной лестнице: в 1927 году Лондонский университет присуждает ему степень бакалавра, а в следующем году — магистра. Докторат Сноу получает в 1930 году уже в элитарном Кембридже, где представилась возможность довершить образование благодаря выделенной ему за успехи персональной стипендии и где он был оставлен для продолжения научной работы.

Специализировался тогда Сноу в области молекулярной физики. Опыты по инфракрасной спектроскопии он ставил в Кавендишской лаборатории, которой руководил прославленный Эрнест Резерфорд. Результаты своих исследований Сноу обобщил в нескольких публикациях, привлекших внимание коллег и выдвинувших

его среди молодых физиков. Занимался также разработкой технологии искусственного производства витаминов.

Профессиональные знания Чарлза Перси Сноу и его незаурядные организаторские способности весьма пригодились в годы второй мировой войны, когда в качестве эксперта министерства труда по использованию научных кадров в военных целях он активно содействовал созданию радарных установок, а также новых видов вооружения. Внесший таким образом свою лепту в разгром гитлеровской Германии, Сноу был убежденным антифашистом и очень гордился тем, что — как выяснилось впоследствии — его имя значилось в «черном списке» врагов рейха, составленном гестапо.

Еще в разгар войны Сноу награждают орденом Британской империи. За заслуги перед государством в 1957 году его возводят в дворянское достоинство, а в 1964 году ему был пожалован титул пэра Англии; тогда же он дал согласие занять пост заместителя министра технологии в лейбористском правительстве Гарольда Вильсона, но через полтора года испросил отставку.

Выдающиеся дарования Чарлза Перси Сноу открывали перед ним блистательные перспек-

тивы научной или государственной карьеры. Но существенно обогатив в университетских стенах и «коридорах власти»[1] свой жизненный опыт, давший многое ему как художнику, он сознательно отказался и от той и от другой возможности во имя своего главного призвания — литературы.

Пробовать силы на этом поприще Сноу начал довольно рано. Еще в 20-е годы, учась в Лестере, он пишет роман «Искания юности», который счел, однако, слабым и не достойным увидеть свет. Спустя несколько лет, уже в Кембридже, молодой ученый сочиняет пьесу «Предстоящие ночи» (к драматургии он не раз обращается и позже, особенно в начале 50-х годов, но она не находилась в центре его творческих интересов).

Первой напечатанной книгой писателя стала «Смерть под парусом» (1932). Это самый настоящий детектив, однако, при соблюдении всех канонов жанра, здесь уже явственно проступает тот углубленный интерес к социальным и психологическим проблемам, который обусловил успех зрелых произведений Сноу. Любопытно, что в его дебюте многое свидетельствует об увлеченности автора художественной литературой

[1] Примечания: 1.1

Это выражение, ставшее крылатым, придумал и пустил в обиход Ч. П. Сноу.

(проявляющейся прежде всего в высказываниях сыщика-любителя Финбоу, который называет имена многих писателей, восхищается «Вишневым садом», рассуждает о критике и английском романе XIX века, иронизирует над сержантом Берреллом, начитавшимся Дороти Сайерс и Ван Дайна), но мало что указывает на род его основных занятий. Зато два следующих романа — опубликованный анонимно и никогда больше не переиздававшийся «Новые жизни за старые» (1933) и «Поиски» (1934) — отражали близкое знакомство Сноу с профессиональной средой ученых.

«Новые жизни за старые», казалось бы, можно отнести к научной фантастике. Но «доза» ее в произведении минимальна, она исчерпывается тем, что действие книги перенесено на несколько десятилетий вперед и двум ее героям волею автора дано найти вожделенный гормон омоложения, о котором издавна мечтало человечество. В отличие от легендарного «эликсира молодости» средневековых алхимиков или чапековского «средства Макропулоса» сей гормон продлевает жизнь не на столетия, а «всего лишь» на тридцать лет, однако этого оказывается достаточно, чтобы вокруг сенсационного открытия разго-

релась острейшая сословная и политическая борьба. В романе Сноу чудодейственный гормон становится как бы катализатором, до предела обостряющим противоречия между отдельными людьми, группировками и классами буржуазного общества, — показ этих противоречий — иногда в гротескной форме — составляет, по сути, основу произведения. В нем еще в большей степени, чем в «Смерти под парусом», намечены главные конфликты и вопросы, которые волновали Сноу всю жизнь и которые нашли позже воплощение в его романах и статьях — в частности, вопрос о моральной ответственности ученых за судьбу своих изобретений.

Этика в сфере науки — центральная проблема «Поисков». В одном из эссе тридцатых годов Сноу писал: «Чтобы наука смогла сыграть свою роль в нашей культуре, мы должны научиться понимать, какого рода духовное удовлетворение она способна нам дать… Настало время понять, что наукой можно наслаждаться, а также и разобраться в природе этого наслаждения». Именно такую попытку — разобраться в природе «наслаждения наукой» — предпринял писатель в «Поисках», где выведен ученый-физик Артур Майлз и поведано о тех радостях и муках, которые

испытывает человек в процессе проникновения в тайны мироздания.

Выдающийся польский физик Леопольд Инфельд отметил в автобиографии, что Сноу «ввел в роман новый мир, мир науки, мир подлинный, который он познал собственной жизнью, собственным опытом». В мире науки разыгрывается действие и ряда других произведений писателя (взять хотя бы роман «Новые люди», 1954). Приглашение читателя в этот мир не только открывало заманчивые перспективы, но и сопряжено было с определенными трудностями, на которые указывал сам Сноу: «Например, я не мог рассчитывать на ту осведомленность читателя в затронутой мною области, на какую обычно рассчитывает писатель. Когда описываешь любовь, счастливую или несчастную, или то, как взрослеют твои дети, или старания получить лучшую работу, или даже борьбу за власть и влияние в маленьком мирке какого-нибудь университета или учреждения, можно полагать, что большинство твоих читателей по собственному опыту знакомо с тем, о чем ты пишешь. Но у них не возникнет такой прямой ассоциации, — у них вообще не возникнет никакой ассоциации, — если писать о мыслях, ошибках, правильных и неправильных

решениях, которые привели к созданию ядерного реактора».

Роман «Поиски» своей достоверностью заслужил одобрение такого авторитета, как Резерфорд, а своими художественными достоинствами — таких строгих ценителей, как Ричард Олдингтон и Герберт Уэллс, которые захотели лично познакомиться со столь успешно начинающим прозаиком. Теперь Чарлз Перси Сноу вплотную подошел к порогу большой литературы. Он одинаково свободно чувствовал себя в мире формул и в мире образов, но необходимо было делать выбор, и магнетическое притяжение искусства слова оказалось сильнее. Отныне он навсегда избирает для себя путь писателя, и лишь патриотический, общественный долг заставлял его на какие-то периоды отклоняться от этого пути.

Благодаря собственному признанию Сноу, точно 1 января 1935 года датируется зарождение замысла, приведшего к возникновению наиболее монументального творения его жизни — одиннадцатитомного эпического цикла «Чужие и братья» (1940–1970). По своей грандиозности этот замысел сопоставим с идеей создания «Человеческой комедии» Бальзака, серии «Ругон-Маккары» Золя, «Саги о Форсайтах» Голсуорси, «Семьи Ти-

бо» Мартена дю Гара и фолкнеровской хроники Йокнапатофы. На протяжении трех десятилетий возводилось внушительное строение, на фасаде которого теперь начертано: «Чужие и братья». Его внешние контуры и внутренняя планировка хранились до поры до времени лишь в голове зодчего, тогда как отдельные и имеющие самостоятельное значение секции, предназначенные для сооружения и оказавшиеся потом плотно пригнанными друг к другу, были сработаны даже не в строгой хронологической последовательности повествования.

Только в 1972 году 11-этажное здание, сложенное из полутора миллионов слов-кирпичиков, открылось для публичного осмотра как единое целое, когда весь цикл вышел полностью тремя объемистыми томами в заново отредактированном виде. Около двухсот персонажей составляют население этого просторного здания — люди политики, люди науки и люди искусства, представители аристократии и буржуазии, министры и клерки, промышленные магнаты и банкиры, врачи и юристы, их жены и любовницы, сыновья и дочери. То, что происходит в разные годы и на разных этажах романа-дома, мы получаем возможность видеть благодаря Льюису Элиоту

— герою-рассказчику, который единственный фигурирует во всех без исключения частях цикла и которого Сноу наделил некоторыми автобиографическими чертами. Одни части цикла посвящены собственным переживаниям Элиота по поводу событий, происходящих в мире или в том мирке, в который он оказывается погружен; в других своеобразный alter ego автора выступает в качестве стороннего или заинтересованного наблюдателя. Разумеется, не все английское общество оказывается в поле зрения Элиота: он преимущественно вращается в его «верхних» слоях. Но уж эти слои Сноу подвергает тщательному «спектральному анализу», привлекая на помощь не только талант беллетриста, но также методичность и навыки ученого.

«Полностью изобразить человека как члена общества может только искусство, и другого средства для этого у нас нет, — заявлял Сноу. — Я даже пойду дальше: я считаю, что, воспроизводя данное общество в его социальной функции, реалистический роман по-прежнему может открыть нам более глубокие истины о нем, чем всяческие нолунаучные формулировки, которые придумываются в настоящее время. Западные страны, и особенно Соединенные Штаты, тратят много

усилий на социологию. Кое-что в ней ценно. Мне, однако, приходится читать немало книг по социологии, и я невольно вспоминаю замечание Энгельса, который сказал примерно следующее: если вы хотите понять Францию посленаполеоновской эпохи, вам следует читать не ученые труды, а романы Бальзака. Писателю-реалисту эти слова, остающиеся справедливыми и по сей день, могут послужить большим утешением. Я льщу себя надеждой, что, если кто-нибудь в будущем захочет узнать, как жила интеллигентская и чиновничья Англия в период 1914–1960-х годов, мои романы могут послужить ему полезным руководством».

Рисуя панораму жизни в хорошо известных ему сферах английского общества, Сноу как реалист сумел запечатлеть те видоизменения, которые, при всем консерватизме этих сфер, не могли не произойти в XX веке под влиянием движения времени в эпоху мировых войн и развития революционного, национально-освободительного движения, приведшего к краху колониальной системы и распаду Британской империи, утрате ею былого могущества. Он сумел отразить многие противоречия, типичные для современного мира капитализма, и то, как такие противоречия

сказываются на психике людей. По верному наблюдению английского критика Джерома Тейла, писатель исследует, как характер проявляется в общественной жизни и как воздействуют социальные факторы на формирование характера. Что касается смысла названия, избранного автором для своего обширного полотна, то вот как раскрывает его известный английский литературовед Уолтер Аллен: «Ключ к философии Сноу содержится уже в названии его цикла — „Чужие и братья“. Все люди — братья, ибо другого выбора у них нет — общество, да и сама жизнь невозможна без взаимного человеческого участия. Но, оставаясь братьями, люди не могут не быть и чужими друг для друга, иначе они не были бы людьми… Во всех романах Сноу нам открывается непритязательная широта писателя, сознающего все необозримое многообразие проявлений и капризов человеческой природы… Мытарства „отдельного“ человека, увиденные Сноу во всей своей реальности, служат тем решающим фоном, на котором мы целиком принимаем и его „общественного человека“».

Автор «Чужих и братьев» в самом деле старался передать многообразие проявлений человеческой природы и многообразие мотивов, которые

движут людьми, — от любви возвышающей и приносящей счастье до страсти пагубной, эгоистичной, от готовности пожертвовать чем угодно ради ближнего, «брата», до решимости сокрушить всех «чужих», стоящих на пути к намеченной цели.

О напряженном внимании, с которым всматривался Чарлз Перси Сноу в менявшуюся у него на глазах действительность, свидетельствуют также и три романа, выпущенные им уже после завершения цикла: «Недовольные» (1972), «Хранители мудрости» (1974) и «Слой лака» (1978).

Первый из них посвящен группе «рассерженной» молодежи, чей левацкий бунт против социальной несправедливости в буржуазном обществе терпит крах. Во втором писатель чутко отреагировал на ухудшающийся моральный климат и болезненные явления в социально-экономической жизни Великобритании начала семидесятых годов, повергающие в уныние почтенных и немного идеалистически настроенных «хранителей мудрости» — таких, как лорды Райл, Хилмортон и Сэджвик, в речах которых то и дело проскальзывает ностальгия по «старой доброй Англии». Их приводит в ужас натиск алчных и циничных людей вроде Джулиана Андервуда, да

и не может радовать все более увеличивающийся «вес» в обществе, возрастающая роль в определении судеб нации тщеславных и своенравных богачей типа Реджинальда Суоффилда. «Бешеные деньги» оказывают разлагающее влияние и на механизм власти в стране, включая правосудие, и на общественный организм, не говоря уже об отдельных личностях. Это влияние с такой же тщательностью анатомирует Сноу в «Хранителях мудрости», с какой описал он там сложнейшую хирургическую операцию, которой подвергается лорд Сэджвик. Эпизод с операцией звучит в многоплановом романе не просто гимном медицине, так же, как со страниц «Поисков» звучал гимн науке, — и то и другое отражало всегдашнюю оптимистическую веру Сноу в возможность торжества человеческого разума.

Любопытно, что своего рода «обрамлением» художественного наследия писателя стал детектив. С этого жанра маститый эпик начал свой творческий путь и к нему вернулся спустя почти полвека. Вернулся, конечно, на ином уровне, ибо последняя опубликованная им книга «Слой лака» затрагивает ничуть не менее важную проблематику, чем его «серьезные» романы. Детективный сюжет позволил автору рассказать

о поведении людей в экстремальной ситуации, когда полностью раскрывается их внутренний облик. Весьма тонок оказывается «слой лака», придающий оттенок респектабельности обитателям аристократического лондонского квартала, где совершено злодейское убийство престарелой леди Эшбрук. Чудовищность убийства подчеркивается тем обстоятельством, что оно внешне не мотивировано и совершает его, как выясняется, не новоявленный Раскольников, а преуспевающий доктор Перримен, пациенткой которого состояла жертва и который за недостатком улик остается на свободе. Но читательский «суд присяжных» Сноу подводит к суровому приговору не только по отношению к врачу-убийце, но и по отношению к той снобистской среде, где произошло преступление.

Кстати, во время нашей беседы, протекавшей в лондонской квартире писателя на Итон-Террас всего за два с половиной месяца до его кончины, он поделился планом нового задуманного романа, в который опять собирался внедрить элемент детектива и радостью работы над которым ему не суждено было насладиться. Мне не доводилось встречать упоминания в печати об этом замысле сэра Чарлза, и потому считаю

необходимым рассказать о нем. Название для произведения было уже придумано — «Высшее божество», и действовать там должны были Хамфри Ли и Фрэнк Брайерс, знакомые читателю по «Слою лака». Но на сей раз Сноу задумал не просто криминальный роман, а острый политический детектив. Он находился под впечатлением истории похищения и гибели Альдо Моро и решил воссоздать подобную ситуацию в своей книге. Его привлекали психологические и моральные аспекты такой книги, возможность воспроизвести размышления человека, захваченного террористами, а также действия и соображения тех, от кого зависит его судьба. Идея романа возникла у писателя на основе раздумий над различными, в том числе экстремистскими, формами политической борьбы современности. И он задавался вопросом, на какие шаги люди имеют право пойти ради «высшего божества» и на какие — нет.

Творчество Чарлза Перси Сноу насквозь социально. Общественную роль писателя он видел прежде всего в том, чтобы говорить правду, помогать людям лучше понять себя и мир, способствовать совершенствованию человеческих отношений. Поэтому его книги наполнены глубоким социальным содержанием, которое

органично входит в их плоть, более того — составляет их основу.

Сноу не раз упрекали за излишнюю «сухость» и «архаичность» слога. Однако на деле стиль его сравним, пожалуй, с добротным английским костюмом, который всегда элегантен и всегда удобен, хотя может и не понравиться тем, кто меняет свои вкусы соответственно новейшему выпуску журнала мод. Скупыми средствами Сноу умел поведать многое. Лаконизм его языка, подчиняющийся динамичному ритму прозы, передает богатство смысловых и эмоциональных оттенков, доносит драматизм или комизм ситуации, позволяет лепить запоминающиеся образы и легко вводить читателя в атмосферу повествования.

С первых шагов в литературе Чарлз Перси Сноу выступил как убежденный сторонник реализма и до конца сохранил верность этому знамени. «В эпоху литературных бурь, когда под всевозможными флагами шло наступление на великое гуманистическое наследие классического реализма, творчество Ч. Сноу утверждало неувядание великой традиции целостного восприятия мира и человека. Проза Ч. Сноу — это своеобразная, по-английски сдержанная интеллектуальная

эпика», — писал об авторе «Чужих и братьев» литовский прозаик Миколас Слуцкис.

Проводя резкую грань между реализмом и натурализмом, который он отвергал, Сноу опирался в первую очередь на опыт английских классиков XIX века: Диккенса, Теккерея, Троллопа. Особенно близок ему по духу оказался Энтони Троллоп (1815–1882), вдохновенный бытописатель викторианской эпохи, обстоятельный литературный портрет которого Сноу издал в 1975 году, ознаменовав таким образом свое 70-летие.

«Читал Тролопа, хорошо… Тролоп убивает меня своим мастерством. Утешаюсь, что у него свое, а у меня свое. Знать свое — или, скорее, что *не мое*, — вот главное искусство…» — заносил в 1865 году в дневник Лев Толстой, включивший четверть века спустя романы своего английского современника в число сочинений, произведших на него большое впечатление. Что касается Сноу, то он не просто возводил к Троллопу свою литературную родословную, а буквально боготворил его и, не опасаясь возможных обвинений в преувеличениях, восторгался «той особой проникновенностью, той удивительной способностью к сопереживанию, которые делают его, пожалуй, самым тонким прирожденным психологом среди всех

романистов XIX века». Для Сноу дороги все факты биографии Троллопа (даже то, что он работал в почтовом ведомстве) — вот почему в книге он на основании архивных источников отстаивал его приоритет на изобретение и внедрение почтовых ящиков. Но еще важнее для автора «Чужих и братьев» было разобраться в уроках писательского мастерства создателя «Барчестерских башен», и этому он посвятил две специальные главы своей монографии.

Учился Сноу не только у отечественных корифеев литературы. Немало дали ему французы, прежде всего Бальзак и Стендаль. Но особенно много почерпнул он из знакомства с достижениями русской словесности. «Русские и французские романисты влияли на развитие нашей литературы не менее, чем английские. Толстой и Достоевский, даже в переводах, были так же близки образованному читателю, как Диккенс; за ними шли Тургенев и Чехов, а Гончаров, Гоголь, Лесков и Горький были знакомы большинству английских писателей, даже если и не пользовались широкой известностью».

Через три года после «Троллопа» Сноу опубликовал книгу «Реалисты», в которую он объединил очерки о восьми «китах», на которых держится,

по его мнению, слава европейского реалистического романа: это Стендаль, Бальзак, Диккенс, Достоевский, Толстой, Гальдос, Генри Джеймс, Пруст. Разумеется, при отборе имен сказались личные пристрастия Сноу, на которые он, как большой художник, бесспорно, имел право. Показательно включение в этот перечень Толстого и Достоевского. Преклоняясь перед гением творца «Братьев Карамазовых», Сноу тем не менее был непоколебим в убеждении, что именно «Толстой — величайший из романистов, а „Война и мир“ — лучший из написанных по сей день романов».

Он был тверд также в убеждении, что реалистический роман — самая сложная и наиболее плодотворная форма, известная до сих пор литературе. Автор «Чужих и братьев» не прошел мимо новаций, принесенных в искусство XX веком: кое-что он и сам взял на вооружение, отнюдь не будучи слепым эпигоном старых мастеров, но некоторые приемы отверг категорически, расценив их как убийственные для литературы, заводящие в тупик. Доказывая огромную жизнеспособность романа как жанра, в то время как на Западе ему предсказывали скорую гибель, Сноу поднялся на борьбу с эстетством, словесным трюкачеством, разрушительными экспериментами

подражателей Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф. Признавая новаторство этих художников в технике письма, он показывал бесплодность следования их примеру. Его полемика с модернизмом в 50-е годы имела широкий резонанс. Животворные принципы реалистического искусства Сноу утверждал не только в своих романах, но и в многочисленных публицистических выступлениях.

Литературно-критической, журналистской деятельности, публичным лекциям Сноу всегда придавал большое значение. Он ценил их за возможность оперативно и открыто заявить о своих взглядах на те или иные события, явления общественно-политической и культурной жизни.

Его первые строки, адресованные читателям, появились еще в лестерской школьной газете, — то была заметка о причинах неудач крикетной команды. В Кембридже в 1938–1940 годах доктор Сноу с увлечением редактировал научно-популярный журнал «Дискавери» («Открытие»), к сотрудничеству в котором ему удалось привлечь даже Ричарда Олдингтона. С автором «Смерти героя» у него сложились к тому времени дружеские отношения, что проявилось и в написанном им очерке «Ричард Олдингтон: попытка оценки»

(1938), изданном отдельной брошюрой. В 1949–1952 годах Чарлз Перк и Сноу был постоянным рецензентом еженедельника «Санди таймс», а с 1970 года до самой смерти его содержательные эссе регулярно появлялись на литературной странице газеты «Файнзншл таймс». Свыше 500 статей было в общей сложности опубликовано им в английской и американской прессе. Авторитетное мнение Сноу оказывало влияние на умонастроения читателей, пробуждало у них интерес к социально значимой литературе.

Нетрудно заметить соотнесенность ряда тезисов, высказывавшихся писателем в публицистике, с идейно-художественным строем его романов. Так, обнаруживается несомненная внутренняя общность между его беллетристикой и нашумевшей лекцией «Две культуры и научная революция», прочитанной им в Кембриджском университете в мае 1959 года и тогда же напечатанной. Он обратил в ней внимание на все более усиливающийся раскол в буржуазном обществе между гуманитарной и естественнонаучной культурами, которые превратились в две удаляющиеся друг от друга галактики, и бил тревогу по поводу того, что стена непонимания растет между художественной интеллигенцией и учеными.

Сноу считал, что равнодушие ученых к искусству чревато опасностью как в социальном, так и в культурном отношении, а равнодушие работников искусства к науке таит в себе еще большую опасность. Не будучи марксистом, он, однако, сознавал, что те проблемы, которые неумолимо ставит перед всем человечеством эпоха НТР, приобретают особенную остроту в странах Запада из-за классовой структуры капиталистического общества, а в Англии еще и усугубляются специфическим снобизмом.

Отклики на лекцию о двух культурах раздались в разных уголках земного шара; она была переведена на многие языки, и вокруг затронутых в ней вопросов разгорелась жаркая дискуссия — это само по себе доказывает, что Сноу нащупал здесь болевую точку современности.

Его наиболее яростным оппонентом выступил литературовед Фрэнк Рэймонд Ливис, который набросился, как отмечалось в газете «Дейли уоркер», не столько на самого Сноу, сколько на какого-то придуманного «сноуподобного монстра», якобы ополчившегося на гуманитариев. Их полемика растянулась на несколько лет. На выдвигавшиеся против него обвинения Сноу ответил статьями «Две культуры: новый взгляд»

(1963) и «Случай Ливиса и серьезный случай» (1970), где уточнял свою позицию, отводя демагогические доводы «в защиту традиционной культуры».

Избрав для себя поприще литературы и самоотверженно служа ей, автор «Чужих и братьев» вместе с тем видел знамение времени в том, что в господствующую интеллектуальную силу нашей эпохи превратилась наука. Поэтому он придавал такое значение перестройке системы английского образования, призывая учитывать опыт СССР в данной области. Поэтому он указывал на необходимость взаимного сближения ученых и писателей. Поэтому он настаивал на том, чтобы в странах Запада люди, имеющие естественное и техническое образование, активнее участвовали в общественной жизни и государственном управлении, и решительно отвергал концепцию этической нейтральности науки. Озабоченность Сноу этими вопросами проступает и в его художественном творчестве. Он не хотел допустить, чтобы — как на офорте у Гойи — «Сон разума» (так назван один из романов цикла) породил чудовищ.

Сноу особенно тревожила отчужденность «двух культур» потому, что сам он, свободно ориенти-

руясь и в той и в другой области, воспринимал культуру нераздельно. Показательно, что в его книге «Многообразие людей» (1967) под одной обложкой собраны очерки о выдающихся людях науки, людях литературы и людях политики. Эти три сферы он рассматривал не изолированно, а как взаимопроникающие друг в друга. Посмертно, в 1981 году вышла документально-биографическая книга Сноу «Физики» — об ученых, которых он знал в молодости лично и чьи имена окружены теперь легендами. Книга имеет подзаголовок: «Поколение, которое изменило мир».

Напрасны были попытки представить его иногда этаким высокомерным технократом и «сциентистом». Да, он был убежден в необходимости того, чтобы работники искусства имели представление о природе и нынешнем состоянии науки, дабы она не внушала им страха и расширяла их горизонт. Но одновременно он утверждал, что ученые жестоко обкрадывают себя, пренебрегая художественной культурой, что от этого страдает их образное мышление. И когда заходила речь, скажем, о кибернетике и раздавались голоса, уверявшие, будто в скором времени она заменит собой искусство, раскрыв

всю истину о человеке, Сноу прямо называл это глубоким заблуждением: «Ведь, насколько можно заглянуть в будущее, именно писатель будет находить ту истину, которую нельзя обнаружить другим путем и в которой так остро нуждается все человечество».

Умевший мыслить по-настоящему широко и непредвзято, Чарлз Перси Сноу стремился преодолевать рамки профессиональной, национальной, сословной и политической ограниченности человека буржуазного общества. Он принимал близко к сердцу проблему богатых и бедных — причем применительно не только к отдельным людям, но и в масштабе целых стран, регионов; протестовал против расовой дискриминации.

Подобно Роджеру Куэйфу, герою романа «Коридоры власти», он призывал трезво оценить, «во что превратилась наша планета с тех пор, как жизнь проходит под знаком бомбы». Знавший не понаслышке, что такое атомная энергия и к каким катастрофическим последствиям может привести человечество термоядерная война, Сноу принимал активное участие в движении сторонников мира, и не случайным было его присутствие в 1977 году на первой Софийской международной встрече писателей, проходив-

шей под девизом «Мир — надежда планеты». В условиях обострявшейся политической конфронтации двух систем он последовательно выступал за конструктивный диалог между Западом и Востоком, за расширение международных культурных контактов, в чем видел путь к преодолению существующих противоречий и предрассудков.

В своей многогранной деятельности Чарлз Перси Сноу опирался на богатейшие традиции философии гуманизма. При этом он сделал однажды ценное признание от имени прогрессивно настроенной западной интеллигенции: «...Люди доброй воли солидарны с тем пониманием гуманизма, которое утвердилось в советском строе мышления, — для них это понятие означает уважение к человеку и веру в его будущее... Уважение к человеческому достоинству и вера в человека — это, несомненно, и есть гуманность. И если мы хотим, чтобы XXI век оказался лучше, чем наш, или хотя бы был просто спокойным веком, нам необходимо научиться ценить таким образом понятую гуманность лучше, чем мы способны были ценить ее в нашем разделенном мире».

Сноу был другом нашей страны, куда он неод-

нократно приезжал вместе со своей супругой, известной писательницей Памелой Хэнсфорд Джонсон. «Чарлз всегда возвращался полным воодушевления из России; он усердно пытался впитать русский язык в достаточной мере для того, чтобы иметь возможность читать газеты и перемолвиться парой слов с людьми. Конечно, русские открыли ему свои сердца, — засвидетельствовал в книге о своем знаменитом брате Филип Сноу. — …Его восхищение ими в годы войны было безгранично. Он считал, что они спасли мир от фашизма своим невиданным героизмом, и полагал, что союзники должны были попытаться открыть второй фронт в Европе годом раньше… Он стремился также понять Россию, когда мало кто мог или хотел понять ее, с целью перебросить мост через все более расширявшуюся пропасть между Россией и Америкой».

Чарлз Перси Сноу действительно воздавал должное решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма, с болью и уважением говорил о тех колоссальных жертвах, которые были принесены нашим народом на алтарь Великой Победы; признавал лидирующее во многих отношениях положение СССР в современном мире; внимательно следил за ходом социалистическо-

го строительства у нас, радовался завоеваниям советской культуры и науки. На полет Гагарина в космос он откликнулся с присущей ему широтой обобщений: «Это достижение, подобно всем великим достижениям людей — будь то творчество Шекспира или Толстого, или работы Резерфорда и Павлова, — принадлежит всему человечеству».

Немало сделал Сноу для ознакомления Запада с советской литературой. В 1943 году он подготовил брошюру «Писатели и читатели в Советском Союзе», где дал британцам краткий обзор развития советской прозы, поэзии и драматургии за четверть века, особо остановившись на произведениях и репортажах военного времени. Позже вместе с П. Х. Джонсон составил небольшую антологию советского рассказа; писал рецензии на книги советских писателей и рекомендовал их для перевода английским издателям.

Не только по книгам, но и лично Сноу знал многих советских писателей. Особенно дорожил он близким знакомством с Михаилом Шолоховым и сыграл определенную роль в присуждении создателю «Тихого Дона» Нобелевской премии, направив в Нобелевский комитет совместное с Памелой Хэнсфорд Джонсон письмо, где подчеркивалось, что «произведения Шолохова обладают

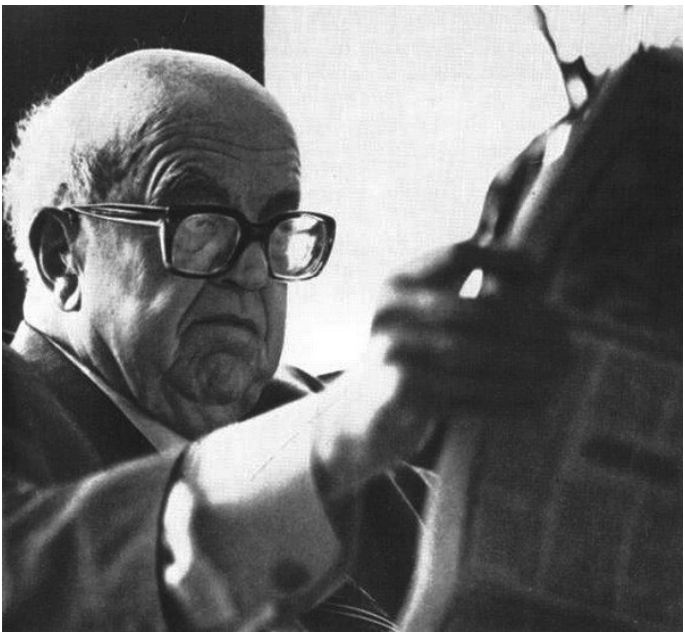
большой и непреходящей ценностью», что «Тихий Дон» — реалистический эпос, достойный сравнения с «Войной и миром».

В конце нашей последней беседы (запись которой была опубликована в «Литературной газете», 1980, № 29) Сноу сказал: «В какой-то степени я люблю Россию как русский. У меня просто страсть к русской литературе как досоветского периода, так и советского. Моя любовь к России и русской литературе сохранится до тех пор, пока я жив…»

Вскоре после этого, 1 июля 1980 года, Сноу не стало. Тем большую значимость приобрели проникновенные слова признания в адрес нашей страны и творцов русской литературы со стороны одного из крупнейших зарубежных писателей XX века.

За не скрывавшуюся им симпатию к Советскому Союзу Чарлза Перси Сноу язвительно именовали иногда в Англии и США «красным лордом». Но он не был ни «красным», ни даже «розовым». Просто он был твердым поборником реализма как в искусстве, так и в политике. И честно старался разобраться в том, что происходит в этом сложном мире, искренне хотел, чтобы людям в нем жилось спокойнее, счастливее и они не были бы «чужими» друг другу.

Святослав Игоревич Бэлза



Ч. П. Сноу.



Сноу в 1957 г.

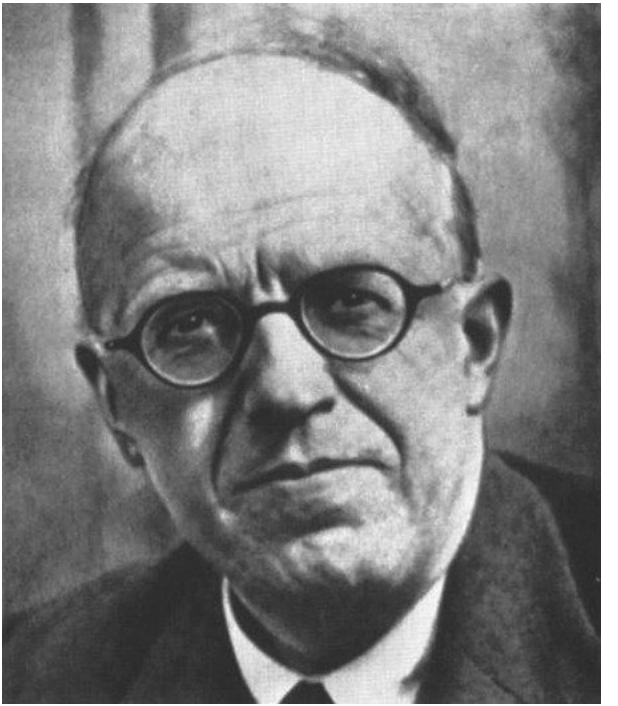


Дом в Лестере, где родился Ч. П. Сноу.

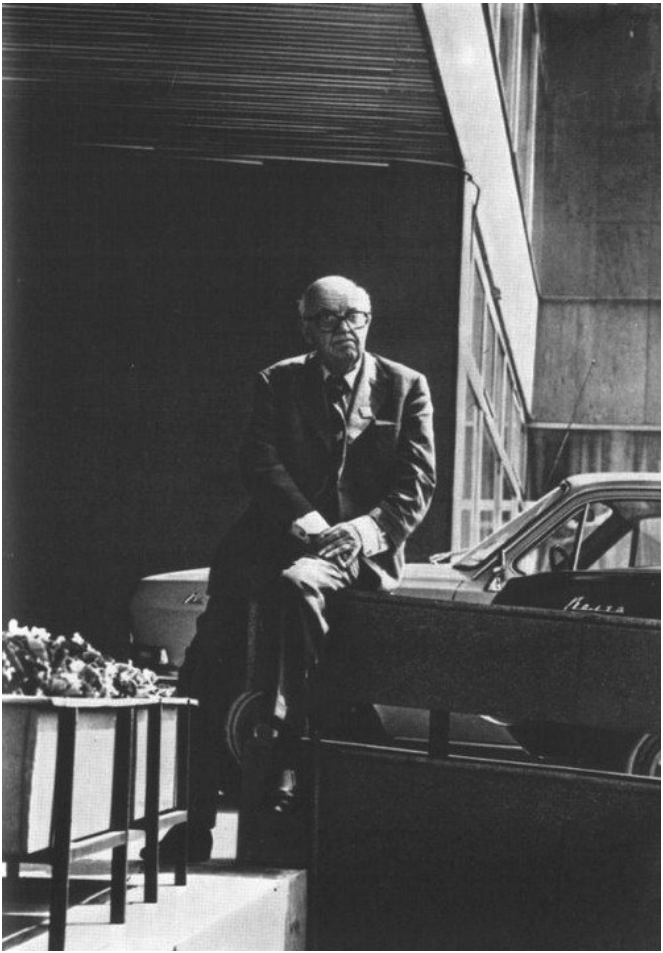


«Почетный казак». 1963 г.

Ч. П. Сноу и М. Шолохов после получения Сноу почетного доктората Ростовского университета.



Ч. П. Сноу. 1954 г.



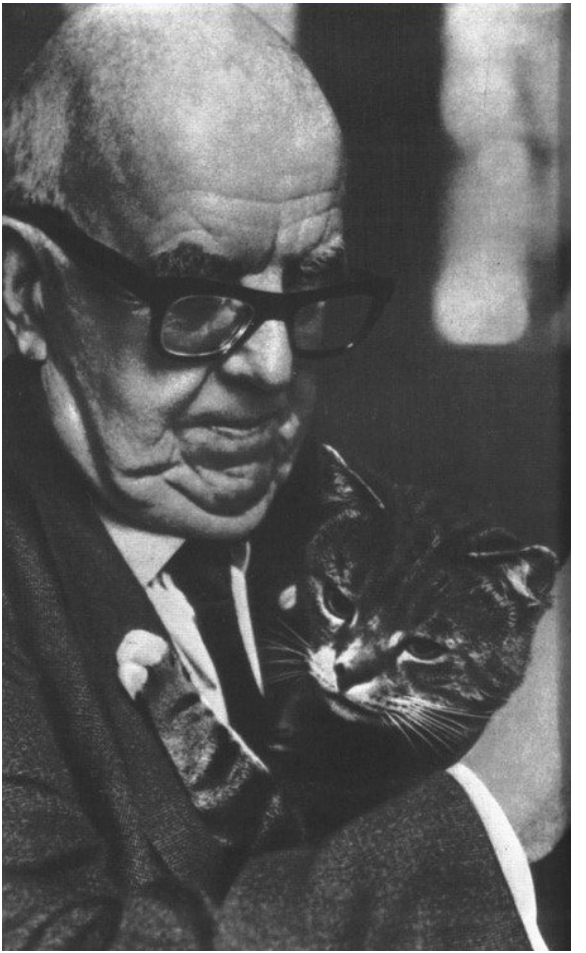
Сноу во время софийской встречи писателей. 1977 г.



Ч. П. Сноу и А. Вознесенский.



За чтением «Литературной газеты».



«...В своих романах я стремился рассказать всю правду, которую наблюдатель может подметить и описать. А в своих речах и выступлениях я старался высказать то, что нужно сделать.

Люди доброй воли солидарны с тем пониманием гуманизма, которое утвердилось в советском строе мышления, — для них это понятие означает уважение к человеку и веру в его будущее... И если мы хотим, чтобы XXI век оказался лучше, чем наш, или хотя бы просто спокойным веком, нам необходимо научиться ценить таким образом понятую гуманность лучше, чем мы способны были ценить ее в нашем разделенном мире.

В какой-то степени я люблю Россию как русский. У меня просто страсть к русской литературе как досоветского периода, так и советского. Моя любовь к России и русской литературе сохранится до тех пор, пока я жив...»

Портреты и размышления



Портреты
Величайший из романистов{˘}

Начну с категорического утверждения. Толстой — величайший из романистов, а «Война и мир» — лучший из написанных по сей день романов. Среди английских литературоведов и писателей эта точка зрения является общепризнанной вот уже лет пятьдесят. Для людей моего поколения это всегда было непреложной истиной. Читая романы Толстого в переводе, мы знаем их почти так же хорошо, как и вы. С понятным вам волнением входя в здание Союза советских писателей{3}, мы вспоминали о том, как готовилась Наташа к своему первому балу. Мы с женой{4} специально

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в «Литературной газете» 19 ноября 1960 г.

{3} Комментарии: 2.3

Здание Союза советских писателей. — Находится в Москве по улице Воровского, дом 52; представляет собой ансамбль городской усадьбы князей Долгоруковых, строительство которого закончилось к 1802 г.; ансамбль состоит из главного дома с мезонином, соединенного с двухэтажными флигелями галереями-переходами; на парадном дворе в 1958 г. установлен памятник Л. Н. Толстому. После пожара 1812 г. дом был реставрирован в 1814 г. Известен как «дом Ростовых».

{4} Комментарии: 2.4

Мы с женой. — Жена Ч. П. Сноу, английская писательница и критик Памела Хэнсфорд Джонсон (1912–1981).

решили путешествовать из Москвы в Ленинград поездом, а не самолетом, так как именно этой дорогой ехала Анна Каренина.

Подобные литературные ассоциации окружали нас со всех сторон, и, дав им сейчас волю, я быстро бы вам надоел. Ведь вам они хорошо знакомы, а нас они волновали, как волнует запах дыма от сжигаемой листвы в саду, вызывая воспоминания детства. С Москвой и Ленинградом у нас связано столько литературных ассоциаций, навеянных творчеством не только одного Толстого, но и других ваших великих писателей, что нам трудно увидеть эти города по-новому. Такая же история получается и с романами Толстого. Я уже писал в Институт мировой литературы о том, что, по моему глубокому убеждению, эти великие произведения не имеют себе равных. Но, высказав это убеждение, я никак не могу приступить к критическому разбору творчества Толстого или сказать о нем хотя бы что-нибудь новое.

Писать о Толстом труднее, чем о любом другом русском или английском великом прозаике. Может быть, в общей структуре и в художественных деталях его творений кроется что-то такое, что делает их недоступными критическому разбору в обычном понимании? Однако это слабая от-

говорка. На самом деле я, признаться, не знаю, что сказать. Если бы я писал книгу о романах Толстого, я мог бы с точностью сообщить, когда и при каких обстоятельствах я впервые прочел их, сколько раз перечитывал и какое влияние они оказали на меня. Но что касается серьезного критического исследования, то я просто не знал бы, с чего начать.

Поэтому я не стану утомлять ваше внимание повторением о Толстом истин, которые вы, наверно, слышали уже тысячу раз, и напишу в нескольких словах о том, как относятся к Толстому на Западе, в надежде, что кое-что из этих заметок будет вам в новинку.

В начале статьи я говорил, что англичане считают Толстого величайшим из романистов. Это так и есть. Но мне думается, что впервые Толстой по-настоящему затронул сердца англичан — а не только литературные вкусы — во время войны. Между 1941 и 1945 годами в Англии (с населением примерно в 50 миллионов жителей) было продано около 500 тысяч экземпляров романа «Война и мир». Этот роман стал достоянием людей, которые обычно не читают романов или вообще любой серьезной литературы. Помню, как-то в годы войны я присутствовал на заседании одного

из созданных тогда комитетов. Рядом со мной сидел старший офицер военно-воздушных сил, человек приятный и простой. Я не представлял себе, чтобы он мог пуститься в дискуссию на литературные темы, и поэтому немало удивился, когда он пододвинул ко мне клочок бумаги, на котором было написано: «Ваше мнение о „Войне и мире“?» Я лаконично ответил: «Лучший из романов», на что он откликнулся с нескрываемой гордостью: «Безусловно, самый лучший роман из всех, которые я читал». Но тут я должен разочаровать вас: в действительности его слова не были таким уж большим комплиментом. Как я выяснил позднее, помимо «Войны и мира», он читал всего лишь один роман — какой-то неизвестный исторический роман из английской жизни, о котором я ничего не слышал.

Но сам факт, что он, а также многие тысячи похожих на него людей прочли роман Толстого, был весьма отраден. Ведь это означало, что война, которую вы вели на просторах вашей земли, война, намного превзошедшая по своему размаху войну, описанную Толстым, нашла глубокий отклик в сердцах англичан. Они сознавали тогда — да и сейчас сознают, — что значила эта война. Приходит мне на память и другая реплика моего

офицера военно-воздушных сил, человека, как я уже говорил, славного и бесхитростного. В ответ на мой вопрос, что произвело на него наибольшее впечатление в «Войне и мире», он сказал: «Знаете, чувствуешь, что Россия ужасно просторная страна». Любопытно, что в этих безыскусственных словах он выразил основное, на мой взгляд, впечатление, которое производит Толстой на большинство английских читателей и которое не сравнимо ни с чем в литературе нашей страны. Я вовсе не собираюсь умалять значение английской литературы. Надеюсь, вы не заподозрите меня в шовинизме, если я скажу, что, по моему убеждению, ваша литература и наша литература, пока что, лучшие в мире. Но небольшие размеры нашей страны наложили отпечаток на английскую литературу. Наши писатели часто и с большим мастерством использовали в своем творчестве тот факт, что мы живем скученно. У нас зародилась литература города и литература густозаселенной местности. Всей английской литературе свойственно стремление вырваться из закрытых помещений. Русская литература в этом отношении — прямая противоположность нашей. Почти во всех произведениях русской литературы, и прежде всего Толстого, англий-

ский читатель ощущает дыхание необъятных пространств, бескрайних русских равнин. Интересно, а вы, читая книги ваших писателей, тоже ощущаете ветер с привольных просторов или же для вас это что-то привычное?

В заключение я хотел бы задать два вопроса. Как много теряем мы из-за того, что нам приходится читать романы Толстого в переводе? Ведь все мы знаем, насколько обедненно, к нашему великому огорчению, передает Пушкина перевод его произведений (сейчас я как раз перечитываю Пушкина, горько досадуя, что не могу читать его в подлиннике). Что можно сказать в этом отношении о Толстом?

И второй вопрос: каково ваше мнение о пространных исторических отступлениях Толстого в «Войне и мире»? На Западе обычно упоминают о них с сожалением, так как у нас распространено мнение, что без них книга стала бы более совершенным художественным произведением. Я с этим никак не могу согласиться. Эти отступления, думается мне, несут в произведении важную композиционную функцию, роль которой Толстой отлично понимал. Он добивался того, чтобы его искусство производило впечатление полной безыскусственности. На самом же деле автор

«Войны и мира» был, конечно, художником, творчество которого носило глубоко сознательный характер, и только благодаря его исключительному мастерству эти длинные исторические экскурсы создают у читателя такое впечатление, будто книга писалась сама собой. На мой вкус, роман выиграл бы, если бы эти экскурсы были чуть короче и если бы значительно меньше места было уделено увлечению Безухова масонством.

Однако не в этом суть. Если нам доведется когда-нибудь прочесть книгу, написанную нашим современником и имеющую хотя бы половину достоинств «Войны и мира», — какой огромной радостью это будет!

«Тихий Дон» — великий роман{˘}

Первая часть «Тихого Дона»{6} была опубликована в Англии вскоре после того, как она вышла в Советском Союзе. У нас она появилась под названием «And Quiet Flows the Don» («А Дон тихо течет»), и в странах английского языка так на-

---

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в «Литературной газете» 21 мая 1975 г.

{6} Комментарии: 2.6

Первая часть «Тихого Дона»... — Первая часть романа вышла в СССР в 1928 г.

зывают с тех пор весь роман. Наименование это слишком цветисто, в нем нет благородства, заключенного в русском названии. Однако перевод самого текста романа, выполненный Стефеном Гэрри, безусловно, хорош; он был использован во всех последующих изданиях. В нем встречаются иной раз английские выражения, которые сегодня звучат несколько неуклюже и старомодно, но в целом он с такой естественностью передает авторский стиль, в высшей степени характерный, яркий, эмоциональный и колоритный, что кажется, будто книга никак иначе и не могла быть написана. Так, и только так, — вот формула, определяющая великое творение искусства.

Вероятно, справедливо будет сказать, что «Тихий Дон» потерял в переводе меньше других великих произведений русской литературы. И вероятно, английский перевод не уступает переводам на другие языки.

Книга с самого начала имела громадный успех. Все мы тогда же ее прочли. Она дошла до широчайшего круга читателей. Так было повсюду на Западе. Многим из нас она казалась не только первым великим романом, написанным в советское время, но и великим романом вообще, по любым стандартам. Это впечатление и теперь,

спустя много лет, не изменилось.

У критики книга нашла самое теплое безоговорочное признание, на какое только может рассчитывать современный роман.

«Тихий Дон» живет своей собственной жизнью. Конечно, не иностранцу предсказывать, какие именно русские произведения навсегда останутся в разряде классических, но, если эта книга не окажется в их числе, душе моей не знать покоя. В Англии с момента ее выхода в свет она никогда не исчезала из продажи, переиздаваясь вновь и вновь. Если вы зайдете сегодня в любой порядочный книжный магазин в Англии, вы найдете ее в очень привлекательном пенгуиновском издании. «Пенгуин» — наша самая известная издательская фирма, выпускающая так называемые «paperbacks», маленькие компактные томики, которые теперь имеют глянцевитую иллюстрированную обложку. Весь «Тихий Дон» уместился в двух толстых книжках небольшого формата; дата последнего переиздания — 1974 год.

«Тихий Дон» — великий роман, но при всей легкости и блеске его внешней оболочки это роман загадочный и трудный. На первый взгляд речь в нем идет о растерянности простых людей — людей из плоти и крови, обуреваемых страстя-

ми, живущих в конкретное историческое время, в период конкретного всемирного потрясения. Однако, если бы содержание книги этим исчерпывалось, ее не читали бы сегодня молодые люди за рубежом, для которых тогдашняя буря — если они вообще о ней что-либо знают — всего лишь глава в учебнике истории.

Если не ограничиваться одной лишь внешней стороной, то окажется, что роман сообщает нам нечто, имеющее всеобщее значение, хотя что именно, мы не можем с уверенностью сказать. Повествование представляется — опять-таки на первый взгляд — объективным. Здесь нет толстовских личных высказываний и философских комментариев, которые играют столь важную роль в «Войне и мире», независимо от того, согласны вы с ними или нет, и вносят в текст новые интонации.

Однако под внешней оболочкой «Тихого Дона» скрыто страстное субъективное восприятие жизни. Трагическое восприятие жизни. Я написал эти слова сознательно. Как у нас говорят, иной раз игру ясней видит тот, кто следит за ней со стороны. Великолепная концовка произведения — одна из сильнейших в мировой литературе трактовок темы смерти. Почти все люди, чья

жизнь описывалась на страницах этого романа, теперь уже мертвы. Смерть — это неизбежный факт, с которым не поспоришь. Никому из них не помогла их поразительная жизненная сила. Последнее звено, связующее Мелехова с жизнью, — его маленький сын. Это все, что соединяет его с будущим. Он может надеяться, что его ребенок будет жить лучше в лучше устроенном мире. Его же самого ждет конец.

Это звучит гораздо более жестко, чем, например, окончание «Войны и мира» или «Братьев Карамазовых». Только писатель, питающий суровое уважение к истине, мог избрать такую концовку. И, как это ни странно, она рождает у нас ощущение духовного подъема.

Последний том «Тихого Дона» вышел в свет в 1940 году, когда Шолохову было 35 лет; он был принят с таким же восторгом и нашел столь же широкого читателя, что и первая книга. Следует помнить, что Шолохов приобрел мировую славу спустя всего несколько месяцев по выходе первой части романа. Это случай необычный, но не небывалый. На Западе можно привести несколько сходных примеров. Пожалуй, наиболее известный среди них — это Диккенс. Когда он начал печатать частями свои «Записки Пик-

викского клуба», ему было 24 года, то есть даже меньше, чем Шолохову в 1930 году, и за какие-нибудь несколько недель он стал в Англии фигурой национального масштаба.

Некоторые писатели словно бы родятся «готовыми», им остается лишь вырасти, чтобы сказать то, что они имеют сказать. Одни писатели обретают зрелость в одном, другие — в другом возрасте, и менее везучие завидуют тем немногим, которые уже в молодости добились большого успеха.

Впрочем, не такое уж это безусловное благо. Если в двадцать лет с небольшим вы удостаиваетесь всех наград, коими литература способна вас одарить, у вас вполне может закружиться голова. Так было с Диккенсом, хотя он был человек чрезвычайно самоуверенный. Как говорят английские спортсмены, достигшие в своем деле абсолютной вершины, оттуда путь только один — вниз. Для писателя вторая книга становится тяжким испытанием. Но «Тихий Дон» можно рассматривать как четыре полноценных романа.

Второй самостоятельный роман Шолохова — «Поднятая целина» (в английском переводе «Virgin Soil Upturned») — был опубликован в Англии в промежутке между двумя первыми и двумя заключительными книгами «Тихого До-

на». К нему отнеслись с уважением, и расходился он очень хорошо. Однако о нем нельзя сказать, что он так же покорил на Западе людские сердца и так же несокрушимо противостоял натиску времени, как и первый роман (впрочем, совсем недавно его выпустили вновь, тоже в приятном пенгуиновском издании), хотя, на наш взгляд, многие его страницы отмечены тем же самобытным блеском, что и «Тихий Дон», а отдельные места исполнены той же волнующей душу силы.

Ну что ж, написать «Тихий Дон» — уже само по себе было достаточно великим деянием. «Поднятая целина» — еще один громадный роман. С тех пор производительность Шолохова снизилась. Подобного рода примеров также имеется великое множество, особенно среди писателей, проявивших необыкновенную одаренность в молодости. Диккенс на протяжении последнего десятилетия своей жизни напечатал сравнительно мало, хотя он умер, когда ему было всего лишь 58 лет. Толстой после «Анны Карениной» написал только один роман, да и то не особенно хороший. Мы мало что знаем о процессе высшей творческой деятельности, помимо того что он совершенно различен у различных писателей.

Мне хотелось бы добавить к сказанному и лич-

ную ноту. Думаю, что я — один из сравнительно немногих представителей Запада, лично знакомых с Шолоховым. В каждый свой приезд в Англию он бывал у меня дома. Он сидел возле моей постели, всячески стараясь меня подбодрить, когда мне предстояла отправка в больницу для глазной операции. Я имел удовольствие присутствовать при получении им почетной степени от одного из наших старейших университетов. Он был, пожалуй, первым после Тургенева русским писателем, удостоившимся подобного признания, хотя после него эта честь была оказана еще двоим или троим (в том числе Чуковскому и шекспироведу Аниксту). Я часто встречался с Шолоховым также в Советском Союзе и пользовался его щедрым гостеприимством в станице Вешенской на Дону. С тех пор как мы прочли «Тихий Дон», прошло так много лет, и как же приятно было провести несколько летних дней в тех самых краях!

Шолохов обладает замечательным остроумием, какого я не встречал ни у кого больше, — тонким и язвительным в одно и то же время. Он наделен также редкостным чувством юмора, столь ценным во взаимоотношениях между людьми. В споре он может быть порою резок, но при этом

всегда остается вежливым и тактичным; улыбаясь, он заявляет: не будем пытаться переубедить друг друга.

Он не слишком жалует любопытствующих чужаков, льстецов и подхалимов. С самой лучшей стороны он проявляет себя тогда, когда имеет дело со своими, в особенности когда те приходят к нему за советом, и вообще со всяким, будь то даже странствующий чужеземец, кто попал в настоящую беду. Не в такую беду, которую он называет салонной. Он не любит салонной литературы — по отношению к ней он нетерпим. Но когда дело касается подлинной беды, вы не обнаружите и следа нетерпимости с его стороны…

Ричард Олдингтон{˘}

Всякий, кто следит за литературой XX века, знает, что Ричард Олдингтон{8} — писатель исключительной одаренности. Его нельзя называть просто «романистом», «поэтом» или «критиком», поскольку в каждом из этих «жанров» он

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в виде брошюры в 1938 г. в Англии.

{8} Комментарии: 2.8

Ричард Олдингтон (1892–1962) — английский писатель, представитель литературы «потерянного поколения».

уже создал значительное число произведений, несомненно обладающих самыми высокими достоинствами. Так что достижения его налицо. Он идет собственным путем и занимает особое положение. Книги его переведены более чем в десяти странах, а читают их во всем мире. Он по праву принадлежит к немногим современным английским писателям, имеющим поистине мировую славу. А ведь он еще совсем молодой человек — родился он в 1892 году.

Ни одно из произведений Олдингтона не оставляет равнодушным. Оно самым непосредственным образом воздействует на читателя, что является характерной чертой натур сильных. Однако для того, чтобы по достоинству оценить его, впрочем как и любого другого писателя, следует понять, что же кроется за этим непосредственным впечатлением. Сейчас, когда готовится к выпуску серийное издание его произведений, существенно важно попытаться понять, как же все-таки следует рассматривать его творчество. Это в какой-то мере оправдывает написание моей брошюры, хотя, я надеюсь, в ближайшем будущем будут предприняты новые и более успешные попытки.

Начну с очевидного. Творчество Олдингтона

наполнено жизнью. Достаточно взять в руки любую его книгу, чтобы уже через несколько минут почувствовать эту жизненную энергию, этот жар души, кипенье мысли; слова льются естественно и плавно, и создается впечатление, что способность его воспринимать мир, страдать и восторгаться во много раз превышает все наши способности.

Что значит «наполнено жизнью»? Прочтите «Все люди — враги»{9}, «Избранные стихотворения»{10} или «Сон в Люксембургском саду»{11}, и вы почувствуете, что это выражение буквально точно. Вас охватит ощущение жизни необыкновенно полной, вы почувствуете тот вкус к ней, без которого все жизненные впечатления были бы мертвы. И этот вкус к жизни, это тепло присутствуют во всем, что он пишет, они — в самой основе его дарования.

Немногие писатели обладают этим стремлением к разнообразию впечатлений в пределах одной жизни. Я не имею в виду интерес сторон-

---

{9} Комментарии: 2.9
«Все люди — враги» — роман Олдингтона, опубликован в 1932 г.

{10} Комментарии: 2.10
«Избранные стихотворения» — сборник, опубликован в 1923 г.

{11} Комментарии: 2.11
«Сон в Люксембургском саду» — поэма, опубликована в 1930 г.

него наблюдателя, такой, например, какой был у Бальзака, поскольку он есть у многих писателей, но то подлинное страстное ощущение собственной радости и страдания, которое испытывает всякий, одиноко идущий по жизни человек. И именно это ощущение Олдингтон с поразительной непосредственностью сообщает читателю, он заставляет нас прикоснуться к живым впечатлениям других людей, на что мы, в общем-то, не могли и надеяться.

Впечатления эти, как я уже говорил, разнообразны и глубоки. «Жить здесь и теперь» — таков его лозунг, и относится это ко всем его ощущениям, переживаниям, мыслям. Автор с такой уверенностью, убежденностью сообщает их читателю, что невольно начинаешь воспринимать их как свой опыт. Выражено все с величайшим жаром и авторитетностью. Странно говорить об авторитетности, при том что имеется в виду выражение радости непосредственного бытия, и тем не менее вряд ли найдется здесь более точное слово. Подлинность и сила его переживаний несомненны. Понимаешь, что у этого человека они именно такие. Множество писателей рассуждало о «жизни чувств». Но очень часто в этом было нечто вымученное, фальшивое. Они, можно

сказать, пели не своим голосом. Но в случае с Олдингтоном подобные сомнения в искренности полностью исключены. Мы глубоко и искренне ощущаем те страсти, восторги и страданья, которые ощущал он сам. А его способность на эти чувства исключительна. Вот почему он дарит нам возможность пережить мгновения, недоступные простому смертному. Вот почему он может сообщить нам представление об опыте настолько глубоком и в то же время непосредственном, что мы уже никогда не сможем смотреть на мир прежними глазами.

Вместе с тем ряд читателей почувствовали в его книгах «горечь» и «резкость», которые вытеснили для них все другие впечатления. Несомненно, как только выдвигается та или иная критическая формула, она с поразительной быстротой становится общим местом. Мы в большей степени подвержены чужим влияниям, чем отдаем себе в этом отчет. Соответственно не так уж трудно положить начало критической моде, которая в своем развитии может стать опасной. Держа в подсознании готовое словечко «горечь», мы приступаем к чтению книги и — усматриваем горечь в каждой строке, не утруждая себя поисками иного смысла.

Нечто подобное уже не раз случалось с произведениями Олдингтона, и приходится только сожалеть об этом. Горечь в них есть. Но она превалирует в одной-двух книгах, да и в них соединена со многим другим. Во всем, что он ни написал, следует выявить множество иных, гораздо более важных сторон. Для того чтобы оценить творчество Олдингтона во всей его полноте, нужно понять эту горечь, но поставить ее на подобающее ей место, усмотреть за ней определенную концепцию жизни, определенный тип эмоционального, чувственного восприятия мира, одним из результатов которого и является эта «горечь».

В том, что он пишет, есть очень много личного, в лучшем смысле этого слова. Во всем сказывается, используя его собственное выражение, определенная «концепция жизни», прочувствованный жизненный опыт. И чтобы правильно понять его, мне кажется, следует понять некоторые стороны его личности: ведь не случайно, что нередко в его книгах, в особенности в предисловиях, мы находим четко продуманные авторские признания. В них есть особая душевная тонкость, присущая сильной и страстной натуре. Его книги населены персонажами, необычайно чувствительными и гордыми, глубоко переживающими

свое унижение или позор; это гордые одиночки, сознающие свое одиночество и отчаянно, остро воспринимающие все, даже враждебный взгляд. Но как только олдингтоновский герой убедится, что его любят, немедленно падают все барьеры. Сколь велика его гордость, столь же велика его готовность с радостью отдаться дружбе или любви: «…в глубине души он был чрезвычайно щедрый, импульсивный человек, в чем-то даже похожий на Дон Кихота», «…в первый раз в жизни он почувствовал и понял, что такое мужское товарищество, искренний и откровенный разговор, свободное общение двух характеров».

Эта удивительная душевная тонкость пронизывает все его произведения, а в особенности романы. Достаточно почувствовать это, как начинаешь лучше понимать его романы, в особенности если к тому же видишь, что эта тонкость сочетается с энергией, авторитетностью, силой. Иначе говоря, в этой олдингтоновской душевной восприимчивости нет ничего пассивного: относясь с подозрением к враждебному миру, он скорее готов атаковать, но не ждать нападения.

Нередко окружающий мир представляется ему чужим, враждебным, ранящим. Но в дружбе и особенно в любви он чувствует тот восторг, который

сильнее этой враждебности. И именно отсюда, из этих проявлений душевной тонкости он черпает надежду. Он назвал себя романтиком-идеалистом, и это совершенно верно. Он понимает, что в жизни есть нечто большее, чем простая суета или столкновение крайностей. Он верит в «цельность и товарищество» поколения, которое «горячо надеялось, яростно боролось и глубоко страдало», а более всего — в свой романтический идеал любви, которая «прекраснее, полнее жизни»: «Он любит даже не столько жизнь с женщиной, но ту энергию и красоту существования, которые становятся их общим достоянием. Это жизнь здесь и теперь, жизнь чувств, жизнь глубоких инстинктивных сил».

В последней фразе звучит отзвук Лоренса{12}, но витализм Олдингтона иного свойства, в основе своей он бы остался совершенно таким же, даже если бы Олдингтон вовсе не знал Лоренса. Одно из свидетельств его достижений как художника в том, что этот взгляд идеалиста нашел убедительное, реальное воплощение в его книгах, прежде

{12} Комментарии: 2.12

…отзвук Лоренса. — Лоренс (Лоуренс), Дейвид Герберт (1885–1930) — английский писатель, автор романов «Сыновья и любовники» (1913), «Семья Брэнгуэнов» (1925), «Любовник леди Чаттерлей» (1928) и др., в которых подверг критике бездуховность буржуазного общества.

всего в романе «Все люди — враги» и в его лучшем произведении — поэме «Кристальный мир»[{13}].

Такова позитивная сторона романтического идеализма. Это главное в Олдингтоне. Сила убежденности Олдингтона, глубина его характера, особая, присущая художнику одаренность ума и сердца сделали убедительным этот романтический идеализм.

Но если ждешь так много и если порой удается осуществить свою самую прекрасную мечту, ты обречен глубоко страдать тогда, когда жизнь не предлагает ничего, даже отдаленно напоминающего идеал. И в этом — неизбежное наказание всякого идеалиста. Если спокойно смотришь на род человеческий, принимаешь людей такими, какие они есть, не ждешь от них больше того, чем они могут дать, — тогда тебе не испытать тех минут восторженного счастья и глубокого отчаянья, которые испытывает идеалист.

Олдингтоновская горечь возникает при том, что идеал повержен, а чувства до предела обострены. Олдингтон видит, что мир слишком непохож на тот, каким он хотел бы его видеть. Он наблюдает людей: жестоких, запуганных, а главное,

---

{13} Комментарии: 2.13

«Кристальный мир» — поэма Олдингтона, опубликована в 1937 г.

глупых. Он видит, что они равнодушны к красоте, не понимают, что значит «жить здесь и теперь», а ведь, научившись этому, они могли бы украсить свою унылую и трудную жизнь; он был свидетелем того, как его сверстников с помощью массового оглупления вовлекли в войну, видел, что новое поколение готовят к новой войне. Он не может не замечать вульгарность, тупость и страданье, и, чем острее его взгляд, тем яростнее гнев, с которым он обрушивается на мир.

Здесь противоположность его идеалу, отрицание его представления о жизни, и он реагирует на это сатирически, гневно, с шокирующей резкостью. Он использует все ресурсы глубоко израненной души, и таким образом создается то самое впечатление «горечи», о котором мы так много слышим.

Болезненное осознание идеала и его отрицания составляет часть особого трагического восприятия жизни — так его называют в Испании, где трагическое восприятие является как бы естественной частью сознания многих людей. При всей своей насмешливой игривости и яркости красок книги Олдингтона в основе своей трагичны. И для того чтобы полнее понять их, нужно уметь различать эту их изначальную структу-

ру. В них не найдешь легкого утешения, но из них можно черпать силы. И даже не разделяя авторского трагического мировосприятия, нужно все-таки поверить художнику, и тогда неожиданно прояснятся те стороны его творчества, которые были скрыты до поры.

Романтический идеал и его отрицание; «прекрасная полная жизнь» и ее отсутствие по причине человеческой тупости; восторг и чистота приятия и горечь от духовного безобразия и враждебности — в этом Олдингтон, но не только в этом. В Олдингтоне есть нечто такое, причем очень важное, что как бы перечеркивает его трагическое мировосприятие и, как мне кажется, является одной из наиболее привлекательных сторон его творчества. Я имею в виду тот здравый смысл, в стиле Санчо Пансы, который сочетается у него с духовной цельностью и страстным стремлением к правде. Да, есть идеалы, есть вещи, которые надо ненавидеть; есть черное и белое, но — тут Олдингтон усмехается и честно, хотя и не очень охотно, признается, что вообще все это не так.

Вот, например, обычный выпускник английской частной школы — символ всего, что Олдингтон так ненавидит, полная противоположность

тому, что он хотел бы видеть в жизни. Олдингтон представляет себе, какую унылую и ограниченную жизнь ведет этот скучный человек, задавленный условностями, презирающий искусство и совершенно лишенный любопытства. Но когда Джордж Уинтерборн{14} встретил подобного человека в траншеях, «человек этот невольно понравился ему. Он был чудовищно глуп, но это был честный, незлой и добросовестный человек, он мог отдавать приказы, требовал подчинения от других и заботился о подчиненных».

Все тот же Джордж в своем мучительно одиноком детстве имеет дело с директором школы, исключительно пустым и глупым человеком. Но вот однажды Джордж сдает нелепое, эксцентричное сочинение; мы видим, как директор выходит вместе с ним из школы, и — в том, как он пытается дать понять Джорджу, что тронут его восторженным описанием звезд, — мы неожиданно чувствуем, что он такой же робкий и зажатый человек, как и сам Джордж.

Олдингтон отстаивает свой трагический взгляд на мир, но он не хочет и обманывать себя. Он понимает, что на свете есть много глупых и злых

{14} Комментарии: 2.14

Джордж Уинтерборн — главное действующее лицо романа Олдингтона «Смерть героя», опубликованного в 1929 г.

людей, однако, если они опровергают какие-то его представления, он честно признает это. И наоборот: он столь же честно и с такой же улыбкой признает, что идеал не оправдал его надежд. Например, он испытывает глубокую симпатию к Д. Г. Лоренсу, и как к писателю и как к человеку. Его похвалы в адрес Лоренса, выраженные в простой и трогательной манере, дают некоторое представление о привлекательности личности самого Олдингтона. Лоренс, несомненно, подходит под его романтический идеал. Но в то же время Олдингтон не может шутливо не отметить, что в присутствии Лоренса приходится все время сдерживать разговор, как будто говоришь с респектабельной старой девой. И еще — что в поисках уединения на лоне девственной природы «Лоренцо, как ни странно, неизменно оказывался в колонии художников».

Теперь — после беглого разбора отдельных, но существенных сторон творчества Олдингтона — мы можем наконец обратиться к его книгам. Олдингтон более всего известен как романист, поэтому я начну с прозы. К настоящему времени он написал шесть романов и два тома рассказов. Несколько слов о его прозаическом стиле. Он непринужденный, плавный и динамичный. В

нем есть естественное единство — это проза прирожденного писателя, прирожденного поэта.

Первый роман Олдингтона «Смерть героя», опубликованный в 1929 году, немедленно приобрел успех. Тема его проста: это история молодого англичанина, тонко чувствующего, гордого бунтаря, который вырос в довольно благополучном семействе в начале века, попытался стать художником, любил, потом попал на фронт, сражался и был убит. «Герой» — Джордж Уинтерборн — наделен многими, типично олдингтоновскими чертами, но было бы наивно думать, что перед нами автопортрет. В гораздо большей степени он являет собой символическую фигуру целого поколения — потерянного поколения — точно так же, как его родители символизируют ту тупость, которая была одной стороной этой трагедии. Вместе с тем будет справедливо сказать, что многие из чувств Джорджа действительно принадлежат и автору, лучшие страницы книги — и здесь я разделяю общее мнение — это те, где он, откровенно и безжалостно по отношению к самому себе, рассказывает о чувствах духовно одаренного, храброго человека, попавшего на войну.

История детства героя — это история позора и унижений, озаренная редкими вспышками рано

проявившегося в нем чувства восхищения от созерцания красоты. В книге есть незабываемое описание того восторга, который испытывает герой, глядя ночью на бурный Ла-Манш. Дело кончается тем, что в двадцать лет он уходит из семьи и ведет в Лондоне полустуденческую, полубогемную жизнь, которую Олдингтон описывает с мягким юмором и некоторой ностальгией. Эта часть книги очень насыщена, в ней в зародыше присутствуют почти все наиболее типичные для Олдингтона черты глубокого, прочувствованного отношения к жизни. Во-первых — здравый смысл и практический интерес, часть эта начинается характерными словами: «Текущий счет в банке и приходо-расходная книга — документы весьма красноречивые, и странно, что биографы не уделяют им никакого внимания». Затем — романтический идеал первой любви к Элизабет. Обращаясь ко всем влюбленным, автор восклицает: «Будем всегда помнить, что в вас — единственная отрада этого жестокого мира». Потом разражается война, вспоминая о ней много позднее, рассказчик возвращается мысленно к тем, кто погиб, и страстно сожалеет о том, что не разделил их судьбу: «Они ушли, а виноваты мы… Чудовищно пережить собственную

жизнь, уйти от своей судьбы, задержаться в мире дольше положенного». Третья, военная часть книги слишком хорошо известна и поэтому не нуждается в особых комментариях. Впрочем, не могу устоять перед искушением и не упомянуть эпизода, в котором Джордж впервые слышит орудийную стрельбу, а через несколько часов стоит на карауле на ничейной земле.

В романе «Дочь полковника»{15} Олдингтон использовал иные повествовательные приемы. Здесь не место обсуждать технику романа, хотя многое тут еще предстоит сказать. Следует только подчеркнуть, что термин «роман» может относиться к произведениям, очень отличным как по своему замыслу, так и по художественным достоинствам, и критику прежде всего следует выяснить, в какой мере писатель преуспел в достижении избранной цели, нежели обвинять его в невыполнении тех задач, которые он перед собой и не ставил.

У Олдингтона, впрочем так же, как у Лоренса, роман становится лирическим, глубоко личным; в нем выражение живого опыта личности несравненно более важно, чем обрисовка «ха-

---

{15} Комментарии: 2.15
«Дочь полковника» — роман Олдингтона, опубликован в 1931 г.

рактеров». Нельзя требовать всего от каждого писателя, и в романе подобного рода характеры — традиционные, как у Филдинга и Толстого, или же аналитические, как у Достоевского, — играют второстепенную роль.

Вместе с тем «Дочь полковника» — в гораздо большей степени, чем другие его произведения, — традиционный роман, многие характеры в нем обрисованы остро и живо. Как будто писатель решил доказать, что он может создать живые характеры, если постарается, и что вообще в любой момент, когда он того захочет, он может оживить эти фигурки. Быстро и точно схватывает он меняющиеся ритмы разговорной речи. Среди наиболее удачных характеров в «Дочери полковника» — мистер Джадд, мистер Рэйпер и некоторые другие.

Роман являет собой историю Джорджи Смизерс, которая в середине своей унылой и безнадежной жизни начинает осознавать, что ей нужна любовь; на какой-то момент ей кажется, что она ее находит, и потом — теряет ее. Ближе к концу книги мы встречаем фразу, содержащую знаменательный подтекст. До этого мы были свидетелями того, как Джорджи, некрасивая, обыкновенная девушка, осветилась и стала по-

чти прекрасной от чувства любви. И вот любовь прошла. «Когда она была уже в ночной рубашке, собираясь идти спать, она взяла свечу, подошла к зеркалу и долго и внимательно смотрела на себя. Потом она задула огонь, отдернула занавески, чтоб открыть окно, и легла в постель».

Из всех романов Олдингтона легче всего воспринимаются «Все люди — враги», горячее, живое, наполненное чувствами произведение. Оно являет нам положительную сторону романтического идеала: это история любви Тони и Каты, любви, которую прервала война, столь сильно повлиявшая на судьбу их обоих, и которую они вновь обрели лишь через двенадцать лет. «Если хочешь жить с открытым сердцем, жизнью полноценной как физически, так и духовно, жить собственными свежими ощущениями, а не абстрактными выкладками, тогда поистине все люди тебе враги». Книга действительно в полной мере выражает это кредо; насыщенная запахами и красками жизни, она более, чем какое бы то ни было другое его произведение, вводит читателя в особый олдингтоновский мир. И если вы не знакомы еще с творчеством Олдингтона, я бы порекомендовал начать с этой книги. Среди прочего в ней вы найдете лучшие образцы

его прозаического стиля, лирические описания природы. Многие англичане писали о Средиземноморье, но, пожалуй, никто не писал о нем с таким знанием и любовью.

«Женщины должны работать»{16} — наименее популярный роман Олдингтона. Что касается меня, то я считаю, что вся первая часть книги принадлежит к высшим его достижениям. Жизнь Этты Моррисон показана как «трагедия материального успеха», «трагедия эмансипированной женщины военной поры». Живо и трогательно описано детство героини. И вот мы видим наконец, как у нее созревает решение уехать. Героиня смотрит на Ла-Манш (типично олдингтоновская сцена): «Совершенно неожиданно она поняла, что, возможно, она больше никогда этого не увидит, что она впервые порывает с прежней жизнью. Она сказала: „Куда бы я ни уехала, что бы я ни увидела, это не повторится. Как все сегодня прекрасно!“» Потом мы встречаем ее, бедную и одинокую, в лондонской квартире, видим, как она испытывает нечто подобное первому успеху, затем любовь, лондонский сезон 1914 года, и через военные несчастья и послевоенный ма-

{16} Комментарии: 2.16

«Женщины должны работать» — роман Олдингтона, опубликован в 1934 г.

териальный успех мы подходим вместе с ней к тому времени, когда она вспоминает свои первые надежды.

«Сущий рай»{17} — это выражение глубокого сочувствия к современной молодежи и гнева по поводу ее нынешнего положения. Олдингтон предвидит страдания, сходные с испытаниями его поколения: «Впереди у детей — продолжительная и печальная необходимость платить за грехи своих родителей». Крис Хейлин — символическая фигура, на двадцать лет моложе Джорджа Уинтерборна, по духу очень близок ему. Это тип человека интеллигентного, тонко чувствующего, показанный в период упадка, утрат надежды и напряженного ожидания. «Если б его можно было уговорить сменить его едкую фривольность на помпезную серьезность, носить рюши и бородку клинышком, мы бы получили в нем испанца времен Филиппа III. Грусть тех, кто пробудился от самонадеянных мечтаний, обернулась в нем отчаянной веселостью». Написанная с жаром и страстью, эта книга содержит чрезвычайно характерные для Олдингтона эмоциональные отступления: размышления, мысли и сатирические

{17} Комментарии: 2.17
«Сущий рай» — роман Олдингтона, опубликован в 1937 г.

зарисовки с невероятной быстротой сменяют друг друга.

«Семеро против Ривза»{18} — последний роман Олдингтона — гораздо мягче, чем «Сущий рай», в нем гораздо меньше горечи. С точки зрения техники повествования он ближе такой сравнительно традиционной книге, как «Дочь полковника»; трагическое мироощущение здесь ослабло, это скорее удачно построенная, благодушная комедия. Мистер Ривз удаляется на покой и — начинает наслаждаться жизнью; книга повествует о его приключениях. Местами роман напоминает «Сатирикон»{19}, а мистер Ривз — Тримальхиона, только он гораздо более симпатичная фигура. Во многих романах Олдингтона разбросаны сатирические зарисовки, но «Ривз» удивляет тем, что этот сатирический и веселый настрой сохраняется на протяжении всего романа.

Первый сборник рассказов Олдингтона — «До-

{18} Комментарии: 2.18

«*Семеро против Ривза*» — «комедия-фарс», как назвал ее Олдингтон, опубликована в Англии в 1938 г.

{19} Комментарии: 2.19

«*Сатирикон*» — сатирический роман римского писателя Гая Петрония (ум. 66. г. н. э.). В «Пире Тримальхиона», одной из частей романа, описана жизнь вольноотпущенников, представлены сатирические типы претенциозных богачей-выскочек; одним из них является обжора *Тримальхион.*

роги к славе»{20} — среди других произведений писателя занимает достойное место. Все рассказы повествуют о войне, наполнены они правдой, мужеством, отчаянием, которые нельзя было не почувствовать уже в «Смерти героя». Два рассказа: «Раздумья на могиле немецкого солдата» и «Прощайте, воспоминания» — просто великолепны. Второй сборник — «Нежные ответы»{21} — это сатирические рассказы, своего рода притчи, резкие, порою жестокие и очень смешные. Мой любимый рассказ — «Повержена во прах».

Собрание эссе Олдингтона «Artifex»{22} знакомит нас с новой стороной его таланта. Пока что мы рассматривали его как художника, но эта книга — образец собственно интеллектуального блеска. Конечно, можно быть большим художником и ни в коей мере не быть интеллектуалом. Таких писателей чрезвычайно много, однако Олдингтон не принадлежит к ним. Он очень умен

{20} Комментарии: 2.20

«Дороги к славе» — сборник рассказов Олдингтона, опубликован в 1930 г.

{21} Комментарии: 2.21

«Кроткие ответы» — сборник рассказов Олдингтона, опубликован в 1932 г.

{22} Комментарии: 2.22

«Artifex» — сборник критических работ Олдингтона, опубликован в 1935 г.

(если можно так сказать, не боясь показаться самонадеянным) и очень образован. В этих очерках с удовольствием наблюдаешь игру развитого, изощренного, живого ума.

В очерке, который дал название всему сборнику — «Artifex», — содержатся интересные соображения по поводу кроманьонских рисунков в пещере Альтамира{23}. Поскольку эти рисунки прямо представляют жизнь, в них как бы на деле осуществлен олдингтоновский лозунг «жить здесь и теперь», то есть непосредственный, чувственный контакт с внешним миром; именно поэтому Олдингтон выбрал альтамирского бизона в качестве рисунка-концовки. Это — емкий символ его собственного артистического кредо.

Как я уже сказал, Олдингтон очень образованный человек, и, если б он захотел, он мог бы стать видным археологом. Он прирожденный исследователь (что может некоторым людям показаться даже странным, учитывая другие его свойства). По сути дела, он написал множество собственно научных работ, которые мне остается лишь

{23} Комментарии: 2.23

...по поводу кроманьонских рисунков в пещере Альтамира. — Пещера Альтамира находится в Кантабрийских горах в Испании. Там открыты наскальные изображения животных (зубров, кабанов) эпохи позднего палеолита.

кратко перечислить. Переводы из Аниты{24}, Мелеагра{25}, затем «Анакреонтика»{26}, или же песни в стиле Анакреонта, переводы латинских поэтов эпохи Ренессанса, позднее собранные под названием «Медальоны»{27}. Как и все его переводы — это работа художника-исследователя, которая отличается особой красотой.

«Литературные исследования и рецензии»{28} содержат эссе о Марселе Прусте — один из первых английских очерков о французском писателе. Олдингтон многое разъясняет в Прусте и полон энтузиазма. Между прочим, этот очерк выявляет одно из очень ценных свойств Олдингтона: он страстно предан искусству и постоянно стремится отыскивать и поддерживать новые таланты. В одном из очерков из сборника «Artifex» он пишет:

{24} Комментарии: 2.24

Анита — древнегреческая поэтесса, жившая в III веке до н. э. в г. Тегея в Аркадии; автор эпиграмм и эпитафий; писала также пасторали и эпитафии животным.

{25} Комментарии: 2.25

Мелеагр — поэт-эпиграммист I в. до н. э., уроженец сирийского города Гадары; составитель антологии, которую назвал «венком», куда вошли стихотворения поэтов александрийского периода, а также его собственные эпиграммы.

{26} Комментарии: 2.26

Анакреонт — древнегреческий лирик, живший в 5–6 вв. до н. э., воспевал радость жизни, веселье. В 1919 г. в Англии Олдингтон издал книгу переводов «Греческие песни в духе Анакреонта».

{27} Комментарии: 2.27

«Медальоны» — сборник, опубликованный Олдингтоном в Нью-Йорке в 1921 г., куда вошли переводы стихотворений Аниты, Мелеагра, Анакреонта.

{28} Комментарии: 2.28

«Литературные исследования и рецензии» — сборник эссе, опубликован в 1924 г.

«Я хотел бы жить в эпоху великих художников, даже если бы мне не позволено было быть и самым ничтожным среди них. Я хотел бы жить в эпоху расцвета творчества, когда высшие достижения творческого духа столь же глубоко волновали бы общество, как в наше время волнуют торговля, войны и изобретения». И это совершенно искренне. В человеческих отношениях он может оставаться гордым, но ради творчества он готов поступиться даже своей гордостью. Как только он видит перед собой настоящий талант, он становится исключительно щедр.

Перечислю еще ряд его серьезных сочинений: «Вольтер»{29} — классическая английская биография французского просветителя; «Исследования и очерки о французской литературе»{30}; «Четыре французские комедии XVIII века»{31} (обратите внимание на предисловие Олдингтона); «Книга о персонажах», содержащая описания множества

{29} Комментарии: 2.29

«Вольтер» — исследование Олдингтона, опубликовано в 1925 г.

{30} Комментарии: 2.30

«Исследования и очерки о французской литературе» — сборник критических работ Олдингтона, опубликован в 1926 г.

{31} Комментарии: 2.31

«Четыре французские комедии XVIII века». — В 1923 г. в Нью-Йорке Олдингтон опубликовал переводы четырех комедий французских писателей (Реньяра, Мариво, Лесажа, Дету), написав к изданию предисловие и биографические справки о писателях.

типичных литературных персонажей; «Опасные связи» Лакло{32} и «Путешествия» Сирано де Бержерака{33}; «Декамерон» Боккаччо{34}; перевод «Алкесты» Еврипида{35} и «Пятьдесят романских лирических стихотворений»{36}. Этот последний сборник переводов — едва ли не самая прелестная вещь Олдингтона. Латинская культура всегда глубоко волновала его, в особенности культура средневекового Прованса{37}, и этот перевод одновременно и дань глубокого уважения, и выражение любви.

Многим читателям, и в их числе мне, примерно сорок пять из этих стихов показались совершенно новыми. Далее идут переводы «Писем к амазонке» и «Избранных произведений» Реми де Гурмона{38}. В предисловиях к обеим этим книгам

{32} Комментарии: 2.32

«Опасные связи» Лакло — роман в письмах «Опасные связи» (1782) французского писателя Пьера Шодерло де Лакло (1741–1803). В 1924 г. в Англии этот роман был опубликован в переводе Олдингтона.

{33} Комментарии: 2.33

«Путешествия» Сирано де Бержерака. — Бержерак, Сирано де (1619–1655) — французский писатель, автор философско-утопических романов «Иной Свет, или Государства и империи Луны» (опубл. в 1657 г.), «Государства и империи Солнца» (опубл. в 1662 г.). В 1923 г. Олдингтон издал в Нью-Йорке эти произведения в переводе с французского.

{34} Комментарии: 2.34

«Декамерон» Боккаччо. — В 1930 г. в Англии вышел перевод этого произведения с итальянского, сделанный Олдингтоном.

{35} Комментарии: 2.35

Перевод «Алкесты» Еврипида. — В 1930 г. Олдингтон опубликовал в Англии перевод этого произведения с древнегреческого.

{36} Комментарии: 2.36

«Пятьдесят романских лирических стихотворений». — Перевод этих стихотворений опубликован Олдингтоном в Нью-Йорке в 1928 г.

{37} Комментарии: 2.37

…культура средневекового Прованса. — Имеется в виду рыцарская культура, сложившаяся в X–XV вв. в исторической провинции Прованс на юге Франции; ее вершина — поэзия трубадуров, достигшая расцвета в XII–XIII вв. Олдингтон интересовался литературой Прованса и ее влиянием на европейскую культуру. В 1956 г. было опубликовано его исследование о провансальском поэте Фредерике Мистрале (1830–1914) «Введение в поэзию Мистраля».

{38} Комментарии: 2.38

Гурмон Реми де (1858–1915) — французский писатель и критик, изложивший свою концепцию символизма в сборнике критических этюдов «Книга масок» (1896–1898). В 1928 г. Олдингтон в Нью-Йорке опубликовал в своем переводе «Сборник избранных произведений» Р. де Гурмона, в том же году в Вашингтоне был опубликован его очерк «Реми де Гурмон. Современный писатель», а в 1931 г. в Англии вышли «Письма к амазонке» в переводе и с предисловием Олдингтона.

содержится много ценных мыслей.

Во всех этих книгах он выступает перед нами в качестве переводчика чужих стихов. Однако пора обратиться и к его собственным стихам. Из всего творчества Олдингтона именно стихи представляются мне наиболее совершенным созданием. Перед войной он заявил о себе как имажист{39} (ниже мы приведем его собственные высказывания о той поре); его репутация заметно возросла в период между 1919 и 1929 годами, когда он был занят прежде всего исследовательской работой и критикой. 1929 год отмечен неожиданным гигантским успехом его первого романа. Теперь, как мне представляется, Олдингтону приходится в какой-то мере расплачиваться за свою разносторонность, поскольку успех одной вещи заставляет читателей недооценивать другую. А между тем его поэтический багаж постоянно преумножается: «Сон в Люксембургском саду», «Измученное сердце», «Поиски жизни» и, наконец, в 1937 году — «Кристальный мир». Эта *последняя* поэма окончательно убедила

{39} Комментарии: 2.39

Имажист — последователь имажизма, модернистского течения в английской и американской поэзии (10–20 гг. XX в.), родственного русскому имажинизму; в основе его лежит философия интуитивизма, культивирование «чистой образности» и т. д.

многих читателей в том, что они долгое время лишь смутно подозревали: а именно что стихи Олдингтона принадлежат к лучшим образцам английской любовной лирики. Большинство из нас предпочитает не связывать себя критическими суждениями о современниках; но, высказываясь подобным образом об Олдингтоне, я знаю, что поистине не рискую ничем.

К сожалению, на анализ его поэзии у меня, осталось не так уж много места. Поэтому самое лучшее будет процитировать его собственное предисловие к однотомнику его избранных произведений, который включил произведения, написанные до 1923 года: «Образы», «Образы войны», «Образы желания» и «Ссылку».

> «Самые ранние из этих стихов написаны, когда мне было восемнадцать лет, но я предпочитаю датировать стихотворения по первой книжной публикации и таким образом не выступать с глупыми претензиями на какое бы то ни было первенство. Читателю, может быть, будет интересно узнать, что в возрасте между пятнадцатью и восемнадцатью годами я написал множество стихов, по объему

они вдвое превышают эту книгу. Старшие посоветовали мне уничтожить их — старшие всегда готовы дать подобный совет, — что я и сделал с некоторой неохотой. Никто теперь не станет сожалеть об этом сожжении, и я упоминаю о нем лишь потому, что в этих словесных излияниях — четыре года напряженной подготовки к писательству. Несомненно, в то время главным для меня было желание имитировать поэзию, которой я зачитывался с таким пылким восторгом, но по крайней мере за эти годы я научился дисциплине в обращении с метрической формой. Я пробовал руку во всем: от белого стиха{40} и рифмованных куплетов до спенсеровых строф{41} — и с обманчивой легкостью писал баллады,

{40} Комментарии: 2.40

Белый стих — нерифмованные стихи в системах стихосложения, которым обычно присуща рифма.

{41} Комментарии: 2.41

Спенсерова строфа — состоит из девяти строк, восемь из них выдержаны в пятистопном ямбе, а заключительная строка представляет александрийский стих (шестистопный ямб). Первым ее ввел английский поэт Эдмунд Спенсер (1552–1599).

сирвенты{42} и вилланели{43}. Постепенно мне стало противно копировать, и под влиянием ритмов древнегреческого хора{44} и, как ни странно, Хенли{45}, я начал писать то, что сам называл „ритмами“, т. е. нерифмованные произведения без видимой метрической структуры, в которых ритм создается за счет своеобразной внутренней напевности. Было ли это результатом своеобразного пресыщения строгим размером? Возможно, да, хотя я склонен считать, что здесь имело место оправданное развитие, последовавшее вслед за длительной практикой использования традиционных форм. Позднее мне сообщили, что я сочиняю „свободные

{42} Комментарии: 2.42

Сирвента — жанр провансальской поэзии, стихотворение полемического характера, чаще на политические и социальные темы.

{43} Комментарии: 2.43

Вилланель или вилланела — в средневековой итальянской и французской поэзии лирическое стихотворение своеобычной формы, характеризующейся трехстрочной строфой, однообразной рифмовкой и повтором строк.

{44} Комментарии: 2.44

Древнегреческий хор — в древнегреческом театре собирательное действующее лицо спектакля, совместное выступление исполнителей стиха, музыки, пения, пляски.

{45} Комментарии: 2.45

Хенли, Уильям Эрнест (1849–1903) — английский поэт и писатель-

неоромантик; вместе с Р. Л. Стивенсоном опубликовал три пьесы; был одним из влиятельных критиков, соредактором словаря сленга; выступал против сентиментальности и идилличности викторианской лирики. Его поэзия (сборники «Песнь меча», 1892; «Ради Англии», 1900, и др.) сурова и мужественна. Считается одним из первых создателей «империалистической поэзии», прославляющей величие Британской империи.

стихи“, или же „vers libres“{46}, — информация, которую я воспринял с покорностью и некоторым удивлением. А еще позднее мистер Паунд{47} сообщил мне, что я имажист, а поскольку мистер Паунд опубликовал две или три книги и его высмеивал „Панч“{48}, я счел своим долгом придерживаться того же мнения.

Стоит ли мне сейчас распространяться о литературной политике той предвоенной поры? Пожалуй, не стоит. Достаточно будет сказать, что мы были молоды и очень искренни, готовы голодать и ходить в истрепанной одежде ради той поэзии, которую еще только надеялись создать. Нас связывала стихийная друж-

---

{46} Комментарии: 2.46

Свободный стих, или *верлибр* — стихосложение, порывающее с правилами традиционных систем стихосложения, что проявляется в отсутствии определенного размера, неточности или отсутствии рифмы и т. д.

{47} Комментарии: 2.47

Паунд, Эзра Лумис (1885–1972) — американский поэт, лидер модернистского направления в поэзии США XX в. Нетерпимость к буржуазному обществу потребителей легла в основу развитой Паундом концепции «элитарного искусства», подразумевающей полное отчуждение художника от общества. Это привело Паунда к мизантропии и крайнему индивидуализму. В 30-е гг. стал сторонником фашистского режима. Паунд выступал против викторианских догм и изживших себя традиций в англоязычной поэзии и прозе. Творчество Паунда насыщенно книжной ученостью и малопонятной символикой. С 1925 г.

отдельными выпусками издавал свою гигантскую поэму «Cantos», задуманную в подражание «Божественной комедии» Данте. Вместе с Олдингтоном и американской поэтессой Хильдой Дулитлл является основателем имажизма.

{48} Комментарии: 2.48

«*Панч*» — английский еженедельный иллюстрированный юмористический журнал, основан в 1841 г.

ба, возникавшая после случайных встреч как результат мгновенной симпатии, и если в глазах общества эта дружба выглядела странной и даже смешной, то в жизни был энтузиазм и искренняя привязанность. Что мы надеялись совершить? Конечно же, обновить английскую поэзию. Полностью порвать с застарелым романтизмом и викторианством, выбросить изношенный поэтический словарь и формы, которые казались нам полностью отжившими, прямо и искренне выразить наше собственное представление о мире, наши чувства. Мы были крайне нетерпимы и критиковали друг друга с разящей откровенностью. И все это представлялось нам чрезвычайно интересным».

Это предисловие написано в 1929 году. Неудивительно, что Олдингтон развил собственную свободную поэтическую форму, и редко можно встретить случаи, когда поэтические приемы столь точно соответствовали бы задачам, которые ставит перед собой поэт. Естественно также, что он начал как имажист, поскольку таким способом он мог выразить «сиюминутную жизнь», а

это, он чувствовал, была его главная задача как художника.

Многие из этих ранних стихов вошли в поэтические антологии. Я хотел бы здесь процитировать хорошо известные строки из «эпилога» поэмы «Образы желания».

Но мы, не одурманенные ложью,
В смиреньи знаем:
Нам дана одной лишь жизни красота,
А дальше — мрак бескрайней ночи.
Один лишь миг блистает солнце,
И сладок аромат лозы,
И мы поем, и плачем, вожделея
Губ и груди, невыразимо нежных,
И в этой краткой вспышке бренной жизни,
Как огонек свечи в холодном зале,
Лишь ты, любовь, льешь чистый свет,
И только поцелуй, в котором жизни пламя,
Приблизит нас к богам.

В 1925 году он опубликовал поэму «Простак в лесу» — фантастическую картину в стиле Рем-

бо{49}, рисующую кошмар современного мира — нечто вроде раннего поэтического наброска книги «Сущий рай», написанного в разнообразных и меняющихся ритмах. У Олдингтона это единственная длинная и трудная для чтения поэма, но стоит затратить усилия на то, чтобы ее прочесть и понять. «Сон в Люксембургском саду» (1930) являет собой поэзию самого высокого свойства, уступая лишь «Кристальному миру». Это сон об осуществлении идеальной мечты, и, подобно другим его романтическим произведениям, он очень реалистичен и исполнен исключительной естественности.

Затем последовали поэмы «Измученное сердце» (1933) и «Поиски жизни» (1935), причем вторая представляет собой еще одно воплощение его кредо. И наконец, в прошлом году вышел «Кристальный мир». Если я прямо скажу то, что я и многие другие читатели думают об этих его последних стихах, слова мои могут показаться преувеличением. Поэтому позвольте мне просто повторить, что, перед тем как Олдингтон напи-

---

{49} Комментарии: 2.49

Рембо, Артюр (1854–1891) — французский поэт-символист. Очевидно, имеется в виду его стихотворение «Пьяный корабль» (1871), в котором отразились не только настроения поэта, тяжело переживавшего разгром Парижской коммуны, но и отвращение к прозаическому быту и буржуазии, отвращение к «победителям».

сал «Кристальный мир», он уже успел написать стихи, которые принадлежат к лучшим образцам английской любовной лирики, а «Кристальный мир» — несомненно, его лучшее стихотворение о любви.

Я хотел бы только процитировать несколько строф:

Мир странный и жестокий мир,
О, дай нам мир иной!
Где нет ни распрей, ни сражений,
Ни жажды власти, но этот мир
Тебе неведом.
О, дай нам этот мир, и день грядущий
Да одарит детей твоих детей.
Мир, где рассвет расцвел, как цикламен,
Под шепот моря на зеленом склоне,
Где шелест виноградных лоз, и трепет розы,
И солнца блики на песках у древних стен,
И все прекрасное, что сделано людьми,
Вся верность, простота и правда,

Как драгоценность, в золотой оправе
Из золота одной любви.
В тебе есть сила, власть и слава,
А мы — так слабы и малы,
Но скрылись мы в кристальном мире,
Неведомом тебе.
О, дай нам этот мир!

* * *

Внуши мне дар любить ее любовью совершенной...
Ожесточенная душа, стань нежной на мгновенье,
Забудь о мертвых и о том, что ты была в аду,
Но помни только об одной любви.
Пусть пламя жизни обреченной догорает,
Будь благодарен ей. Представь себе:
Ты мог бы умереть, мечтая об акциях и фунтах,
И не изведать жизни.
Но ты, ты жил! Ты знал восторг

Прикосновения руки и поцелуя. Ты вдыхал

В ее глаза и губы жизнь. О сердце,

Замри в груди от страстного желанья

Отдать лишь ей всего себя,

Забыть про гордость и — погибнуть.

Холмы и горы, тихий, темный лес,

Луна и месяц, звезды провиденья,

Весенние цветы, блеск осени и летний зной,

Прекрасные, любимые творенья,

О, будьте благосклонны!

— Ты жаждешь невозможного.

Для каждого, кто хочет узнать творчество Олдингтона, — это произведение, с которого можно начать и каким можно закончить знакомство. Потом можно взять «Сон в Люксембургском саду» и пролистать «Образы желания». Это лучшие из его стихов. Из литературно-критических статей и эссе для начала лучше всего взять «Романские лирические стихи», «Вольтера» и «Artifex». Из прозы — «Все люди — враги» и «Дороги к славе». А когда вы прочтете эти книги, вам, несомненно, захочется прочесть все другие его произведения.

Мне остается только пожалеть о том, что мне не удалось написать такой очерк об Олдингтоне, который заставил бы множество новых читателей прочесть его книги и испытать то наслажденье, какое не получишь ни от какого другого современного писателя.

***Пер. Ю. Палиевской**[2]*

Творчество Троллопа{˘}

I

Троллоп{51} был хорошим и интересным человеком, но мы едва ли что-либо о нем знали бы (уж во всяком случае, гораздо меньше, чем, например, о сэре Генри Тейлоре{52}), если бы он не написал

---

[2] Примечания: 1.2

© Состав, предисловие, комментарии, перевод на русский язык произведений, отмеченных в содержании *, и художественное оформление издательство «Прогресс», 1985 г.

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге «Троллоп» (13-я и 18-я главы), изданной в Англии в 1975 г. и в 1981 г. переведенной в СССР на русский язык (М., «Высшая школа»).

{51} Комментарии: 2.51

Энтони Троллоп (1815–1882) — английский писатель, создавший в своих произведениях реалистическую картину быта и нравов дворянства и духовенства викторианской Англии. Автор 47 романов.

{52} Комментарии: 2.52

…о сэре Генри Тейлоре. — Тейлор, Генри (1800–1886) — английский писатель, автор исторической драмы «Филип ван Артевельде» (1834).

своих книг. И теперь пора поговорить о них.

Критики и в его время, и позже никогда не чувствовали себя с Троллопом уверенно и обычно укрывались за неловкой снисходительностью, точно похлопывая его по плечу. На протяжении его творческой жизни, продолжавшейся почти сорок лет, о нем писали много. Иначе и быть не могло: как-никак он написал сорок семь романов, а на страницах викторианских журналов и газет — «Спектейтора»{53}, «Сэтердей ревью»{54}, «Таймс»{55} и прочих — места более чем хватало. Их литературные обозреватели чаще всего были неглупыми и образованными людьми. Но они недоумевали.

Эти романы — во всяком случае, большинство их — явно доставляли читателям удовольствие и,

---

{53} Комментарии: 2.53

«Спектейтор» — английский еженедельный журнал, основан в 1828 г. как орган «радикализма».

{54} Комментарии: 2.54

«Сэтердей ревью» — английский еженедельный журнал, основанный в 1855 г. и выступавший в поддержку либералов.

{55} Комментарии: 2.55

«Таймс» — ежедневная английская газета, основана в 1785 г. Ее основатели отец и сын Уолтеры ввели ряд новшеств как в процесс печатания газеты, так и в процесс получения информации. Газета одной из первых имела иностранных и военных корреспондентов. В настоящее время тесно связана с правительственными кругами, церковью, монополиями.

возможно, были превосходны… Но почему? В них не хватало «воображения» — качества, которое люди нетворческие, по-видимому, всегда ищут у людей творческих. Троллоп не преображал жизнь, как ему следовало бы делать, по мнению даже тех, кто его хвалил, вроде Р. Х. Хэттона в «Спектейторе». Его критики обладали редким дарованием не замечать его поистине редкого дарования. Распознать это дарование было дано только собратьям — писателям очень высокого ранга — Генри Джеймсу{*}, а главное, Льву Толстому (который, хотя ни читающая публика, ни сам Троллоп этого не знали, чрезвычайно им восхищался).

Однако было бы неверно думать, будто отзывы в прессе при его жизни были неблагоприятными. Скорее в них звучала некоторая растерянность, а иногда они словно нисходили с горних высот. Книги Диккенса обычно встречали восторженный прием, доходивший до безоговорочного преклонения. (Существует легенда, будто Диккенса однажды выбранили в рецензии, и с тех

{*} Комментарии: 2.56

…писателям очень высокого ранга — Генри Джеймсу… — Англо-американский писатель Генри Джеймс написал очерк «Энтони Троллоп», который впервые был опубликован в журнале «Норт Американ ревью» в 1883 г., а затем вошел в книгу Джеймса «Пристрастные портреты» (1888).

пор он вообще перестал их читать. Это чистая фантазия. Диккенс очень ценил хвалебные отзывы и принимал некоторые меры, чтобы ими себя обеспечить.) Теккерей, а также Джордж Элиот{57} получали свою долю безоговорочного восхищения, в котором Троллопу было отказано вовсе. Тем не менее почти все время критика относилась к Троллопу серьезно и в целом очень благосклонно. Резко враждебные статьи — например, по поводу романов «Как мы теперь живем» и «Премьер-министр»[3]{*} — начали появляться, когда ему было около шестидесяти лет и время успеха осталось уже позади.

История литературы порой бывает не лишена приятной иронии: в тот момент, когда английские литературные критики встретили

{57} Комментарии: 2.57

Элиот, Джордж (наст. имя — Мэри Эванс, 1819–1880) — английская писательница, первые произведения которой свидетельствовали о появлении натурализма (роман «Мельница на Флоссе», 1860). Позже в ее творчестве социальные проблемы сочетаются с психологическим анализом; автор романов «Сайлес Марнер» (1861), «Миддлмарч» (1871–1872) и др.

[3] Примечания: 1.3

Anthony Trollope. The Critical Heritage. London, 1969, p. 394–427. Приводится целиком ряд рецензий — почти все отрицательные.

{*} Комментарии: 2.58

«*Как мы теперь живем*» — роман Троллопа, опубликован в 1875 г. «*Премьер-министр*» — роман Троллопа, опубликован в 1876 г.

«Премьер-министра» презрительным пренебрежением (худших отзывов он не получал ни на одну из своих серьезных книг, хотя теперь она причисляется к лучшим из них), Толстой о том же самом романе отзывался с восторгом: «Троллоп убивает меня своим мастерством». В это время Толстой работал над «Анной Карениной», и, как показывают письма того времени, его очень заботила «важная вещь». Что это за вещь, будет сказано ниже. Толстой знал о ней больше любого другого писателя[4].

Этот период непопулярности Троллопа в Англии тем не менее не был непрерывным. Существует убеждение, будто еще задолго до смерти он начал стремительно утрачивать прежнюю репутацию. Вероятно, это верно в отношении интеллектуальных кругов, но по отзывам в прессе ничего подобного заметить нельзя. «Дети герцога»{59}, опубликованные, когда ему было шестьдесят пять лет, заслужили не меньше

---

[4] Примечания: 1.4

Цитируя отзыв Толстого о Троллопе, Сноу допустил неточность. Эта запись в дневнике Толстого относится к роману «Бертрамы» (см.: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 48–49. М., 1952, с. 64). Роман же «Премьер-министр» Толстой охарактеризовал словом «прекрасно» в письме к брату (там же, т. 62, с. 302). — *Прим. перев.*

{59} Комментарии: 2.59

«Дети герцога» — роман Троллопа, опубликован в 1880 г.

благодарных похвал (такую ноту всегда можно распознать: люди неспособны скрыть ни удовольствие, ни его отсутствие), чем любая из его книг, написанных за двадцать лет до этого. Похвалы эти, кстати, были вполне заслуженными[5].

Хотя критики делали, что могли, они недоумевали, так же как поколением раньше французские критики недоумевали из-за Бальзака. И по обыкновению, недоумевая, они придумали ярлык. Троллоп — фотограф, что само по себе и неплохо, но не относится к сфере высокого искусства. Его можно уважать за точную зарисовку различных кругов общества середины прошлого века: духовенства (эта бирка так и болталась на нем до самой смерти), политиков, аристократии, чиновничества, помещиков — весьма значительной части викторианского привилегированного мира, хотя и не всего его в целом, примерно от средней буржуазии до крупных землевладельцев.

Ну, в определенной степени это верно или, во всяком случае, не так уж вопиюще неверно. Троллоп действительно был на редкость точным и въедливым наблюдателем. Эту Англию он ви-

---

[5] Примечания: 1.5
Anthony Trollope. The Critical Heritage. London, 1969, p. 467–474.

дел постоянно и умел извлекать максимум из того, что видел. Ему была свойственна мягкая терпимость, и он интересовался тем, что видел, а не своей точкой зрения на то, чем этому следовало бы быть. Он обладал здоровым аппетитом к реальности. Другими словами, у него был вкус к фактам, и он извлекал из них большое удовлетворение. В какой-то мере он, подобно архидьякону Грантли{60} — хотя это сходство и обманчиво, — наслаждался суетностью суетного мира.

И это наслаждение он испытывал бы всегда и везде, где бы ни жил. Мышиная возня в какой-нибудь сектантской молельне, окажись он ее свидетелем, доставила бы ему не меньше удовольствия, чем интриги барчестерского соборного духовенства{61}. Говоря пышным языком былых времен, он питал слабость к физиогномическим чарам материального мира.

Но мир этот он наблюдал вовсе не как частный сыщик. Тут критики просто не распознали того

{60} Комментарии: 2.60

Архидьякон Грантли — герой романа Троллопа «Последняя барсетширская хроника» (1876).

{61} Комментарии: 2.61

...Интриги Барчестерского соборного духовенства. — Выведены в романе Троллопа «Барчестерские башни» (1857); это профессиональный клан, руководствующийся в своей деятельности чисто практическими целями.

воображения, которого, по их мнению, ему не хватало. Механизм государственной службы он знал, разумеется, по личному опыту, и его рассказы о ней — самые точные из всех, какими мы располагаем. Его непосредственное знакомство с политикой, хотя он довольно близко знал второстепенных политических деятелей вроде сэра Генри Джеймса (не путать с наиболее тонким критиком Троллопа в XIX веке!), ограничивалось неудачной попыткой выставить в Беверли{62} свою кандидатуру в парламент от либеральной партии. Это не мешает ему изображать внутренний мир, побуждения и поведение политиков (в отличие от набросков политических идей, которые сами по себе его не слишком интересовали) с большой верностью и в общем тоне и в подробностях — так, во всяком случае, считают опытнейшие современные парламентарии[6].

Такую же верность мы находим и в изображении церковного мира, хотя, как уже упоминалось, тут он допустил один-два чисто формальных промаха. Не менее точно воспроизведен и распорядок жизни в домах знатнейших аристократов

{62} Комментарии: 2.62
Беверли — город в графстве Йоркшир.

[6] Примечания: 1.6
Гарольд Макмиллан (в частном разговоре).

— как нам говорили люди, которые сами выросли в таких домах[7]. А ведь Троллоп в лучшем случае мог побывать там только с кратким визитом (о чем никаких прямых свидетельств не сохранилось), да и то лишь когда стал знаменитостью и уже точно описал, как жили Паллисеры{63} в подобном доме.

Таким образом, мы можем считать, что получаем в его книгах совершенно точные данные о людях, вращавшихся в различных слоях общества в период между 1850 и 1880 годами. И более точных данных в настоящее время не существует. Однако если Троллоп был фотографом, то весьма странным — ведь, как мы только что убедились, он нередко практически не видел фотографируемого объекта.

Впрочем, его такое определение не задело бы. Он лучше кого бы то ни было знал, что это изображение общества было второстепенной, пусть и

---

[7] Примечания: 1.7

Леди Дороти Макмиллан (в частном разговоре).

{63} Комментарии: 2.63

…как жили Паллисеры… — Имеются в виду Плантагенет Паллисер и его жена леди Гленкора, английские аристократы, герои целой серии политических романов Троллопа, называемых «паллисеровскими» («Оллингтонский Малый дом», 1864; «Можете ли вы простить ее», 1865; «Финеас Финн», 1869; «Премьер-министр», «Дети герцога»). Сам Троллоп считал образы Плантагенета и Гленкоры самыми удачными в своем творчестве.

существенной частью того, чего он стремился достичь. Однако он был и очень скромным, и очень реалистично мыслящим человеком. «Приобрести известность, быть Энтони Троллопом — пусть это и не так уж много» — вот предел его надежд. Если его современники видели в нем хотя бы фотографа общественных нравов, этого было достаточно. Такой писатель, как он, мог считать себя счастливым, если признание получала даже ничтожная доля того, к достижению чего он стремился. Он, наверное, был бы чрезвычайно поражен и обрадован, если бы узнал, что сто с лишним лет спустя продолжает быть известным как фотограф общественных нравов. Ибо именно этим исчерпывается значительная часть его славы (и, несмотря на усилия блистательных молодых критиков в Америке{64}, так оно и останется, пока

{64} Комментарии: 2.64

...несмотря на усилия блистательных молодых критиков в Америке... — В комментариях к своей книге «Троллоп» Сноу отмечает работу Брэтфорда Бута, критика и литературоведа, с предисловием которого в 1947 г. в США была опубликована «Автобиография» Троллопа в двух томах, впервые изданная в Лондоне в 1883 г. Кроме того, в 1951 г. под его же редакцией были выпущены «Письма» Троллопа, а в 1958 г. одновременно в Англии и США было опубликовано его исследование «Энтони Троллоп». Сюда же можно отнести и Роберта Полимеса, в 1968 г. опубликовавшего в Калифорнии работу «Меняющийся мир Энтони Троллопа». Среди работ заокеанских критиков Сноу выделяет также книгу Рут ап-Робертс «Троллоп, художник и моралист», изданную в Лондоне в 1971 г.

у читателей не выработается особая чуткость).

По своей скромности он не удивился бы такому положению вещей — он привык к нему при жизни. Но, возможно, его удивило бы, что эти фотографии общественных нравов, благодаря которым его еще читают и даже нежно любят, окружаются таким ностальгическим ореолом. Англия троллоповских персонажей средневикторианского периода нам может представляться заманчивой. Они видели ее иначе. Троллоп гораздо лучше Диккенса умел принимать реальность, но и ему она не слишком нравилась — не больше и не меньше, чем понравилась бы ему любая другая эпоха.

В целом викторианцы его склада не были склонны предаваться ностальгической тоске — и уж во всяком случае, не по недавнему прошлому. Например, они отнюдь не вздыхали по восемнадцатому веку, как мы вздыхаем по девятнадцатому. Возможно, они сохранили о предыдущем веке более живые исторические воспоминания или устные предания. Если они как-то и тосковали по прошлому, то лишь по иллюзорной Англии давно прошедших времен. Троллоп, например, в глубине души идеализиро-

вал жизнь танов{65}, которые сумели сохранить свои земли после нормандского завоевания{66} и вели, как ему представлялось, идиллическое существование средневековых джентльменов-землевладельцев, — их потомки с любовью представлены в романах Троллопа такими семьями, как Торны из Уллаторна{67}. Нет, он вовсе не допускал тут не свойственного ему отступления от реальности, а просто давал волю полету романтической фантазии.

Итак, изображение общественных нравов — это внешний слой в произведениях Троллопа. Оно лежит на поверхности, и читатели с самого начала его распознали. Кроме того, они испытывали удовольствие, потому что их вводили внутрь привилегированных и замкнутых социальных групп, куда чужакам обычно нет доступа. Довольно мало викторианцев середины века имели

{65} Комментарии: 2.65

…жизнь танов. — Имеются в виду саксонские таны, потомки англосаксонских воинов, которые получали от короля жалованные грамоты на обширные наделы земли и вскоре приобретали власть над соседями.

{66} Комментарии: 2.66

Нормандское завоевание — вторжение в 1066 г. в Англию нормандских феодалов под началом Вильгельма, герцога Нормандии, ставшего королем Англии.

{67} Комментарии: 2.67

Торны из Уллаторна. — Имеются в виду герои романа Троллопа «Доктор Торн» (1858).

представление о том, как живут люди, обитающие в домах соборного духовенства, хотя церковь тогда все еще играла в стране ведущую роль. Они ничего не знали о жизни чиновников. Они читали высокопарные речи парламентариев, но им было неизвестно, как эти государственные мужи разговаривают между собой. А потому они доверились Троллопу — и, как выяснилось, не ошиблись.

Именно об этой стороне творчества Троллопа говорил Натаниел Хоторн{68} в письме Джозефу Филду, американскому актеру и антрепренеру (по замечательному совпадению Филд был отцом девушки, которую любил Троллоп). Отзыв этот широко известен и заслуживает внимания не только из-за того, что ***о*** в нем утверждается, но и из-за того, что в нем опущено.

> «Странно, что мой личный вкус влечет меня к произведениям, совершенно не похожим на те, которые способен писать я сам… Читали ли вы когда-нибудь Энтони Троллопа? Его книги совершенно

{68} Комментарии: 2.68

Хоторн, Натаниел (1804–1864) — американский писатель-романтик. Автор сборника рассказов «Дважды рассказанные истории». (1837), романа «Алая буква» (1850) и др.

отвечают моему вкусу — существенные, основательные, как бы написанные благодаря питательной силе говядины и вдохновляющему действию эля, до того подлинные, словно некий великан вывернул и поместил под стеклянный колпак огромный ком земли, а его обитатели занимаются своими обычными делами, даже не подозревая, что их выставили напоказ»[8].

Разумеется, люди живут в обществе, и понять их можно, только понимая его. Но это — банальная истина. Нам необходимо пробиться еще через два слоя, прежде чем мы доберемся до того, что — как Троллоп знал лучше всех — было его особым талантом, средоточием его интересов, его страстью. Общество или частица общества были необходимы ему для достижения главной цели, поскольку людям постоянно приходится выбирать между чем-то и чем-то, причем такой выбор — иногда дело только их личной воли (или свободы, как говаривали экзистенциалисты), но чаще он определяется воздействием на них

[8] Примечания: 1.8

Это доставило Троллопу редкое удовольствие. См.: Anthony Trollope. An Autobiography. London, 1883, p. 122–123.

общества.

С различными типами такого выбора Троллоп проделывает изумительные нравственные и психологические фокусы: вспомните мистера Хардинга{*}, старого смотрителя богадельни, запутавшегося в хитроумной нравственно-социальной дилемме; или Гленкору, колеблющуюся, бежать ли ей с человеком, которого она любит, — выбор по сути, хотя и не по внешности, чисто личный (вопреки Генри Джеймсу, который недостаточно глубоко проник в проблемы пола, чтобы быть непогрешимым, выбрать она могла только одно); или преподобного Уортла{70}, директора школы, не знающего, как по совести обойтись с учителем и его женой, когда выясняется, что их брак волей судеб оказался недействительным.

Этот слой в произведениях Троллопа за последнее время получил широкое признание, и мы еще вернемся к нему в главе 18. Троллоп обладал тончайшим вкусом в этике конфликтов или, как теперь выражаются, в ситуационной этике. Это

{*} Комментарии: 2.69

Мистер Хардинг — Септимус Хардинг, герой романа Троллопа «Смотритель» (1855).

{70} Комментарии: 2.70

Преподобный Уортл — герой романа Троллопа «Школа доктора Уортла» (1880).

проявляется и в «Автобиографии», в описании процесса выработки его собственного характера, хотя порой природная подозрительность и скептицизм заставляют его усомниться, действительно ли даже честные люди делают свой выбор именно по тем причинам, по которым, как им хотелось бы верить, они его делают.

Наконец мы подходим к тому, что он, собственно, стремился делать и что, как знал он сам, делал в высшей степени хорошо. Против обыкновения он почти отбрасывает свою обычную скромность и сам нам это говорит. Но прежде чем он выскажется сам и прежде чем его слова будут подкреплены утверждением Генри Джеймса, который лучше всех англоязычных писателей XIX века понимал эту глубину Троллопа, автор хотел бы ясно изложить собственную точку зрения. Для величайшего троллоповского дара, без которого он был бы просто второстепенным развлекательным романистом, простого определения не существует.

Утверждение, что среди писателей трудно найти другого такого прирожденного психолога, верно, но недостаточно. Он умел видеть каждого занимавшего его человека и изнутри, и со стороны — это очень существенная часть его

дарования. Другими словами, он умел видеть человека таким, каким его видели другие, а кроме того — таким, каким он видел себя сам. Он обладал и прозорливостью, и способностью к сопереживанию, которые сосуществовали в нем на редкость гармонично. Далее (и это, пожалуй, даже еще более редкий дар), он со всей непосредственностью видел человека не только в данном месте и в данную минуту, но также в прошлом и в будущем. Эта способность видеть в нескольких временных планах развилась, конечно, благодаря опыту и без него невозможна, и тем не менее самый богатый опыт отнюдь не гарантирует такой способности. У Троллопа она в скрытом состоянии появляется очень рано и проглядывает уже в первой его книге. Прирожденные психологи довольно редки — но не исключительно редки. Прирожденные психологи, обладающие прозорливостью в сочетании с провидением, исключительно редки.

За неимением более подходящего термина назовем это человеческое свойство Троллопа «апперцепцией». Много ли людей обладает таким свойством даже в ограниченных пределах, нам попросту неизвестно. У него же оно было развито гораздо сильнее обычного — возможно, как ни у

кого другого. Читатели, совершенно лишенные этого свойства, вполне естественно, не видят в Троллопе ничего особенного. С тем же успехом можно было бы требовать, чтобы люди с черно-белым зрением распознали голубой цвет.

С другой стороны, люди, наделенные троллоповской апперцепцией в повышенной степени, встречаются где угодно — и часто, а может быть даже обычно, вне владений литературы и эстетики. Порой это священники по призванию, или врачи с незаурядным диагностическим даром, или политические деятели, обязанные своим успехом умению верно судить об окружающих людях (то же относится и к профессиональным военным), или же люди, отступившие перед жизнью и находящие утешение в роли искушенных зрителей. Возможно, она чаще присуща женщинам, чем мужчинам, и вряд ли так уж случайно, что женщины нередко понимают романы Троллопа с большей глубиной и легкостью, чем мужчины.

Троллоп сам сообщил нам свою точку зрения. Тут его обычная скромность исчезает, как и должно быть, когда человек с полным основанием убежден, что действительно знает то, о чем говорит. Итак:

«Он (Троллоп имеет тут в виду себя как романиста. — Ч. С.) стремится познакомить читателей со своими персонажами так близко, чтобы детища его мозга стали для них говорящими, действующими, живыми людьми. Этого он никогда не достигнет, если сам не будет досконально знать этих вымышленных персонажей, а узнать их так он может только в постоянном и тесном общении, ощущаемом как реальное. Они должны быть с ним, когда он ложится спать и когда он пробуждается от сна. Он должен научиться ненавидеть их и любить. Он должен спорить с ними, ссориться с ними, прощать их и даже подчиняться им. Он должен знать, хладнокровны они или страстны, искренни или фальшивы — насколько искренни и насколько фальшивы. Ему должны быть ясны глубина и широта, узость и мелочность натуры каждого из них. И если здесь, в нашем внешнем мире, люди, как нам известно, изменяются — становятся хуже или лучше, поддаются искушению или следуют велениям совести, то должны меняться и его творения, и каждую

перемену в них он должен замечать. В последний день каждого месяца в его повествовании каждое действующее лицо должно стать на месяц старше в сравнении с первым днем этого месяца. Если тот, кто берется писать роман, обладает такой способностью, все это получится у него без особого труда, но, если он ею не обладает, его романы, мне кажется, будут совершенно деревянными.

Сам я всегда жил именно в такой тесной близости с моими персонажами и ей обязан тем успехом, который выпал мне на долю, каков бы он ни был. Их — целая галерея, и о любом из них я могу сказать, что знаю его голос, цвет волос, каждый взгляд, самую их одежду. Про каждого мужчину я могу с уверенностью сказать, какие слова произнес бы он по тому или иному поводу, про каждую женщину — улыбнется она в эту минуту или нахмурится. Когда я почувствую, что такая близость исчезает, мне станет ясно, что старому одру пора на покой. Но я вовсе не утверждаю, что сумею почувствовать это вовремя. Не берусь судить, намно-

го ли я мудрее каноника из „Истории Жиль Блаза“[{71}], но одно я знаю твердо: без описанной выше способности повествователь не сможет рассказывать свои повести так, чтобы они производили впечатление»[9].

Троллоп не был склонен к риторике, но тут он почувствовал необходимость прибегнуть к ней. Еще меньше он был склонен к хвастовству, но тут он хвалит себя. Однако кто другой имел больше права хвалить себя по такому поводу?

Чуть ли не единственный раз во всей «Автобиографии» он позволяет себе утверждать что-то безоговорочно. В целом, хотя, возможно, и не во всех частностях (Троллоп создал тысячи персонажей и просто не мог знать каждого из них с такой полнотой), он говорит правду. Доказательством этому служит любая из его книг. Именно такой одержимости и следовало ожидать. Воз-

---

{71} Комментарии: 2.71

…мудрее каноника из «Истории Жиль Блаза». — Каноник толедского собора Керубин Тонто, как пишет французский писатель Ален Рене Лесаж (1668–1747) в своем романе «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715–1735), был самым глупым человеком на свете, но слушал то, что говорилось вокруг, с чрезвычайно умным видом.

[9] Примечания: 1.9

A. Trollope. An Autobiography, p. 194–195.

можно, она и необходима, — нет, вероятно, она абсолютно необходима для всякого истинного творчества. В этом мы могли убедиться из того, что рассказывали нам величайшие творцы, начиная от Ньютона и Эйнштейна. Способность с одержимостью думать только о своей творческой задаче — это одна из важнейших способностей. Засыпать, не расставаясь с созданным тобой персонажем, терзаться стремлением сделать его более правдивым и живым, — нет, это не риторическое преувеличение. Троллоп думал и чувствовал именно так.

Подобная целеустремленность, безусловно, необходима всякому, кто ставит себе задачу добраться до истины. И в некоторых своих персонажах Троллоп действительно добрался до истины. Может показаться, что это принижающая хвала. Вовсе нет. Лишь очень немногие романисты действительно ее заслуживают. Потому-то Толстой так и восхищался Троллопом. В этом-то и заключалась «важная вещь». Толстой, бесспорно, остался бы великим писателем, если бы в своем творчестве он и не ставил себе подобной цели. Троллоп без нее великим писателем не был бы. Но ее оказалось достаточно.

Большой очерк Генри Джеймса, посвящен-

ный Троллопу, содержит очень тонкий анализ. Джеймс писал его в сорок лет[10], спокойно уверенный в собственном таланте. Троллоп ему всегда нравился, но в молодости он судил о нем с позиций эстета. И во всяком случае, Троллоп — трудный писатель для молодых людей, даже для таких умных, как Генри Джеймс.

К зрелому возрасту Джеймс развил свою апперцепцию. В середине длинного очерка, с типично джеймсовской скрупулезностью стремясь наконец выяснить, почему же все-таки Троллоп так хорош, он писал:

> «Если он в какой-то степени был гением (а я убежден, что это так), то именно в силу своего замечательного инстинктивного восприятия разнообразных особенностей человеческой натуры. Свое знание нашей внутренней сущности, обычного человеческого поведения он приобрел не с помощью рассуждений, не путем старательного изучения и даже не вполне осознанно. Все люди глубоко его интересовали, человеческая жизнь была

[10] Примечания: 1.10

«Норт Американ ревью», 1883. Переработан и опубликован снова в «Пристрастных портретах», 1888.

для него бесконечно продолжающейся повестью, но он не пытался смотреть на нее с так называемой научной точки зрения, которая в последнее время нашла столько хитроумных пропагандистов среди соотечественников и преемников Бальзака[11]. Он не делал вида, будто может объяснить, почему люди в данной ситуации будут вести себя именно так-то и так-то, — ему было достаточно чувствовать их чувства и брать верную ноту, ибо у него был, так сказать, хороший слух. Если он был тонким психологом, то милостью божьей; он был справедливым и правдивым без искусственных приспособлений и без усилий{*}... То, что происходит с людьми, трогает нас лишь в той мере, в какой мы их знаем. Великое

---

[11] Примечания: 1.11

Джеймс высмеивал псевдонаучный детерминизм Золя и его единомышленников.

{*} Комментарии: 2.72

...преемников Бальзака... он был справедливым и правдивым без искусственных приспособлений и без усилий... — *Эти* слова написаны Джеймсом о Троллопе. Это была полемика с «естественнонаучным» подходом к изображению людей у французских «натуралистов», прежде всего Золя. Сноу обратил особое внимание на эту критику, поскольку он сам как романист постоянно подвергался упрекам в том, что недостаточно пользуется в своем творчестве методами новейшей психологии.

умение Троллопа постигать реальность, которое делает его таким интересным, пришло к нему через его стремление помочь нам в этом — рассказать нам, что представляют собой данные люди и как они поступают из-за того, что они такие».

В самом конце этого анализа — в котором, как это часто бывает у Джеймса, его совесть, вкус и инстинкт кое-где противоречат друг другу, — он замечает:

«Троллоп останется одним из самых надежных, хотя и не самых красноречивых писателей, которые помогли сердцу человеческому познать себя».

Трудно сказать лучше об апперцепции Троллопа или о назначении реалистического романа вообще. Троллоп не читал этого очерка, написанного вскоре после его смерти и опубликованного в окончательной форме пять лет спустя. Однако в «Автобиографии» он позволил себе еще одну похвальбу, хотя и с оговоркой:

«Я не считаю вероятным, что мое имя

> сохранится в ряду тех, кто в следующем веке будут известны как авторы английских романов, но, если это все-таки случится, такой длительный успех будет, скорее всего, опираться на характеры Плантагенета Паллисера, леди Гленкоры и преподобного мистера Кроули{73}»[12].

В целом Троллоп далеко не всегда был хорошим судьей своих романов, но тут он знал, что говорит. Эти трое и в 1975 году все еще кажутся читателям высшим достижением его апперцепции. Другие персонажи, вроде архидьякона Грантли, по меньшей мере не уступают им в четкости. Люси Робартс{74} хороша не менее Гленкоры, но ей не дано столько возможностей показать себя. А для всякого, кто способен распознать апперцепцию в наименее выгодных тля нее условиях, леди Мей-

---

{73} Комментарии: 2.73
Мистер Кроули — герой романа Троллопа «Последняя барсетширская хроника».

[12] Примечания: 1.12
A. Trollope. An Autobiography, p. 300.

{74} Комментарии: 2.74
Люси Робартс — героиня романа Троллопа «Фремлейский приход» (1861).

бл Грекс{75} останется одним из лучших женских образов в художественной литературе.

Таково высшее достижение Троллопа — рассказать всю правду об этих персонажах так, чтобы они тем не менее стали частью нашего личного опыта. И он, и Джеймс согласились бы, что некоторые другие вымышленные персонажи, которых их творцы видели отнюдь не в свете трезвого реализма, совсем не так, как Троллоп с его апперцепцией, заняли куда более видное место и, вполне вероятно, проживут гораздо дольше — Дон Кихот, мистер Микобер{76}, Сара Гэмп{77}, Шерлок Холмс. Но эти образы держатся на определенных умолчаниях — точно так же, как сентиментальность. Сказать же всю правду о людях — значит ни о чем не умалчивать, а это оказывается обычно слишком трудно для нашего прямолинейного, тяготеющего к стереотипам сознания. Великое достижение Троллопа заклю-

---

{75} Комментарии: 2.75

Мейбл Грекс — героиня романа Троллопа «Дети герцога».

{76} Комментарии: 2.76

Мистер Микобер — Уилкинс Микобер, неисправимый оптимист и неудачливый прожектер, персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфилд» (1849–1850).

{77} Комментарии: 2.77

Сара Гэмп — няня и сиделка, персонаж романа Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (1843–1844).

чается в том, что он сумел сказать столько правды о своих великолепных персонажах. Именно тут, а не в чем-либо другом он достиг одной из вершин реалистического романа.

Как заметил Джеймс и как с несколько иным ударением указывалось в настоящей книге, это стало возможным только благодаря особому природному дару — пожалуй, редчайшему. И все равно это было отнюдь не так легко, как кажется. Троллопу приходилось придумывать и упорядочивать собственные художественные приемы. Их было бы интересно сравнить с приемами других писателей, и позднее мы к ним вернемся.

II

Главным даром Троллопа была апперцепция, и его творчество строилось на ней в степени, возможно, уникальной среди романистов. Конечно, ему приходилось искать средства — формальные средства, — чтобы применить ее, когда ему нужно было обрисовать, а затем объяснить и истолковать характеры своих персонажей, а вернее, людей, созданных его воображением и постоянно живших в его сознании.

Как говорил он сам, ему было известно, что такая сосредоточенность на человеческих харак-

терах составляет особый его талант. Но недостаточная уверенность в себе толкала его пробовать свои силы в других формах, которые требовали совсем иных дарований: к таким пробам относятся злополучные «Браун, Джонс и Робинсон»{78}, а также написанный под самый конец его жизни «Твердый срок» — довольно нелепое вторжение в область социальной фантастики. Но он понимал — и однажды, как мы видели, прямо это сказал, — что его сила заключается в созданных им замечательных человеческих характерах.

Он прекрасно знал себя (иначе он был бы неспособен так хорошо постигать других людей) и здесь по обыкновению судил о себе верно. Другие романисты также обладали редкой апперцепцией, но мало кому она давалась настолько без усилий, настолько «милостью божьей»[13]. Было бы нелепо утверждать, будто апперцепция не входила в дарования Толстого, Достоевского,

---

{78} Комментарии: 2.78

...злополучные «Браун, Джонс и Робинсон». — Имеется в виду роман Троллопа «Невзгоды Брауна, Джонса и Робинсона», опубликованный в 1859 г.

[13] Примечания: 1.13

Генри Джеймс употребил именно это выражение.

Пруста. А также Стендаля, Гальдоса{79}, Джейн Остин{80} и (правда, им она давалась не так легко) Генри Джеймса, Джордж Элиот и еще некоторых писателей, хотя их гораздо меньше, чем можно было бы предположить. Однако у всех вышеперечисленных апперцепция не была преобладающим, а тем более единственным дарованием. Даже если бы Толстой рисовал своих персонажей без особой проникновенности, мы все равно восхищались бы им из-за колоссальной силы и страстности его восприятия, из-за его богоподобного мироощущения. И Прустом тоже — из-за его блестящего ума и умения воссоздать вещный мир. И Достоевским — из-за глубин и бурь его психологического воображения (которое отличается от апперцепции, хотя апперцепция у него тоже была). И так далее.

К Троллопу ничто из этого не относится. Если отнять у него его главный дар или не распознать

{79} Комментарии: 2.79

Перес Гальдос, Бенито (1843–1920) — испанский писатель, крупнейший представитель критического реализма; в конце жизни разделял идеи социализма. Автор романов «Донья Перфекта» (1876), «Марианела» (1878) и др.

{80} Комментарии: 2.80

Остин, Джейн (1775–1817) — английская писательница, автор романов «Здравый смысл и чувствительность» (1811), «Гордость и предубеждение» (1813) и др., где реалистически показала быт и нравы английской провинции.

его (как часто и случалось), останется очень мало. Он был бы просто еще одним удобочитаемым информативным романистом XIX века — и только. А это далеко не так.

Ваша оценка его места как писателя будет прямо пропорциональна тому, насколько вы цените свойственное ему проникновение в человеческую индивидуальность. Если вы цените такое проникновение высоко и считаете его одним из важнейших дарований, необходимых романисту, тогда вы поставите Троллопа очень высоко. Люди ортодоксального склада имеют обыкновение утверждать, что им и в голову не придет распределять писателей по рангам, после чего они тут же производят такое распределение, только не называя вещи своими именами.

Когда в эту игру принимается играть автор настоящей книги, он вводит для Троллопа особый ранг — чуть ниже и в стороне от самых великих. Но там, где и Троллоп и Толстой стремились к одному и тому же, крайне интересно сравнить Троллопа с самым великим из великих.

Человек, впервые берущийся за Троллопа, может без труда проверить, насколько оправданна такая оценка. От него осталось сорок семь романов — необъятное море. Естественно, что

разумнее всего будет прочесть один-два романа очень внимательно, а потом перечитать их. Троллоп, подобно всем писателям, простым и ясным на поверхности, под которой скрывается большая глубина, дает возможность разных истолкований и оценок, а для этого прочесть один его роман один раз недостаточно. Хотя такой совет расходится с общепринятой точкой зрения, но начать, пожалуй, следует с какого-нибудь из менее трудных романов, вроде «Детей герцога» или «Фремлейского прихода». В них он особенно проникновенен, но не так тревожаще сложен. Затем — «Барчестерские башни» или «Ферма Орли»{81}. Затем — «Последняя барсетширская хроника».

Если, прочитав их, вы не найдете в Троллопе ничего особенного, откажитесь от дальнейшего знакомства с ним. Он — не для вас. Вы не настроены на его лад. Возможно, вы наделены всеми другими нравственными и эстетическими достоинствами, доступными человеку, но приобщиться его апперцепции вам не дано. Быть может, вы считаете, что, став взрослым, тем самым в готовом виде обрели все ярлычки,

---

{81} Комментарии: 2.81
«Ферма Орли» — роман Троллопа, опубликован в 1862 г.

приложимые к человеческой личности. Что же, так считали и некоторые великие писатели. И на многих читателей они производят самое глубокое впечатление. Но по мнению других читателей, им не хватает того духа проб и исканий, который позволяет приблизиться к истине. А у Троллопа этот дух есть.

Внешне его приемы сначала складывались, как у всех романистов, ставивших себе сходные задачи. Он был хорошим наблюдателем. Впрочем, здесь требуется оговорка. Не столь уж многим романистам присуща симеоновская способность создавать визуальное ощущение присутствия. Троллоп как будто мало чему научился в картинных галереях, хотя на усилия он не скупился. В восприятии архитектуры он так же скучен, как Джейн Остин. Но он умел наблюдать своих людей. Когда он чем-то интересовался по-настоящему, его зрение и слух (особенно слух) обретали редкостную остроту.

Он интуитивно знал, как знали писатели-реалисты всех времен, что тело человека неотделимо от его души. И его описания физической внешности мужчин и женщин, не детализированные, но тщательные, составляют неотъемлемую часть целого. В огромной галерее его персонажей не

найдется ни одного, чье описание противоречило бы личности, сознанию и характеру, которые Троллоп затем начинает анализировать. В произведениях романистов не столь интуитивных или менее опытных тут далеко не всегда обходится без фальши. Но Толстой, Пруст и почти всегда Бальзак умели быть в этом абсолютно правдивыми.

Троллоп видел своих людей ясно и во всех частностях, однако его главным инструментом в создании характеров был слух. То есть способность передавать в диалоге тон устной речи, причем индивидуальной для каждого персонажа. Это, пожалуй, самое полезное для романиста техническое умение — и не просто техническое. Романист не сможет так проникнуться чужой манерой речи, если он не способен слушать всем своим существом. И кстати, тот диалог, который он в конце концов запечатлевает на бумаге, напоминает магнитофонную запись лишь очень отдаленно. Реальный разговор, записанный на магнитофоне и точно воспроизведенный в романе, читать было бы невозможно. Такого рода натурализм испробовался неоднократно, и каждый раз это кончалось плачевным провалом, если только он не предлагался в микроскопиче-

ских дозах.

Как ни странно, запинки, всякие «э» и «гм», а также отсутствие законченности в живой речи затушевывают различия между личными интонациями, а они-то больше всего и нужны романисту. Реалистический диалог в романе — это особое и очень тонкое искусство: он должен звучать верно на слух, хотя и строится на скрытых условностях.

Троллоп был одним из крупнейших мастеров такого диалога. Говоря о хорошем музыкальном слухе Троллопа, Генри Джеймс имел в виду общую его чуткость и употребил это выражение метафорически. Тем не менее Джеймс, сам прекрасно писавший диалог, отдавал Троллопу должное и в этом отношении. Диккенсу диалог тоже нередко удавался блистательно, но, как обычно при сравнении его с Троллопом, тут обнаруживается многозначительный контраст. Они слушали людей по-разному. Диккенс слушал как имитатор, великолепно умеющий концентрировать впечатление, и как имитатор он отбирал те выражения и речевые обороты, которые особенно смешили его и поражали. И опять-таки как имитатор он был склонен повторять свои эффекты или злоупотреблять одним каким-то эффектом.

Троллоп же просто слушал и воспринимал.

Разумеется, плодотворно анализировать искусство диалога можно только по тексту и в контексте. Тут не место для такого анализа, а диалога и у Диккенса, и у Троллопа колоссально много — особенно у Троллопа. Литературоведческая работа о диалоге у викторианских мастеров могла бы оказаться очень ценной: те же Диккенс и Троллоп, Джордж Элиот, Генри Джеймс — этого было бы вполне достаточно, хотя, конечно, не помешали бы краткие сопоставления с хорошими писателями, у которых диалог был плох, вроде Шарлотты Бронте{82} или Уилки Коллинза{83}. В такой работе следовало бы рассмотреть сходство и различия между литературной речью середины прошлого века и нашей собственной, причем, как уже указывалось, сходства, несомненно, удалось бы найти гораздо больше, чем различий.

В подтверждение этого тезиса было бы полезно предварительно послушать, как кто-нибудь читает вслух Диккенса и Троллопа. Диалог Диккенса

{82} Комментарии: 2.82

Бронте, Шарлотта (1816–1855) — английская писательница, автор социально-психологических романов «Джен Эйр» (1847), «Шерли» (1848).

{83} Комментарии: 2.83

Коллинз, Уилки (1824–1889) — английский писатель; известностью пользуются его приключенческо-детективные романы «Женщина в белом» (1860), «Лунный камень» (1868).

звучит гораздо более естественно, а нередко и более современно по тону, чем ожидаешь. Диалог же Троллопа звучит совершенно естественно, и когда (очень редко) в нем мелькает выражение или оборот, которые мы не употребили бы, они буквально режут слух.

Пожалуй, тут все-таки стоит привести два коротких образчика троллоповского диалога, чтобы показать возможное направление такого анализа текста. Взяты эти отрывки из «Доктора Торна», первого троллоповского романа, имевшего широкий успех, хотя и не входящего в число лучших его книг, и представляют собой два разных разговора одних и тех же персонажей.

Один — мистер Грешем, «первый коммонер Барсетшира», помещик, принадлежащий к той группе нетитулованных землевладельцев, которая пользовалась особыми симпатиями Троллопа. Он прожил большую часть родового состояния. Его собеседник — доктор Торн, хороший, но обедневший врач, тоже происходящий из старинного помещичьего рода. Мистер Грешем обращается к нему за советом, как к поверенному своих тайн. Описания и пояснения исключены, и разговор их приводится здесь, как диалог в пьесе. Курсивом выделены слова и выражения, которые

мы сейчас не употребили бы. (Обороты did not и т. д. даются, как в тексте XIX века. Произносились они, разумеется, didn't и т. д., точно так же, как произносим их мы.)

Mr Gresham: You did not see Humbleby as you came in?

Dr Thorne: No I did not; and if you **will** take my advice you will not see him now; at any rate with reference to the money.

Mr Gresham: I tell you I must get it from someone; you say Scatcherd won't let me have it.

Dr Thorne: No, Mr Gresham; I did not say that.

Mr Gresham: Well, you said what was as bad. Augusta is to be married in September, and the money must be had. I have agreed to give Moffatt six thousand pounds and he is to have the money down in hard cash.

Dr Thorne: Six thousand pounds. Well, I suppose that isn't more than your daughter should have. But then, five times six are thirty: thirty thousand pounds will be a large sum to make up. (There were five Gresham daughters.) Mr Gresham: That Moffatt is a

griping, hungry fellow. I suppose Augusta likes him, and, as regards money, it is a good match.

Dr Thorne: If Miss Gresham loves him that is everything. I am not in love with him myself: but then, I am not a young lady.

Mr Gresham: The de Courcys are very fond of him. Lady de Courcy says that he is a perfect gentleman, and thought **very much** of in London.

Dr Thorne: `(with quiet sarcasm, lost on Mr Gresham):` Oh! If Lady de Courcy says that, of course it's all right.

Грешем: Вы не видели Хамблби, когда входили?

Торн: Нет, не видел. И если вы послушаете моего совета, вам тоже незачем сейчас его видеть — во всяком случае по поводу денег.

Грешем: Но ведь мне необходимо их у кого-нибудь достать. Вы же сказали, что Скетчерд не даст.

Торн: Нет, мистер Грешем, этого я не говорил.

Грешем: Ну, то, что вы сказали, ничем не лучше. Свадьба Огасты назначена на сентябрь, и эти деньги совершенно необходимы. Я согласился дать Моффату за ней шесть тысяч фунтов, причем наличными. Торн: Шесть тысяч фунтов. Ну конечно, по меньшей мере столько вашей дочери и положено. С другой стороны, пятью шесть — тридцать, а тридцать тысяч фунтов — большая сумма, и собрать ее будет непросто. (У Грешема было пять дочерей. — Ч. С.)

Грешем: Этот Моффат алчен и ненасытен. Но Огасте он как будто нравится, а в денежном отношении это хорошая партия.

Торн: Если мисс Грешем любит его, остальное значения не имеет. Сам я в него не слишком влюблен, но ведь я не юная девица.

Грешем: Де Курси к нему очень благоволят. Леди де Курси говорит, что он безупречный джентльмен и его высоко ставят в Лондоне.

Торн: (с тихим сарказмом, которого мистер Грешем не замечает): О, если это говорит леди де

Курси, то, разумеется, все прекрасно.

С небольшими словесными поправками эту сценку можно было бы показать на лондонских подмостках хоть завтра. Финансовая дилемма, конечно, нам чужда, но диалог мог быть написан и в 1975 году.

Проходит несколько недель, а мистер Грешем все еще не сумел раздобыть требуемую сумму.

> **Mr Gresham:** You wouldn't have me allow my daughter to lose this match for the sake of a few thousand pounds? It will be **well** at any rate to have one of them settled. Look at that letter from Moffatt `(gives letter, which says Moffatt can't and won't marry without the money, to Dr Thorne).` It may be all right, but in my time gentlemen **were not used** to write such letters as that to each other. `(Dr Thorne shrugs his shoulders.)`
>
> **Mr Gresham:** `(continuing):` I told him that he should have the money: and one would have thought that would have been enough for him. Well: I suppose Augusta likes him. I suppose she **wishes** the match; otherwise I would give him such an answer to that letter as **should** startle him a little.

Dr Thorne: What settlement is he to make?

Mr Gresham: Oh, that's satisfactory enough; couldn't be more so; a thousand a year and the house at Wimbledon for her; that's all very **well.** But such a lie, you know, Thorne. He's rolling in money, and yet he talks of his **beggarly** sum as though he couldn't possibly stir without it.

Dr Thorne: If I might venture to speak my mind —

Mr Gresham: Well?

Dr Thorne: I should be inclined to say Mr Moffatt wants to cry off himself.

Mr Gresham: Oh, impossible, quite impossible. In the first place, he was so very anxious for the match. In the next place, it is such a **great thing** for him. And then, he would never dare; you see, he is **dependent** on the de Courcys for his seat.

Dr Thorne: But suppose he loses his seat?

Mr Gresham: But there is not much fear of that, I think. Scatcherd may be a very fine fellow, but I think they will hardly return him at Barchester.

Dr Thorne: I don't understand much about

it, but such things do happen.

Mr Gresham: And you believe that this man **absolutely** wants **to get off the match; absolutely** thinks of playing such a trick as that on my daughter — on me?

Грешем: Вы же не захотите, чтобы я позволил моей дочери лишиться такой партии из-за нескольких тысяч фунтов? Хорошо, что хоть одна из них будет пристроена. Прочтите-ка это письмо от Моффата (дает Торну письмо, в котором говорится, что Моффат не может и не станет жениться без обещанных денег). Может быть, так и надо, но в мое время джентльмены не имели обыкновения писать друг другу подобные письма. (Доктор Торн пожимает плечами.)

Грешем: (продолжает): Я сказал ему, что деньги он получит, и, казалось бы, он мог бы этим удовлетвориться. Но, полагаю, Огасте он нравится. Полагаю, ей хочется за него, иначе я ответил бы на это письмо так, что он опешил бы.

Торн: А какое обеспечение он дает жене?

Грешем: Вполне достаточное и даже более того: тысячу в год и дом в Уимблдоне на ее имя. Тут все хорошо. Но как он лжет, Торн! Сам купается в деньгах, и все же настаивает на такой нищенской сумме, словно никак без нее обойтись не может.

Торн: Если мне будет позволено высказать мое мнение…

Грешем: Ну?

Торн: …я бы предположил, что мистер Моффат склонен порвать помолвку.

Грешем: Нет, этого не может быть, никак не может. Во-первых, он так добивался этого брака. Во-вторых, для него это очень важно. И в-третьих, он не посмеет: видите ли, его место в парламенте зависит от де Курси.

Торн: Но предположим, его не переизберут?

Грешем: Я думаю, этого опасаться нечего. Возможно, Скетчерд и отличный человек, но в Барчестере его вряд ли выберут.

Торн: Я не особенно в этом разбираюсь, но такие вещи случаются.

Грешем: И вы считаете, что этот мо-

лодчик действительно хочет увернуться от брака, действительно думает сыграть такую штуку с моей дочерью? Со мной?

Эти отрывки были написаны более ста лет назад. И мы можем лишь снова поразиться, насколько мало изменилась с тех пор устная речь образованных англичан. При подготовке к подробному исследованию викторианского диалога полезно обратить внимание на следующее: 1) на число идиоматических выражений (типа hard cash, rolling in money), которые по-прежнему широко употребляются; 2) на слова, вышедшие из употребления в данном значении, например absolutely[14] там, где мы сказали бы actually; 3) на разрыхление нашего синтаксиса. Без всякого сомнения, викторианцы в письменной речи — а по свидетельству Троллопа (и Диккенса), также и в устной речи — чаще пользовались формами сослагательного наклонения, чем мы. Судя по всему, они, кроме того, употребляли правильные формы будущего времени и условного наклонения там, где мы обходимся формами настоящего времени (или, как ни странно, прошедшего). Так,

[14] Примечания: 1.14

Еще в 30-х годах нашего века глубокие старики употребляли слово absolutely с тем же значением, что и Троллоп.

доктор Торн говорит: If you will take my advice, а мы сейчас сказали бы: If you take my advice. Синтаксис, сохранявшийся в устной литературной речи англичан середины прошлого века, по-видимому, близок к современному французскому.

И еще об одном моменте, который не проиллюстрирован в этих отрывках, взятых более или менее наугад. Некоторые выражения времен Троллопа, вышедшие из употребления в современной англо-английской речи, сохранились в литературной англо-американской. Троллоповские аристократы говорят gotten. Но гораздо интереснее использование слова quite — например, I was quite pleased to get your letter. И Троллоп, и современные американцы употребляют это слово в значении «очень». В современном англо-английском языке quite уже довольно давно несет в себе оттенок пренебрежения, так что эта фраза звучит более чем холодно. Подобных примеров можно набрать очень много. Речевые манеризмы троллоповских привилегированных классов гораздо ближе современным американским привилегированным классам, чем современным английским. Архидьякон Грантли сказал бы: «Миссис Грантли и я будем рады вас видеть». Нынешний английский архидьякон назовет жену

просто по имени.

Хотя эти рассуждения интересны для автора настоящей книги, такой интерес, возможно, разделяют далеко не все, а потому тут, пожалуй, следует остановиться. Тем не менее тема диалога в романах вполне заслуживает внимания специалистов. Для нас же важно одно: в распоряжении Троллопа было замечательное средство для выражения (и раскрытия) характеров. И оно не сводилось только к системе сознательно отработанных приемов; несравненно большую роль тут играла своего рода незримая благодать — другими словами, умение Троллопа самозабвенно и терпеливо сосредоточиваться на других людях.

* * *

Это сразу подводит нас к двум главным проблемам, которые должен был решать Толстой и все писатели-реалисты после него, как ведущие, так и второстепенные. Решать их пришлось и Троллопу, но это не потребовало от него ни малейшего напряжения. Пожалуй, одна из них могла бы его затруднить, но с помощью все той же незримой благодати он легко разделался с обеими.

Он как бы инстинктивно знал, что претворение апперцепции в произведение искусства, то

есть в вымышленных людей, которых мы видим и понимаем, только начинается с их внешней обрисовки. Такая обрисовка необходима, но недостаточна. Речевая характеристика открывает больше, но тоже недостаточно. Троллоп — и в этом он походит на всех крупнейших романистов, ставивших в центр своих произведений человеческую натуру, — не был бихевиористом{84}. То, что человек говорит и делает, еще не выражает его полностью. Как достичь большего?

Первая проблема заключается в подходе романиста к каждому отдельному человеку. Для Троллопа это было столь же естественно, как дышать. Просто будь прямолинеен, насколько сможешь. Люди (конечно, не писатели) не настолько умны, чтобы сплетать всякие тонкости. Человек, на которого ты смотришь, достаточно сложен без того, чтобы писатель ему еще что-то добавлял. А потому ты рассматриваешь его попросту как самого себя. Нельзя навязывать ни себя, ни стиль (ведь это тоже особая форма навязывания). Писатель обязан подавлять себя. Ничто не должно стоять (как выразился Лоренс в иной

{84} Комментарии: 2.84

...не был бихевиористом. — Бихевиоризм — направление в американской психологии, где предметом изучения является не сознание, а поведение.

связи) между ним и этим. («Этим» для Троллопа был бы человек, которого он старался понять.)

Казалось бы, легко. И действительно, для Троллопа при его темпераменте это было довольно легко. Но совсем нелегко это было для Толстого — чем отчасти и объясняется его восхищение Троллопом. У Толстого было колоссальное «эго», которое требовало непрерывного подавления — иначе он не мог бы принять и понять своих собственных персонажей. В «Войне и мире» это могучее «эго» вырывается на свободу там, где Толстой, словно Зевс олимпийский, повелевает Наполеону быть ничтожным или диктует законы ходу истории. Но он побеждает свое «эго», когда стоит перед вымышленными им людьми — с ними он столь же смирен и ненавязчив, как и сам Троллоп. То, что Толстой был на это способен, знаменует величайшее торжество искусства. Троллопу же такая позиция давалась легко — у него, как показал наш анализ, «эго» было слабым, нередко даже в ущерб его житейскому благополучию. Оставаться в стороне, изучать, впитывать — это было в его натуре. Он совершенно не хотел управлять жизнью других людей. А Толстой хотел. Однако Толстой был чрезвычайно честным художником. Чтобы обрисовывать и анализиро-

вать других людей, необходимо хотя бы на время отказаться от желания управлять ими. В двух своих великих романах Толстой добивается от себя того, что у Троллопа получалось само собой.

Как честный художник, Толстой увидел возможное разрешение трудностей (хотя и не всех) в языке. И с теми же сознательными усилиями он для раскрытия характеров принялся выковывать самый простой стиль. Слово «выковывать» — это, конечно, штамп, но оно действительно подходит к методам его работы. Достаточно заглянуть в рукописи его романов, чтобы увидеть, как он раз за разом убирает яркое слово и заменяет его уже употребленным раньше. Во всей истории литературы трудно найти другую такую последовательную и на первый взгляд обедняющую переделку. Некоторые критики усмотрели в ней нечто чудовищное, однако с точки зрения его конечной цели — достижения высшей прямоты — она была вполне оправданна. Когда Толстой давал себе волю, он становился одним из самых красноречивых писателей и писал удивительно красноречивым языком. Но со своими персонажами он не давал себе воли и рассказывал правду, безжалостно убирая все остальное.

Троллопу таких усилий делать не приходи-

лось. Его прозрачный, лишенный украшений язык (который часто недооценивался, причем его гибкость оставалась вовсе незамеченной) в совершенстве отвечал той же цели. Таким же был деловой язык Стендаля. И язык Гальдоса, как утверждают люди, знающие испанский. Именно такую манеру предпочитали многие величайшие исследователи характеров независимо от того, была ли она врожденной или ее приходилось вырабатывать.

Вторая проблема представляла значительно большие трудности. Ни один из этих мастеров не сумел ее полностью разрешить — как не сумел никто другой вплоть до нынешнего дня. Каким способом выразить то, что происходит в сознании человека? И не только в критические минуты (например, архидьякон Грантли у смертного одра своего отца), но во всех случаях, когда в имманентном индивидуальном сознании протекает какой-то процесс. Что это такое? Непрерывное течение? Хаотическое движение взад и вперед? Прерывистые скачки? Как он варьируется от индивида к индивиду? Иногда

употребляется термин «поток сознания»{85}, но он нередко вводит в заблуждение. Вероятно, это далеко не всегда поток и, строго говоря, осознается лишь частично. Безусловно, он далеко не всегда бывает словесным, а у многих людей чаще вообще не облекается в слова. В какой мере его можно передать словами? И насколько имеет смысл это делать?

Начиная со Стендаля, создатели психологических романов по-разному отвечали на эти вопросы. Вероятно, ни один ответ нельзя счесть полностью удовлетворительным. Скорее всего, единого ответа вообще не существует. Двое величайших творцов психологического романа, Достоевский и Пруст, выбрали методы, которые, по сути, позволили обойти проблему, словно оба они не сочли нужным браться за нее прямо. Достоевский предоставил своим персонажам частично объяснять, что происходит в их сознании, прибегая к невозможному расширению пределов обычной речи. Никто никогда не говорил

{85} Комментарии: 2.85

«*Поток сознания*» — повествовательный прием, определившийся в западноевропейской литературе в начале XX в. Термин был впервые употреблен в книге «Научные основы психологии» (1890) американским философом-идеалистом и психологом Уильямом Джеймсом (1842–1910). В качестве художественного приема «поток сознания» представляет прямое воспроизведение процессов духовной жизни; является творческим принципом литературы модернизма.

совсем так, как Иван Карамазов говорил в саду с Алешей, но из этих великолепных монологов можно вывести содержание — хотя, пожалуй, не структуру — недоступных извне мыслей Ивана. Пруст для того же использовал собственные пояснения, игру своего аналитического ума. Ни он, ни Достоевский не пытались показать непосредственно, миг за мигом, конкретное движение мыслительного процесса (хотя Толстой несколько раз пробовал это проделать — например, когда князь Андрей лежит раненый после битвы при Бородино).

Автору настоящей книги методы Достоевского и Пруста представляются гораздо более насыщенными внутренним смыслом, чем любые попытки прямого воспроизведения, но это чисто субъективное восприятие, и, возможно, оно зависит от характера собственных умственных процессов. Несомненно, немалому числу читателей прямое воспроизведение либо подсказывает содержание умственных процессов, либо непосредственно его передает. Величайшую из таких прямых по-

пыток предпринял Джойс{86}. Вот пример, взятый из первой части «Улисса»:

> «Мистер Блум вытянул шею, чтобы разобрать слова. Английские. Бросить им кость. Я что-то помню. Сколько времени прошло с твоей последней мессы? Слава в вышних и Непорочная Дева. Супруг ее Иосиф. Петр и Павел. Гораздо интереснее, если понимаешь, что тут к чему. Все-таки поразительная организация, работает как часы. Исповедь. Все до того хотят. Тогда я скажу вам все. Эпитимья. Пожалуйста, накажите меня. Могучее оружие в их руках. Больше, чем врач или поверенный. Женщина просто умирает. И я ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш; а вы че-че-че-че-че-че-че? А почему вы? Смотрит на свое кольцо, ища извинения. У стен под сводами есть уши. Муж узнал, к своему удивлению. Божья шуточка. А потом она выходит. Чайная ложка раскаяния. Приятненький

{86} Комментарии: 2.86

Джойс, Джеймс (1882–1941) — англо-ирландский писатель, представитель модернизма в литературе; в сборнике рассказов «Дублинцы» (1914), в романе «Портрет художника в юности» (1916) предстает как художник-реалист; в романе «Улисс» (1922) выступил как экспериментатор, впервые используя технику «потока сознания».

стыд. Молится у алтаря. Богородица Дева, Пресвятая Дева. Цветы, ладан, тающие свечи. Прячут краску ее стыда. Армия Спасения{87} с ее вульгарной подделкой. Раскаявшаяся проститутка обратится к собранию. Как я обрела Господа. У этих ребят в Риме есть голова на плечах — дирижируют всем спектаклем. Да уж и деньги гребут! И завещания: приходскому священнику на полное его усмотрение. Мессы же за упокой моей души служить публично при открытых дверях. Монастыри и обители».

Подход к решению прост и прямолинеен. Мыслительные процессы рассматриваются как дискретные или раздробленные — конкретные движения следуют друг за другом, каждое в данный временной момент. Таким образом, каждое движение представлено словесным коррелятом в отношении один к одному, как могли бы определить это математики. Или же, поскольку мыслительный процесс у Джойса главным образом, хотя и не исключительно, носит устный

{87} Комментарии: 2.87

Армия Спасения — буржуазная религиозная благотворительная организация в Англии и США, создана в 1865 г.

характер, конкретное движение и словесный коррелят сливаются воедино, превращаются в нечто одно. «Женщина просто умирает. И я ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш; а вы че-че-че-че-че-че-че?» Тут конкретные движения мыслительного процесса Блума и слова слиты практически полностью.

Многих (особенно, пожалуй, тех, у кого высоко развита эстетическая восприимчивость) подобная передача мыслительного процесса вполне удовлетворяет. Но многих других — нет. Они мыслят иначе, а если иногда нечто подобное у них и происходит, то редко и не непрерывно: их обычный мыслительный процесс менее дискретен, менее одномоментен, менее словесен и менее поддается прямому выражению в словах, но содержит значительно больший элемент внесловесного.

Представляется все более и более вероятным, что характер этого процесса заметно варьируется от индивида к индивиду. В настоящее время мы можем исходить только из интроспективных экскурсов, а их возможности по самому определению ограниченны. Пытаться интроспективно постичь механизмы сознания — это, пожалуй, примерно то же, что встать в бадью и попробовать поднять себя за ее ручку.

Писателям остается делать то, что в их силах. По ощущению многих Джойс достиг тут всего, чего только можно достичь (отношение один к одному он использовал отнюдь не первый, но с несравненно большим мастерством, чем его предшественники)[15]. Никто не станет утверждать, будто Троллоп достиг всего в ином подходе к изображению мыслительных процессов, но чего-то он достиг, в чем нетрудно убедиться, наблюдая, как он исследует сознание мистера Кроули или леди Мейбл Грекс.

Троллоп не нашел сложного способа обойти эту проблему, как Достоевский или Пруст. Его собственное сознание было слишком прямолинейным, и то же можно сказать о его подходе к людям. В человеческом мозгу возникают мысли, которые требуют выражения, а потому необходимо попробовать как-то это передать. Но даже если бы он писал на более позднем этапе развития романа, ему и в голову не пришло бы пытаться миг за мигом фиксировать конкретные движения мыслительного процесса. И не потому, что он был так уж наивен — трудно найти менее наивного человека. Просто его интересовали

---

[15] Примечания: 1.15
Ср.: Эдуард Дюжарден. «Лавры сорваны». Париж, 1887.

мыслительные процессы иного характера. Если бы он вообще об этом думал, то пришел бы к выводу, что анализ непосредственного момента (пусть даже его непосредственный момент радикально отличался бы от джойсовского) исключит все, что его особенно интересует. А интересовала его прежде всего человеческая личность, взятая в целом. И затем уже, как следствие, — те элементы мыслительных процессов, которые приводят к этическому выбору или к проистекающим из него поступкам.

А потому он развил для своих целей своеобразную форму психологического потока. Вот несколько примеров из раннего его романа «Оллингтонский Малый дом».

Адольф Крозби, человек с некоторыми достоинствами, небесталанный, но в сущности безвольный (о безволии Троллоп знал очень много), познакомился с племянницами сквайра Дейла, и младшая из них, Лили, очаровательная, остроумная, волевая девушка, глубоко его полюбила. Он тоже в нее влюбился — настолько, что сделал ей предложение. Они считаются помолвленными. У нее нет состояния. Он — молодой, подающий надежды чиновник, получающий в год восемьсот фунтов (в середине прошлого века очень высокое

жалованье для молодого человека), мечтающий о карьере и о положении в обществе.

Он отправляется обедать в Большой дом к сквайру Дейлу.

> «Когда Крозби поднялся в спальню, чтобы переодеться к обеду, его охватила та тоскливая грусть, о которой я уже упоминал. Неужели он должен бесповоротно погубить все то, чего достиг за последние годы своей до сих пор успешной карьеры? А вернее, — спросил он себя по-иному, — разве этот успех уже не погублен? Его брак с Лили, сулит ли он радость или горе, уже решен, и никаких сомнений быть не может. Надо отдать Крозби должное: в эти минуты горечи он все-таки старался думать только о Лили, о том, какое сокровище будет ему принадлежать и возместит (или, во всяком случае, должно возместить) все потери. Но горечь не рассеивается. Он должен отказаться от своих клубов, от привычки модно одеваться, от всего, чего он успел достичь, и довольствоваться тихой будничной семейной жизнью на

восемьсот фунтов в год в каком-нибудь тесном домишке, полном малолетних ребятишек. Не для такого Эдема он себя готовил! Лили мила, очень мила. Он твердил себе, что она „в тысячу раз милее всех известных ему девушек“. И как бы все ни обернулось дальше, с этих пор он обязан в первую очередь заботиться о ее счастье, ну, а его собственное… он начинал опасаться, что потеряет больше, чем получит. „Сам виноват! — сказал он себе, намереваясь благородно завершить свой монолог. — Я готовил себя для другого… и очень глупо. Конечно, я буду страдать, адски страдать, но об этом никто никогда не узнает. Любимое, нежное, невинное, прелестное создание!“»[16]

Из Оллингтона он едет в замок де Курси. Де Курси принадлежат к самым себялюбивым аристократам Троллопа. Они пользуются определенным влиянием. И у них есть несколько незамужних дочерей. Александрине, младшей, под тридцать — она примерно на год старше Кроз-

[16] Примечания: 1.16
Э. Троллоп. «Оллингтонский Малый дом», гл. 7.

би. Крозби наслаждается своим пребыванием в графском замке и в первый же день в разговоре с одним из сыновей де Курси отмалчивается, хотя прямо и не отрицает слухов о том, что он недавно обручился.

> «Отрицать! Ну, а то, что он был бы рад такой возможности, что ему в голову пришла подобная ложь и он даже взвешивал подобный подлый, трусливый поступок? Не далее как утром он прижимал к сердцу эту юную девушку. Он дал ей клятву верности и поклялся про себя, что никогда не даст ей повода усомниться в нем. Наедине с собой он торжественно признал, что на радость и на горе связан с ней нерушимыми узами. Так неужели он уже обдумывает, не разумнее ли будет отречься от нее? Ведь тогда он должен был бы сказать себе, что он негодяй! Но в действительности он ничего подобного не обдумывал. Его целью было уклониться от прямого ответа, а если бы это оказалось невозможным, то подыскать ответ, который отвел бы подозрения. У него не мелькнуло намерения смело

заявить графине, что это пустые слухи, что между ним и Лили Дейл ничего нет. Но может быть, ему удастся ловко отшутиться от этой темы даже в присутствии леди Джулии? Ведь так всегда предпочитают поступать обрученные мужчины, так почему же ему нельзя? Как-то само собой разумелось, что чувства престарелой девицы надо щадить и счастливому жениху не следует говорить при ней о своей помолвке. Тут он вспомнил, с какой свободой и непринужденностью его предложение обсуждалось всеми оллингтонскими соседями, и впервые почувствовал, что Дейлы, настолько забыв о сдержанности, были почти неделикатны. „Наверное, это было проделано для того, чтобы крепче меня связать, — сказал он себе, расправляя концы пышного галстука. — Как глупо было приезжать сюда, да и вообще гостить где бы то ни было, раз я уж поставил себя в такое положение“. И он спустился в гостиную»[17].

[17] Примечания: 1.17
«Оллингтонский Малый дом», гл. 17.

В этих двух исследованиях душевного состояния еще мало проявляется суровое, лишенное сентиментальности прозрение, которое характеризует Троллопа позже и которое он воплощал с помощью такого словно бы простого приема. Однако определенные начатки можно обнаружить и здесь, причем гораздо более тонкие, чем кажется на первый взгляд (заметьте ссылку на то, что Дейлы «были почти неделикатны»). А потому психологическая канва этого романа заслуживает нашего внимания. Тут, как и в ранних произведениях многих других писателей, можно определить, к чему он стремился и как искал способов добиться цели.

Разумеется, ни один человек в непосредственный момент никогда не думает так, как думает тут Крозби. Собственно говоря, способ Троллопа, подобно всем другим, испробованным для передачи мыслительных процессов, слагается из ряда условностей — к Джойсу это относится точно в такой же степени, как и ко всем остальным. Впрочем, конкретного отношения к тому, что мы здесь рассматриваем, это не имеет. Непосредственный момент не интересует Троллопа. Он пытается показать происходящее в непосредственный момент *так, как оно может рассматриваться*

позднее и как оно воздействует на дальнейшие поступки.

Что-то он при этом утрачивает, но любая попытка воспроизвести мыслительные процессы неизбежно сопряжена с утратами. Однако он не утрачивает того, к чему стремился особенно, а иногда и исключительно — к тому, чтобы во всей полноте поведать психологическую историю, ведущую к ряду этических выборов. И его прием психологического потока в несколько более усложненной форме прекрасно служит достижению этой цели. Чинность, чопорность, солидность — все это обманчиво. Ни один писатель не испытывал более жгучего интереса к психологической драме. Именно это, между прочим, объясняет, почему от его книг так трудно оторваться.

Правда, как и все остальные, он тоже не нашел способа, позволяющего убедительно воспроизводить умственные процессы. С тех пор в этом направлении предпринималось множество попыток. Ни одна не увенчалась настоящим успехом — и уж тем более полным успехом. Некоторым писателям удалось то, чего Троллоп добиться не мог, но зато они оказались неспособны на то, что у него получалось великолепно.

Сотня лет усилий и борьбы художников слова указывает на существование принципа взаимного исключения.

У Троллопа было много недостатков, но, если бы их у него не было, вполне возможно, что главной своей цели он не осуществил бы. У всякого искусства есть свои пределы. И в искусстве романа некоторые попытки игнорировать троллоповские пределы превратили немало произведений в подобие александрийской поэзии{88}. У такой поэзии тоже есть свое место, но занимает она его в истории хитроумных тупиков, а не в истории исследования человеческой натуры.

Пер. П. Гурова

{88} Комментарии: 2.88

…подобие александрийской поэзии — «Александрийская эпоха» (IV–I вв. до н. э. по назв. г. Александрии Египетской) — пора расцвета и упадка одновременно. В статье «Призыв к разуму», опубликованной в специальном выпуске литературного приложения к «Таймс», который вышел под названием «Книги в меняющемся мире» (1958, август), Сноу писал: «Не думаю, что роман как литературная форма утратил свое значение. Не думаю, что в ближайшем будущем неизбежно наступит отчуждение романа в частности и литературы в целом от духовной жизни современности. Не думаю, стало быть, что мы приходим к александрийской ситуации». Под «александрийской ситуацией» Сноу подразумевал существование изощренно-умозрительной литературы, в том числе поэзии наряду со значительными практическими достижениями науки.

Диккенс{˘}

В молодости Стендаль и Бальзак хотели писать пьесы. Диккенс{90} в свои молодые годы хотел играть в них. Литературный гений, он к тому же — в отличие от других великих — прирожденный актер. Этим отчасти объясняется своеобразный характер его писательской репутации. Серьезные критики и в современную ему эпоху, и вплоть до нашего времени до конца не понимали, что же Диккенс представляет собой на самом деле. Теперь, конечно, ни один здравомыслящий исследователь не стал бы публично сомневаться в том, что Диккенс велик и гениален[18]{91}. Вероятно, можно оспорить мнение, что он самый

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге «Реалисты», изданной в Англии в 1978 г.

{90} Комментарии: 2.90

Чарльз Диккенс (1812–1870) — английский писатель, крупнейший представитель критического реализма XIX в., автор многих нравоописательных эссе, юмористических и авантюрно-приключенческих романов, в которых заключены большие социальные обобщения.

[18] Примечания: 1.18

Намек на критическое выступление Г. Джеймса в связи с опубликованием «Нашего общего друга». — *Прим. перев.*

{91} Комментарии: 2.91

...не стал бы публично сомневаться в том, что Диккенс велик и *гениален.* — Имеется в виду статья Джеймса «Пределы Диккенса», которая

была помещена в американском журнале «Нейшн» 21 декабря 1865 г.

значительный английский писатель после Шекспира. Однако, как с очевидностью следует из работы Джоффри Ферли (1976), необходимо выработать особое, новое восприятие, чтобы начать понимать Диккенса во всем его многообразии.

Было бы непростительной ошибкой не замечать присущей ему театральности. И вообще, не учитывая «теневые» стороны его натуры или рассматривая его только как апостола, озабоченного общественными проблемами, можно упустить из виду сложности и противоречия, ему присущие, и в конечном счете сверхчеловеческую силу, таящуюся и в его личности, и в творчестве.

Теперь, благодаря биографии, созданной Эдгаром Джонсоном{92}, история его жизни хорошо известна. Это одна из лучших биографических работ, посвященных писателям. Кстати, писательские биографии всегда дают более интимное и глубокое представление о человеке, чем жизнеописания общественных деятелей. Последнее издание этой биографии было опубликовано в 1978 году, и за последние двадцать лет не появлялось сколько-нибудь свежей информации. Скорее всего, современное диккенсоведение свою работу

{92} Комментарии: 2.92

…биографии, созданной Эдгаром Джонсоном. — Она называется «Чарльз Диккенс. Его трагедия и триумф» (1953).

завершило, и мы уже обладаем основным запасом достоверных сведений, на который можно рассчитывать. Джонсон раскопал один потаенный факт: отец Диккенса не находился, как думали, на грани банкротства, но действительно был банкротом. Большинство, а может быть, все остальные писатели, о которых я рассказываю в этой книге, став взрослыми людьми, отнеслись бы к подобному факту юмористически; все, но не Диккенс, с его особой, только ему свойственной ранимостью. Живя в системе хорошо отлаженной коммерческой цивилизации Англии XIX века, он скрывал этот факт и должен был воспринимать его как особо постыдное обстоятельство.

Диккенс родился в 1812 году, в семье, относившейся к самому низшему слою английской мелкой буржуазии. Родители его отца принадлежали к верхам домашней челяди, служившей в дворянских домах. Один-двое из родственников поднялись чуть выше по социальной лестнице и стали мелкими чиновниками в беспорядочном, но жизнеспособном государственном аппарате. По крайней мере один из них имел финансовые неприятности: в Англии времен юности Диккенса коррупция была частым явлением. Благодаря помощи этих родственников отец Диккенса,

Джон, тоже получил должность клерка. У него были, как известно из биографических источников и знакомства с теми персонажами, для создания которых сын использовал личность отца (например, мистер Микобер и мистер Доррит{93}), некоторые претензии на благородство происхождения, претензии мелкого буржуа, никак не желающего, чтобы его смешивали с представителями рабочего люда, социальной прослойкой, находящейся ниже, но в непосредственном соседстве. Для мистера Микобера, и, несомненно, для отца Диккенса, рабочий класс был явлением инородным. Мы знаем также, что Диккенс-старший был беззаботен, очарователен в общении, но недостаточно аккуратен в денежных делах и часто и безнадежно увязал в долгах, что, в соответствии с законодательством того времени, привело его в тюрьму.

Таким образом, социальное положение, полученное Диккенсом в наследство, было одновременно и скромнее, и неопределеннее, чем у других великих писателей. Оно удивительно

{93} Комментарии: 2.93

Мистер Доррит — Уильям Доррит, персонаж романа Диккенса «Крошка Доррит» (1855–1877); неудачливый должник, почти постоянный обитатель долговой тюрьмы Маршалси в Лондоне, который неожиданно узнает, что стал богатым наследником.

напоминает то, в котором полвека спустя окажется Г. Дж. Уэллс, и трудно представить себе ситуацию, более благоприятствующую чувству классовой уязвимости. Диккенс был, в сущности, гораздо глубже ранен своей социальной принадлежностью, чем любой другой значительный английский литератор. Никто не писал с такой страстью, негодованием, болью о страданиях бедняков, но меньше всего на свете он хотел бы, чтобы его принимали за одного из них.

Он мог красноречиво и сокрушительно выразить классовую ненависть Брэдли Хэдстона{94} и Чарли Хэксема{95}, но, возможно, не сумел бы передать ее как личное чувство, как это удалось Стендалю устами Жюльена Сореля{96}.

Он был навсегда, как бывает с очень немногими, ранен тем обстоятельством, что в двенадцатилетнем возрасте его отправили на маленькую

{94} Комментарии: 2.94

Брэдли Хэдстон — персонаж романа «Наш общий друг», школьный учитель, коварный и низкий человек. Роман публиковался в журнале «Круглый год» в 1864–1865 гг.

{95} Комментарии: 2.95

Чарли Хэксем — персонаж романа «Наш общий друг», который добывал себе на пропитание тем, что вылавливал по ночам из Темзы трупы утопленников, грабил их, а потом уже сообщал об этих утопленниках в полицию.

{96} Комментарии: 2.96

Жюльен Сорель — герой романа Стендаля «Красное и черное» (1830).

фабрику ваксы, расположенную близ Блэкфрайарского рынка, — последствие обычной некомпетентности, нет, хуже, чем некомпетентности, отца в денежных делах. Но для юного Диккенса это означало еще, что к нему отнеслись, как к обыкновенному мальчику, работающему с другими обыкновенными мальчиками, лишенными возможности получить образование, на что, по его мнению, он имел полное право. Он так никогда и не простил оскорбления и не говорил об этом.

Отсюда его настойчивое стремление подчеркнуть особое положение героя всякий раз, когда им является мальчик. Тогда герой в той или иной степени — часть его собственного сознания. Например, Оливер Твист{97}, который родился в работном доме и настоящего образования не получил. Однако трущобные бродяжки сразу прозревают в нем существо высшее, непостижимым образом, если учесть воспитание и среду, владеющее правильной английской речью. А на каком языке говорил сам Диккенс в свои девятнадцать

{97} Комментарии: 2.97

Оливер Твист — герой романа Диккенса «Приключения Оливера Твиста»; ребенок, родившийся в работном доме, то есть в доме призрения для бедняков, где господствовал жесткий режим и обязательная работа в пользу благотворительных обществ. Роман печатался в журнале «Смесь Бентли» в 1837–1838 гг.

лет, когда стал поклонником Марии Биднелл? Любой обладавший тонким английским слухом человек распознал бы в его манере говорить следы городского просторечья. У Диккенса тоже был тончайший слух на английское слово, и ко времени первого успеха он сведет просторечные элементы на нет. Другой пример — Пип из «Больших надежд»{98}, самого совершенного создания его зрелого творчества, тонкий и прекрасно исполненный анализ социального восхождения парвеню. Однако читатель и здесь острее ощущает боль незаживших детских ран Пипа, чем нравственную посылку автора.

Рана самого Диккенса тоже была неисцелима. Эдмунд Уилсон{99} прав, отмечая это, но вряд ли эта затаенная уязвленность омрачала остальные качества личности. Она была гиперболична во всех проявлениях, как это и свойственно гению.

В юности, только что переступив порог отрочества, Диккенс был ослепителен. Он обладал невероятным обаянием, был денди и любил

{98} Комментарии: 2.98

Пип из «Больших надежд» — герой романа Диккенса «Большие надежды», деревенский мальчик, выросший в семье кузнеца. Роман печатался в журнале «Круглый год» в 1860–1861 гг.

{99} Комментарии: 2.99

Уилсон, Эдмунд (1895–1972) — американский романист и критик.

пустить пыль в глаза. Он отличался необыкновенной, какой-то странной, девически нежной красотой. Рисованные портреты, запечатлевшие его молодым, и фотографии, сделанные в зрелом возрасте, удивительно непохожи. Создается впечатление, что фотографии принадлежат другому человеку, который никогда не был двадцатилетним юношей с мягким и приветливым выражением лица. Но и в юности эта внешняя мягкость никого не обманывала. Испытания, перенесенные в детстве, не прошли для него даром, и ни один молодой человек не мог похвастаться более твердой волей, хотя трудно себе представить, что его воля была бы менее непреклонной, живи он в самых благоприятных обстоятельствах. Он твердо решил стать тем, что называл «выдающимся человеком». Его уверенность в своих силах была беспредельна. Вообще-то не так уж много на свете великих писателей, которым не хватает уверенности в себе. Но Диккенсу ее недоставало меньше, чем кому бы то ни было. Трудно вообразить другого писателя, который в самом начале литературной деятельности окрестил бы себя Неподражаемым, нисколько не сомневаясь в праве на этот титул.

Однако для такой уверенности в себе у Диккен-

са были все основания. Он был не только одарен величайшим литературным талантом, в чем мог убедиться, когда создавал свои первые беглые зарисовки (сборник «Очерки Боза»{*}), и о чем он, возможно, догадывался еще раньше, он обладал одновременно ясным умом и большими способностями, чего нельзя сказать обо всех великих писателях, и, наверное, достиг бы успеха на любом поприще. Он, очевидно, мог стать актером, о чем вначале подумывал, и знаменитым, или стяжать репутацию видного политического деятеля радикального толка. Он проявил себя как один из самых удачливых — включая и коммерческую сторону дела — издателей.

В сущности, начав свой путь без каких-либо преимуществ, кроме одного — быть Диккенсом, он проявлял сноровку и талант во всем, за что ни брался. Он был судебным репортером (и, как Бальзак, хотя не столь профессионально, разбирался в вопросах судопроизводства, что потом сослужило ему большую службу). Он вымуштровал себя как первоклассного парламентского стенографиста и стал чем-то вроде современного

{*} Комментарии: 2.100

«Очерки Боза» — сборник очерков Диккенса, опубликованных в 1836–1837 гг., первые литературные опыты писателя, собранные из различных журналов.

комментатора-прогнозиста на службе новостей. Как журналист, он освещал избирательную кампанию по всей стране (смотри Итенсуильскую баталию в «Записках Пиквикского клуба»). Он обладал неуемной физической энергией и уже имел побочный заработок, печатаясь в газетах и журналах. Немногим старше двадцати лет{101}, еще до того, как взошло солнце «Пиквика», он обладал надежным доходом, достаточным, чтобы жениться.

В эти блистательные годы только с женитьбой ему не повезло. Девятнадцати лег Диккенс влюбился в Марию Биднелл. Он был не только красив, но, очевидно, физически притягателен и необыкновенно жизнерадостен. С ним было весело. По-видимому, и Мария не осталась к нему равнодушной, но она была легкомысленной и пустой девчонкой, как драматически показало отдаленное будущее. Она не распознала в Диккенсе всех его возможностей, и, что важнее, не поняла этого и ее семья. Отец Марии Биднелл был управляющим банка. Они принадлежали к самой обеспеченной прослойке английской

{101} Комментарии: 2.101

Немногим старше двадцати лет... — «Посмертные записки Пиквикского клуба» начали публиковаться в апреле 1836 г., когда Диккенсу было 24 года.

буржуазии, а Диккенс явился в их дом молодым человеком без гроша в кармане. Возможно также, он показался им вульгарным и самоуверенным, и Мария позволила себя убедить в необходимости порвать с ним.

Он почти незамедлительно утешился. Другая девушка — Кэйт Хогарт, дочь журналиста, — была из семьи, стоявшей ближе к Диккенсу в социальном отношении. Он, конечно, сразу покорил Кэйт и уже до свадьбы командовал и капризничал. Таким же капризным повелителем он оставался и в браке, который продолжался двадцать лет, пока он не разорвал матримониальные узы. Почти наверное, насколько можно судить по косвенным свидетельствам, он обладал страстным темпераментом, но на удивление плохо понимал женщин. Это явствует из его романов, и в смысле проникновения в женскую психологию они не выдерживают и малейшего сравнения с бальзаковскими.

Обладая почти всеми достоинствами: привлекательностью молодости и красоты, блеском одаренности, рано пришедшей и прочной славой, а с двадцати пяти лет и до конца жизни большими деньгами, — словом, всем тем, чему могли бы позавидовать другие великие писатели, он

хуже всех выбирал своих женщин. Мария, Кэйт и, значительно позже, его последний выбор, сделанный уже в зрелом возрасте, были отчаянно неудачны.

Слава пришла к нему раньше, чем к кому-либо из великих, и уже навсегда. К двадцати пяти годам он стал известен всей стране. Славу принесли «Записки Пиквикского клуба», и никогда и нигде еще первый роман не вызывал такого энтузиазма.

Хорошо известно, как это произошло. Начинающие издатели подрядили Роберта Сеймура{102}, известного художника-иллюстратора, сделать серию рисунков. Замысел был — комически обыграть приключения группы спортсменов-любителей. (В тридцатые годы прошлого столетия часто шутили, что люди, не умеющие загнать лису, всегда стремятся выдать себя за сельских джентльменов, знатоков этого дела.) К рисункам надо было придумать подтекстовки. Издатели стали искать автора, которому можно было бы заплатить поменьше. Оказалось, есть молодой, иногда говорящий на кокни журналист, который согласен на их условия. Ему надлежало строго

{102} Комментарии: 2.102

Сеймур, Роберт (1800?-1836) — английский карикатурист, иллюстрировал первую часть «Посмертных записок Пиквикского клуба» в 1836 г.

следовать инструкциям Сеймура. Диккенс взялся за дело и вскоре стал хозяином положения. В двадцать четыре года, почти никому не известный, он меньше всего подходил на роль послушного исполнителя чужой воли. Издатели первыми испытали на себе его дьявольское упорство.

Диккенс собирался пересоздать первоначальный, банальный и скучный, замысел. Плоского начала он избежать уже не мог, но потом отдался на волю импровизации. Все, что ему нравилось, он старался втиснуть в этот «саквояж». Незадачливый Роберт Сеймур застрелился. Что поделаешь: Диккенс потребовал, чтобы взяли нового художника, и уже по его собственному выбору.

Комическая история публиковалась ежемесячными выпусками, по шиллингу штука. Первые выпуски расходились плохо. Тогда Диккенс представил читающей публике забавного, сообразительного и остроумного слугу — одно из самых расхожих средств популярного искусства; очевидно, он уже давно задумал подобный образ. С этого выпуска Диккенсу сопутствовала удача. Страна с ума сходила по «Пиквику», что можно сравнить с тем, как безумствует толпа, когда побивается самый высокий рекорд. Издатели стали

профессионалами, Диккенс — тоже.

Когда сегодня серьезные критики пытаются игнорировать «Пиквика», они тем самым расписываются в абсолютном отсутствии литературного и человеческого чутья. В «Пиквике» очень много от Диккенса того времени и еще больше предвосхищается. Роман переливается и сверкает огнем причудливого диккенсовского, присущего только ему веселья, в котором иногда чувствуется что-то беспокойное и навязчивое. Эту его особенную жизнерадостность позднее пригасят собственные невзгоды, хотя он сохранит способность зажигаться и впоследствии. В «Пиквике» молодой Диккенс с истинным воодушевлением писал почти обо всем: о дорогах Южной Англии, которые в 1830-х годах были очень живописны (если не заглядывать в сельские хижины, что стояли в стороне от проезжих дорог, но туда Диккенс никогда и не заглядывал), огромных блюдах с грубой, но вкусной снедью, об английской погоде — снеге, льде, сиянии солнца, — радостях, доставляемых физической выносливостью, идиотизме парламентских выборов и английского законодательства. За все он брался со вкусом, свидетельствовавшим о простом, неизбалованном аппетите, и со столь

же откровенным и заразительным неуважением к тому, что современный журналист диккенсовского склада назвал бы «истэблишментом». Он питал склонность к созданному им образу невинной доброты, олицетворением которой явился Пиквик. Диккенс еще долго держался этого идеала, который иногда отдавал фальшью, пока не воплотился в более утонченную и глубоко прочувствованную форму, особенно выразительную в русской литературе (достаточно вспомнить князя Мышкина у Достоевского).

Дух безудержного веселья в «Пиквике», иногда уступает место мрачноватым интонациям. Тогда в роман, вместе с короткими вставными новеллами, не имеющими никакого отношения к сюжету, входит готическая тема{103}: вставные новеллы включались главным образом для заполнения места, публикация книги отдельными главами позволила Диккенсу удовлетворять эту потребность творческого темперамента. Интересно поразмыслить над тем, что в последнем

{103} Комментарии: 2.103

Готическая тема. — Представлена в так называемых готических романах, появившихся в последней четверти XVIII в. и предвосхищавших романтизм; это романы «тайн и ужасов», содержащие также и социальные мотивы. Представители готического романа — Хорас Уолпол, Анна Радклиф, Мэтью Грегори Льюис и др.

романе, «Тайна Эдвина Друда»{104}, он дал полный простор этому качеству своего воображения; но оно присутствует и в первом романе.

И далее: он никогда не мог забыть о тенях тюрьмы. И не только потому, что они находили отклик в его эмоциональном складе, но и потому, что омрачили его собственное детство. Наверное, первых читателей «Пиквика» очень волновало то обстоятельство, что герою такого на первый взгляд веселого и развлекательного сочинения, любезному и приятному джентльмену приходится отправляться в тюрьму.

Однако мы, знающие о Диккенсе больше, чем первые читатели, совершаем недопустимую ошибку, недооценивая веселый, развлекательный элемент романа. «Пиквик» — забавная книга. Она совершенно заслуженно принесла писателю репутацию юмориста. В викторианское время Диккенса читали по многим причинам, но прежде всего потому, что нравился его юмор. Теперь мы смотрим на все другими глазами, но и от нас не должна ускользать эта сторона книги.

Юмор Диккенса не имеет ничего равного в произведениях других английских писателей XIX

{104} Комментарии: 2.104

«Тайна Эдвина Друда» — последний, незаконченный роман Диккенса, опубликован в 1870 г.

века. Это не остроумный комментарий в подтексте, как у Джейн Остин. Не спокойная, житейски умудренная, прощающая улыбка Троллопа. В юморе Диккенса нет никакой недосказанности. Много в нем от комизма характеров и положений. В то же время это юмор молодого человека, который пребывает в благословенной уверенности, что только ему известен ответ на загадку, загаданную им окружающим глупцам. Его смех кажется добрее, чем он сам, потому что именно абсурдность человеческого поведения вызывает у него эти приступы неистового веселья. Часто такой смех заставляет чувствовать себя неуютно. Всем нашим шуткам присуще некое скрытое, а может быть, и не столь уж скрытое злорадство. В шутках Диккенса его было немало. Так, Флора Финчинг{105} на первый взгляд — милый комический литературный образ. Но когда нам становится известно, какие обстоятельства жизни его породили, мы ощущаем неприятную горечь во рту. Диккенс с романтическим энтузиазмом добивался встречи с постаревшей Марией Биднелл, спустя двадцать лет после разлуки. А встретившись, увидел, что это глупая, болтливая,

{105} Комментарии: 2.105

Флора Финчинг — персонаж романа Диккенса «Крошка Доррит», преданный друг главной героини.

склонная к внезапным поступкам и театральным эффектам женщина. Диккенс был слишком жестоко разочарован, чтобы попытаться взглянуть на происходящее с ее точки зрения или с точки зрения всепрощающего бога и понять, что в подобной встрече есть драматизм подлинного страдания.

Подражательный молодой юмор Диккенса особенно замечателен молниеносными ассоциациями, умением отыскать нечто общее между словами и предметами и всем тем, что имеет в себе хоть каплю смысла. Поэтому книги у него уравниваются с людьми, а люди — с дверными ручками. Искусство подражания одухотворено высочайшим мастерством. Однако, в общем и целом, Диккенсу вскоре надоело это мастерство подделки, мимикрии. В тридцать лет он еще смог создать «Мартина Чезлвита», который имеет сильнейшие основания считаться наиболее содержательным комическим английским романом. Пекснифф{106} — прекрасный образец диккенсовского жестокого юмора (как Джонас

{106} Комментарии: 2.106

Пекснифф — отъявленный лицемер и скряга, персонаж романа «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита».

Чезлвит{107} — великолепнейший пример готической фантазии, причем проникновение в психологию преступника предвосхищает открытия Достоевского). Но после «Мартина Чезлвита», в «Дэвиде Копперфилде»{108}, опубликованном, когда Диккенсу исполнилось тридцать семь лет, мы слышим взрыв самого беспечного смеха; правда, подшучивание молодого весельчака может сосуществовать со всеми другими видами юмора.

После «Копперфилда», прежде всего по привычке и потому, что Диккенс больше, чем остальные писатели, помнил о читателе, стараясь не обмануть его ожиданий, он использует юмор подражания и с готовностью создает комические персонажи. Но почти все они литературны, все эти капитаны Каттли{109}, Венусы{110} и прочая

{107} Комментарии: 2.107

Джонас Чезлвит — персонаж того же романа, низкий и подлый человек.

{108} Комментарии: 2.108

«Дэвид Копперфилд» — роман Диккенса, опубликован в 1849–1850 гг. в журнале «Хаусхолд уордс».

{109} Комментарии: 2.109

Капитан Каттль — персонаж романа Диккенса «Домби и сын» (1848), старый морской волк.

{110} Комментарии: 2.110

Венус — персонаж романа Диккенса «Наш общий друг», служитель в морге.

умело сфабрикованная масса. Создается впечатление, что видишь стареющего артиста варьете, который повторяет надоевшую программу. Он устал, ему не по себе, и он ждет не дождется, когда же ему поручат настоящую роль в настоящей пьесе.

Диккенс — один из наиболее сложных писателей, и разновидности его юмора так же сложны и противоречивы. Юмор подражания для читателя XX века еще не совсем ушел в прошлое, но есть иная форма комического, которую можно назвать поисками другой, сюрреалистической действительности — определение неточно, — и этой форме мы почти не можем противостоять. Возьмите Сару Гэмп у Диккенса — ведь это в высшей степени загадочное проявление его гениального комизма. Способен ли был кто-нибудь другой, не исключая Шекспира, создать нечто подобное и, повинуясь внезапному капризу, ввести такой персонаж в книгу? Триумф этой творческой изобретательности мы встречаем и в более позднем романе, в «Крошке Доррит». К этому времени комическая жила была им почти истощена, и тем не менее в сцене, где он довольно зло смеется над Флорой Финчинг, мы встречаем великолепную, фантастическую, гротескную и

непостижимую тетушку Флоры.

Юмор Диккенса не столь уж мягок, вернее, менее мягок, чем можно наблюдать у других писателей в эпизодах, где есть элемент эксцентрики, но живостью и причудливостью он превосходит их всех, за исключением Пруста.

Существует из этого правила одно блистательное исключение. Это «Дэвид Копперфилд», с которым связаны самые добрые и глубокие чувства писателя. Эти чувства настолько сильны, что их не может скрыть даже блеск его гениальности. «Дэвид Копперфилд» — это в буквальном смысле его романтический дом-крепость. Диккенс гораздо снисходительнее к мистеру Микоберу, чем к другим своим совершенным комическим персонажам, это проявляется не только в авторском отношении к образу, но и в языке, каким он говорит о нем. Диккенс также гораздо снисходительнее к самому Дэвиду Копперфилду, чем к другим персонажам. Конечно, Дэвид Копперфилд — это, в сущности, сам Диккенс, и не в обычае Диккенса подвергать жестоким насмешкам это чувствительное и достойное существо. Здесь он вводит значительную толику своего самого доброго, восхитительного комизма.

Вот, например, Дэвид дает первую вечеринку.

Он устраивает кутеж, для которого запасается большим количеством спиртного, и напивается сам: ведь он новичок по этой части. После кутежа присутствующие отправляются в театр, что в миле или двух от квартиры Дэвида. «Какое-то замешательство в темноте — оказывается, исчезла дверь. Я ощупью разыскивал ее в оконных занавесках, когда Стирфорт, смеясь, взял меня под руку и вывел из комнаты… На последних ступенях кто-то упал и скатился вниз. Кто-то другой сказал, что это Копперфилд. Меня рассердила такая ложь, но вдруг я почувствовал, что лежу на спине в коридоре, и стал подумывать, что, пожалуй, тут есть доля правды»[19]. (Затем следует сцена в театре, где Дэвид встречает Агнес, которая благоразумно считает, что друзьям лучше незамедлительно проводить его домой. Он бормочет «сспок… нок», встает и уходит.) «Приятели последовали за мной, и прямо из ложи я шагнул в свою спальню, где был один только Стирфорт, а я то уверял его, что Агнес — моя сестра, то принимался умолять принести штопор, чтобы откупорить

[19] Примечания: 1.19

Ч. Диккенс. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. М., 1959, с. 428.

еще бутылку вина»[20].

Покажите мне лучшее и более добродушное описание первой попойки! Обратите внимание на фразу: «И прямо из ложи я шагнул в свою спальню». Диккенс был мастером в искусстве выражения и при этом предельно экономен в словах…

Когда он создавал «Пиквика» и каждый месяц ему во что бы то ни стало нужно было давать очередную порцию повествования, он использовал достигнутый успех с непостижимой для других энергией. Уже планировались другие романы. «Оливер Твист», «Николас Никльби»{111} и «Барнеби Радж»{112} принимали неясные очертания в его воображении. Уже заключались договоры на эти романы и на альманах «Смесь Бентли»{113}. Труд, богатство, слава! Что касается собственно

---

[20] Примечания: 1.20
Там же, с. 430.

{111} Комментарии: 2.111
Николас Никльби — герой романа Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби», благородный и великодушный молодой человек. Роман публиковался в журнале «Смесь Бентли» в 1838–1839 гг.

{112} Комментарии: 2.112
Барнеби Радж — герой исторического романа Диккенса «Барнеби Радж» (1841), силач с разумом ребенка.

{113} Комментарии: 2.113
Альманах «Смесь Бентли» — журнал, созданный в 1837 г., издателем его был Ричард Бентли (1794–1871), а редактором Чарльз Диккенс.

романов, он еще не был тем сознающим свои силы опытным мастером, которым станет впоследствии, что-то и утрачивалось в процессе созидания, например неукротимая стихийность, но приобретения были значительнее. Ни один из его романов, вплоть до «Мартина Чезлвита», не имеет строго последовательного сюжета. Все они возжигаются от одного взгляда, который несравненный журналист бросает вокруг: закон о бедных{114} и работные дома, малолетние лондонские преступники, школы Йоркшира, где воспитываются незаконные и нежеланные дети. Об этих несчастьях знали все, но Диккенс понимал, что надо осветить их огнем воображения, дабы каждый мог их увидеть. Однако художественные совершенства ранних романов, а их немало, проистекают не из их общезначимого смысла, они имеют самодовлеющее значение. Так, в одном из ранних произведений, в «Лавке древностей»{115}, фигура Квилпа не столько важна для развития действия, сколько является

{114} Комментарии: 2.114

Закон о бедных. — Был принят в Англии в 1834 г.; согласно ему, отменялись денежные пособия беднякам, а также учреждались работные дома, куда заключались неимущие, обращавшиеся за помощью.

{115} Комментарии: 2.115

«Лавка древностей» — роман Диккенса, опубликованный отдельным изданием в 1841 г.

независимым порождением искрометной гениальности автора. Квилп словно упал в роман с луны, вернее, он — проявление той дьявольщины, которая была присуща самому Диккенсу. Есть что-то квилповское в том, как он вел себя иногда у Хогартов, правда эта квилповщина была слегка разбавлена для домашнего употребления.

Хотя в двадцать пять лет Диккенс еще не сложился в зрелого мастера, каким станет впоследствии, как сильная личность, воплощение воли и деловой человек он уже сформировался и таковым останется до конца. С того самого момента, когда он впервые познал успех, приносящий деньги, он был твердо намерен получить все, что ему причиталось. Ничто не должно мешать ему. Он был безжалостен с издателями. Если надо было разорвать договор, он его разрывал. Лишения юности закалили его волю. Мелкие неудачи сделали ее острой, как лезвие. Он нелегко прощал. Умел мастерски торговаться, прекрасно понимая, каким источником наживы его творчество стало для издателей. Была в его натуре какая-то неуязвимость, что всегда помогала ему побеждать.

В сущности, он не был щепетилен. Он обладал способностью, как и Джордж Элиот, например, убеждать себя в собственной правоте, когда речь

шла о делах. Его издатели не всегда разделяли эту убежденность. Мы тоже не думаем, что он всегда бывал прав. Но следует помнить, что в середине XIX столетия книгоиздательское дело было наполовину любительским и лишенным большого размаха, без четко определенных, всеми признаваемых принципов. В личных делах Диккенс был неукоснительно честен. Вскоре он стал жить на широкую ногу, как приличествует знатному человеку, и взял на себя ответственность за обременявших его, паразитирующих безалаберных родственников, а со временем и за разочаровавших его сыновей. Несмотря на это, он умело распоряжался своим состоянием и умер, оставив 93 тысячи фунтов стерлингов — солидная сумма для литератора в 1870 году.

Как удивительно по-разному жили видные писатели в викторианской Англии и их иностранные современники! Англичане все без исключения были сведущи в деловых отношениях и успешно распоряжались деньгами: Диккенс, Троллоп (честный, но умевший жестоко торговаться), Теккерей (если не считать некоторых экстравагантностей молодости, столь же осмотрительный), Джордж Элиот (с помощью

Льюиса{116} ставшая самым искусным дельцом), Харди (бережливый до скупости). Их французские коллеги — Гюго не в счет, — напротив, нередко испытывали денежные затруднения, а Стендаль и Бальзак нуждались всю жизнь. Русские писатели были либо состоятельными землевладельцами (Толстой, Тургенев), которые могли обойтись без больших литературных гонораров, либо стесненными в средствах (Достоевский), у которых денег было значительно меньше. Такое же разительное противоречие существовало между тем, какой образ жизни вели англичане и французы, но об этом ниже. Однако что касается стиля жизни, тут сравнение не в пользу англичан.

В тридцать лет Диккенс достиг пика свершений и возможностей, доступных блестящим молодым людям. Наверное, если судить по современным меркам, он был не так уж молод, хотя все еще очень моложав на вид. Его характер сложился полностью, обрел завершенность в большей степени, чем это свойственно людям его возраста. Возможно, у Диккенса было предощущение, что жизнь, даже такая внешне блестящая, как у него, почему-то странно, непонятно мрачна и сулит

{116} Комментарии: 2.116

Льюис, Джордж Генри (1817–1878) — английский литературный критик и философ-позитивист.

разочарования. Его великое, зрелое мастерство было еще впереди, но литературный труд давался ему со все большим напряжением. Он уже не был источником неудержимого веселья, когда в избытке уверенности в своих силах, в упоении успехом и предвкушении счастья сочинять так же естественно, как дышать. Наверное, знавших его удивляло, что он играет в любительских спектаклях, словно хочет найти больше удовлетворения или способ забыться, но начиная с тридцати лет его настроение редко безоблачно, он все меньше чувствует себя счастливым. У него бывали приступы необузданной жизнерадостности, он твердил о счастье, но все чаще его надежды оказывались обманутыми.

Обладая безграничной жизнерадостностью юности, он тем не менее испытывал негодование, когда сталкивался с проявлениями социального зла. Это было благородное негодование, которое усиливалось по мере того, как ослабевало юное воодушевление и нарастало внутреннее беспокойство. Оно прорывается в «Рождественских повестях»{117}, но полностью выражено в романах

{117} Комментарии: 2.117

«Рождественские повести» — цикл повестей Диккенса, опубликованный в 1843–1846 гг.

«Холодный дом»{118}, «Крошка Доррит» и «Наш общий друг» — мрачных произведениях, где его социальное негодование откровеннее, чем когда-либо. Оно не столь явно в «Дэвиде Копперфилде» и «Больших надеждах», но там требовали выхода другие стороны его натуры.

Он был и всегда оставался в известном смысле слова радикалом. Тут, правда, необходимо сделать некоторые оговорки. Он не был политическим мыслителем. Он ненавидел многие язвы общества, в котором жил. Его критика была жестока, иногда она основывалась на непроверенных данных, но часто была справедлива. Взрыв негодования, вызванный словами Скруджа{119}, полагающего, что общество имеет право освобождаться от калек вроде малютки Тима, чтобы сократить излишек населения — сейчас такие меры получили бы название демографической политики, — выливается в великолепную страстную отповедь воинствующего добра.

«Человек! — сказал Дух. — Если в груди

{118} Комментарии: 2.118

«Холодный дом» — роман Диккенса, опубликованный в 1852–1853 гг.

{119} Комментарии: 2.119

Скрудж — персонаж повести Диккенса «Рождественская песнь в прозе» (1843), старый скряга.

у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, ЧТО есть излишек и ГДЕ он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто — умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли!»[21]

Между прочим, только писатель величайшего дарования мог создать «Рождественскую песнь в прозе». Она была написана в ощущении совершенной внутренней свободы, в то время как мрачные романы его зрелого возраста, с их продуманной и рассчитанной композицией, несут на себе след духовного напряжения.

У него был острый глаз на несправедливость, страдания, глупость, он незамедлительно и страстно откликался на них. При этом Диккенс

---

[21] Примечания: 1.21

Ч. Диккенс. Собр. соч., т. XII, Рождественские повести. М., 1959, с. 62.

иногда слишком безоговорочно клеймил: парламент — абсурдное учреждение, власти не имеют понятия о реальном положении вещей или продажны, английское общество прогнило насквозь. Он не видел, что многие из зол — неотъемлемая часть любого общественного механизма и что всякое общество так же несовершенно, как и отдельный человек. С того времени мир многое узнал о различных видах социального устройства. Некоторые общественные недостатки, против которых Диккенс ополчался во всеоружии своего грандиозного красноречия, были исправлены, но не теми утешительными средствами, которые он предлагал. Диккенс безоглядно верил, или старался верить, в то, что люди со временем станут лучше и что человечность и доброта сделают мир таким, каким ему хотелось его видеть.

Однако события развивались иным путем. Столетие спустя он смог бы убедиться, что вопиющих общественных пороков стало меньше, но благодаря более жестким мерам, чем он себе представлял.

Диккенс великолепно понимал настоящее. И как все, у кого это понимание развито особенно остро, он не очень ясно видел будущее. Можно

привести характерный пример, относящийся ко времени его первой поездки в Америку, в тридцатилетием возрасте, когда беспокойство, нетерпение, тревога начали подтачивать его энергию. Он уезжал в Америку, надеясь, что там, в Новом Свете, он увидит общество, свободное от традиций, от наследственных недостатков, которые он ненавидел в Англии, и найдет нечто близкое к своему социальному идеалу. Он обманулся в ожиданиях. Еще ни одного писателя до него не принимали в Америке так торжественно. Никого никогда не будут чествовать так, как чествовали Диккенса. Но когда он затронул вопрос о международном авторском праве (ведь он бы мог составить целое состояние на американских изданиях своих романов), его атаковала пресса. Он не любил нападок. И как всегда в таких случаях, проявил железную волю, а его недовольство стало еще непримиримей. Вскоре он уже питал к Америке большее отвращение, чем к Англии. Интересно, но он, по-видимому, и на секунду не задумался о том, что страна может меняться.

Этот эпизод характерен для Диккенса, он так же знаменателен, как позиция радикалов-утопистов, родственных Диккенсу по духу, которые отправились в Советский Союз в тридцатые го-

ды, ожидая найти там рай небесный, и остались разочарованы. Во времена Диккенса только рефлектирующие скептики вроде Энтони Троллопа могли представить себе будущее Америки.

В тридцать с небольшим Диккенс выглядел все еще необыкновенно молодо. Том Троллоп, старший брат Энтони, позднее один из близких друзей Диккенса, при первой встрече описал его как «щеголеватого, напоминающего хорошенького мальчика человека, удивительно моложавого… не лишенного язвительного остроумия».

Как же мало они понимали его! Диккенс уже простился с молодостью. Он вступил в ту полосу жизни, которая будет длиться до конца, полосу ничем не утолимого беспокойства. Да, выходили великие книги, но какого напряжения это стоило! Сколько сил ушло на маленькие «Рождественские повести», и все, кроме первой, полной разных чудес, были вымученной самопародией, правда очень выгодной в денежном отношении. Напряжение, с которым ему давалась работа, заставляло его пускаться на разные хитрости, чтобы отдалить тот момент, когда надо было садиться за стол. Путешествия. Игра в любительских спектаклях, которая поглощала непропорционально большую долю его неуемной энергии. Планы

издания газет. Планы по изданию журналов, которые с течением времени осуществились. Затем другие планы, убийственные, насчет публичных чтений, которым тоже настал свой черед.

Трудно утверждать, но, возможно, он сам многие годы не мог понять причину этого усиливавшегося беспокойства, которое с каждым днем было труднее контролировать. Казалось, у него есть все, чего только можно пожелать. Так откуда эта неудовлетворенность?

Мы знаем ответ, и со временем он тоже понял причину, но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Его брак не задался, и — возможно, он постарался себя в этом убедить — с самого начала. Его жена, Кэйт, за пятнадцать лет родила десять детей, часто с минимальными промежутками между родами и новой беременностью. Уже в первые годы после женитьбы ему стало с ней скучно, она раздражала его — при этом он не допускал и мысли, что тут не только ее вина. Она была не особенно умна и не сумела стать ему другом. Меланхолический темперамент не позволял ей делить его лихорадочную активность. Она не представляла интереса и для общества, поэтому по мере того, как возрастала известность Диккенса, его все чаще приглашали в гости одного.

«Бедная, милая миссис Диккенс», — говорила о ней благожелательно настроенная миллионерша Анджела Бердет-Кутс. Семейная жизнь величайшего глашатая радостей домашнего очага таила в себе фальшь и ложь. Диккенса преследовало ощущение, что он обделен, что он имеет меньше, чем ему положено. Жизнь стала невыносима.

Мы не знаем, задумывался ли он над тем, что подобную неудовлетворенность он испытывал бы с любой другой женщиной, хотя некоторые из близких ему людей на нечто подобное пытались намекать. Обладая пылким романтическим воображением, он, очевидно, постоянно жаждал, сейчас и непременно, совершенной любви. Обладай он способностью к углубленному самоанализу, он мог бы вспомнить одно чрезвычайно странное обстоятельство, а именно: он сразу же после свадьбы увидел свой идеал в шестнадцатилетней свояченице, а после ее смерти боготворил ее память — странность, на которую из мужчин способны очень немногие.

Диккенс не был проницателен в отношении женщины, мало зная, на что она способна. Со свойственными ему нежеланием считаться с волей других людей и преувеличенным вниманием к себе, он принимал в расчет только

свою любовь, но отнюдь не ответное чувство. Описание всепоглощающей страсти Дэвида к Доре — одно из лучших описаний юношеской любви в мировой литературе, но эта любовь — как одностороннее движение. По-видимому, совершенно неважно, что и Дора может любить. Теперь нам известно, что нечто подобное произошло с самим Диккенсом. Мы не знаем, любила ли Мария Биднелл юного Диккенса, просто потому, что он сам этого не знал. Он понял лишь, что она неравнодушна к Диккенсу пожилому, а также то, что воспылал безумной надеждой вернуть очарование прошлой любви. И жестоко посмеялся и над этой надеждой, и над самой Марией в «Крошке Доррит».

К сожалению, в своем отношении к женщине, как в жизни, так и в искусстве, Диккенс был сыном своего времени. Все английские писатели-викторианцы не выдерживали в этом сравнения с европейскими коллегами, и он — более других. Англичане блестяще решали свои деловые проблемы, но по сравнению с Бальзаком, Стендалем, Гюго, Толстым и Достоевским они недостаточно знали психологию женщины, тоже существа из плоти и крови. Некоторые, например Троллоп и Харди, интуитивно глубоко постигали женскую

психологию и понимали, что женщина тоже личность, а не просто объект для любви. Эта интуиция компенсировала им недостаток опыта, которым обладал Бальзак.

Но у Диккенса не было этого интуитивного знания. Ему слишком импонировало его собственное «я». Ему казалось, что он знает, чего хочет. Он был абсолютно уверен, что достигнет всего, чего бы ни захотел, в любой сфере жизни. Кроме этой. Отсюда — горькое разочарование его последних лет. (Напрашивается сравнение с Достоевским[22], который в чем-то похож на Диккенса, но который вопреки всему проявил гораздо больше мудрой терпимости, что и помогло ему, как будет показано в следующей главе этой книги, чувствовать себя все более счастливым в возрасте, когда Диккенс становился все более неприкаянным и несчастным.) Отсутствие интуиции и способности судить беспристрастно — причина величайшего недостатка романов Диккенса. Во всем собрании его сочинений вряд ли можно сыскать хоть один пример тех истинных отношений между мужчиной и женщиной, где каждый играет важную роль. При таких отно-

---

[22] Примечания: 1.22
Имеется а виду брак с молодой А. Г. Сниткиной.

шениях радость общения, любовь или желание обладать не обязательны, но главное в том, что он и она — люди из плоти и крови: примером могут служить отношения Грушеньки и Мити, Наташи и Пьера, Цезаря Бирото и Констанции{120}, Бальтазара Клаэса и Жозефины.

Продолжать совместную жизнь с женой — после двадцати с лишним лет брака — стало для Диккенса невозможно. Он был не из тех, кто выносит невыносимое. Так или иначе, но разрыв был неминуем. Они расстались, причем расставание было исполнено какой-то странной жестокости. Диккенс полюбил восемнадцатилетнюю девушку. Ее звали Эллен Тернан{121}, она выросла в семье актеров, где все женщины были интеллигентны и одарены, даже и не являясь актрисами. Его любовь была самозабвенна и, насколько можно судить, чиста — еще одна попытка догнать Дух Юности (именно так он называл ее в письмах к недоверчивым друзьям). Он подарил ей браслет, украшенный драгоценными камнями, но по

{120} Комментарии: 2.120

Цезарь Бирото и *Констанция* — персонажи романа Бальзака «Цезарь Бирото» (1837).

{121} Комментарии: 2.121

Тернан, Эллен Лоулесс (1839–1914) — английская актриса, с которой Диккенс познакомился в 1857 г.

ошибке ювелира счет получила жена.

Кэйт горевала, возмущалась, утопала в слезах. Конечно, она и раньше знала, что их отношения переживают кризис. Ее родные, к которым Диккенс был всегда очень щедр и которые по этой причине его не любили, тоже узнали обо всем и решили, что именно она должна настаивать на разъезде. По их мнению, он был в ответе за все ее несчастья. Он не только не любил ее, он дурно с ней обращался. Она должна немедленно его покинуть, а он обязан обеспечить ее.

Диккенс впал в ярость. Не из-за предполагаемого разъезда, но потому, что его оскорбляли, на него клеветали. Он не склонен был выслушивать упреки в несправедливости, а когда слышал их, то встречал их во всеоружии совершенно непроницаемого высоконравственного негодования. Тогда Хогарты пустили слух, что Эллен Тернан — его любовница. Негодование Диккенса превратилось почти в безумие. Он атаковал их со всей мощью своей неукротимой воли. Он не даст жене ни гроша, тем более — ее родным, если они не откажутся от клеветы, причем засвидетельствуют свой отказ документально, на бумаге, чтобы его можно было опубликовать и чтобы в документе содержалось заявление жены, безоговорочно

отрицающей справедливость подобного обвинения. Несколько недель велись переговоры, и, как всегда, в единоборстве характеров победил Диккенс. Хогарты и Кэйт подтвердили, что Эллен чиста и ее отношения с Диккенсом невинны. Они, конечно, и минуты в это не верили, но тогда дело обстояло именно так.

Диккенс и дальше действовал словно в помешательстве. Он настаивал на опубликовании в прессе заявлений, в которых утверждалось, что разрыв с женой был необходим, но доброволен. Казалось, ему совершенно изменил здравый смысл. Он был полон решимости убедить своих возлюбленных читателей, что он всегда был безупречен и таковым остался. Ему подали дурной совет, и, хотя он обычно не слушал ничьих советов, на этот раз своему обыкновению изменил. Издатель «Таймс» считал, что публичные объяснения послужат преградой для сплетен. Он ошибся. Слухи множились.

Диккенс нашел отдушину — единственную, которую всегда находил, — в лихорадочной деятельности. Больше театральных постановок! Больше публичных чтений! Эти последние должны были показать, как к нему относится публика. Неужели теперь она от него отвернется? Он вы-

шел на сцену в Сент-Мартинс-Холле{122}, владея собой в совершенстве. Ведь при всем при том он великолепно умел управлять публикой. Аудитория встретила его с неизменным восторгом и любовью, пожалуй даже большими, чем обычно. И так было по всей стране. Подобно некоторым актерам, он взывал к эмоциональной поддержке со стороны публики, словно та была женщиной, у которой он мог ее черпать, будь он другим человеком, более счастливым в любви. Однако на любовь читателей он мог положиться всегда.

Насколько можно догадываться (сведения отрывочны, но их немало), от Эллен Тернан он большой поддержки не получал. Он питал к ней восторженную любовь, любовь молодого человека, который пытался вернуть радостное возбуждение, испытанное в двадцать лет с Марией Биднелл. Он опьянел от восторга, но теперь он был опытнее. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять: Эллен не похожа на обожаемых им инфантильных «милочек», которых так много в его прежних романах. Пришло время, и она стала его любовницей — очевидно, не выдержав натиска его неукротимой воли (и, возможно,

{122} Комментарии: 2.122

Сент-Мартинс-Холл — здание для общественных собраний в Лондоне.

не устояв перед соблазном некоторых мирских благ). Однако человек, который больше, чем Диккенс, понимал женщин, его друг Уилки Коллинз, который иногда увлекал его в увеселительные поездки в Париж, не приносившие менее легкомысленному Диккенсу никакого удовольствия, возможно, говорил ему, возможно, просто намекал, что женщина, уступившая натиску, не слишком склонна любить победителя. По-видимому, она относилась к нему с холодностью. Во всяком случае, хотя подобное предположение ничем не может быть подтверждено, Эллен не испытывала к нему физического влечения.

Он устраивал ее на разных тайных квартирах в пригородах Лондона, и эти странные, таинственные отношения продолжались лет десять — до самой его смерти. Таким образом, его мечта об идиллической любви обернулась безотрадной реальностью, как и все предыдущие надежды, и он должен был понять, что надеяться больше не на что. Сама Эллен, в зрелом возрасте, с неприятным чувством вспоминала о времени, прожитом с Диккенсом.

Бесспорно, однако, что она оставила след в его творчестве. Еще до того, как он страстно ее полюбил, Диккенс, несомненно, стал более ин-

тересоваться психологией характера, но именно Эллен способствовала углублению его психологизма, во всяком случае, этот процесс совершался не без ее влияния, и я очень скоро вернусь к этому вопросу.

Теперь принято восхвалять «Крошку Доррит» (1856) за то, что роман воспроизводит общество, как Диккенс его понимал. Такой взгляд зависит от того, в чем видеть цель социального анализа. Диккенс изображает современную Англию как огромную тюрьму. Однако, говоря символически, любое общество, повсюду, и во времена Диккенса, и всегда, какие бы политические формы оно ни имело, можно рассматривать в том же духе, а Министерство Околичностей тоже можно преобразовать в более рациональное и эффективное учреждение. Кстати, уже при Диккенсе парламентская практика претерпевала изменения, поэтому в картине, им созданной, чувствуется стереотипное представление, правда воплощенное рукой блестящего журналиста. В любом управляемом обществе, в том числе и обществе будущего, должен быть административный аппарат. Однако людям с темпераментом Диккенса, особенно Диккенса страдающего, кажется, что такой государственный аппарат, даже самый

совершенный, насколько это позволяют ограниченные человеческие возможности, самой своей природой предназначен делать любое общество похожим на тюрьму. Таковы, однако, условия социального и общечеловеческого существования. Поэтому образ, созданный Диккенсом в романе, не конструктивен.

Сравнение общества с тюрьмой встречается довольно часто и в ранних его произведениях. Великолепная новация «Крошки Доррит» состоит в другом, а именно: здесь мы видим наиболее удачную попытку воспроизвести человеческий характер в развитии.

Какие поступки совершает или не способен совершить человек? Что заставляет его избирать тот или иной путь, в чем причина его падения? В этом аспекте Уильям Доррит — наиболее полно и подробно, с наименьшими погрешностями против правды жизни обрисованный персонаж из всех созданных Диккенсом к тому времени. Его превзойдет только образ Пипа из «Больших надежд».

В «Крошке Доррит» мы встречаем другое, столь же замечательное свидетельство нового, а может быть, до тех пор не проявлявшегося интереса Диккенса к психологии. В романе есть почти не

имеющая отношения к сюжету глава, «История одного самоистязания», вставленная в книгу словно для того, чтобы доказать — хотя это не нуждалось в доказательствах, — какой он великолепный мастер, которому подвластно почти все. Эта глава кажется списанной у Достоевского, но будь это даже так, мы рассматривали бы ее как великий образец, прекрасный образец сверхъестественной проницательности, позаимствованной у русского писателя. В действительности же Достоевский тогда отбывал срок поселения в Сибири, его главные романы были впереди, и вряд ли Диккенс хоть когда-нибудь слышал его имя. Наоборот, произведения самого Диккенса оказали активное воздействие и на Достоевского, и на Толстого. Обратного влияния не существовало.

«Крошка Доррит» создавалась до того, как в жизнь Диккенса вошла Эллен Тернан. С ее приходом его внимание к психологии персонажа (не психологии настроения, а поведения, цели, смысла жизни) особенно усилилось. Есть основания предполагать, что и сама она была незаурядна, во всяком случае, ею нельзя было помыкать. Впервые в личной жизни он должен был признать, что существует женщина, с которой нельзя обра-

щаться, как с куклой, и которая не желает жить в кукольном доме. Кстати, эти выражения, «кукла» и «кукольный дом», принадлежат Диккенсу, но, очевидно, потому, что у него так много крылатых, постоянно цитируемых фраз, они прошли незамеченными и вспомнились только много лет спустя после его смерти[23].

Существует также основание полагать, что Эллен не относилась к числу особенно приятных молодых женщин. Эстелла из «Больших надежд» и Белла Уилфер, героиня «Нашего общего друга», очень не похожи на прежние женские образы Диккенса, созданные до знакомства с Эллен. Эстелла и Белла — существа из плоти и крови, в них нет ничего инфантильного, ничего игрушечного. Характеры у них не ангельские. Им присуще дразнящее обаяние. Белла способна на проблески доброты, но обе они неподатливы, черствы, холодны. Они жестоки к любящим их мужчинам. К тому же Белла, характер которой изображен автором более реалистически, еще и неприятно расчетлива.

В финале, правда, каждая переживает трансформацию к лучшему, повинуясь извечному дик-

---

[23] Примечания: 1.23
Аллюзия на драму Г. Ибсена «Кукольный дом».

кенсовскому канону. С художественной стороны «Большие надежды» более совершенный роман, это наиболее удачное произведение с точки зрения авторского самовыражения. Самоанализ Пипа — глубочайший пример интроспекции в творчестве Диккенса. Анализ этот беспощаден и для Диккенса времен «Дэвида Копперфилда» просто недоступен. Остается впечатление (редкое для романов Диккенса, несмотря на множество их других достоинств), что жизнь такова, как изображается в романе, и иной быть не может.

Есть еще одно обстоятельство, может быть незначительное, но достойное упоминания. Еще во времена Диккенса стало в обычае утверждать, что он умеет изображать только людей низкого происхождения, джентльмены же ему не удаются. Это не так. Образ Герберта Покета из «Больших надежд» — пример прочувствованного и убедительного исследования ненавязчивого, скромного благородства, анализ, который мог сделать честь любому викторианскому роману.

Общение Эстеллы с Пипом пронизано стужей, ощущение такое, словно веет из холодильника. И все-таки, хотя Эстелла производит пугающее впечатление, это реалистический образ, и любовь Пипа к ней вполне достоверна: ему, страдающе-

му от мучительной любви, кажется, что именно ее надо жалеть и защищать, ведь она — пожизненная пленница своего холодного «я». Однако в финале, показав Эстеллу сломленной жестоким обращением мужа — заслуженное возмездие за бездушие, — Диккенс изменил первоначальному замыслу. Ранее было задумано, что она и Пип в их последнюю встречу смиренно признают каждый свое моральное поражение и расстанутся навеки. Измененный финал общеизвестен, он был предложен Булвер-Литтоном{123}: Эстелла и Пип встречаются, чтобы уже никогда не разлучаться, впереди у них брак, полный любви и кротости. Булвер-Литтон был хорошим и верным другом и несколько раз оказывал Диккенсу необходимую помощь, но этот совет сослужил дурную службу. Диккенс и следующий роман завершает тем же финалом: обращение Беллы Уилфер, которую спасает преданная мужская любовь. Цель его не столько нарисовать правдивый женский портрет, сколько реализовать хоть таким способом собственные надежды.

И мало у кого были надежды столь блистательные, и мало кто цеплялся за них так отчаянно,

{123} Комментарии: 2.123

Булвер-Литтон, Эдуард Джордж (1803–1873) — английский писатель, автор романов «Пелэм» (1828), «Последние дни Помпеи» (1834) и др.

как Диккенс. Однако самая животрепещущая его надежда, на счастливую взаимную любовь, так и не осуществилась, и совершенно ясно, это читается между строк, что Эллен не принесла ему ни удовлетворения, ни большого счастья. Он пытался найти забвение в своих старых, привычных занятиях, отдаваясь им безогляднее, чем когда-либо. Он взывал к ответной любви читателей — единственной любви, которая оказалась взаимной и которая ему не изменила до конца. Подробности его жизни в последние годы тягостно и вообразить.

Некоторым из близких казалось, что он намеренно себя убивает. Здоровье его было скверно, и это еще слабо сказано. У него постоянно болела левая нога, он сильно хромал и при ходьбе опирался на палку. У него часто распухала левая кисть, и он нередко носил руку на перевязи. Был еще один характерный симптом. Однажды он сказал другу, весьма удивленный этим обстоятельством, что не может прочитать левую сторону магазинной вывески. Сто лет спустя врачи категорически бы запретили ему всякий род деятельности, связанный с большой нагрузкой. Но необходимо помнить, что в случае с Диккенсом даже самый точный диагноз и самое мрачное предупрежде-

ние, скорее всего, были бы безрезультатны.

Он пытался уверять других, а может быть, и самого себя, что эти маленькие неудобства не представляют ничего серьезного. Что касается ноги, то всему виной даже не подагра, просто он ее отморозил, странные же неполадки со зрением — побочное действие лекарства, принимаемого от другой болезни. Таким образом, ничто не могло заставить его отменить вторую поездку в Америку в 1867–1868 годах или сократить число публичных чтений весной, по возвращении в Англию. Он даже расширил программу чтений, включив сцену убийства Нэнси{124} Биллом Сайксом. Когда он читал, кое-кто из публики падал в обморок, а его левая кисть заметно чернела. Как и во всех трудных жизненных ситуациях, он полагался на свою героическую волю: она столько раз помогала ему побеждать, поможет и теперь.

Однако втайне он, вероятно, сознавал, что даже его несгибаемой воли недостаточно. Временами, со свойственным ему холодным мужеством, он понимал, что смерть близка. Он начал новый роман — «Тайна Эдвина Друда», и, может быть,

---

{124} Комментарии: 2.124

…включив сцену убийства Нэнси. — Сцена из романа «Оливер Твист», где члена воровской шайки молодую девушку Нэнси убивает ее дружок Билл Сайкс за якобы совершенное ею предательство.

сознание, что его власть над словом и образом так же велика, как и прежде, поддерживало его иллюзии в отношении здоровья. Тем не менее он распорядился на случай, если умрет раньше, чем закончит последний выпуск романа.

Он захотел также внести изменения в распределение завещаемых сумм. Хотя со времен Вальтера Скотта никто из профессиональных писателей не жил богаче, чем Диккенс — по образу жизни он превзошел даже самых состоятельных торговцев и промышленников, — хотя он был щедр к друзьям, обеспечил семью, поддерживал родственников, его состояние по викторианским меркам было значительно. По сравнению с его 93 тысячами фунтов Джордж Элиот оставила среднее — между 30 и 40 тысячами, причем она владела имуществом совместно с Льюисом{125}, что мешает назвать точную цифру, а состояние Троллопа не превысило 30 тысяч.

Однако в случае с Диккенсом цифры несколько обманчивы. Почти половина денег была заработана им во время второй поездки в Америку и последних английских чтений, которые, очевидно, приблизили его смерть, но были чрезвычайно

{125} Комментарии: 2.125

…Джордж Элиот… владела имуществом совместно с Льюисом. — Джордж Элиот была гражданской женой Генри Льюиса.

выгодны в финансовом отношении. Это приносило ему большое удовлетворение. Разумеется, можно с видом знатока рассуждать о его желании умереть, но справедливости ради надо помнить, что Диккенс всегда любил деньги.

Когда ему снова намекнули, что, может быть, жить осталось недолго, он переписал завещание, оформив его как окончательное. В нем содержалось холодное упоминание о жене: он не простил ее, как в свое время не простил мать, определившую его на фабрику ваксы. В завещании также содержался пункт относительно Эллен Тернан, и это распоряжение никто не в состоянии понять. Диккенс оставлял ей тысячу фунтов. Он не мог не знать, что подобное распоряжение вновь подаст повод к разговорам об их отношениях. При жизни он верил или делал вид, что верит, будто никто ни о чем не догадывается — включая ее собственную сестру Фрэнсис Элинор, вышедшую замуж за старшего брата Троллопа. Конечно, эти двое все знали, как и многие другие. Теперь он давал полную возможность судачить об этом. И все-таки почему он завещал такую странную, непонятную сумму: слишком большую, чтобы считать ее безделицей, и совсем недостаточную, чтобы обеспечить Эллен? Может быть, он

обеспечил ее заранее? Однако тому нет никаких свидетельств, на этот счет ничего не известно.

В последний раз он читал отрывки из своих произведений зимой 1870 года. Выступление состоялось в Сент-Джеймс-Холле. Он понял, что больше не должен появляться перед публикой. На чтении присутствовал его врач, а старший сын сидел у края стола, чтобы не дать отцу упасть, если он потеряет сознание. После каждого прочитанного эпизода врач измерял ему пульс. К концу выступления Диккенс уже не мог внятно произносить столь знакомые имена. «Пиквик» звучал как «Пикник» или «Пеквикс». Однако ничто не могло заставить его отменить чтение. И так продолжалось до самого последнего эпизода. Когда он закончил, прочел последний отрывок (сцену суда в «Пиквике»), он услышал аплодисменты в последний раз. Возбуждение, взаимная симпатия, безумство читателей — все уходило в прошлое. Он заплакал. Диккенс обратился к публике со словами любви и признательности, кончив так: «От этих сверкающих огней я ныне удаляюсь навечно и говорю „прощай“ с сердцем, преисполненным благодарности, уважения и любви». Сильно хромая, он ушел со сцены. Буря аплодисментов заставила его вернуться. Он опять

заплакал. Снова приветствовал присутствующих и снова ушел. На этот раз навсегда.

Дух его был еще силен. Его не заботило то обстоятельство, что симптомы болезни стали угрожающи, что он, по-видимому, обречен. Левая нога болела постоянно, он по-прежнему не мог читать левую сторону вывесок, но убеждал всех, кроме, возможно, самого себя, что эти явления ничего серьезного не означают и что в общем его здоровье великолепно. Как и прежде, он работал над «Эдвином Друдом» во всеоружии мастерства и самодисциплины.

В апреле и мае он участвовал в общественной жизни Лондона, которую никогда не любил, но она сделалась для него привычной. Он завтракал с премьер-министром и обедал со знаменитостями. Он даже руководил постановкой пьесы на любительской сцене и сам хотел играть в ней, но мешала сильная хромота. Эта постановка знаменовала конец его лондонской деятельности. 3 июня 1870 года он вернулся в Гэдсхилл{126}.

{126} Комментарии: 2.126

Гэдсхилл — так назывался дом, где в последние годы жил Диккенс. Дом находился недалеко от дороги, ведущей из Лондона в Дувр, примерно в двух милях от города Рочестер; стоял на вершине холма, откуда открывался великолепный вид. Диккенс приобрел дом в 1856 г., но окончательно поселился в нем в 1860 г. Здесь он дописал роман «Крошка Доррит», а также создал романы «Повесть о двух городах», «Большие ожидания», «Наш общий друг».

По утрам, повинуясь раз навсегда заведенному порядку, он работал над романом. После обеда неуклонно выходил на обычную прогулку, хотя сильно хромал. Он беседовал со своим верным другом, свояченицей Джорджиной, которая после его разрыва с женой стала хозяйкой в доме. Он беседовал с дочерью Кэти, которая держала сторону матери и с которой его отношения были сложны, потому что она знала его лучше, чем остальные дети.

8 июня вопреки обыкновению он писал «Друда» весь день напролет. Последний из эпизодов так и дышит ощущением благоденствия, хотя для нас он звучит как прощальное слово, обращенное к Рочестерскому кафедральному собору, каким Диккенс знал и любил его с детства. За обедом, с лицом, искаженным болью, он сказал Джорджине, что очень нездоров. Речь его стала невнятна. Джорджина помогла ему опуститься на пол. У него произошло сильное кровоизлияние в мозг. Больше он не приходил в сознание. Он умер вечером следующего дня.

Пер. М. Тугушевой*

Генри Джеймс{˘}

Среди людей, знавших Генри Джеймса{128}, вряд ли отыщется хоть один, кто не испытывал бы к нему симпатии. Это был великий писатель, отличавшийся самыми учтивыми манерами и светской респектабельностью. Его деликатность не знала пределов, так же как и доброта; Когда он занял в литературе видное место; а его разработка теории прозы создала ему репутацию мэтра, к нему со всех сторон хлынули рукописи собратьев по перу. Он добросовестно читал их и, пытаясь обнаружить в них какие-нибудь достоинства, отвечал длиннейшими письмами, полными запутанных комплиментов; но, так как он не мог изменить своим представлениям об искусстве, ему приходилось обычно высказывать в этих письмах некоторые сомнения, скрытые среди свойственных его стилю двусмысленных

{˘} Комментарии: ˘

Опубликован в книге Сноу «Реалисты».

{128} Комментарии: 2.128

Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель, показывающий в своих романах психологические конфликты, имеющие социальную мотивировку. В 1875 г. писатель переселился в Европу, в 1915 г. принял британское подданство.

оборотов. Он пользовался непререкаемым авторитетом, и в Англии его чтили больше, чем любого другого писателя до или после.

Он был ученейшим литератором своего времени. Слушая его, кое-кто, без сомнения, был вынужден прятать улыбку. Возникало ощущение какой-то несуразицы, когда он раз за разом, словно давшая сбой вычислительная машина, упрямо пытался найти самое точное, самое лучшее слово, которое в конце концов благополучно отыскивалось после нескольких минут напряженных усилий. На удивление часто он испытывал в конечном счете удовлетворение от найденного слова, — но производимый им эффект был не тот, на который рассчитывал писатель.

В атмосфере окружавшего Джеймса почтения наиболее проницательные из его друзей тем не менее догадывались, что он не был в полной мере счастлив (по-настоящему близких друзей у него, впрочем, не было, что само по себе говорит о многом); Жизнь его не отличалась разнообразием в ней было не намного больше внешних событий, чем в жизни Джейн Остин, — если не считать того, что в двадцать лет с небольшим он сделался профессиональным писателем и познал всю горечь разочарований и радость редких

побед, которые выпадают на долю литератора. В каком-то смысле он вел одинокую жизнь кабинетного ученого, если можно представить себе ученого, так же преданного науке, как Генри Джеймс был предан литературе: он совершал не слишком обременительные путешествия, чаще всего по Франции и Италии, увлекался архитектурой и живописью, проявляя при этом больше эрудиции, чем оригинальности, присутствовал на званых обедах в Лондоне, посещал загородные дома своих знакомых, а приближаясь к старости, стал завязывать романтические дружеские отношения с молодыми людьми. Этот последний момент не следует упускать из виду, учитывая данные, которыми мы располагаем во второй половине XX века.

Все это не могло дать ему удовлетворения. Он не изведал ни самых простых, ни самых высоких радостей, ни тех и других, слитых воедино, что особенно важно. Его не вознаградила даже литература, во имя которой он так самозабвенно трудился. Да, он пользовался благоговейным признанием в литературных кругах, и даже больше, чем Диккенс или Достоевский. Он знал, что им были созданы первоклассные произведения. Не лишенный некоторого тщеславия, он был также

вполне уверен в ценности и справедливости своих суждений о художественном мастерстве. И тем не менее ему хотелось, и хотелось с необычайной силой, добиться бесспорного и впечатляющего успеха у массовой читательской аудитории. Он не шел на уступки и компромиссы, когда работал над романами, и это успокаивало его совесть художника. Однако он пошел на очень серьезный компромисс, на который не согласились бы даже писатели с менее возвышенными, чем у него, принципами, когда предпринял злосчастные попытки писать для театра. Попытки эти завершились провалом, который его болезненно травмировал.

Широкая читательская популярность так и не пришла к нему. Ее добились его друзья: Тургенев, когда Джеймс был молод, затем Поль Бурже{129}, а когда он достиг преклонного возраста — Гер-

{129} Комментарии: 2.129

Бурже, Поль Шарль Жозеф (1852–1935) — французский писатель-натуралист, автор известного романа «Ученик» (1889), в котором гуманности и разуму противопоставляет религию; был другом Генри Джеймса.

берт Уэллс и Эдит Уортон{130}. Он испытывал к ним чувство зависти, как и ко всем писателям, которые завоевывали широкую публику и получали крупные гонорары. В действительности его собственные дела обстояли совсем неплохо. Он приобрел не только солидную литературную репутацию, но и возможность жить с полным комфортом. Если учесть, насколько трудным было восприятие его произведений, доходы его следует признать внушительными. Но это не утешало его. Его надежды не сбылись. Он был хорошим человеком, с незаурядной силой воли и все невзгоды переносил стоически, но его жизнь в поздний период была омрачена разочарованием.

Нередко полагают, что Генри Джеймс принадлежал к старинному английскому семейству в Новой Англии и всегда располагал большим состоянием. Ни то ни другое не соответствует действительности. Что касается состояния, то он не имел его почти до пятидесяти лет, когда

{130} Комментарии: 2.130

Уортон, Эдит (1862–1937) — американская писательница; известностью пользуются ее романы «Итэн Фромм» (1911), где изображается в основном состоятельная прослойка американского общества, «Время невинности» (1920) и др. В ее автобиографии «Взгляд назад» (1934) чувствуется сожаление об утрате традиционных нравственных и эстетических ценностей; творческая манера Уортон близка Г. Джеймсу.

вступил во владение тремястами фунтами годового дохода. Триста фунтов в год значили в конце XIX века больше, чем сейчас, однако было бы трудно назвать это крупными средствами. Они соответствуют доходу одной из героинь Троллопа миссис Дейл, которая довольствовалась скромным вдовьим существованием в Оллингтоне. Генри Джеймс имел возможность получить эти деньги десятью годами ранее, но он отказался от них в пользу своей больной сестры Элис, будучи в избытке наделен такими качествами, как щедрость и чувство братской привязанности.

С двадцатилетнего возраста он существовал на то, что зарабатывал пером. Часто он занимался литературной поденщиной, к которой в наше время писатель его ранга отнесся бы с пренебрежением. Он усердно трудился над журнальными обзорами, статьями, письмами для американских газет, писал по заказу биографию крупного предпринимателя, которого ни во что не ставил, печатал рассказы-однодневки и в то же время создавал ту прозу, по которой мы его знаем. Правда, при жизни отца, умершего, когда Генри исполнилось тридцать девять лет, он мог заимствовать небольшие суммы у родителей. К этому он прибегал редко, но это означало, что он

ощущал за собой поддержку. Впрочем, Джеймсы не были по-настоящему богаты, хотя отец Генри после смерти своего собственного отца объявил с присущей ему ирландской экспансивностью, что отныне он может позволить себе ничего не делать всю жизнь.

Все Джеймсы были ирландского происхождения, или, точнее, шотландско-ирландского, как говорят американцы. Это означает, что они вели свое начало от шотландских поселенцев, которые, как это было с Джеймсами, покидали Ольстер и перебирались на юг. Они были кальвинистами-пресвитерианцами, причем дед Генри, основатель их клана в Америке, отличался в вопросах веры твердостью и суровостью. Он эмигрировал в Америку в конце XVIII века, поселился в Олбани{131} и сколотил состояние, торгуя земельными участками в северной части штата Нью-Йорк. Состояние но тем временам было крупным, но его предстояло разделить среди тринадцати детей, поэтому отцу Генри Джеймса, которого тоже звали Генри, досталось в конечном счете десять тысяч годового дохода. Напомним, что в те времена пять долларов были равны ан-

{131} Комментарии: 2.131
Олбани — административный центр штата Нью-Йорк.

глийскому фунту. Даже двух тысяч фунтов в год было достаточно, чтобы на всю жизнь избавить Генри-старшего от необходимости заботиться о хлебе насущном, и он не счел нужным заработать ни единого пенни.

Это не значит, что он предавался праздности. Как и его сын, он всю жизнь писал, блистая красноречием, но не извлекая из этого никаких выгод. Говорил он еще более красноречиво, чем писал. Судя по всему, это был очень привлекательный человек и настоящий ирландец. С детства Генри Джеймс, должно быть, слышал вокруг себя речь с ирландским акцентом, однако он изгнал все следы этого акцента из своей собственной речи. В этом отношении, как и во всех других, трудно было бы представить себе человека, который меньше походил бы на ирландца. Раз или два он посетил Ирландию, и она не произвела на него благоприятного впечатления.

В семье Джеймсов царила взаимная любовь. Уильям{132}, брат Генри, был старше его всего на полтора года. Став философом и психологом, он приобрел такую же известность в своей области,

---

{132} Комментарии: 2.132

Джеймс, Уильям (1842–1910) — американский философ, брат Генри Джеймса (см. коммент. к стр. 56 /В файле: комментарий № 85 — *Прим. верст.*/)

как Генри в своей. В детстве он был драчливым, своевольным, любил командовать, тогда как Генри отличался застенчивостью и был всеобщим любимцем. Благодаря эксцентричности отцовского характера и его страстному интересу к разного рода идеям их детство протекало далеко не безмятежно, несмотря на всю любовь, которой они были окружены. Семья все время переезжала с места на место.

Взглядам Генри Джеймса-старшего были свойственны широта и доброжелательность. Он решил не докучать своим детям строгим религиозным воспитанием, которое омрачало его собственное детство. Он открыл или изобрел для них, а также для всего рода человеческого и всеобщего общественного совершенствования нечто вроде универсальной веры, основанной на учении Сведенборга{133}, однако более жизнелюбивой и проникнутой безграничным оптимизмом. Он написал о своей вере множество книг, но последователей не нашел. Это не обескуражило его. Он посвятил себя воспитанию детей.

Он постоянно кочевал. Много раз перебирался из одного дома в другой: с Вашингтон-плейс

{133} Комментарии: 2.133
Сведенборг, Эмануэль (1688–1772) — шведский философ-мистик.

(неподалеку от Вашингтон-сквер) на 14-ю улицу, находившуюся в то время далеко от центра Нью-Йорка, а затем в Нью-Порт{134}, в Род-Айленде. Когда его внимание привлекала европейская система образования, он отправлялся в Женеву, Париж, Лондон. Но поскольку там хорошо, где нас нет, его мысли возвращались к достоинствам американских форм обучения с их ярко выраженным демократизмом. Поэтому он ехал назад в Нью-Порт. После года, проведенного там, он вновь ясно видел всю необходимость строгих методов европейского воспитания. В шестнадцатилетнем возрасте Генри отдали в инженерное училище. Он был сообразительным мальчиком, но к прикладным наукам не проявлял никаких способностей. Это была самая неудачная из всех блестящих идей его отца.

Несмотря на эти бесконечные путешествия, Генри и его брат Уильям ухитрились получить хорошее, хотя и не систематическое образование. Отец позаботился о том, чтобы они смогли овладеть иностранными языками. Для них нанимались гувернантки-француженки, они учились во французских школах. Уильям достиг больших

{134} Комментарии: 2.134

Нью-Порт — город на острове Род-Айленд у Восточного побережья США, курортное место.

успехов также и в немецком языке. Генри языки давались легко, и он с юных лет благодаря полученному образованию прекрасно говорил по-французски, насколько это возможно для иностранца. Единственным недостатком его речи, по утверждению французских коллег, была привычка слегка запинаться, не переходившая, впрочем, в заикание. Альфонс Доде в самой изысканной форме выразил свое восхищение его лингвистическими способностями: «Если он владеет своим собственным языком так же хорошо, как нашим, ему просто нет цены».

Мальчиками юные Джеймсы жили в Париже времен Второй империи{135} и в Лондоне в его звездный час{136} — кратковременный, но вполне реальный, — когда Британия упивалась своим процветанием, могуществом и самодовольством. Мальчики многое черпали из окружавшей их атмосферы. Специфическое воспитание в условиях непрерывного кочевья, полученное Джеймсом, оказало существенное влияние на характер его

{135} Комментарии: 2.135

…В Париже времен Второй империи — время правления французского императора Наполеона III (1852–1870).

{136} Комментарии: 2.136

…в Лондоне в его звездный час… — Имеется в виду период, когда царствовала королева Виктория (1837–1901).

творчества. В целом благие намерения их отца, при всей их экстравагантности, дали хорошие результаты. Однако это было достигнуто ценой некоторых потерь.

У них не было твердой почвы под ногами, или, точнее, такого места; где они могли бы инстинктивно чувствовать себя дома. Старый Нью-Йорк не был для них родным гнездом, каким он оставался для Эдит Уортон, поддерживавшей дружеские отношения с Джеймсом в его поздние годы. Из Джеймсов эксцентричными методами воспитали джентльменов, но они не могли сравниться с Эдит Уортон ни по положению в обществе, ни по богатству. Ирландской семье (англичанин не может не высказать, наконец, своего мнения) было бы нелегко проникнуть в это своеобразное замкнутое общество, даже если бы Генри Джеймс-старший пожелал это сделать. Но подобные стремления были ему совершенно чужды, так как его поглощали заботы о братском единении всего человечества. Он дружески об-

щался с Эмерсоном и его кружком{137}, в Англии встречался с видными деятелями литературы. Вот какая среда была ему по душе. Он не испытывал ни малейшего интереса к тонким градациям в общественной структуре, изучение которых в течение какого-то времени доставляло огромное удовольствие его сыну.

Они могли отправиться и действительно отправлялись куда угодно, нигде не пуская корней. Это была прекрасная позиция для отстраненного наблюдателя или такого романиста, каким стал Генри Джеймс. Он извлек отсюда все, что мог. Но для создания прочного домашнего очага эта позиция была, вероятно, одной из худших. Только очень темпераментные люди не встретили бы в подобных условиях затруднений в попытках завязать близкие отношения, семейные или любые другие. У Генри, который, по-видимому, не отличался темпераментом и в котором было глубоко заложено сдерживающее начало, это

{137} Комментарии: 2.137

…общался с Эмерсоном и *его кружком.* — Ралф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский философ и писатель. В 30–60-е гг. XIX в. вокруг него группировался кружок представителей американской интеллигенции (Генри Торо, Натаниел Хоторн, Теодор Паркер, Маргарет Фуллер и др.). Трансцендентализм Эмерсона, по сути, являлся романтическим протестом против буржуазной цивилизации. Члены группы Эмерсона выступали за социальное равенство, духовное самоусовершенствование, близость к природе и т. д.

ослабляло какие бы то ни было стремления к сближению и давало ему предлог для уклонения от него. Это могло способствовать исчезновению из его творчества интереса к основополагающему человеческому инстинкту, что составляет единственный крупный недостаток его произведений.

Он был удивительно скромным молодым человеком. Он был невысок ростом, как большинство членов его семьи, и крепкого телосложения. На юношеских фотографиях мы видим красивое, с тонкими чертами лицо в отличие от снимков, сделанных в зрелые годы, где он похож на Муссолини. Возможно, его внешность в юные годы не была настолько замечательной, чтобы на него засматривались женщины, но он выглядел достаточно представительно, с острым, пронизывающим взглядом светло-серых глаз. Глаза эти подмечали все, ибо он был самым зорким наблюдателем. Он был очень молчалив. В течение всей жизни он оставался самым зорким наблюдателем, но уже не столь молчаливым.

Когда началась Гражданская война, ему было восемнадцать лет. Ни он, ни Уильям не знали, на что решиться. Молодые люди из высших слоев общества на Севере, в отличие от своих

— сверстников на Юге, не рвались на поле битвы. Два младших брата Уильяма и Генри, достигнув надлежащего возраста, вступили в армию и отличились в боях. Отец не поддерживал в своих сыновьях боевого духа. Одному из друзей он писал: «Я говорю им, что ни один молодой американец не должен вставать на путь смерти, пока не совершит чего-то хорошего в жизни» (то есть пока не женится и не обзаведется ребенком).

Можно не сомневаться, что сидеть дома Генри было стыдно. Проблема решилась благодаря стечению обстоятельств, вызвавшему столько нелепых комментариев, сколько не вызывало ни одно событие в его жизни. К Генри обратились с просьбой оказать помощь в тушении пожара в Нью-Порте. Пожар был не очень большой в отличие от того, в котором его отец по странному совпадению потерял ногу в четырнадцатилетием возрасте. Впоследствии Генри назвал этот пожар «жалким возгоранием» (когда он пишет в таком духе, то всегда чувствует себя неловко). В ту ночь никто не заметил, что при тушении «жалкого возгорания» Генри получил травму. Она не была настолько серьезной, чтобы помешать его поездке в Бостон три дня спустя. Через несколько месяцев он обратился за консультацией к зна-

менитому хирургу. В рассказе Джеймса об этом происшествии, который кажется очень уклончивым даже в сравнении с его собственными высокими требованиями, не указано никаких дат, но в настоящее время зги даты установлены. Джеймс пишет: «В то же самое сумеречное время (дело происходило в октябре 1861 года) я ощутил мучительную, хотя и странную боль». То, что произошло с ним, он старается окутать словесным туманом. «Симуляция хромоты в таких условиях (то есть во время войны) ни под каким видом не могла произвести благоприятного впечатления».

Генри часто не хватало откровенности с самим собой и даже просто проницательности в анализе собственной внутренней жизни. Других он понимал лучше, чем себя. Приведенные воспоминания написаны им в старости. Ни один хороший писатель не стал бы писать столь неумело, делая такие неуклюжие попытки затемнить истину, если бы ему было нечего скрывать. Американские критики с энтузиазмом набросились на версию, согласно которой Джеймс в результате случая на пожаре получил увечье, сказавшееся на его потенции. Эти выводы с самым серьезным видом публиковались еще до того, как была выяснена вся фактическая сторона дела, но даже

в этом случае очевидно, что только высокообразованные люди, настолько одурманенные психоаналитическим методом, что потеряли всякий контакт с действительностью, могли додуматься до такого абсурда. Нужно было поистине изловчиться, чтобы покалечить себя, работая на насосе. Еще большим чудом была бы его способность мужественно вести себя после этого несколько месяцев, как будто ничего не произошло. Наконец, хирург не был бы поставлен в затруднительное положение, пытаясь определить болезнь Генри, так же как впоследствии не стал бы колебаться его брат Уильям (который готовился стать врачом), если бы все, что от них требовалось, состояло в диагностике увечья.

Теперь можно считать установленным, что Генри получил травму позвоночника; возможно, у него было смещение дисков, как называют это заболевание в наше время, или хронический прострел, как называли его в старину. Состояние крайне неприятное, порой мучительное, однако оно действовало успокаивающе, так как устраняло моральные проблемы, связанные с необходимостью надевать мундир (по всей вероятности, он стал непригоден к военной службе), а впоследствии, может быть, и подвергать испы-

танию свою мужественность.

Странным образом освобожденный благодаря своей странной травме Генри поступил в Гарвард{138}. Как это часто случалось в XIX столетии, нелегко было решить, что должен изучать молодой человек, обладающий литературными склонностями и талантом. Выход, как обычно в XIX столетии, находился одинаковый: право (укажем на Бальзака, Толстого, Гальдоса, а поколение спустя после Джеймса — на Пруста). Подобно всем остальным, Генри поспешил спастись бегством. На юридическом факультете в Гарварде он выдержал не более года, проявил себя средним студентом и в двадцать один год решительно вступил на путь профессионального писателя.

С тех пор вся его жизнь была целиком отдана профессии литератора, в этом отношении с ним можно, пожалуй, сравнить одного только Гальдоса. Первые шаги на новом пути дались ему очень легко, и он с ранних лет стал жить литературным трудом. Конечно, жизнь в XIX веке не требовала больших затрат. Хотя Джеймс постоянно жаловался на нищету, что вызывало со стороны

{138} Комментарии: 2.138

...Генри поступил в Гарвард. — Имеется в виду Гарвардский университет в г. Кембридже в Новой Англии, где на юридическом факультете учился Генри Джеймс.

Эдит Уортон попытки оказывать ему на склоне лет финансовую поддержку, работа приносила ему твердый доход с ранней молодости до конца дней; доход этот не составлял и десятой доли того, что получала сама Эдит Уортон или такие друзья Джеймса, как Г. Дж. Уэллс, Бурже, Хоуэлс{139}, однако он значительно превышал заработок ученого с мировым именем, каким был его брат Уильям. Вступая в литературу, Генри не сознавал, насколько ему повезло. В течение многих лет основные средства к жизни ему доставляла литературная журналистика высокого класса, на которую в Лондоне он вряд ли нашел бы такой же спрос. Культурная атмосфера Новой Англии{140} была как будто специально создана для него, хотя он и не чувствовал себя ничем ей обязанным. К

{139} Комментарии: 2.139

Хоуэлс, Уильям Дин (1837–1920) — американский писатель и критик. В ряде реалистических романов («Современная история», 1882; «В мире случайности», 1893, и др.) утверждал этические ценности в противовес буржуазному успеху.

{140} Комментарии: 2.140

Культурная атмосфера Новой Англии... — Новую Англию принято считать родиной многих традиционных американских понятий и общественно-политических установлений. В упоминаемое Сноу время, помимо взглядов кружка Эмерсона, существовали и другие идеалы, выдвинутые так называемыми браминами. Это была группа литераторов и историков, объединившихся в середине XIX в. вокруг Гарвардского университета. Их творчеству и взглядам был свойствен дух элитарности. К числу браминов можно отнести таких писателей, как Генри Уодсворт Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс, Джон Рассел

Лоуэлл.

нему проявляли интерес такие люди, как Джеймс Рассел Лоуэлл и Чарлз Элиот Нортон{141}. Его изысканные критические статьи находили место на страницах журналов «Атлантик мансли»{142} и «Норт Американ ревью»{143}. Уильям Дин Хоуэлс вошел в состав редакции «Атлантик», и это означало, что у него появился друг, всегда готовый прийти на помощь, с нетерпением ожидавший от него новых статей и рассказов. Годкин{144} из только что основанной «Нейшн» пригласил его сотрудничать в качестве журналиста; журналистские выступления Джеймса не отвечали вкусам широкой публики, и в Англии трудно было бы найти газету, проявляющую такое же терпение к подобному сотруднику.

Бостонская культура Лоуэлла и Нортона отли-

{141} Комментарии: 2.141

Нортон, Чарлз Элиот (1827–1908) — профессор Гарвардского университета, преподавал историю искусств, издавал труды по литературе, идеолог консервативного толка.

{142} Комментарии: 2.142

«Атлантик мансли» — издававшийся с 1857 г. в Бостоне крупный литературно-художественный и политический журнал, где сотрудничали Холмс, Лоуэлл, Эмерсон, Лонгфелло, Гарриет Бичер-Стоу и др.

{143} Комментарии: 2.143

«Норт Американ ревью» — издававшийся в Бостоне в 1815–1939 гг. литературно-критический и исторический журнал. В числе его издателей были Нортон и Лоуэлл, в нем сотрудничали Эмерсон, Лонгфелло, Холмс, Хоуэлс и др.

{144} Комментарии: 2.144

Годкин, Эрвин Лоуренс (1831–1902) — основатель общественно-политического еженедельного журнала «Нейшн» (1865), издававшегося в Нью-Йорке.

чалась высоким уровнем, хотя и была на свою беду слишком утонченной. Трудно представить, чтобы в 60-е годы прошлого века где-либо еще нашлась такая же творческая среда, которая поддержала бы в никому не известном молодом человеке стремление начать спою литературную карьеру с пространной, велеречивой, причудливо построенной статьи, посвященной Искусству Прозы. Джеймс создал свою теорию прозы еще до того, как начал писать сам. Он с успехом занимался также текущей критикой, причем его ранние работы были лучше поздних, создававшихся в те годы, когда он был загипнотизирован собственной теорией. Как все писатели, выдвигающие ту или иную критическую теорию, он, конечно, обосновывал с ее помощью собственного творчества.

Однако он отличался большой душевной щедростью, и его способность восхищаться выходила далеко за рамки его теории. В молодости он мог назвать Диккенса «самым великим из всех поверхностных писателей» — это суждение строго согласовывалось с его теорией и противоречило здравому смыслу. Не в ладах со здравым смыслом было и его утверждение, будто романы Толстого и Достоевского — рыхлые мешковатые чудища;

это доказывало, что он совершенно не понимал их творчества. В то же время он был способен всю жизнь верить в то, что Бальзак — величайший из романистов. К этому мнению можно относиться по-разному, но ясно одно: из всех великих писателей Бальзак в наименьшей степени соответствовал джеймсовскому стандарту. Тем не менее Генри, уже состарившись, разъезжал по всей Америке, пропагандируя достижения Бальзака. В Генри Джеймсе было поистине нечто замечательное.

Задумывался ли он когда-нибудь над тем, какие произведения вышли бы из-под пера Бальзака, попади он в среду, окружавшую Джеймса? Ему не пришлось бы долго размышлять. Бальзак с головой погрузился бы в американскую жизнь шестидесятых-семидесятых годов прошлого века, от высокообразованного Бостона и нью-йоркских трущоб до фронтира{145}. Для романиста, наделенного безудержными страстями и бесцеремонностью Бальзака, здесь открылась бы

{145} Комментарии: 2.145

Фронтир — *буквально* граница; термин, обозначающий границу продвижения американских переселенцев в процессе колонизации Запада. Под этим подразумевается и противопоставление цивилизации Восточного побережья США и цивилизации освоенных районов. Идеи «Фронтира» характерны для американской литературы XIX в. и до сих пор служат предметом исследования литературоведов и историков.

блестящая перспектива. Джеймса такая перспектива не увлекала.

Он, видимо, сознавал, что предметом его творчества станет взаимодействие американцев (то есть американцев, принадлежащих к его собственному кругу) с европейцами. В его воображении уже рисовалась встреча неискушенности с житейским опытом. Это была тема, для которой он был подготовлен своими путешествиями в детские годы, однако выбор определялся некоторыми коренными свойствами его натуры. Представление о неискушенности американцев было насквозь романтическим; ему достаточно было бы взглянуть на своего друга Фуллертона, который был почти так же неопытен, как Мопассан. Генри и сам не был неопытен в полном смысле этого слова, хотя он мог трансформировать особенности своего темперамента и придавать им видимость неискушенности. Ему доводилось знать американцев, которые действительно не обладали житейским опытом; такова была его кузина Минни Темпл, послужившая прототипом

для Изабель Арчер{146}. Генри был почти влюблен в нее, но, когда она умерла в двадцать лет с небольшим, он почувствовал облегчение. Из этого он попытался сделать вывод, что любовь к женщине несовместима со служением искусству. Это было классическим выражением крайней робости в интимной сфере.

Это не означает, что в молодости ему плохо жилось. Лишь значительно позже он пришел к пониманию, и то не до конца осознанному, чего он лишил себя и что потерял. Долгое время он даже не подозревал об этом. Он стал экспатриантом, и это его вполне устраивало. Он испытал немало тихих радостей кабинетного ученого. Европа быстро покрывалась сетью железных дорог, путешествовать становилось все легче и удобнее. Самые большие неприятности во время путешествия ему доставлял крепкий желудок; с ипохондрической нервозностью холостяка он так тревожился по этому поводу, как будто речь шла о раке в последней стадии развития.

В тридцать пять лет он сделал Лондон сво-

{146} Комментарии: 2.146

Изабель Арчер — героиня романа Г. Джеймса «Женский портрет» (1881), один из наиболее значительных женских образов писателя; молодая американка, твердо убежденная в своей личной независимости и свободе, что оказывается трагической иллюзией.

им пристанищем. Именно здесь он в течение нескольких лет переживал полосу больших ожиданий, которые, судя по всему, готовы были осуществиться, и Англия стала для него родным домом. Он делал попытки обосноваться в Италии, которую он не переставал любить. Хотел даже остаться в Нью-Йорке, чтобы выяснить, сможет ли реализовать там свои творческие возможности; ответ оказался отрицательным, и больше он уже не попытался браться за перо на родине. Чуть больше года он провел в Париже, но ему не удалось попасть здесь в высший свет, несколько позже распахнувший перед ним двери в Лондоне. Проникнуть в свет Джеймс стремился с такой же настойчивостью, как молодой Пруст спустя двадцать лет, но у Генри не имелось тех преимуществ, которыми обладал молодой Пруст. Французский свет был более замкнут, чем английский, и американцу, даже если у него были прекрасные связи, приятная внешность, хорошие манеры и великолепное знание французского языка, трудно было продвинуться далеко.

Его приняли в литературных кругах, но это не вызвало в нем особого интереса. Он пришел к выводу, что многие парижские знаменитости имели ограниченный кругозор и не поднимались

выше посредственности. И не был совсем не прав. Создается также впечатление, что их беседы показались ему слишком грубыми; в них редко затрагивались эстетические и интеллектуальные проблемы, зато к запретным темам они обращались постоянно. Единственными писателями, вызывавшими у него настоящее восхищение, были Флобер и особенно Тургенев. Тургенев стал одним из его кумиров, и он многому научился как от него самого, так и благодаря чтению его произведений. Их представления о писательском труде во многом совпадали, хотя Тургенев был более гибок и менее связан теорией. По своему тону, а в конечном счете и по масштабу романы Джеймса могут быть поставлены рядом с тургеневскими, однако они не выдерживают соперничества с романами Толстого и Достоевского, несмотря на все его попытки принизить их значение.

В Италии он не сблизился почти ни с кем из писателей, зато намного лучше провел время. Состоятельные американцы еще в первой половине XIX века убедились, что здесь были созданы все условия для безмятежного существования. Даже люди со скромными средствами, например

члены английской колонии, Браунинги{147} и Троллопы{148}, могли неплохо устроиться. Можно было снять палаццо в Риме или Венеции меньше чем за тысячу долларов (что в 1870 году соответствовало двумстам-тремстам английским фунтам). Поэтому Генри мог достойно проследовать по маршруту Рим — Флоренция — Венеция (последняя была его любимым городом), развлекаясь в обществе своих американских друзей.

Многие из них были прекрасно образованны. Другие с талантом и без оного надеялись стать живописцами или скульпторами. Кое-кто, подобно небезызвестной Изабелле Гарднер, оптом скупал итальянские картины и переправлял их в Америку. Теперь в Кембридже, в штате Массачусетс, каждый может убедиться, что у Изабеллы Гарднер был отличный вкус. Им не были обделены и многие другие. Сам Генри тоже, как явствует из его произведений, прекрасно разбирался в изобразительном искусстве, хотя и не отличался

{147} Комментарии: 2.147

Браунинги — имеются в виду супруги Браунинги: Роберт Браунинг (1812–1889), английский поэт, и Элизабет Баррет Браунинг (1806–1861), английская поэтесса, после 1846 г. почти постоянно жившие в Италии.

{148} Комментарии: 2.148

Троллопы — имеются в виду Том и Френсис Троллоп, брат и мать Энтони Троллопа, которые после 1845 г. постоянно жили во Флоренции.

смелостью суждений. Он так и не понял импрессионистов и тех, кто за ними последовал, однако то, что он знал, он знал прекрасно. Так же хорошо он разбирался в архитектуре и был большим ценителем итальянского пейзажа. Историю страны он знал лучше, чем многие италофилы. В семидесятых годах прошлого века имелись все условия для любителей совершать изысканные джентльменские путешествия, и Генри использовал их в полной мере.

Разбросанные по всему свету привилегированные американцы помогли Генри не только приятно провести время в поездках, но и покорить высший свет. Его главные устремления были связаны с литературой, они были неотделимы от него, являясь частицей его личности. В то же время, как человек, которому перевалило за тридцать, он считал вполне достойным стремление занять положение в обществе. В этом он был несколько похож, как мы увидим далее, на молодого Пруста. В их жизни можно отметить ряд совпадений. В попытках проникнуть в свет Генри проявлял намного меньше откровенного снобизма, и, хотя через несколько лет игра наскучила им обоим, Генри был соответственно менее жестоко разочарован.

Джеймсу всегда была присуща малая толика независимости и радикализма. Однако нет сомнений, что в годы, предшествовавшие появлению одного из его лучших романов (для некоторых из нас он является лучшим без всяких оговорок), он намеревался войти в число «избранных». Этой несложной цели он добился очень быстро, намного легче, чем целей, поставленных им перед собой в литературе (это могло бы навести его, но, кажется, не навело, на некоторые иронические размышления). Его успеху в свете способствовал ряд ценных качеств. У него была растущая литературная репутация, что во второй половине XIX века значило немало. Как сказал бы Троллоп, он был джентльменом. Он слыл прекрасным собеседником и отличался своеобразным, несколько замысловатым остроумием. Он был тактичен, учтив и очень предупредителен с пожилыми дамами. Он был неженат, что делало его незаменимым для званых обедов. Он не был склонен к самоутверждению, но в его облике сквозило внутреннее достоинство, и никому не пришло бы в голову отнестись к нему без внимания. Но больше, чем может показаться на первый взгляд, помогло ему также присутствие влиятельных американских покровителей, которые везде,

и особенно в Лондоне, пользовались всеобщей любовью и уважением.

Для Лоуэллов и Нортонов двери были распахнуты всюду. Тех, кто принадлежал к сливкам общества в Новой Англии, в Лондоне встречали гостеприимно: их считали своими и относились к ним с симпатией. Совсем иначе, судя по мемуарам, встречали англичан в Америке. Образованные круги Бостона и Кембриджа не очень-то жаловали своих гостей из-за океана. Диккенса они считали пронырой, а Троллопа плохо воспитанным (узнай об этом Троллоп, принадлежавший к родовитому семейству, он пришел бы в ярость). По-видимому, никто из Адамсов{149} не нашел для себя ничего заслуживающего внимания в тех англичанах, которые им встречались.

Рекомендации, полученные Джеймсом от его новоанглийских патронов, действовали подобно волшебной палочке. Когда он обосновался в Лондоне, сняв по викторианскому обычаю, подобно

{149} Комментарии: 2.149

...никто из Адамсов... — По-видимому, имеются в виду американские писатели Джон Тервилл Адамс (1805–1882), писавший об индейцах, и Уильям Тейлор Адамс (1822–1897), издававший приключенческие романы для юношества.

Холмсу и Уотсону{150}, холостяцкую квартиру на Болтон-стрит, недалеко от Пикадилли{151}, его сразу же забросали приглашениями на званые обеды. Каждое утро он писал; более добросовестного профессионала в литературе не было. Вечера оставались свободными для светских развлечений. В один из лондонских сезонов, год или два спустя после его приезда, ему довелось обедать в свете сто сорок раз, то есть каждые три вечера из четырех.

Мужчины приглашали его в клубы. Хозяйки светских салонов принимали у себя дома. Он подолгу гостил, как это было принято в викторианскую эпоху, в загородных поместьях. Наиболее тесные связи завязывались у него в литературных кругах, где он сблизился со знаменитыми викторианцами: Лесли Стивеном{152} и его окружением, Джордж Элиот, Томасом Хакс-

---

{150} Комментарии: 2.150

…подобно Холмсу и Уотсону… — Имеются в виду герои рассказов и повестей Артура Конан Дойла (1859–1930).

{151} Комментарии: 2.151

Болтон-стрит и Пикадилли — улицы в центре Лондона.

{152} Комментарии: 2.152

Стивен, Лесли (1832–1904) — известный английский историк литературы и общественной мысли; опубликовал биографии Джонсона, Попа, Свифта, Джордж Элиот, издавал литературный журнал «Корнхилл мэгэзин», основал «Словарь национальных биографий».

ли[24]{153}, Теннисоном{154}, Браунингом (двое последних разочаровали его); однако немало друзей он приобрел среди светской элиты. Английскую аристократию он знал меньше, чем Пруст, прекрасно изучивший Сен-Жерменское предместье{155}. Тузы, которые его принимали, были несколько поблекшими — лорд Розбери, лорд Хафтон (известный также под именем Ричарда Монктона и имевший слегка подмоченную репутацию), Чарльз Дилк. Тем не менее Генри в непосредственной близости мог наблюдать жизнь английского высшего общества, от крупных землевладельцев до писателей и ученых. В течение нескольких лет, в возрасте от тридцати трех до тридцати восьми, он прекрасно проводил время, и, судя по всему, это был наиболее счаст-

---

[24] Примечания: 1.24

Старое русское написание этой фамилии — Гексли. — *Прим. перев.*

{153} Комментарии: 2.153

Хаксли (Гексли), Томас Генри (1825–1895) — английский биолог, соратник Чарльза Дарвина и пропагандист его учения.

{154} Комментарии: 2.154

Теннисон, Альфред (1809–1892) — английский поэт; наибольшего внимания в его творчестве заслуживает цикл поэм «Королевские идиллии» (1859) на темы средневековых сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола; этот цикл был широко известен в Новой Англии и южных штатах США.

{155} Комментарии: 2.155

Сен-Жерменское предместье — аристократический район Парижа.

ливый период в его жизни.

Для этого у него появилось одно веское основание. Впервые он написал повесть, которая имела широкий успех у публики. Как ни парадоксально, ему ни разу не выпало такой удачи в дальнейшем. Повесть называлась «Дэзи Миллер»{156}. Она написана свежо и живо, но далеко не с тем продуманным мастерством и тщательностью, как его лучшие произведения. Главная героиня — бойкая американская девушка, самоуверенная, активная, убежденная в безупречности своего поведения, общительная, склонная к флирту. В Европе она сталкивается с полным непониманием. Из всех неискушенных героев Джеймса она самая неискушенная. Она противопоставлена окружающим ее европейцам. У нее завязывается до неправдоподобия невинный роман с благовоспитанным молодым итальянцем. Они совершают совместные ночные прогулки, из чего прозорливые люди заключают, что они и спят вместе.

Генри попал в точку. Его провозгласили создателем моды на американскую девушку, чуть ли

{156} Комментарии: 2.156

«Дэзи Миллер» (1878) — повесть Г. Джеймса, героиня которой, хорошенькая провинциалка из штата Нью-Йорк, очень популярна в США. Ее искренность и непосредственность как черты национального характера противопоставлены изощренности европейцев.

не создателем ее самое. Имя Дэзи Миллер стало нарицательным, в витринах нью-йоркских магазинов были выставлены шляпки фасона «дэзи миллер». В действительности, подобно многим первооткрывателям, Джеймс не был по-настоящему первым. Троллоп с большей тонкостью и проницательностью сделал американскую девушку одной из героинь своей книги «Дети герцога». Изабель Бонкассен так же самоуверенна и непосредственна в проявлении своих чувств, как Дэзи Миллер, и она так же, как героиня Джеймса, противопоставлена своим английским современницам. Но у Троллопа как американские, так и английские девушки твердо стоят на земле, в отличие от Дэзи. Они знакомы с реальной жизнью, и Троллоп, который любил своих молодых героинь, не требовал от них бесплотного парения в воздухе. Изабель Бонкассен — первый жизненно достоверный образ американской женщины, появившийся в романе на английском языке. Ее отец — первый убедительный портрет американца, созданный английским писателем. Возможно, Генри читал «Детей герцога» и кое-что оттуда позаимствовал. Он не подражал Троллопу, но впитывал все прочитанное. Хорошие писатели всегда поступают так с полным на то правом.

Он упивался рекламой, созданной ему «Дэзи Миллер», и даже поднятым вокруг нее шумом: в Америке раздавались упреки, что он будто бы нанес урон репутации американских женщин. Денег эта повесть ему не принесла. Дело в том, что договоры Джеймса с издательствами были такими же, как у русских писателей. Его первая публикация обычно появлялась на страницах какого-нибудь журнала. Если ему удавалось начать одновременную публикацию в английском и американском журналах, он мог получить в качестве гонорара более тысячи фунтов, на которые можно было неплохо прожить около года в его лондонской квартире и позволить себе немножко попутешествовать.

С «Дэзи Миллер» произошла неувязка, что означало отсутствие публикации в американском журнале. Вместо этого появилось пиратское издание в мягкой обложке, которое разошлось в нескольких тысячах экземпляров, что было необычно для произведений Джеймса как раньше, так и позже. Тиражи его романов, выпускаемых в твердых обложках после журнальных публикаций, были очень небольшими. Джеймс сообщал своему брату Уильяму, что его общий доход от «Дэзи Миллер» в Америке составил менее

двухсот долларов; он не испытывал по этому поводу особой досады, так как был очень обрадован своим успехом.

Он не совершил подобной ошибки, когда начал публикацию книги, которую назвал своим «большим романом». Он остановился на заглавии «Женский портрет». Джеймс метил высоко. Повесть «Вашингтон-сквер»{157} была принята хорошо. После этой повести и после «Дэзи Миллер» он мог требовать выгодных условий публикации своего «большого романа». Книга должна была печататься в журнале «Атлантик мансли». Он рассчитывал на получение более высоких, чем когда-либо прежде, доходов. Работа над «Женским портретом» была начата во Флоренции в 1880 году. С самого начала он был преисполнен чувства уверенности в своих силах.

Такая уверенность приходит к большинству писателей не чаще одного или двух раз в жизни, подобно тому как она пришла к Достоевскому, лишь когда у него возник замысел «Братьев Карамазовых». Впоследствии Джеймсу не раз довелось

{157} Комментарии: 2.157

«Вашингтон-сквер» — повесть Г. Джеймса, опубликованная в 1881 г.; действие в ней происходит в 40–50-е гг. XIX в. в Нью-Йорке, где прозаическое и пошлое буржуазное благополучие губит в итоге все надежды на счастье Кэтрин Слопер, героини произведения.

испытать уверенность в своем техническом мастерстве и интеллектуальных возможностях, но тут она пронизывала все его существо до самых кончиков пальцев. Роман должен был получиться на славу.

Его убежденность имела все основания. У читателей могут возникать и возникают разногласия в оценке других произведений Джеймса, что же касается этого романа, то он получил безоговорочное признание как одна из лучших книг на английском языке. Подтекст романа многое говорит о самом авторе, хотя Джеймс вряд ли догадывался об этом. Полупроявленная психологическая атмосфера романа в чем-то уникальна, что отражает уникальность авторской личности.

Как произведение искусства роман написан безукоризненно. Хотя это длинная книга с множеством драматических перипетий, нарушающих спокойное течение джеймсовского повествования, сюжет ее в основе прост. Героиня романа Изабель Арчер в авторском понимании представляет собой апофеоз американской девушки. Ее отличают высокий интеллект, сильный характер, склонность к идеализму; она полна решимости сохранить свою свободу и остаться самой собой,

хотя у нее нет ни малейшего представления о том, в чем должен состоять смысл ее освобождения. Она нравится мужчинам. На их чувства она отвечает так, что это производит странное и несколько тревожное впечатление. Она во всех отношениях неопытна, что выглядит внешне естественно, когда она в возрасте двадцати двух лет приезжает в Англию из штата Нью-Йорк, где ее окружала пуританская атмосфера. Однако она неопытна в более глубоком смысле, чем героини английских романов XIX столетия, хотя эти девушки (вспомним Люси Робартс, Доротею Кейсобон) затронуты эмансипацией едва ли не меньше, чем она. Ей свойственна сдержанность, граничащая с бесполостью, чего об английских героинях сказать нельзя. У Генри могло найтись для этого оправдание: Минни Темпл, послужившая прототипом его героини, вышла из той же самой культурной среды Новой Англии. Но эта особенность Изабель придает книге некоторую странность, которая проявляется в том, как героиня выбирает мужа.

Изабель, у которой в начале романа нет никакого приданого, приезжает в Англию навестить своих богатых американских родственников. Внешняя обстановка описана прекрасно, как это

вообще свойственно Джеймсу. Фон, на котором развертываются события, изображается им с таким же мастерством, как и характеры действующих лиц. Дядя Изабель, богатый человек, дни которого сочтены, живет в приобретенной им усадьбе, немного напоминающей Клайвден. Он проникается к племяннице чувством сердечной привязанности. Нравится она и его сыну Ральфу, который болен туберкулезом; если бы не болезнь, он попытался бы жениться на Изабель, что было бы для нее наилучшим исходом, так как он умнее ее, питает к ней глубокое чувство и достаточно тонок, чтобы понять ее. Появляются другие поклонники: простой, честный, энергичный американец, чья мужская напористость отталкивает Изабель, и обаятельный английский аристократ, чья жизнь, как она опасается, может без остатка поглотить ее собственную.

Дядя умирает, разделив по просьбе Ральфа предназначенную для него долю наследства пополам и оставив половину Изабель. Ральф пытается объяснить свой поступок желанием предоставить Изабель возможность свободно распоряжаться своей жизнью и самому посмотреть, что из этого выйдет. В книге сказано, что наследство сделало Изабель богатой. Действие

происходит в 70-е годы прошлого столетия, и фактическая сумма составляет от шестидесяти до семидесяти тысяч фунтов.

Теперь на Изабель стали смотреть как на добычу охотники за приданым. Приехав в Италию, она попадает в ловушку к одному из них. Это американский экспатриант, на которого Европа оказала, в соответствии с представлениями Джеймса, развращающее влияние; эстет, единственное занятие которого состоит в том, чтобы шлифовать свой вкус. Изабель хочет найти своей свободе самое достойное применение. В этом она похожа на самого Генри Джеймса, но он имел то преимущество, что нашел свое призвание в искусстве, которое обеспечило ему также и материальную независимость. Она такой возможности лишена. Лучшее, что она может сделать, — выйти замуж за этого человека и устроить его жизнь.

Это брак, обреченный на неудачу, блестящее описание которого составляет завершающую часть романа, пронизанную чувством горечи. Муж начинает ненавидеть Изабель. Ее прежнее восхищение его тонкостью исчезает, также уступая место ненависти. Он полон решимости сломить ее волю, но Изабель слишком сильна. В главе, которую сам Джеймс считал лучшей в

романе, говорится, как поздно ночью в просторной гостиной римского дворца, который она купила для мужа, Изабель размышляет о том, что заставило ее отдать ему предпочтение и к чему это привело ее.

> «Он был беден, одинок и притом наделен душевным благородством — вот что вызвало в ней интерес, и она усмотрела в этом перст судьбы… Теперь-то она понимала, не будь у нее денег, ей было бы ни за что не решиться на брак с Озмондом… По сути, деньги с самого начала легли бременем на ее душу, жаждавшую освободиться от их груза, оставить его на чьей-нибудь более приуготовленной к этому совести. А мог ли быть лучший способ облегчить собственную совесть, чем доверить их человеку с самым безупречным в мире вкусом?..
>
> Она и сейчас еще остро ощущала тот недоверчивый ужас, с каким рассматривала свое жилье. Меж этих четырех стен она и существовала с тех пор, до конца дней они будут окружать ее, в этом царстве мрака, царстве немоты, царстве

удушья… Разумеется, речь шла не о каких-либо физических мучениях, от них она сумела бы себя оградить. Она вольна была уходить и возвращаться; никто не лишал ее свободы, муж ее был отменно учтив. Но как серьезно он к себе относился — от этой серьезности мороз пробегал по коже. Под всей его культурой, разнообразными способностями, приятным обхождением, под всем внешним благодушием, непринужденностью, знанием жизни притаился эгоизм, как змея на поросшем цветами склоне».

Это печальная сцена. Хотя Изабель сама не свободна от эгоизма, свойственного ей как девушке честолюбивой и самоуверенной, но по натуре она щедра и великодушна. Вся глава в целом — выше приведен лишь небольшой отрывок из нее — дает представление о молодой женщине, почти лишенной инстинктивного понимания мужчин, такой женщине, которая даже после всего пережитого мало чему научилась. В сущности, нет необходимости разделять высокое мнение Джеймса об этой главе. Процесс самоуглубленного размышления передан в ней не

совсем удачно, да и написана она тяжеловато, не в пример большинству других глав романа. Что здесь действительно хорошо передано — это почти полное отождествление автора с героиней и владеющее им чувство неудовлетворенности, пока еще не осознанное.

Тем, кто не знаком с книгой, приведенная цитата не может дать о ней точного представления. Роман в целом написан блестяще, лучше, чем любое произведение Джеймса из тех, что появились в дальнейшем (лишь некоторые рассказы и статьи могут в какой-то мере с ним сравниться). Диалоги, написанные на редкость убедительно, хотя и в несколько стилизованной манере, часто блещут неподдельным остроумием. Когда его не одолевала необходимость трудиться в поте лица, Джеймс мог быть и живым, и занимательным, и в этом романе он именно таков. Особенно любопытно вот что: пусть героине недостает проницательности, пусть она кажется нам, столетие спустя, лишенной элементарного чувства реальности, и тем не менее мы знаем, что и сейчас еще существуют похожие на нее девушки, и она сохраняет всю свою жизненную убедительность.

Вскоре после того, как «Женский портрет» вышел в свет отдельным изданием, умерли один за

другим отец и мать Джеймса. Через двадцать лет аналогичное событие произошло в жизни Пруста (еще одно совпадение). Но, хотя Джеймс тяжело переживал утрату, его скорбь не идет в сравнение с той прострацией, в которую впал Пруст после смерти матери. Потеряв родителей, Джеймс взял на себя все заботы о больной сестре, чей рассудок временами находился под угрозой. Теперь он мог навсегда остаться в Англии.

Когда ему было за сорок, он мог, казалось, служить образцом преуспевающего литератора. Так думали его собратья по перу. «Женский портрет» получил прекрасные отзывы в прессе. В деньгах Джеймс не нуждался и смог переехать в великолепные апартаменты с окнами, выходившими на Кенсингтон-гарденз{158} — вид, вполне отвечавший его вкусу. Он должен был сознавать, и, как свидетельствуют документальные источники, действительно сознавал, что достиг всего, ради чего трудился. И однако его терзало необъяснимое внутреннее беспокойство.

Для беспокойства имелись простые причины. Достигнутое материальное благополучие было шатким — его не оставляли заботы писателя,

{158} Комментарии: 2.158

Кенсингтон-гарденз — большой парк в центре Лондона, примыкающий к Гайд-парку.

живущего своим пером. Американский издатель Джеймса обанкротился, и он потерял большую часть своего заработка за целый год. Еще хуже было то, что романы, созданные им в 80-е годы, были приняты далеко не так благосклонно, как «Женский портрет». Он вложил в «Бостонцев»{159}, «Княгиню Казамассима»{160} и «Трагическую музу»{161} всю силу своего дарования, однако его почитатели сочли их неудачными. Он недаром был искусным теоретиком и потому смог воздвигнуть вокруг своих книг сложную систему оборонительных сооружений, но в глубине души, по-видимому, чувствовал, что было что-то ошибочное в самой их основе.

Джеймсу пришлось столкнуться с двумя неприятными практическими проблемами. Журналы

{159} Комментарии: 2.159

«*Бостонцы*» — роман Г. Джеймса, опубликованный в 1886 г.; действие в нем развертывается в 70-е гг. XIX в. в США. Это проблемный социально-политический роман, в котором показана атмосфера «позолоченного века».

{160} Комментарии: 2.160

«*Княгиня Казамассима*» — роман Г. Джеймса, опубликованный в 1886 г., единственное произведение писателя, где затронуты проблемы революции и рабочего движения. Однако Джеймс видит в посягательстве общественных низов на власть верхов смертельную опасность для духовных и эстетических ценностей человечества. В этом и состоит основной конфликт романа, воплощенный в судьбе главного героя Робинзона.

{161} Комментарии: 2.161

«Трагическая муза» — роман Г. Джеймса, опубликованный в 1890 г., где показан конфликт между искусством и высшим обществом, которое презирает и не понимает истинного искусства.

больше не изъявляли прежнего желания печатать его произведения — статьи и рассказы, — которыми он наводнял литературный рынок. Еще труднее ему было отмахнуться от того, что доходы от издания его книг не покрывали даже тех мизерных авансов, которые предоставляли ему американские и английские издатели. К его досаде, авансы стали уменьшаться. Он не сумел завоевать широкой публики, внимание которой могло бы служить для него поддержкой в эти годы, не говоря уже о денежной стороне вопроса. Сам того не сознавая, он страдал от чего-то большего, чем профессиональные неудачи. В нем развивалось глубоко тревожное состояние. Оно еще не подверглось кристаллизации в стендалевском смысле слова. По Стендалю, тревога и недовольство могут так же кристаллизоваться, как и любовь. Очень медленно, почти неощутимо, этот процесс, судя по всему, совершался и в Джеймсе.

Проследить его помогают мельчайшие признаки. Джеймс был шокирован встречей с Мопассаном и чтением его книг. Он отметил в своих записях, что грубая, неприкрытая чувственность не может дать ключа к пониманию людей. Она сводит на нет психологический ана-

лиз. Возможно, у Джеймса мелькнуло сомнение в своей правоте, и он заподозрил, что чтение его собственных книг могло бы привести к прямо противоположным выводам. Трудно утверждать это с уверенностью. Известно лишь, что для Джеймса в эти годы открылась возможность сближения с женщиной. Из этого ничего не вышло, о чем можно лишь сожалеть, так как равнодушие Джеймса принесло этой женщине много страданий.

Ее судьба вызывает сочувствие. Это была очень порядочная, одинокая, интеллигентная американка, чуть старше Джеймса, получившая такое же, как он, воспитание. Звали ее Фенимор Вулсон, она приходилась родственницей Фенимору Куперу. Она писала романы в традициях областнической школы{162}, которые пользовались в Америке довольно большим успехом, намного превосходящим тот, что выпал на долю Джейм-

{162} Комментарии: 2.162

…в традициях областнической школы. — Имеется в виду теория «местного колорита» и «областнического романа», с которой выступил американский писатель Хемлин Гарленд (1860–1940) в своей известной книге «Крушение кумиров» (эссе «Локальный роман», 1894). Под этим Гарленд понимал точное воспроизведение условий жизни в данной области, где происходит действие романа. Именно этот путь, считал Гарленд, приведет к появлению национальной литературы в США. Однако преувеличение роли «местного колорита» мешало развитию подлинно реалистической литературы, способствовало натуралистическим тенденциям.

са. Она была преданной почитательницей его таланта. Она ухитрилась познакомиться с ним и сразу же полюбила его. В Генри было много привлекательного для женщин. Он обладал тонкой восприимчивостью, в нем было что-то властное и чуть таинственное, Мужественность соединялась у него с мягкостью. Они совершали совместные поездки по Флоренции и Венеции, осматривая достопримечательности. Ни о чем не задумываясь, он беззаботно оказывал ей знаки внимания. Внимание было чисто платоническим — это не подлежит сомнению. Но у него были обходительные манеры. Он то отдалялся, то возвращался снова. После шестилетнего отсутствия он опять встретился с ней в Италии и вел себя так, что она приняла его ухаживания всерьез.

Она написала ему несколько полных обожания писем. Вероятно, он отвечал ей — уклончиво, надо полагать, и в то же время достаточно тепло, чтобы вселить в нее надежду. Винить его трудно, так как ему самому недоставало близких дружеских привязанностей. Он проявил душевную черствость и, если угодно, эгоизм, не сумев понять, что для нее он был единственным человеком, на котором она сосредоточила свои чувства. Она много лет жила ради встреч с ним, которые

случались не часто. В конце концов, оставшись однажды зимой в полном одиночестве в Венеции, она выбросилась из окна. […]

Ему потребовалось много времени, чтобы справиться или хотя бы свыкнуться с сознанием, что для него недостижимы радости, которые без труда даются другим. Связанные с этим тревоги соединялись, по мере его приближения к пятидесяти годам, с повседневными заботами, доставлявшими ему много неприятностей. Это отчасти способствовало кристаллизации его неудовлетворенности, которая имела и другие, еще более темные стороны. В результате он принял самое неудачное в своей жизни решение, которое принесло ему особенно много огорчений. Он задумал разрешить свои проблемы, начав писать для театра.

Вокруг себя он видел тех, кому сцена приносила славу, деньги, удовлетворение. Его романы не нашли широкого читателя. Ну что ж, он попробует взяться за пьесы. Напишет их сразу несколько, чтобы иметь больше шансов на успех. Он знал, что его романам присуще драматическое начало. Содержавшиеся в них эпизоды сценического характера производили требуемое впечатление. Он надеялся, больше того — был уверен, что ему

удастся покорить подмостки.

Вскоре обнаружилось, что работа в театре таит немало трудностей. Менеджеры ободряли его, но постановка пьес необъяснимо затягивалась. Когда он завершал работу над романом, книга попадала в печать самое большее через два месяца (намного быстрее, чем в конце двадцатого столетия). Никто не вмешивался, не вносил изменений в рукопись. Не то с пьесой. Пьесу принимали или хотя бы давали ей положительную оценку, а затем откладывали в сторону на долгие годы. У менеджеров появлялись замечания. У актеров тоже появлялись замечания. Слова, казалось, утрачивали свой обычный смысл. Ему говорили, что пьеса прекрасна. Оказывалось, это совсем не означало, что ее собираются ставить. У Джеймса, который рассчитывал, что к автору будут относиться с уважением, а к такому автору, как он, тем более, все это вызывало недовольство. Как можно было считать театр видом искусства?

Один из актеров, который выступал также в качестве менеджера, проявил к нему большое внимание. Это был Эдвард Комптон, чей сын принял позднее имя Комптона Маккензи. Маккензи создавал постановки в духе Джеймса, протянув, таким образом, связующую нить между дву-

мя поколениями. Джеймс получил от Эдварда Комптона гонорар за сценическую переработку «Путешественника» (интересное произведение, если знакомиться с ним не по нью-йоркскому изданию сочинений Джеймса). Комптон, к неудовольствию автора, сделал в тексте сокращения. Показывая пьесу в провинции, он сыграл в ней главную роль, затем привез ее в Лондон, где она не дала больших сборов, но и не провалилась. Другие пьесы Джеймса имели меньший успех. Именитый актер-менеджер стал постепенно забывать Генри. Американский импресарио Дейли заключил с ним контракт на постановку еще одной его пьесы, предназначив ее для своего нового театра в Лондоне, но, чем больше знакомился с ней, тем сильнее разочаровывался и наконец устроил читку, но не репетицию, надеясь отговорить Генри от постановки.

Охваченный досадой, подозрительностью, страхом, Генри согласился на это. Но в глубине души он верил еще в одну свою пьесу — «Гай Домвиль». В основе ее лежал эпизод из истории Венеции: молодой дворянин знатного происхождения должен был отказаться от своего намерения посвятить жизнь религии, так как все мужчины в его семье погибли в результате

эпидемии. Его заставили покинуть монастырь, чтобы он мог жениться и продолжить род. Генри перенес действие в XVIII век и сделал героя молодым английским аристократом, который получил образование во Франции и готовился к послушничеству в бенедиктинском монастыре. Генри был очень доволен своим творением. Его высокое мнение о пьесе разделял и Джордж Александер, самый популярный из молодых актеров-менеджеров своего времени, когда эта разновидность театральных деятелей особенно преуспевала. Александер видел для себя в Гае Домвиле замечательную костюмную роль. Подобно Комптону, он переделывал пьесу, сокращал ее, вносил изменения, в то время как Генри, испытывая чувство неловкости, сидел рядом. Возможно, Александер улучшил пьесу. Он поставил ее и своем прекрасном Сент-Джеймском театре{163} 5 января 1895 года. Этот вечер стал одним из наиболее памятных в истории театра.

Охваченный волнением, Генри был не в состоянии присутствовать на премьере. Пять лет он бился, пытаясь покорить сцену. Теперь ему

{163} Комментарии: 2.163

Сент-Джеймский театр — открыт в Лондоне в 1835 г.; там ставились пьесы Диккенса, Уайльда, Пинеро, играла знаменитая актриса Патрик Кэмпбелл; 90-е гг. XIX в. — годы наибольшего расцвета театра.

выпала возможность осуществить свои планы. Ведущий актер в главной роли, прекрасный театр. Его собственное имя обладало притягательной силой для образованной лондонской публики. В партере сидели его друзья, почитатели, единомышленники. Он ушел в находившийся неподалеку Хеймаркетский театр{164}, где в тот вечер давали новую пьесу Оскара Уайльда «Женщина, не стоящая внимания»{165}, ушел только для того, чтобы отвлечься, так как эта постановка не вызывала у него интереса. Насколько он мог следить за действием, пьеса показалась ему ничтожной. Как могла выдержать постановку его собственная пьеса?

Чтобы узнать о судьбе премьеры, ему пришлось пойти в Сент-Джеймский театр. Из-за кулис он увидел Александера, выходившего на сцену раскланяться перед зрителями. Из партера доносились аплодисменты, одобрительные возгласы — там собрались друзья Александера и его самого. С галереи шикали. Все, кто находился за сценой,

---

{164} Комментарии: 2.164

Хеймаркетский театр — имеется в виду театр, построенный в начале XVIII в., в котором играл знаменитый английский актер Сэмюэл Фут.

{165} Комментарии: 2.165

«*Женщина, не стоящая внимания*» — пьеса О. Уайльда, поставленная впервые в 1893 г.

казались расстроенными, и никто не мог толком рассказать ему о том, что произошло. Премьера закончилась полным провалом. Из зала неслись насмешки и грубые выкрики, каких Александеру до той поры никогда еще в свой адрес слышать не приходилось… Оттого что Александер повысил цену на театральные программы, настроение зрителей не улучшилось. Генри был слишком ошеломлен, слишком возбужден от волнения, чтобы понять смысл происходящего. Верные друзья в партере стали вызывать автора. Александер, у которого, должно быть, временно помутился рассудок и исчезло чувство сцены, вывел Генри вперед. Из первых рядов послышались аплодисменты. С дешевых же мест неслись дикие вопли, свист, улюлюканье, которые не часто можно услышать в лондонском театре. Публика могла простить своего любимца Александера, но на автора она обрушила всю скопившуюся в ней ненависть. Александеру пришлось увести Генри обратно за кулисы. Когда к актеру возвратилось самообладание, он снова вышел на сцену, чтобы утихомирить зрителей.

Такой вечер был бы тяжким испытанием для любого. В Генри он вызвал поток разноречивых эмоций. Некоторые из них и без того были готовы

вырваться на поверхность, но провал ускорил их созревание. Для театра Джеймс перестал существовать.

Была ли пьеса действительно так несовершенна? Может быть, и нет. Отзывы в прессе не были враждебными. В целом критики отзывались о пьесе с умеренной похвалой, а несколько молодых людей — Герберт Уэллс, Шоу, Беннет{166}, — которые дебютировали в тот вечер в роли театральных рецензентов, постарались быть как можно более доброжелательными. Но Генри не был создан драматургом. Впрочем, редко кто из романистов обладал таким драматическим чутьем. Особенности его темперамента не могли быть ему помехой. Бернард Шоу в этом отношении ничем не отличался от Генри, однако он сумел обратить свой недостаток на пользу театру. Но у Джеймса был другой недостаток, который оказался роковым. Он презирал драматургию как вид искусства.

Совершенно очевидно, что нельзя написать чего-то стоящего или завоевать публику, если презираешь то, что делаешь. Генри, вероятно,

---

{166} Комментарии: 2.166

Беннет, Арнолд (1867–1931) — английский писатель-натуралист, известностью пользуется его роман «Повесть о старых женщинах» (1908).

считал, что ни одна пьеса, за исключением шекспировских, не может выдержать сравнения по глубине и содержательности с лучшими романами, включая его собственные. Как теоретическое положение это мнение может быть оспорено. Генри не понимал, что хорошие пьесы писать труднее, чем хорошие романы, и роль случайности здесь особенно велика. Во всяком случае, пьес, обогативших мировое искусство, намного меньше, чем прозаических произведений.

Своеобразным результатом такого отношения Джеймса к театру стало то, что свои пьесы он вульгаризировал значительно больше, чем это сделал бы драматург, преследующий коммерческие цели. Его инсценировка собственного «Путешественника» оказалась довольно примитивной; на это не пошел бы ни один профессиональный инсценировщик. Джеймсу была присуща тайная склонность к мелодраматизму которую он в себе подавлял, но он был такого низкого мнения о театре, что в пьесах позволял этой склонности проявляться открыто. В «Гае Домвиле» в конце первого акта герой декламирует: «Да здравствуют, да здравствуют Домвили!» Александер оставил это восклицание, должно быть, потому, что оно давало выигрышную возможность про-

звучать всем оттенкам его прекрасного голоса. Можно ли представить себе, чтобы таким языком изъяснялись персонажи романов Джеймса?

Через много лет дал знать о себе классический пример иронии судьбы. После провала «Гая Домвиля» Джеймс покинул театр, но театр не покинул Джеймса. После его смерти знатоки сцены обнаружили в его творчестве огромный драматический потенциал. Повесть «Вашингтон-сквер» была удачно инсценирована, как и роман «Чувство прошлого»{167}. Еще более впечатляющими оказались переложения романов Джеймса на телеэкране. «Женский портрет» стал крупным достижением телевизионного искусства как в эстетическом, так и в других отношениях. Почти ни в чем не уступали ему также «Послы»{168} и

{167} Комментарии: 2.167

«Чувство прошлого» — неоконченный роман Г. Джеймса, над которым он начал работать в 1814 г.; был опубликован в 1917 г.

{168} Комментарии: 2.168

«Послы» — роман Джеймса, опубликованный в 1903 г., в котором он снова обращается к противопоставлению тупого и самодовольного духовного убожества американских бизнесменов одухотворенности и красоте культуры Европы.

«Золотая чаша»{169}. Поучительно, что никто из сценаристов не пытался опуститься до вкусов невзыскательной аудитории. Они проявили намного больше художественного такта и уважения к драме как виду искусства, чем сам Джеймс.

Унизительный провал «Гая Домвиля» стал проявлением и в то же время олицетворением кризисной ситуации в жизни Джеймса. Фенимор Вулсон покончила с собой. Теперь кристаллизация неудовлетворенности приняла отчетливые формы. Он сознавал, как много было им упущено, и страшился потерь, которые ожидали его в будущем. Не однажды в течение ряда лет он оказывался на грани нервного расстройства. Но он был человеком с исключительной силой воли, и, во многом преодолевая себя, он попытался начать жизнь заново. Последним прибежищем для него было, конечно, творчество. В погоне за успехом он потерпел поражение. Пусть так. Не стремясь привлечь к себе внимание, но опираясь на свой авторитет, все еще значительный, а впоследствии еще более выросший, он стал

{169} Комментарии: 2.169

«Золотая чаша» — роман Г. Джеймса, опубликованный в 1904 г., где показаны собственнические инстинкты американских богачей, скупающих европейские музейные ценности, а также желающих заодно приобрести и знатность.

отстаивать свое своеобразное право на создание произведений, не пользующихся широкой популярностью. Это было чистое искусство, его собственный вариант идеальной прозы. Так, год за годом создавалась легенда о Генри Джеймсе, которая в первой половине XX века была всем нам хорошо известна. Как все легенды такого рода, она значительно упрощала истинное положение вещей, но что-то в ней соответствовало действительности.

Он был прирожденным учителем, что согласовывалось с особенностями его личности, психологический анализ которых был приведен выше. Он обладал настойчивостью, терпением, упорством. Учил он тому, какой должна быть проза. Он был единственным крупным писателем, который разработал стройную концептуальную теорию искусства. Пруст писал об этом более тонко, но его рассуждения были в меньшей степени пригодны для обучения молодых писателей.

В целом будет справедливо заметить, что теория Джеймса принесла больше вреда, чем пользы. Она вводила слишком много ограничений. Строгое следование его концепции сделало бы невозможным появление произведений Достоевского, Толстого, Диккенса. Как уже отмечалось,

Генри в своих критических оценках ухитрялся перечеркивать их творчество. Вдобавок ко всему теория не подходила для Бальзака, которому, как уже говорилось, Генри с великодушной непоследовательностью отдал дань самого искреннего восхищения.

Что касается его самого, то для легенды о нем, так же как и для его творчества, теория оказалась полезной. Уверенность производит на людей сильное впечатление, а находясь под впечатлением, они готовы забыть об усталости, даже те, кто не слишком склонен к почтительности. Так было с Уэллсом, который, несмотря на один раздраженный выпад против старого мастера, питал к нему необыкновенное почтение. Все слушали мучительные рассуждения Джеймса, когда пальцы его сжимали воздух в попытках отыскать нужные слова, перемежаемые долгими паузами, — никому другому такого не позволили бы. Во всем этом было лестное сходство с Нильсом Бором из Копенгагена, который имел обыкновение делиться с физиками-теоретиками аналогичными размышлениями вслух. Речи Бора, должно быть, были столь же продолжительны.

В развитии его собственного творчества теория Джеймса сыграла более непосредственную роль.

Следует предупредить, что далее будет изложено мнение, которое разделяют немногие. В поздние годы творчество Джеймса стало значительно беднее содержанием. Ему хотелось выразить некоторые трудные, во всяком случае сложные, понятия, но их было не так много, как кажется. Когда хороший, добросовестный писатель утрачивает содержательность, он обращается к технической виртуозности (имеются признаки того, что это происходило с Диккенсом). Стилю Джеймса была присуща большая виртуозность, которая еще более усиливалась благодаря тому, что техника получала теоретическое обоснование. Его привлек символизм Ибсена, и он им воспользовался, например, в «Крыльях голубки»{170} и «Золотой чаше». В сущности, символизм не подходил для него. Но он помогал выйти из положения, когда мельчало содержание. Аналогичным образом дело происходило и с языком. Часто в поздних романах Джеймс говорил не больше того, что уже было им сказано раньше,

{170} Комментарии: 2.170

«Крылья голубки» — роман Г. Джеймса, опубликованный в 1902 г., в котором изображена молодая американка, рано умирающая от неизлечимой болезни, образ которой раскрывается через сопоставление со старинным портретом итальянского художника. В этом романе, как и в «Золотой чаше», явно выражена тенденция к чрезвычайно усложненной форме.

хотя и не с такой александрийской пышностью. Техника незаметно приходила на выручку. Напрашивается сравнение с Достоевским. Поздний Джеймс использовал все мыслимые средства, чтобы заполнить форму, способную вместить более богатое содержание. Достоевский не мог найти форму настолько емкую, чтобы в нее могло войти все, что он хотел сказать (единственное исключение составляют «Братья Карамазовы»).

Происшедшие изменения наглядно обнаруживают себя в знаменитых предисловиях к нью-йоркскому собранию сочинений Джеймса и в тех переработках, которым он подвергал свои произведения в поздние годы. В предисловиях видна острая проницательность автора и точность его анализа собственного творческого процесса, в особенности когда речь шла о самых ранних произведениях. Ни один писатель не рассказывал так ясно о том, как он создавал свои книги. Вторые редакции, выполненные Джеймсом, обычно усложняют ранние произведения, заставляют их звучать иначе, но не делают лучше. Несколько книг в результате переработки искажено или испорчено. Хотя это касается другого вопроса, самой значительной переработкой в психологическом отношении является финал «Женского

портрета». В нью-йоркском издании поцелуй Гудвуда заставляет Изабель почувствовать всю страстность его натуры и осознать, какой может быть физическая любовь. Она отшатывается, но к ней приходит понимание. Эта сцена написана не лучшим образом, скованность темперамента Джеймса все еще сказывалась. Интересно, что она вообще была написана.

С точки зрения современного писателя, лучшим из поздних романов Джеймса являются «Послы». В значительной степени в этой книге повторяются более ранние мотивы, но она намного сложнее, вмещает больше опыта и занимает видное место в творческом наследии Джеймса. Другие поздние романы уступают повестям и рассказам, в особенности «Повороту винта»{171}, в работе над которым Генри не прилагал больших усилий и где содержание говорит само за себя.

Так Генри прожил последние двадцать лет своей жизни — он был литературным законодателем, который владел мастерством, объяснял собственные произведения, сохранял творче-

{171} Комментарии: 2.171

«Поворот винта» — повесть Г. Джеймса, опубликованная в 1898 г., рассказывающая о развращении детской психики под воздействием окружающей обстановки с использованием мотивов фантастического. К этой повести часто обращались критики фрейдистского толка.

скую энергию. Он ожидал от жизни большего. Судьба разочаровала его. Но, хотя нервы его были напряжены, он сохранял твердость духа и сумел наилучшим образом распорядиться тем, что ему было дано.

Он устроил также и свои домашние дела. Когда-то он, может быть, надеялся завершить жизнь по-королевски, подобно Полю Бурже в Йере. Однако ему пришлось удовлетвориться скромным образом жизни пожилого литератора, соответствовавшим положению кембриджского профессора с небольшими личными средствами. Он приобрел чинный особняк в георгианском стиле{172} в местечке Рай; здесь он мог диктовать свои произведения и принимать друзей (переход от письма к диктовке сделал его язык более усложненным и изобилующим вводными оборотами). Он мог предложить своим гостям неплохое угощение и сколько угодно хорошего вина, хотя сам пил немного. Распорядок дня в его доме был педантичным и отличался скромной добропорядочностью, и он зарабатывал ровно столько,

{172} Комментарии: 2.172

...в георгианском стиле. — Архитектурный стиль, появившийся в Англии в XV111 в.; отличался простотой и классическими пропорциями, отсутствием лишних украшений, что соответствовало вкусам и запросам растущего среднего класса страны; название происходит от имени английских королей Георга I и Георга II, правивших с 1714 по 1760 г.

чтобы его поддерживать. Ему пришлось пережить крупное разочарование в практических делах. Это был неуспех нью-йоркского собрания его сочинений. На него он возложил свои последние надежды, потратив годы самозабвенного, беспокойного труда на создание окончательных, не подлежащих пересмотру вариантов своих произведений. Издание должно было доставить ему средства к существованию в старости. Оно было великолепно оснащено и, подобно кораблю, спущено на воду скрибнеровским издательством в Нью-Йорке. Однако оно пошло ко дну, не оставив следа.

Тем не менее в 1913 году Джеймс смог позволить себе снять просторную квартиру в Лондоне, оставив дом в Райе в качестве летней резиденции. Лондонская квартира находилась в Карлейл-мэншнз{173}, в районе Чейн-роу, ближе к набережной, и окна гостиной Джеймса выходили на реку (несколько лет спустя Т. С. Элиот также поселился в Карлайл-мэншнз). Джеймс не страдал от бедности, и не было оснований опасаться, что нищета грозила ему в будущем. Беда была в том, что его считала нищим Эдит Уортон, а когда

{173} Комментарии: 2.173

Карлейл-мэншнз — жилые кварталы в лондонском районе Челси, названные по имени Томаса Карлейля, жившего неподалеку.

ею завладевала какая-нибудь мысль, она приступала к незамедлительным действиям.

Отношения между Эдит Уортон и Генри всегда носили оттенок высокой комедии, причем Джеймс с присущей ему склонностью к гиперболизации сам был готов позабавиться ими. Оба они были прекрасными, щедрыми людьми, но было бы ошибкой считать их созданными друг для друга. Как уже говорилось выше, она была очень богатой великосветской дамой; книги ее имели огромную популярность. Кроме того, она отличалась кипучей энергией. Она имела обыкновение являться в Райе в огромном автомобиле последней марки, с шофером и прислугой, внося беспокойство в тихое, устоявшееся течение его жизни. В письмах близким друзьям Генри стал называть ее «ангелом-разрушителем» или иногда «жар-птицей». Она сажала его в свой автомобиль и отправлялась с ним в путешествия по Англии, совершать которые он не имел никакой охоты. Будучи истинной аристократкой, она, по-видимому, считала Лэм-хаус, как назывался дом Джеймса в Райе, жалкой деревенской лачугой. Она слышала от Генри жалобы на отсутствие денег, которые, надо признаться, раздавались слишком часто. Эдит решила: надо что-то предпринять. Генри

должен получить Нобелевскую премию.

Идея была, конечно, вполне разумной. Эдит Уортон мобилизовала сторонников с присущей ей энергией и деловитостью, пуская в ход все свое влияние. В это же время испанцы организовали аналогичную кампанию в поддержку Гальдоса. Возражения против того и другого были одинаковы, хотя Джеймс не был спорной фигурой в политическом смысле. Однако, подобно Гальдосу, он не был известен за пределами собственной страны или, точнее, тех стран, где говорили по-английски. Можно добавить, что это так и остается до сих пор. Джеймсу было отказано в премии, как и Гальдосу.

Эдит Уортон это не остановило; у нее возник новый замысел. В Нью-Йорке у нее был тот же издатель, что и у Джеймса. Она вступила в дружеский заговор с Чарлзом Скрибнером{174}. Можно было втайне перевести с ее счета крупную сумму денег. Скрибнеры могли предложить эти деньги Джеймсу в качестве аванса за еще не написанный роман, который, поскольку его здоровье

{174} Комментарии: 2.174

Скрибнер, Чарлз (1854–1930) — глава известного американского издательства и основатель американского литературного ежемесячника «Скрибнере мэгэзин» (1887–1939). В нем сотрудничали Стивенсон, Уильям Джеймс, Киплинг, Вулф и др.

стало теперь ненадежным, видимо, так и остался бы ненаписанным. Такое предложение могло бы поднять его дух. Чарлз Скрибнер с удовольствием сыграл эту роль. Джеймс, к своему большому удивлению, получил тактично написанное письмо, полное выражений любви и восхищения (вполне искренних), где говорилось, что Скрибнеры охвачены желанием получить от него новый роман и в качестве доказательства своего желания предлагают восемь тысяч долларов в виде аванса. Генри за всю его жизнь никто никогда не предлагал таких крупных авансов. Возможно, у него возникли какие-то подозрения, но деньги он принял.

Затем у не знающей устали Эдит родилась еще одна идея, на сей раз гораздо менее удачная. Опять, как и в случае с Гальдосом и в то же самое время, она предложила организовать большую подписку в пользу Генри. Результат оказался иным. Генри, несмотря на его сетования, вовсе не находился в тисках нужды, но, даже если бы он действительно нуждался, план Эдит все равно вызвал бы у него возмущение. Он был очень гордым человеком и наотрез отказался от ее предложения без всяких присущих его стилю оговорок.

Эдит была так же добра, как и он. Не ясно, знал ли он, что между ними существовало еще одно сходство, причем более глубокое. В сущности, Эдит была, как и он, сломлена жизнью, сломлена глубоким разочарованием в любви. Брак не дал ей ничего. Ее длительный роман с Уолтером Берни дал ей очень немногое или совсем не то, чего она ожидала. Ей, однако, повезло больше, чем Генри, и она не отличалась его робостью. У нее была довольно краткая эпизодическая связь со старым знакомым Джеймса Мортоном Фуллертоном, доставившая ей наслаждение. Фуллертон был ненадежным человеком во всех отношениях, особенно в денежных, но, подобно Бальзаку, он приносил моменты счастья всем женщинам, с которыми вступал в связь. Он как бы занимался своего рода благотворительностью. Ему нравилось дарить радость, и он подарил ее Эдит. Видимо, не будет ошибкой предположить, что Джеймсу не выпало такой удачи. [...]

Летом 1914 года Генри был уже болен. Он принял близко к сердцу события первой мировой войны. Для него Англия была всю жизнь оплотом цивилизации. Он не желал слушать критических по отношению к Англии заявлений Америки и тем более ничего не хотел слышать об ир-

ландско-американской поддержке враждебной стороны. Многие из его друзей, среди них Джослин Перес, находились на фронте. Джеймс хотел действовать. Он пожелал навещать в госпитале бельгийских раненых, так как там нужны были люди, способные разговаривать с ними по-французски. Это было немного, но для больного, привыкшего к изысканной жизни человека это что-то значило.

Затем Джеймс решил внести более весомый вклад в общее дело. Толчок был дан благодаря довольно курьезной бюрократической процедуре, которая существовала в Англии. Летом 1915 года, находясь у себя в Райе, будучи с головой погружен в наблюдение за военными действиями и, подобно всем разумным людям, не предвидя им конца, Джеймс получил предписание зарегистрироваться в качестве иностранца. Это вывело его из равновесия. Он прожил в Англии тридцать предшествующих лет, а в общей сложности провел в ней более половины жизни. Его сердце принадлежало Англии, там находились почти все, кто был ему дорог. Он любил эту страну. Иногда он смотрел на нее со стороны, но ведь он везде и всюду на все смотрел со стороны. Вся преданность, которая жила в нем, была обращена

к Англии.

Он не испытывал колебаний. Надо было сделать только один шаг. Он обратился с просьбой о предоставлении ему британского подданства.

Если бы не война, он не сделал бы этого. Генри не был человеком, легко способным переменить гражданство, так же как он не был человеком, готовым изменить свое имя и свои привычки. Это было не в его духе. Он знал, что, поступи он так раньше, это принесло бы ему кое-какие выгоды. В Англии он был более влиятельной персоной, чем в Америке. Его глубоко уважали ведущие политические деятели, особенно премьер-министр Асквит{175}, который был литературно образованным человеком. В качестве британского подданного Генри мог бы рассчитывать на получение любой награды, предлагаемой государством. Однако нет никаких свидетельств, что Джеймс обдумывал возможность подобного шага.

Теперь он сделал это, в черную годину войны. Он действовал без проволочек. Это был рыцарский жест. У него было только одно, что он мог

{175} Комментарии: 2.175

Асквит, Герберт Генри (1852–1928) — премьер-министр Англии в 1908–1916 гг., лидер либеральной партии; правительство Асквита способствовало развязыванию первой мировой войны.

отдать Англии, — его имя. Он решил, что надо отдать его. Он вступил по этому поводу в объяснения с родственниками в Америке, но уведомил их, что решение уже принято. Были поданы необходимые документы, и среди тех, кто ходатайствовал за него, был сам премьер-министр.

Англичане были в восторге. Для них это был, конечно, большой пропагандистский успех. В глазах всего образованного мира Джеймс был самым видным из здравствующих американцев. В «Таймс» появились крупные заголовки. Официальная и высокопоставленная Англия, которую он описывал и хорошо знал, была удовлетворена.

Вскоре он тяжело заболел. Смерть приближалась и в течение нескольких месяцев сторожила его. Умирал он нелегко. Сознание покидало его, порой возвращало назад к действительности, затем снова исчезало. В 1916 году в новогодних выпусках газет появилось сообщение. Мистер Генри Джеймс удостаивался ордена «За заслуги» — высшей английской награды для гражданских лиц.

Видимо, он находился в сознании, когда ему сообщили об этом. Он был удовлетворен. Он не часто приходил в сознание, хотя обратился к

одному из друзей с посланием, уверяя его, что намерен жить. У него были галлюцинации: будто бы он плыл на корабле и будто бы он был Наполеоном. Несколько недель он боролся со смертью и умер в последний день февраля.

Церемония похорон состоялась в Старой церкви в Челси, а его останки были перевезены в Америку. Шестьдесят лет спустя доска с его именем была установлена в Уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве, что в наше время равносильно чести быть похороненным там. Шестьдесят лет — время долгое. Это не являлось такой уж щедрой данью признательности, но это было все, что можно было сделать, и подобный жест имел свое значение.

Пер. Т. Мрозовой*

Г. Дж. Уэллс{˘}

Живя в тридцатые годы в Кембридже{177}, я, надо полагать, рано или поздно непременно

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге Сноу «Многообразие людей», изданной в Англии в 1967 г.

{177} Комментарии: 2.177

Кембридж — город в Англии, где находится известный Кембриджский университет.

познакомился бы с Резерфордом{178} и Харди{179}. Отношения в университете были тогда более простыми, чем теперь, хотя когда я сейчас размышляю об этом, то припоминаю, что никогда и словом не обмолвился с Дж. Э. Муром{180} или с А. Э. Хаусменом{181}. И уж, по всем расчетам, вероятно, что, начиная в то время свою литературную карьеру, я должен был встретиться с Уэллсом{182}. Это и произошло, но при несколько странных обстоятельствах.

В сентябре 1934 года вышел мой роман «Поиски»{183}. Он был хорошо встречен. Английские издатели сделали мне разные предложения, а один даже пытался войти в соглашение с американской фирмой и вместе с ней выплачивать мне определенный годовой доход в течение грех лет,

---

{178} Комментарии: 2.178

Резерфорд — см. коммент. к с 157 /В файле: комментарий № 264 — *Прим. верст.*/.

{179} Комментарии: 2.179

Харди — см. коммент. к с 168 /В файле: комментарий № 292 — *Прим. верст.*/.

{180} Комментарии: 2.180

Мур, Джордж Эдуард (1873–1958) — английский философ-идеалист.

{181} Комментарии: 2.181

Хаусмен (Хаусман), Альфред Эдуард (1859–1936) — английский поэт, автор сборников стихов «Шропширский парень» (1896), «Последние стихи» (1922), «Еще стихи» (1936). Его герои — простые люди; ряд стихов написан от лица деревенского парня, оказавшегося в Лондоне. Поэзия Хаусмена народна по своей сути, отличается лаконизмом.

{182} Комментарии: 2.182

Герберт Джордж Уэллс (1866–1946) — английский писатель, один из основоположников жанра научной фантастики, автор романов «Машина времени» (1895), «Человек-невидимка» (1897), «Война миров» (1898), «Первые люди на Луне» (1901) и др., был также доктором биологических наук. В 1914, 1920, 1934 гг. приезжал в нашу страну. 6 октября 1920 г. беседовал с Лениным. Опубликовал книгу «Россия во мгле» (1920). Хотя Уэллс не верил в возможность того, что Россия сумеет самостоятельно, без помощи Запада восстановить народное хозяйство после войны, все же его книга способствовала тому, что широкие круги населения на Западе во многом узнали правду о положении в Советской России. О том, что Уэллс достаточно критически относился к своим взглядам, говорит следующее его высказывание: «Ленин после единственного разговора со мной сказал, что я неисправимый мещанин. В этом отношении Ленин показал себя трезвым наблюдателем».

{183} Комментарии: 2.183

«Поиски» — один из ранних романов Сноу, опубликован в 1934 г.

чтобы выманить меня из Кембриджа и отправить писать роман на побережье Средиземного моря. В те дни — по неким таинственным причинам — считалось почти невозможным писать где-либо, кроме как на побережье Средиземного моря. Это было, конечно, соблазнительно.

Позднее, той же осенью, на мое место за обеденным столом в колледже положили письмо; адрес на конверте был написан незнакомым почерком, мелким и изящным.

Письмо было от Г. Дж. Уэллса. Он писал, что прочитал мои «Поиски» с живейшим интересом и одобрением, и приглашал приехать в Лондон позавтракать с ним.

Уэллс жил тогда на Чилтерн-корт, рядом со станцией метро на Бейкер-стрит{184}, в том же квартале, где четыре года тому назад умер Арнолд Беннетт. Я приехал в точно назначенное время. Меня провели в маленькую гостиную и сказали, что мистер Уэллс сейчас выйдет. Минуты шли, я глядел из окна вниз на Бейкер-стрит. Был очень хмурый ноябрьский день, тучи висели над самыми крышами, лил дождь — словом, обычный день Шерлока Холмса и доктора Уотсона.

{184} Комментарии: 2.184

Бейкер-стрит — улица в Лондоне, где якобы жил Шерлок Холмс и одно время вместе с ним доктор Уотсон.

Прошло полчаса. Я терялся в догадках, что же такое могло случиться, когда дверь гостиной отворилась и вкатился небольшой кругленький человек.

— Ах, это вы и есть, — произнес он хриплым и в то же время пронзительным голосом, который никто и никогда не мог воспроизвести. — Мне сказали, что вы тут.

Я решил, что эти слова, пожалуй, не совсем к месту. То же самое, быть может, подумал и он, так как сразу же извинился за опоздание. Но я не мог не заметить, что его мысли в это время заняты чем-то другим. Он подошел к окну и, стоя ко мне спиной, стал глядеть на моросящий дождь.

— Вы женаты, Сноу, не так ли? — спросил он, не оборачиваясь.

Я ответил, что не женат.

— Во всяком случае, — продолжал он, глядя на унылую мокрую улицу, — судя по вашей книге, вы кое в чем разбираетесь.

Он был очень угрюм. Почему у него нет жены, которая заботилась бы о нем? Почему бы, в част-

ности, некоей особе, которую зовут Мура{185}, не выйти за него замуж?

Мне было трудно ответить на эти вопросы: ведь я был знаком с ним только десять минут и ничего не знал о Муре. Все же я попытался утешить его, хотя разговор на эту тему был мне весьма неприятен: недавно я сам утратил ту, на которой хотел жениться.

Почему мы не так счастливы, как другие мужчины, настойчиво спрашивал Уэллс. Совершенно невозможно понять Муру. Как я объясню ее поведение? Прошло довольно много времени, прежде чем мы наконец сели завтракать.

Завтрак не рассеял его мрачного настроения. Уэллс соблюдал особую диету и ел очень мало. Мне подали баранью котлетку с картофельным пюре. На столе стояла бутылка вина, но Уэллс, никогда много не пивший, и на этот раз выпил только полбокала.

Иногда он отвлекался от проблем супружеской жизни. Он говорил о моем романе так, словно это автобиография — от этого не могут отучить пи-

---

{185} Комментарии: 2.185

Мура — Мария Игнатьевна Закревская (1892–1974), по мужу Будберг, секретарь М. Горького в 1923–1932 гг. В последующие годы жила в Англии, переводила на английский язык произведения русских и французских авторов.

сателей даже их собственные книги. Он полагал, что я разочаровался в научно-исследовательской работе и потому решил бросить ее. Этого не следует делать, сказал он. Сам он всегда хотел быть ученым. Несомненно, в научной жизни есть свои неприятности и затруднения. Там так же ставят синяки, как и в литературе. Но наука, вероятно, приносит больше удовлетворения. А когда работа завершена, какие почести могут сравниться с простым — мистер такой-то, член Королевского общества содействия успехам естествознания?

Я напомнил, что нечто подобное уже говорилось в одной из его ранних книг. Кажется, в «Пище богов»? Нет, он не хотел говорить о своих книгах, это не занимало его. Он хотел беседовать о браке, о Муре и о научной жизни.

Потом вошла Мура. Это была женщина средних лет, красивая, статная и сильная, как сама матушка-Русь. Я ничего не знал о ее происхождении или об истории ее появления в доме Уэллса, даже не знал ее фамилии, но пришел к заключению, что она русская, возможно, аристократка, близко знавшая послереволюционных писателей.

Она села за стол и с удовольствием помогла мне допить бутылку вина.

От нее так и веяло благодушием и веселостью.

Настроение у нас стало подниматься. Уэллс глядел на нее с обожанием и в то же время недовольно. Говоря с ним, она светилась неподдельной любовью. Но недовольство Уэллса все возрастало, особенно когда она обращалась ко мне. Это ему явно не нравилось. Время подходило к четырем часам, и он дал понять, что мне пора уходить.

— Заходите, навестите нас в ближайшее время, — сказала Мура.

Однако меня больше не приглашали на Чилтерн-корт, хотя я много раз встречался с Уэллсом в других местах.

Я полюбил его, хотя сомневаюсь, чтобы общение с ним дало мне больше того, что я сумел извлечь из его книг. Он был удивительно изобретателен, и каждый мог читать его по-своему. В его лучших романах, таких, как «Первые люди на Луне» и «Война миров», столько литературных находок, что многим хватило бы на всю жизнь. Его фантазия была особенно плодотворной, когда речь шла о детских играх или о войне. Между 1900 и 1914 годами он высказал ряд пророческих идей, имевших практическое значение, включая идеи создания танка и военного самолета. Способность к такого рода предвидению была и у Черчилля, и это была та черта, быть может единственная,

которую Уэллс действительно уважал в нем.

Уэллс не родился мудрым, но стал им. Он был человеком скорее обидчивым и эгоцентричным, чем тщеславным и самонадеянным. Если бы вселенная вела себя по его рецептам, он охотно согласился бы, чтобы его предали забвению. В отличие от многих писателей его не заботило, какую он оставит по себе память.

В то время когда мы познакомились, интерес к его книгам и его писательская слава шли на убыль, и нужен был преданный издатель, чтоб поддержать его (как это сделало для Киплинга издательство Макмиллана{186}). А он с каким-то озорным удовольствием переходил от одного издателя к другому, выжимая авансы, которые не могли покрыть издания его произведений.

Ему была безразлична судьба его книг. Большинство писателей, даже те, кто знает, что канет в Лету{187}, утешают себя тем, что их книги переживут своих авторов. Один писатель, для которого идея личного бессмертия была смехотворной,

---

{186} Комментарии: 2.186

Издательство Макмиллана — известная в Англии книгоиздательская фирма, выпускает общественно-политическую, художественную литературу, словари и т. д.

{187} Комментарии: 2.187

Лета — в греческой мифологии река забвения в царстве мертвых.

говорил мне, что, будь он уверен в интересе к его книгам через сто лет, это искупило бы все его разочарования и огорчения. Уэллс счел бы это чистейшей сентиментальщиной. Но наряду с этим он с очаровательной непоследовательностью переживал появление каждой из своих книг. Я знал многих писателей (а также политических деятелей и даже весьма высокопоставленных особ), расстроенных плохими отзывами на их книги, но я не встречал никого, кто волновался бы сильнее, чем Уэллс. Он вечно подозревал всякие козни. Рвался тут же уничтожить редакторов и критиков. Он не верил, что друзья защитят его. Более вероятно, мрачно намекал он, что у него вообще нет друзей. Через несколько дней гроза проходила, и он, казалось, вовсе забывал о том, что его книга вышла.

Во многих отношениях он казался несколько отстраненным. То он высмеивал себя как «маленького человека», который часто появлялся в его книгах, то обижался по пустякам. Плохие отзывы о его книгах могли довести его чуть ли не до безумия, но свои тягостные обстоятельства он мог обсуждать совершенно откровенно, не считаясь с тем, знал ли он своего собеседника раньше (так было, например, при нашей первой встрече).

Надо быть вовсе отрешенным человеком, чтобы так безразлично относиться к своим собеседникам. Но с такой же легкостью он поверял свои мысли бумаге.

Жаль, что очевидная автобиографичность некоторых его лучших романов — «Тоно-Бенге»{188}, «Киппс», «Любовь и мистер Льюишем» — смягчала то впечатление, которое производит его подлинная биография. Знакомясь с ней, каждый поразится стойкости человеческого духа. Это не была гладкая жизнь, как у многих из нас. Мы не сумели бы так легко перенести то, что перенес он.

Уэллс вышел из самых низов мелкой буржуазии. В этом отношении он не отличался от Диккенса и многих других английских писателей (необычным было бы родиться в рабочей семье: из этой среды еще не вышел в Англии ни один крупный писатель. Я не забыл Лоренса, однако влияние матери сделало его с детства, по суще-

{188} Комментарии: 2.188

«Тоно-Бенге» (1909), *«Киппс»* (1905), «*Любовь и мистер Льюишем»* (1900) — так называемые бытовые романы Уэллса. В романе «Любовь и мистер Льюишем» рассказывается история молодого учителя, который пытался улучшить свое образование, но, женившись, был вынужден оставить свои благие намерения. Во втором романе также показан «маленький человек», типичный для литературы XX в. «Тоно-Бенге» — один из самых удачных романов писателя, где говорится о спекуляциях и погоне за успехом в английском обществе конца XIX в.

ству, мелкобуржуазным). Но Уэллс вырос среди той прослойки мелкой буржуазии, которая в его время давала превосходных слуг.

Его отец был младшим садовником, но, потеряв работу, был вынужден добывать средства к существованию то профессиональной игрой в крикет (в те дни это было одним из видов домашнего обслуживания), то неудачными попытками держать лавку. Семья жила в нужде, и большую часть своего детства Уэллс провел впроголодь. Его мать служила горничной, а когда лавка мужа прогорела, она, чтобы поддержать семью, нанялась экономкой в богатый помещичий дом. Лучшее, что она смогла придумать для своего сына (уже обнаружившего большие способности), — это в тринадцать лет отдать его в ученье к торговцу мануфактурными товарами. Выказав неспособность и упрямство, сын сбежал с этой работы и вскоре был определен учеником к фармацевту. Он снова сбежал, и тогда был отдан в ученики к другому торговцу мануфактурой.

Впоследствии Уэллс забавно изображал, как он пытался угождать покупателям. Однако трудно представить себе обстановку более унизительную для гордого и одаренного мальчика. И Диккенсу в свое время было нелегко на фабрике

ваксы, но Уэллсу пришлось тянуть лямку значительно дольше. Это отняло у него все детство. Он относился к этому более юмористически, чем Диккенс (сравним хотя бы роман «Киппс» и тот факт, что Диккенс и мысли не допускал о том, чтобы отразить в своих произведениях пережитое в детстве), но и ему приходилось страдать.

Это породило в нем дерзкую непочтительность, словно с детских лет он решил не склоняться ни перед какими титулами, званиями и высокими лицами; кроме того, я всегда предполагал, что это сделало его менее трезвым в политике и более склонным к созданию утопий, в которых замечательные и богоподобные существа очищали мир, стремясь к тому, чтобы не было больше тоскующих, одаренных богатым воображением мальчиков, больных и полуголодных, но нарочито бодро насвистывающих, чтобы не пасть духом.

Подобно Ллойд Джорджу, Уэллс до самой смерти был радикалом в полном смысле этого слова. Он сделал гораздо меньше уступок, чем Ллойд Джордж; у него было меньше поводов для этого, потому что он вовсе не был политиком. Ни тот, ни другой не забывали своего происхождения и не прощали его себе. Оба они вышли из той социаль-

ной среды, которая не содействовала развитию упорядоченного политического мышления. Ни один из них не был близок к промышленному рабочему классу, хотя оба имели общее представление о том, как он может развиваться в передовых обществах. Возможно, следовало бы заметить, что до наших дней никому в развитых обществах не удавалось прийти к стройному политическому мышлению легко и просто, разве что в явно реакционных системах.

Много позже произошла встреча Уэллса с Лениным, которую трудно назвать удачной. Хотя Уэллс считал Ленина великим человеком, он назвал его «кремлевским мечтателем». Ленин же сказал о нем: «Какой мелкий буржуа!»

Жаль, что так случилось. У Уэллса была привычка к броским выражениям, за что он потом горько расплачивался. А слова «кремлевский мечтатель» были самыми неудачными из всех. Но Уэллс всегда был нетерпелив в политике. Он не смог разобраться в той сложной «мгле», которая была частью России, не смог понять, что Ленин говорил об электрификации с такой же практичностью (хотя речь шла не о ближайшем будущем), с какой составляют рабочие чертежи. Кроме того, Ленин, всю свою сознательную жизнь

посвятивший политической борьбе, не мог поверить, чтобы человек с добрыми намерениями, наделенный творческим воображением был не способен понять значение революционной ситуации.

Все же до самой своей смерти Уэллс относился к России лучше, чем многие из его соотечественников. Он был другом Горького; сам очень смелый человек, он восхищался мужеством русских. И русские не забыли его. Под непривычным для нас именем Герберта Уэллса[25] его и сегодня в Советском Союзе широко читают и издают многочисленными изданиями.

Уэллс прошел через испытания более тягостные, чем это выпало на долю Диккенса, Шоу{189} или любого другого писателя, родившегося в девятнадцатом столетии. Он сумел быстро, по крайней мере внешне, стряхнуть с себя невзгоды своего детства, но ему пришлось перенести тяжелую болезнь, угрожавшую смертью, и бедность, которая отнюдь не помогала справиться с болез-

---

[25] Примечания: 1.25

Полное имя писателя Герберт Джордж Уэллс. — *Прим. перев.*

{189} Комментарии: 2.189

Шоу, Джордж Бернард (1856–1950) — английский писатель, драматург и эссеист. Шоу и Уэллс познакомились 5 января 1895 г. в зале Сент-Джеймского театра, где Уэллс первый подошел к Шоу и представился ему. Они оставались дружны всю жизнь.

нью. А когда он все-таки ухитрился выжить, на его долю выпали потрясения, которые приносила ему чрезмерно пылкая натура.

Прежде всего Уэллс стремился получить образование. Надо представить себе, как сложно это было в конце прошлого столетия. В Оксфорде{190}, Кембридже и в возникавших «краснокирпичных университетах»{191} существовали стипендии, но в большинстве школ о них и не слышали. Мальчик, находившийся в положении Уэллса, почти ничего не знал об их существовании. (Так было и в мое время, сорок лет спустя. Я окончил среднюю классическую школу{192}, которая за всю свою долгую историю ни разу не прославилась тем, что выдвинула кандидата на получение стипендии.)

О мальчиках, подобных Уэллсу, иногда узнают

{190} Комментарии: 2.190

Оксфорд — город в Англии, где находится один из старейших в Европе университетов.

{191} Комментарии: 2.191

…В возникавших «краснокирпичных университетах» — университеты, возникшие во второй половине XIX — начале XX в., куда стали допускаться представители широких слоев населения (в противоположность таким старым аристократическим учебным заведениям, как Оксфорд и Кембридж).

{192} Комментарии: 2.192

Средняя классическая школа — частная или государственная школа, где предусматривается изучение классических языков; дает право на поступление в высшее учебное заведение.

случайно, а иногда они сами заявляют о себе, но их талант остается нераскрытым, если не позаботиться о нем.

Уэллсу дважды повезло. В годы его торгового ученичества на него обратил внимание директор местной школы, который имел некоторое представление о науке, и обнаружил, что мальчик сможет сдать почти любой экзамен. Он давал ему книги — они не отвечали современным требованиям, но, как говаривал Харди, книга, которая будит воображение умного ребенка, не может быть совсем плохой — и помог ему стать тем Уэллсом, которого мы знаем. Директор школы сумел извлечь из этого пользу для себя, вполне заслуженную, хотя и несколько странным путем. Дело в том, что при педагогическом факультете были учреждены тогда вечерние классы, и преподавателю этих классов (в данном случае упомянутому директору школы) выплачивалось существенное — по масштабам восьмидесятых годов прошлого века — вознаграждение за студентов, которые успешно сдавали экзамены. Таким образом, благодаря способностям Уэллса директор смог получить весьма приятное прибавление к своему заработку. А сто питомцу педагогический факультет назначил пособие в

размере одной гинеи в неделю для продолжения образования в Южном Кенсингтоне{193}.

Этот проект, предусматривавший отбор и обучение преподавателей естественных наук, должно быть, придумал какой-то безвестный чиновник. Проект выглядит довольно примитивно в сравнении с нашей четкой системой образования, но все же говорит о творческом воображении и является более демократичным и социально ценным, чем любой дальнейший административный проект в образовании.

Уэллсу восемнадцать лет. Он в Высшей школе естественных наук (теперь мы знаем ее как Роял-Сайенс-колледж Лондонского университета). Одна гинея выплачивается ему по средам (даже в середине восьмидесятых годов прошлого века это означало, что два дня в неделю он должен голодать). Целый год он был счастлив. Он говорит: «За этот год я весь обносился. Я недоедал и ютился по углам, но это не имело для меня никакого значения: передо мной раскрывались новые перспективы жизни». И тут ему во второй раз

{193} Комментарии: 2.193

Южный Кенсингтон — значительная часть Кенсингтона, района Лондона, где находится много научных, учебных и культурных учреждений, например Британский музей естествознания, Геологический музей, Королевский художественный колледж, а также Образцовая школа наук, в которой учился Уэллс.

в жизни очень посчастливилось. Его учителем оказался Томас Хаксли.

Хаксли был человеком выдающимся. Он не был самобытным ученым такого масштаба, как его друг Дарвин, но и таких ученых, как он, тоже очень мало. По своему характеру он был человек более сильный, твердый и не так потакал своим слабостям, как Дарвин. Сам Дарвин не мог желать более преданного приверженца: без Хаксли теорию Дарвина еще долго и грубо поносили бы, прежде чем признать. Хаксли был одним из замечательнейших деятелей просвещения. Более чем кто-либо другой он оказал влияние на Уэллса, который сам призван был стать выдающимся просветителем следующего поколения.

В конце прошлого века в биологии царило все возраставшее оживление. Смысл эволюционной теории был растолкован, и казалось, что вскоре последуют другие важные исследования. Все с надеждой ожидали новых открытий, и они действительно были сделаны, но через шестьдесят-семьдесят лет (для этих открытий нужны были новые технические средства, которые в 80-х годах прошлого века еще нельзя было себе представить). Словом, в биологии ожидалось тогда нечто вроде второго пришествия. А физика

считалась в те годы скучным предметом. Никто не ожидал от нее чего-нибудь значительного. Многие думали, что все открытия уже сделаны и остается лишь упорядочить их. Занятная ирония судьбы! Героический век физики стоял еще только у порога. Тем временем биологи пожинали лавры. Помню, А. К. Хаддон рассказывал мне, как увлекательно было быть в те годы биологом. Он был на несколько лет старше Уэллса, стал известным антропологом и сохранил в свои восемьдесят лет юношеский энтузиазм времен Хаксли, Фрэнсиса Бальфура{194} и других замечательных ученых. «Я обычно бегом бежал на свои лекции», — говорил он мне.

Это было то увлечение наукой, которое никогда не покидало Уэллса. До конца своей жизни он хотел стать ученым. Если бы он после первого года учебы у Хаксли сразу перешел на исследовательскую работу — при условии, что следующие два года будут такими же успешными, — он мог бы сделать «громкую работу» («sound work», как он любил говорить) в зоологии. Он сумел бы обогатить наши знания. Он мог бы стать профессором. А затем, со временем, — заслуженным

{194} Комментарии: 2.194
Бальфур, Фрэнсис Мейтлэнд (1851–1882) — английский зоолог.

профессором в отставке — звание, которое его особенно привлекало.

Все это уже походит на некую позу, выражающую и тоску по прошлому величию, и обманутые надежды; ее нет-нет да и увидишь у крупных дельцов-воротил или у политических деятелей — ведь неприятно оставаться в полной безвестности. Но я и тогда считал и продолжаю считать, что тут было нечто другое. Уэллс действительно верил в науку, в ее практические достижения, в ее понимание мира. Он не был особенно честолюбив. И не потешался над своей славой, как это делал Шоу. Но он исключительно легкомысленно относился к своим действительным способностям и часто даже как будто не подозревал об их существовании. Нет сомнения, он стал бы отличным профессором зоологии, но весьма трудно представить себе, чтобы он сделал такой вклад в науку, какой сделал Павлов. Он легко мог быть счастлив тем, как текла его жизнь, но не следует забывать, что в академическом мире 1890–1930 годов его личная жизнь доставляла ему, конечно, неприятности.

Но как бы там ни было, он часто пытался навязать мне свои мнения. Почему бы мне не вернуться опять к занятиям физикой? Ведь я

бы мог сделать «громкую работу». Он не хотел признать, что и я по-своему так же тверд, как и он сам. Следует добавить, хотя этого он мне не говорил, что у него, возможно, были другие основания, чтобы пытаться убедить меня вернуться к научной деятельности. Он не был уверен в том, что мое литературное творчество окажется достаточно самобытным. Ему понравился мой роман «Поиски», но, как я подозреваю, он считал, что сам он мог бы написать его лучше. Когда в 1940 году Уэллс прочитал мою книгу «Чужие и братья», я получил от него длинное письмо. «Это действительно самобытное произведение», — писал он. И тут же согласился с тем, что я был прав, изменив свой жизненный путь.

Итак, Уэллс не стал профессором. Он был занят множеством разных неподходящих дел: преподавал в частных школах, правил статьи для такого любопытного учреждения, как заочный университетский колледж, писал руководство по зоологии и вдобавок еще занимался журналистикой. Это была жизнь достаточно трудная для молодого человека, и словно для того, чтобы сделать ее еще трудней, он заболел туберкулезом и какой-то неизвестной болезнью почек, так что все думали, что он умрет. Но это не явилось пре-

пятствием ни для того, чтобы в свободное время добиться получения первой ученой степени по зоологии, ни для того, чтобы жениться. Это был единственный случай, когда Уэллс пожалел себя. Было бы горько умереть, не познав радостей любви. Китс, еще один отважный юноша, так же проклинал за это свою судьбу. Туберкулез убил Китса, тогда как Уэллс к тридцати годам был здоров.

Болезнь и толкнула его к тому, чтобы целиком отдаться литературному труду. Это было единственное, чем Уэллс мог заниматься, когда у него открылось кровохарканье и он длительное время не работал, довольный уже тем, что пока жив. Он начал строчить одну статью за другой (в 90-е годы прошлого века сбывать их было легче, чем теперь, семьдесят лет спустя) и написал «Машину времени».

Как и Диккенс, Уэллс был, конечно, прирожденным писателем. Чем бы он ни занимался, он всегда был изобретателен, внося что-то свое, ни у кого не заимствованное. Но у него был дар и более существенный для романиста. Это была способность — ее он унаследовал от Диккенса, а не перенял у него — безо всякого усилия или напряжения ясно «представлять» события, словно

они сами собой легко возникали в памяти.

В его научно-фантастических романах способность изображения достигла высокой степени: реальность описания в первой главе «Войны миров» так же совершенна, как и в первой части «Дэвида Копперфилда». Та же способность видна еще и в превосходном романе «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна»{195}, написанном двадцать лет спустя. После этого писательская работа шла урывками: Уэллс потерял интерес к написанию романов.

Я не собираюсь утверждать, что нет еще более высоких способностей, которыми мог бы обладать романист. Но их нельзя приобрести. Этому писатель не может научиться: он или имеет дар, или не имеет его. Если имеет, люди будут читать его, если не имеет, то им могут восхищаться, но читать не будут.

Генри Джеймс, с которым Уэллс был дружен много лет и который был более великодушен к Уэллсу, чем Уэллс к нему, бился над разгадкой этой тайны. В своем творчестве Уэллс нарушал

{195} Комментарии: 2.195

«Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» — роман, опубликованный Уэллсом в 1916 г. В нем автор выступает как исследователь общества, нашедшего нужную меру регламентации и личной свободы. С пониманием этих категорий Уэллс связывал вопрос о социализме. М. Горький высоко ценил антивоенную направленность романа.

все эстетические каноны Генри Джеймса и, в сущности, вовсе не обращал на них внимания.

Джеймс с грустью писал ему:

> «Я читал вас так, как я всегда вас читаю и как никого еще не читал, с полным отречением от всех тех „принципов критики“… с которыми я брожу, спотыкаясь, по страницам других писателей, связанный в какой-то степени с еще любимой мной теорией, и в то же время с самой циничной непоследовательностью отбрасываю ее, как только поддаюсь вашим чарам».

Да, это был большой талант. Его тотчас признали. Как только вышли «Машина времени» и «Война миров», Уэллс стал известным и состоятельным писателем. К тому времени улучшилось и его здоровье. К 1900 году, когда ему исполнилось тридцать четыре года, относится начало его деятельности на ниве просвещения, которую он считал более важной, чем труд романиста. Великий просветитель из самых обычных людей, между прочим. «Он пророк», — писал Уинстон Черчилль, когда уже был глубоким стариком.

Как и Толстой, Уэллс не мог не быть педагогом.

Это было у него в крови. Если бы этого не было, то его лучшие романы — «Тоно-Бенге», «Киппс», «История мистера Полли» — были бы совсем другими книгами. Однако дидактическая жилка — ее, между прочим, можно найти у многих больших художников — была, я полагаю, усилена в нем тем смятением чувств, которое Уэллс испытывал в своей личной жизни. Ему хотелось, как в таких случаях поступает большинство из нас, оправдать себя. Хотелось жить в таком обществе, которому подошел бы его образ жизни. Однако для этого потребовалось бы довольно значительно изменить само общество, потому что жизнь Уэллса была весьма странной.

Подобно Диккенсу, на которого он во многом походил, Уэллс был человеком страстным. Как и Диккенс, он в молодости не сумел найти себе подругу жизни. Он влюбился в свою кузину, которая, по-видимому, была милой, простой девушкой. Невзирая на свою болезнь и бедность, он женился на ней, но в семейной жизни не нашел удовлетворения, а через год или два оставил ее, увлекшись одной из своих студенток.

Нечто подобное произошло в свое время и с Диккенсом. После многих лет безрадостного брака он оставил жену и ушел к Элен Тернан, с

которой тоже был несчастлив. Но с Диккенсом это произошло в зрелом возрасте, а Уэллс еще молодым женился во второй раз. Судя по им же созданной сатире на «маленького человека», Уэллс был гораздо более безжалостным, чем Диккенс. Он знал, чего он хочет от жизни, знал, что получит это, только если возьмет сам, и не желал обманываться на этот счет. Поэтому его вторая жена оставалась для него любящей помощницей — это были странные и трогательные отношения, а радости жизни Уэллс искал вне дома.

Внешне Уэллс не выглядел особенно привлекательным. Он был небольшого роста, а к тридцати пяти годам, когда его здоровье окрепло, быстро превратился в коротышку-толстяка. Он всегда немного стеснялся своего вида и своего тонкого хриплого голоса, и если что-то в его внешности и могло произвести впечатление, так это прекрасный лоб и печальные, не от мира сего, красивые и выразительные глаза. Однако он скоро узнал, как он часто говорил, что любовь может вызвать любовь, но желание, конечно, может вызвать только желание. Он был большой весельчак, изумительный рассказчик; он любил женщин, и они любили его.

Не только привлекательность женщин, с

которыми он был знаком, но и их интеллект отразились в обликах героинь в таких его полуавтобиографических романах, как «Анна-Вероника»{196}, «Новый Макиавелли»{197} и «Мир Уильяма Клиссольда»{198}. Его необычная, противоречивая жизнь вызывала неодобрение и зависть современников. Уэллс не обращал на это внимания, он брал от жизни все, о чем в дни своей горькой юности мог только мечтать.

Не без воздействия всех этих осложнений складывались его представления о новом обществе и роли просвещения. Новое общество должно быть основано на научном знании. Нищета, голод, материальные лишения оскорбляют человеческий разум и должны быть полностью уничтожены. Многое в его социальном мышлении сохрани-

---

{196} Комментарии: 2.196

«Анна-Вероника» — бытовой роман Уэллса, опубликован в 1909 г. Героиня романа, молодая девушка из буржуазной семьи, оставляет свой дом и вступает в связь со своим преподавателем, будущим известным писателем. Не исключено, что здесь Уэллс рассказал историю своего второго брака. Анна-Вероника — новая для английской литературы героиня, стремящаяся к самостоятельности и независимости.

{197} Комментарии: 2.197

«Новый *Макиавелли*» — роман Уэллса, опубликован в 1910 г., носит отпечаток автобиографичности.

{198} Комментарии: 2.198

«Мир Уильяма Клиссольда» — роман Уэллса, опубликован в 1926 г. Роман явился результатом разочарования писателя в богостроительских теориях.

ло свою свежесть и в наши дни. Отдельные его поучения не будут перечитывать — они тонут в общих рассуждениях. Зато другие его книги читают все больше; исполненные тонкой иронии, они сверкают искрами природного дара, которым Уэллс так мастерски владел.

Кое-кто пытался пренебрежительно отнестись к его социальным идеям, говоря, что он излишне оптимистичен. Поскольку в глазах иных людей это являлось одним из самых суровых обвинений, которые только могут быть предъявлены современному писателю, они не считали нужным что-либо добавить к этому. В действительности этот упрек — просто вздор. Уэллс не больше, чем святой Августин, склонен был считать людей хорошими и мудрыми от рождения. Он по складу своего характера не мог в это поверить, да и эволюционная теория учила чему угодно, но только не тому, что выживают самые добрые и невинные. Уэллс был убежден, что за то время, пока люди ползли из пещер к обветшалому обществу 1900 года, род человеческий научился немного лучше управлять своей судьбой, поэтому нельзя допускать, чтобы большинство человечества жило впроголодь и преждевременно умирало. С присущим ему нетерпением он считал, что

такой переворот может произойти быстрее, чем предполагалось. Если это излишний оптимизм, то побольше бы его нам.

Его личное восприятие жизни было, в сущности, довольно мрачным. Шоу был другим. Но Шоу, который мог быть и более добрым, и более холодным человеком, никогда не приходилось бороться со своими страстями. Уэллс часто бывал жизнерадостней многих, но в глубине души и у него не было иллюзий. Это ясно видно в его самых ранних книгах, таких, как «Машина времени» и «Остров доктора Моро»{199}, а также и в некоторых более поздних. (И тут снова возникает параллель с Диккенсом. Недавно Бернард Бергонци{200} опубликовал об этом некоторые интересные данные.) Но наряду с этим у него было страстное желание учить, вера в то, что человек может стать образованнее, и пылкие социальные упования.

Когда мы сблизились, он был уже стар. Печальное настроение находило на него все чаще. Помню один вечер в 1938 году, когда он приехал

{199} Комментарии: 2.199

«*Остров доктора Моро*» — фантастический роман Уэллса о путях буржуазного прогресса, опубликован в 1896 г., в нем нашла отражение идея двойственности этого прогресса.

{200} Комментарии: 2.200

Бергонци, Бернард (род. в 1929) — английский критик, писал о творчестве Уэллса, Т. С. Элиота, современном романе и т. д.

в Кембридж на конгресс Британской научной ассоциации{201}. Днем он делал доклад в секции по вопросам образования, одетый в докторскую мантию, в шапочке, похожий на одного из созданных им маленьких смешных персонажей. (Он недавно приступил к работе над докторской диссертацией, словно был по-прежнему молод. Это казалось странной прихотью человека с мировой известностью. Ниже я попытаюсь объяснить это.)

Вечер мы коротали, сидя вдвоем в гостиной университетского отеля. Было уже поздно, за полночь, и мне все казалось, что мы ждем кого-то из знакомых. Так или иначе, мы бодрствовали, уставившись на пальмы, и перед каждым из нас стоял стакан виски. Уэллс говорил, что, по его наблюдениям, единственное различие между кругом моих друзей в тридцатые годы и его друзьями в девяностых годах прошлого века заключается в том, что мои друзья пьют значительно больше. Обычно он любил поговорить, но на этот раз разговор не клеился. Паузы становились все

{201} Комментарии: 2.201

Британская научная ассоциация — Британская ассоциация по распространению научных знаний, основана в 1831 г., ежегодно проводит сессии ученых, где делаются доклады о последних научных достижениях.

продолжительней. Мы молчали. Неожиданно он прервал молчание и без всяких предисловий задал вопрос:

— Сноу, вы никогда не думали о самоубийстве?

После некоторого раздумья я ответил:

— Да, Герберт Джордж, думал.

— Появилась эта мысль и у меня. Но после семидесяти.

Ему было тогда семьдесят два года. Мы выпили еще виски и продолжали угрюмо рассматривать пальмы.

То, что он сказал, не до конца было правдой. Человек он был очень честный, но, как и большинство из нас, скорей способен был сказать правду о том, что он чувствует в данную минуту, чем правду вообще. В его автобиографии (она вышла за четыре года до нашего разговора) говорилось, что уже в шестнадцать лет он хотел покончить с собой. Мануфактурная лавка стала для него тем тупиком, где он дошел до предела отчаяния, по ночам убегал к морю и думал о том, что броситься в волны было бы лучшим исходом. Но когда мы беседовали в гостиной отеля, он забыл об этом: настоящее было тоже достаточно безрадостным.

Многое угнетало Уэллса и в последние годы его

жизни. Нет, речь не о войне. Когда падали бомбы, он спал на верхнем этаже дома на Риджент-парк так же спокойно, как и другие лондонцы. Все дело было в том, что прошла счастливая пора наслаждений и утех. Утрачено влияние, развеялось большинство надежд. Он плохо вел свои литературные дела и терял почитателей. У него никогда не было заметного писательского тщеславия, а надо бы иметь его хоть немного. Была у него лишь одна честолюбивая мечта, но она так и не осуществилась.

К концу второй мировой войны Уэллс умирал от рака. Но он был слишком сильный человек, чтобы сразу сдаться. Когда я в последний раз видел его, он был так же весел, как и прежде. Это было осенью 1941 года. Он приехал в Кембридж, чтобы принять участие в заседании, посвященном памяти Коменского{202} (это была одна из тех фигур, подобных Роджеру Бэкону{203} и Макиа-

{202} Комментарии: 2.202

Коменский, Ян Амос (1592–1670) — чешский педагог-гуманист, сторонник раннего и последовательного обучения, создал несколько учебников, в том числе «Астрономию» (1632), «Физику» (1633).

{203} Комментарии: 2.203

Бэкон, Роджер (ок. 1214–1294) — английский естествоиспытатель-материалист и философ, сыгравший большую роль в критике схоластической науки.

велли{204}, с которыми Уэллсу нравилось ради забавы отождествлять себя).

Когда он сообщил мне о своем приезде, я решил удрать из военного Лондона и собрать на встречу с ним кого только смогу из моих друзей, что помоложе. Я считал, что такую возможность, быть может последнюю, они не должны упустить.

Герберт Джордж (ему нравилось, когда его так называли, особенно молодежь) был в самом веселом настроении. Мы устроили в честь Уэллса обед, глава колледжа провозгласил тост, в котором назвал его современным Коменским. В ответ Герберт Джордж проскрипел, что современный Коменский валялся бы сейчас под столом. Потом мы расположились в комнатах, где я жил раньше. Уэллс устроился в кресле у огня, и мы слушали его почти полночи.

Когда стали укладываться спать, он сказал мне, что ему хотелось бы вызвать на разговор молодых людей, но это не относится к числу его талантов, а кроме того, каждый в его состоянии этой ночью

{204} Комментарии: 2.204

Макиавелли, Никколо ди Бернардо (1469–1527) — итальянский политический мыслитель и писатель. В трактате «Государь» (1513) и книге «История Флоренции» (1521–1527) бедствия Италии справедливо объяснял ее политической раздробленностью. Разделял веру гуманистов Возрождения в сильную личность, но считал, что для упрочения государства допустимы любые средства, отсюда термин «макиавеллизм».

предпочел бы поберечь себя. Да, это верно, что его надежды не сбылись. Всю свою жизнь он говорил человечеству о пользе сомнений, а что толку — опасность лишь возросла. Говорил он это с печальной иронией. Он верил в конечный успех войны с фашизмом, и его военные суждения впоследствии оказались правильными. Шли ночные часы, и настроение Уэллса постепенно поднялось. Он опять спал веселым и проницательным, сварливым и шутливо-поэтичным, словом, точно таким, каким он был в своих живых, беззаботных книгах, написанных им в молодости. Он тут же мог бы внезапно загореться каким-нибудь новым изобретением или мимоходом кинуть фразу, которая сразу прояснила бы весь спор (совершенно особый дар, который я раньше ни у кого не встречал, да и потом не знал никого, кто владел им хотя бы в малой степени).

В это утро я услышал его голос в последний раз. Мы легли спать около трех часов ночи, и я крепко спал, но вдруг проснулся от тяжелых ударов в дверь моей спальни и от криков: «Гестапо! Гестапо!» Это был Герберт Джордж. Шел девятый час утра. Уэллс отправлялся завтракать. «Выходите, чтобы увидеть Эдди! Выходите!» — кричал он.

«Эдди» был мой сослуживец, выдающийся

биолог Ч. Г. Уэддингтон. Таковы были последние слова Уэллса, которые мне пришлось услышать. Их трудно забыть отчасти еще и потому, что никто больше не называл Эддингтона таким необычным именем.

Последние годы Уэллса были незавидными. А ведь даже незначительное внимание со стороны администрации могло, пусть на день или два, озарить их. Для него существовала только одна форма почести, которую он давно и страстно желал. Это началось еще в дни его юности, когда он мечтал стать ученым. Он хотел быть академиком, членом Королевского общества{205} содействия успехам естествознания. И это желание вместо того, чтобы с годами ослабевать, все более овладевало им. Со всевозрастающим унынием он чувствовал, что только в этом мог бы найти оправдание всей своей жизни. Я совершенно убежден, хотя это и догадка, что именно это побудило его в семьдесят лет проявить ученое усердие для получения докторской степени. Надо было доказать, что он может написать вполне солидную научную работу.

Уэллс может показаться странным или даже

{205} Комментарии: 2.205

Королевское общество — главный научный центр Англии, выполняющий функции национальной академии наук, основано в 1660 г.

немного не в себе в этом стремлении стать членом Королевского общества. Если вы Г. Дж. Уэллс, то для чего вам, собственно, научное звание? Таков был один из доводов, который выдвигали некоторые мои друзья из Королевского общества. Но в том-то и дело, что для него это имело значение. И этого было бы достаточно. Он был провозвестником науки двадцатого века, более действенным, чем кто-либо из нас. Просто возмутительно, что Королевское общество с таким безразличием отнеслось к нему.

Джулиан Хаксли{206} и другие биологи, члены Королевского общества, сделали все, что могли, но встретили решительное сопротивление. Не являясь членом этого общества, я не мог принимать участия в полемике, но старался убедить своих друзей, которые в него входили, помочь Уэллсу. Даже от тех, кого я уважал, я слышал неопределенные, туманные ответы. Более или менее вразумительное объяснение заключалось в том, что Королевское общество в настоящее время состоит исключительно из лиц, которые занимаются научными исследованиями, внося творческий вклад в науку. Уэллс сделал значи-

{206} Комментарии: 2.206

Хаксли (или Гексли), Джулиан Сорелл (1887–1975) — английский биолог и философ.

тельно больше, но вот именно этого он не сделал. А если один раз допустить исключение, хотя бы даже для него…

Довод как будто убедительный и почтенный, но это была явная неправда. Королевское общество всегда имело обыкновение время от времени принимать в свои члены министров и других высокопоставленных лиц. За два или три года до возникновения спора об Уэллсе оно приняло лорда Хэнки[26]. Потом еще несколько политических деятелей и чиновников высокого ранга. Все они оказали услуги государству — это верно; их избрание было актом благодарности — прекрасно; но если можно принять их, то почему нельзя принять Уэллса? Я просто был вне себя. И теперь, через двадцать лет, я все еще не могу вспомнить об этих спорах без вновь охватывающего меня чувства гнева.

Он так и не был избран. Кое-как существовал и умер в восемьдесят лет. Как-то раз он сказал мне в своей озорной, вызывающей манере:

— Умирать-то, во всяком случае, дело дрянное.

---

[26] Примечания: 1.26

М. П. Хэнки в течение ряда лет был английским военным министром. — *Прим. перев.*

Так оно и оказалось.

Пер. Г. Льва

Роберт Фрост{˘}

Через несколько месяцев после смерти Роберта Фроста[27]{208} я был в Москве. В Библиотеке иностранной литературы я увидел объявление о том, что вечером состоится лекция о Фросте, и решил пойти на эту лекцию. Мне было известно, что незадолго до смерти Фрост посетил Россию и имел там такой успех, какого на нашей памяти еще не было ни у кого из американских писателей. Как мне сказали, в конце концов удалось великолепно перевести Фроста на русский язык. Его стихи, на первый взгляд такие простые, почти всегда

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге «Многообразие людей».

[27] Примечания: 1.27

Американский поэт Роберт Фрост (1874–1963) был большим другом советской страны. Приехав в 1962 году в Москву, он сказал: «Ваша эмблема — серп и молот, моя — коса и топор. Мои любимые занятия: косить, рубить дрова и писать пером. Я знаю вас лучше, чем госдепартамент: я изучал Россию по русской поэзии и приехал проверить все, что она мне сказала. Поэзия — это мечта, создающая великое будущее». — *Прим. перев.*

{208} Комментарии: 2.208

Роберт Фрост (1874–1963) — известный американский поэт. После очень недолгого пребывания в Дартмутском колледже и Гарвардском университете был рабочим, сапожником, журналистом, ферме-

ром. Обосновался в Новой Англии. Издал много сборников стихов. Творчество Фроста глубоко гуманистично по духу, отличается проникновенным пониманием природы; он писал о сельской жизни, изредка — на политическую тему, есть у него и сатирические стихи.

становились мучением для переводчика (это же можно сказать и о Твардовском, которого так же трудно переводить). Простоту языка и образов трудно передать в переводе, а вот что-нибудь вычурное и причудливое переводить, конечно, значительно легче. Однако проблема перевода Фроста на русский язык была решена{209}, и в Советской стране теперь знают его поэзию. Как поэт и как человек он стал близок советским людям.

С Фростом я встречался несколько раз. Впервые я увидел его в Англии лет за шесть до его кончины. Крепкий старик, ироничный и остроумный, он непринужденней, чем кто-либо из писателей, которых я знал, властвовал над умами студенчества. Я немного слышал о нем в Америке; теперь мне хотелось услышать, что о нем скажут в Москве.

Московская лекция о Фросте — одна из посвященных его памяти — была необычайно трогательной. Читал ее литовский поэт. Зал был переполнен, в нем собралось, должно быть,

---

{209} Комментарии: 2.209

...проблема перевода Фроста на русский язык была решена. — Сноу во многом оказался прав. На русском языке опубликовано два сборника стихотворений Фроста: «Из девяти книг» (1963), «Избранная лирика» (1968). В переводах принимали участие И. Кашкин, М. Зенкевич, Э. Межелайтис, А. Сергеев; о творчестве поэта писали К. Симонов, Э. Межелайтис, М. Зенкевич, А. Сурков.

несколько сот человек. На столе, покрытом зеленым сукном, стояла большая фотография поэта и лежали его книги на английском и русском языках. Лектор говорил горячо и проникновенно, он хорошо знал и понимал поэзию. Поэзия Фроста, сказал он, рождена большим жизненным опытом, глубочайшим ощущением жизни. Она не символична в прямом смысле слова, но поэт пользуется конкретными образами, реально существующими в повседневной речи, придавая им всеобщее значение. Это то, что мы видим у величайших русских и английских поэтов и у самого Пушкина.

Зал с восхищением слушал стихи, часть из них на английском. А лектор говорил, что «друг, об утрате которого мы глубоко скорбим», был не только поэтом большого таланта (это звучит несколько сдержанно, но в русском нет большого различия между словами «талант» и «гений» — можно часто слышать, как говорят о таланте Толстого), но и человеком с пылким и благородным сердцем. Он был другом Советской страны и поборником мира, в нем счастливо сочетались мудрость и юмор. Спокойный, ласковый, любящий людей, дарящий им радость, Фрост дожил до глубокой старости. И всегда, и прежде всего, он

был просто хорошим человеком.

В зале горячо и взволнованно аплодировали. Такой душевный отклик лекция памяти Фроста могла бы вызвать и в Англии или Америке, однако это происходило в России, где люди еще более непосредственно выражают свои чувства.

Если бы эта лекция читалась в Англии, она прошла бы подобным же образом. Позднее, вечером, я почувствовал себя в неловком положении, когда русские друзья обсуждали ее. Я, как и они, искренне восхищался поэзией Фроста, хотя и с некоторыми оговорками. Но я, по существу, мало знал о нем, пока год спустя не прочел его переписку с Унтермейером{210}. Однако не все и тогда понял. Стоит ли обсуждать его политические взгляды? Он действительно оказал большое влияние на улучшение американо-советских отношений, а это само по себе прекрасно. Русские любили его, в восемьдесят шесть лет он уверовал в сосуществование (но не раньше, подумал я про

{210} Комментарии: 2.210

...пока не прочел его переписку с Унтермейером. — Луис Унтермейер (1885–1977) — американский поэт, с которым Фрост переписывался с 1915 по 1962 г. Переписка завязалась по поводу публикации сборника Фроста «К северу от Бостона» (1914) и вышла в США отдельным изданием в 1963 г. Унтермейер высоко ценил поэтический талант Фроста. В письмах они обменивались мнениями о произведениях друг друга, современных им писателях, литературной обстановке в США. Письма Фроста — интересный источник его жизненных наблюдений.

себя), и это было достаточно хорошо. А что касается его характера, то русские, самые неутомимые психологи, исследовали его со всех сторон. Некоторые из моих русских друзей не уступали Фросту в проницательности. Иногда они видели глубже, чем многие из нас. Но на этот раз мне казалось, что их подход слишком упрощенный. И все-таки, думал я, хотя они ошибались в деталях, но были правы в своем отношении к Фросту как к очень серьезному человеку. Он прожил страстную, пылкую жизнь. Много страдал. Чувством он постиг все.

Фрост не был так добр, как Эйнштейн или Харди, и его не назовешь великодушным или уравновешенным человеком, который привык сдерживать себя. Он был сложным, подчеркнуто скрытным. Он никогда ничего не делал против своего желания; представляясь беспомощным, он часто добивался почти всего, чего ему хотелось. Это была натура изменчивая и не такая цельная, как у других людей, о которых я пишу в этой книге. Но по своему характеру он был независим, насколько это вообще возможно для человека.

Почти все это давно известно. Правда, это противоречит тому облику, который Фросту так долго удавалось сохранять в глазах других. Когда

я впервые встретился с ним, то, подобно большинству, считал его таким, каким он казался. В нем было очень много привлекательного. Приятно было чувствовать это и думать о его поэтической простоте, проницательности и независимости. Однако когда узнаешь Фроста немного ближе, то привлекательность остается, но иллюзия простоты рассеивается. Начинаешь понимать, что это тонкий человек, которого не так-то легко постичь. Если бы не случай, то сомнительно, понял ли бы его кто-либо, кроме самых близких. Сама простота. Беспристрастность. Он говорил о себе, что он прост, как Марсель Пруст, и более беспристрастен, чем Ллойд Джордж.

У Фроста был очень близкий друг, которому он любил писать письма. В течение почти пятидесяти лет он переписывался с Луисом Унтермейером, и эта переписка — одна из интереснейших в истории литературы (опубликованы только письма Фроста, так как, возможно, Фрост не сохранял ответных писем Унтермейера или тот не пожелал опубликовать их).

Противник модернизма, незаурядный американский поэт и критик, Унтермейер был на десять лет моложе своего друга. Он стал одним из первых почитателей Фроста в Америке, когда его

там еще совсем не знали. До самой смерти поэта он оставался самым ревностным поклонником его таланта и преданным, бескорыстным другом.

В некоторых кругах на Фроста смотрели как на одного из святых в литературе; правда, это было недолго. Если кого-то и можно считать святым, то Унтермейер скорее заслуживает этого. Между прочим, как правило, именно младший партнер в литературном союзе оказывается более чуткой натурой: Эккерман был лучше Гёте, а Макс Брод лучше Кафки{211}.

Ради этой дружбы ему пришлось многим поступиться. Человек благородных побуждений, искренний и подлинный либерал, он должен был в течение многих лет мириться с обычно весьма мрачным, а иногда просто грубым и жестоким

{211} Комментарии: 2.211

Эккерман был лучше Гёте, а Макс Брод лучше Кафки. — Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) — личный секретарь Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832). В «Разговорах с Гёте» (1837–1848) Эккерман запечатлел правдивый образ поэта в последние годы его жизни. Через всю книгу проходит мысль о необходимости изменяющей мир воодушевленной деятельности. Сам Гёте даже в глубокой старости сохранил живой интерес к происходящему. В этих убеждениях он черпал силу, помогавшую ему мужественно встретить удары судьбы. Так, получив известие о внезапной смерти сына во время путешествия того по Италии, Гёте пишет своему другу Цельтеру письмо, заканчивающееся словами; «Вперед! Вперед!.. По могилам!» Эккерман рассказывает об этом печальном событии в жизни Гёте, но при этом говорит и о своих переживаниях: «Всю ночь я не спал… Больше всего меня беспокоила мысль, сможет ли Гете в его преклонном возрасте перенести такое страшное потрясение… Я спустился к Гёте. Он стоял выпрямившись, за-

тем обнял меня. Он казался совершенно спокойным и невозмутимым. Мы сели и тотчас заговорили о разных интересных предметах… о сыне его не было сказано ни слова». Макс Брод (1884–1968) — австрийский писатель и критик, друг и душеприказчик Кафки (см. коммент. к с. 245 /В файле: комментарий № 85 — *Прим. верст.*/), не выполнил завещания Кафки сжечь его произведения и личные бумаги. Лишь благодаря этому почти все рукописи, оставшиеся после Кафки, были опубликованы. М. Брод написал также биографию Кафки (1937).

консерватизмом Фроста. Более того, личные невзгоды — а их было немало у Унтермейера — тонули в потоке жалоб, исходивших от его друга. Даже мелкие житейские неприятности Фроста обычно становились более важными и неотложными, чем что-либо действительно серьезное в жизни Унтермейера. Очень часто в письмах Фрост просил извинить его за эгоизм. Казалось, он испытывал искреннее раскаяние, но затем все оставалось по-прежнему. В конечном счете Унтермейер все же был вдвойне вознагражден. Его радовало, что он был задушевным другом большого поэта, человека неуживчивого, трудно сходившегося с людьми и лишь к нему одному питавшего несомненные дружеские чувства. Другой наградой была художественная ценность писем Фроста, а Унтермейер был истинным ревнителем искусства. Его долготерпение и доброта вознаграждались тем, что он получал ценнейший литературный материал. В письмах Фроста отбрасывалось в сторону всякое, или почти всякое, притворство, сглаживались все противоречия его натуры. Одно из его противоречивых свойств как раз и заключалось в том, что он мог быть то неискренним, то беспощадно правдивым.

Даже в старости Фрост оставался выдумщиком

и мистификатором. Хорошо известно его столкновение с Т. С. Элиотом в Бостоне, когда он выдал ранее написанное стихотворение за только что рожденный экспромт. Вполне вероятно также, что он сочинил и дату своего рождения.

В действительности Роберт Фрост родился в 1874 году в Сан-Франциско. (В продолжение многих лет он настаивал на другой дате, на год позже, и только в конце пятидесятых объявил, что обнаружил ошибку. Но он, вероятно, единственный из прославленных людей, отметивший восьмидесятилетие через четыре года после семидесяти пяти.) Его отец, происходивший из зажиточной семьи в Новой Англии, по окончании Гарвардского университета работал журналистом в местной газете Сан-Франциско.

Некоторые американцы посмеивались над той легендой о своем происхождении, которую создал Фрост. С самого начала поэтической карьеры Фрост выступил (так оно и было в действительности) как коренной обитатель Новой Англии, дитя неподатливой каменистой земли, фермер из фермеров.

Скептики указывали на то, что он родился в Калифорнии, и если бы не ранняя смерть отца, когда Роберту Фросту было одиннадцать лет, то

он продолжал бы жить в этом городе. Так что же это за миф о Новой Англии? Оказывается, он не лишен некоторых оснований.

Несколько поколений семьи Фростов жили в Новой Англии. Когда-то они, как и все переселенцы XVII века{212}, были, вероятно, фермерами. Однако давным-давно оставили земледелие, и оно сохранилось лишь в романтической выдумке поэта. В действительности, как только в Новой Англии начался процесс индустриализации, предки Фроста ушли в город. Его дед занимал скромную должность мастера на фабрике в городе Лоуренсе, в штате Массачусетс. Скопив немного денег, он надежно припрятал их, как это обычно делалось в Новой Англии или в Йоркшире{213}. Но дедушка не скупился на то, что он считал нужным, и давал деньги внуку, когда тот дважды предпринимал неудачные попытки продолжать свое образование сначала в Дартмутском, а потом в Гарвардском университете.

В Лоуренс после смерти мужа переехала с двумя детьми и мать Роберта. Здесь, сначала поблизости

{212} Комментарии: 2.212

…как и все переселенцы XVII века… — Первые английские переселенцы прибыли в Америку на корабле «Мэйфлауэр» в 1620 г.

{213} Комментарии: 2.213

Йоркшир — графство в Англии.

от города, а потом и в самом городе, она открыла частную школу. Подобно многим американским юношам, Роберт во время школьных каникул нанимался на разные подсобные работы. Вся его юность прошла в закоптелом промышленном городе, хотя, насколько я помню, он упоминает об этом только в одном своем стихотворении.

В средней школе Фрост учился хорошо, если не говорить об удивительной неспособности грамотно писать, оставшейся у него на всю жизнь. Он был вожаком своего класса, искусным в разных соревнованиях и играх (увлечение это сохранилось у него до старости), отличался крепким здоровьем и поразительно цветущим видом. Даже когда он был глубоким стариком, все обращали внимание на его глаза: они сохранили свою живость и совсем не потускнели. А в молодости глаза его были ярко-голубыми. Очень рано он почувствовал, какое впечатление производит на женщин. Но еще подростком Фрост влюбился в свою одноклассницу, умную и красивую девушку, и в двадцать один год женился на ней. Это был брак по глубокой и страстной любви, прочный союз любящих сердец, который длился сорок лет вплоть до ее смерти. На долю обоих выпало много страданий, но особенно тяжело приходилось

жене Фроста.

Как только Фрост окончил среднюю школу, он тут же дал ясно понять, что не собирается делать то, чего не хочет. Его считали ленивым. Быть может, лень была для него удобным прикрытием? По-видимому, он решил, что ему следует отказаться от всякого соревнования с другими: для его гордости нестерпима была мысль о том, что он может оказаться на вторых ролях. Поэтому, когда его отправили учиться в превосходный колледж гуманитарных наук в Дартмуте, где можно было и себя показать, и померяться силами с другими способными юношами, он спустя три месяца уехал оттуда, предпочитая заняться несложной работой в частной школе своей матери. Не желая ничего добиваться, он вряд ли нашел бы себе подходящее занятие. Но, став поэтом, он, как и всякий поэт, до конца дней своих ревностно следил за успехами своих собратьев, в глубине души соперничая с ними.

Еще совсем молодым Фрост твердо решил, что хочет стать поэтом. Он писал стихи, и некоторые из них печатались в малоизвестных журналах. Ему почти ничего не платили, и до сорока лет Фрост мало что получал за свой поэтический труд. Он сам не знал, хороший ли он поэт. Его

письма полны сомнений. Многие ли его стихи имеют ценность? И есть ли вообще у него такие стихи? Задавать такого рода «проклятые» вопросы свойственно, конечно, большинству поэтов, но у него они были особенно настойчивыми, так как, очевидно, сомнения весьма глубоко терзали его. Часто в письмах он просил ободрить его и помочь ему обрести уверенность в себе. Это ему было необходимо и для того, чтобы превзойти Т. С. Элиота; причем в данном случае соперничество было односторонним, ибо Элиот и не подозревал о нем.

Несомненно также, что только потому, что он нуждался в поддержке и одобрении, он каждый год с трепетом ожидал присуждения ему Нобелевской премии, напрасно прождав ее до последних дней своей жизни. Какими бы ни были у него сомнения в собственной значимости, он был совершенно уверен в романтической сущности художника и заодно в том, как художник, то есть он сам, должен прожить жизнь. Это было одно из свойственных ему противоречий, которые он долгое время пытался отрицать. Просто фермер из Новой Англии, верный супруг, добрый гражданин — что общего было у него с романтическими художниками, которые не признавали никаких

обязательств и которых он не любил и презирал? Оказывается, коротко говоря, почти все. Даже то, что он был фермером, было романтично (правда, не в поэтическом смысле). Более того, он так же, как и Верлен, считал, что искусство было его самооправданием. Что жизнь, посвященная поэзии, не требует никакого оправдания. Что его первейший долг — писать стихи. Что ради поэзии, в случае необходимости, надо жертвовать всем, включая собственное благополучие. Ему это было довольно просто, потому что поэзия принесла ему личное процветание. А материальным благополучием всех, окружавших его — жены, детей, друзей, — нужно пожертвовать. Это было нелегко, но не остановило его.

Вскоре после женитьбы он сделал еще одну попытку продолжить свое образование и убедил деда дать ему деньги на занятия в Гарварде. Но довольно скоро это оказалось несовместимым с его представлениями о творческой жизни, и на следующий год он оставил университет. Снова он обратился к деду. Не смог бы дед купить ему ферму? Так в двадцать шесть лет он обосновался на маленькой ферме в штате Нью-Хэмпшир, первой из его ферм в Новой Англии, став поэтом-фермером.

Это было очень романтично. Отчасти это было выражением обычного протеста против индустриализации, свойственного его литературным современникам. В Соединенных Штатах этот протест был даже, вероятно, сильнее, чем у нас в Англии. (Он, конечно, силен там и теперь. Я вспоминаю при этом одну очень образованную, талантливую молодую американку. Выглядывая из окна десятого этажа дома где-то около Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке, она с жаром восклицала: «Вспашите эти ужасные тротуары! Распашите их все!» Ее эмоциональность произвела на меня большое впечатление, но это не потрясло меня: едва ли это был способ справиться с городской цивилизацией.)

Известное американское поветрие — подражание Торо{214} — не миновало и Фроста. Но как всякий шаблон, указывал Айвор Уинтерс, оно причиняло вред его поэзии. Фрост старался избавиться от него. Когда же он писал от души, у него выходили хорошие стихи. Но иногда в них было

{214} Комментарии: 2.214

Торо, Генри Дейвид (1817–1862) — американский писатель и философ. В автобиографической книге размышлений «Уолден» (1854) писал о жизни человека в мире природы как возможности спасения личности от современной цивилизации. В памфлете «Гражданское неповиновение» (1849) дал моральное обоснование ненасильственной революции, выступал с идеей гражданского неповиновения правительству рабовладельцев.

больше старательности, чем чувства, и тогда резко бросались в глаза и мнимая архаичность, и мнимая идиллия сельской жизни, что напоминало Хаусмена. В своих лучших стихах Фрост добивался того, чего хотел. Никто не выказывал большей проницательности в понимании литературного климата своего времени, но он не верил в свою оригинальность, которая потенциально была такой же уникальной, как у Йитса.

«Работать хорошо — в этом все дело, — говорил он. — Если вы собираетесь стать фермером, то будьте хорошим фермером».

Многие из его афоризмов столь же выразительны. Однако сам он не был хорошим фермером и в конце жизни с горьким юмором признался в этом. Его ферма не приносила дохода. Хотя Фрост и продолжал называть себя фермером, в действительности он спустя четыре года уже отказался от попытки серьезно заниматься сельским хозяйством, и оно превратилось просто в его хобби. С этого времени он добывал средства к существованию только тем, что преподавал: сначала в местных школах, а потом в университетских колледжах.

Фрост был первым крупным американским поэтом, служившим в учебных заведениях. До

пятидесяти лет он не мог прокормиться своим поэтическим трудом, и его спасло не идиллическое фермерство, а благоволение американских университетов.

Даже если бы Фрост был настоящим фермером (а он им никогда не был, ибо не мог рано поутру подняться с постели), то он все равно ничего бы не смог добиться на своей земле. Заниматься сельским хозяйством в штате Вермонт или Нью-Хэмпшир{215} было в девяностых годах задачей весьма трудной. Это было под силу разве что большим семьям франкоканадцев, привыкших к тяжелому крестьянскому труду и работающих от зари до поздней ночи. Здравомыслящие англосаксы — среди них были, вероятно, и предки Фроста — еще за пятьдесят лет до рождения поэта решили, что глупо заниматься сельским хозяйством в Новой Англии, когда есть еще хорошая земля в Огайо или по ту сторону реки Миссисипи. И тот, кто серьезно собирался стать фермером, уходил на эти земли. А идиллические фермы в Вермонте годились лишь для богатых ньюйоркцев, чтобы избавить их от лишних денег. Это на своем опыте познал несчастный Унтермейер,

---

{215} Комментарии: 2.215

...в штате Вермонт или Нью-Хэмпшир. — Там Фрост жил на своих небольших фермах.

когда под влиянием Фроста сам стал фермером в этих местах.

Жизнь на лоне природы в стиле Торо приносила Фросту тяжелые лишения. Денег не было, и семья жила впроголодь. То была, если хотите, добровольная бедность, так как дед Фроста помог бы своему внуку, если бы тот оставил свой непрактичный образ жизни. Но Фрост терпел нужду, и его жена держалась с ним заодно, хотя ей приходилось значительно труднее, чем ему. Она была совершенно одинока, постоянно занята тем, чтобы как-то накормить семью, тогда как он всегда был целиком поглощен собой и своими мыслями. Трудно сказать, хорошим ли он был отцом. Как старый человек, он был мудр с детьми. Но, конечно, чувствовал угрызения совести за ту жизнь, какую навязал своей жене, и за судьбу, с безжалостностью Софокла губившую его семью.

Был ли он способен отразить удары судьбы, никто не знает.

Было что-то неладное в роду Фростов. Его отец в тридцать четыре года умер от туберкулеза. Единственная сестра заболела душевной болезнью. Сам он дожил до глубокой старости, сохранив крепкое здоровье, хотя в молодости у него тоже подозревали туберкулез, но долгие годы, даже

когда он уже добился желанной славы и все жизненные бури улеглись, он был на грани какой-то нервической болезненности.

У Фроста было два сына и четыре дочери. Двое его детей умерли в раннем детстве. Как переживала это несчастье мать и как изменилось ее отношение к мужу, показано в «Домашних похоронах», одном из самых сильных стихотворений Фроста. Грустной была судьба и остальных детей: его любимая дочь умерла от родов, а другая дочь после неудачного брака впала в состояние болезненной отрешенности от всего мира. Второй сын хотел заняться сельским хозяйством, пытался писать стихи, а когда ему не удалось ни то ни другое, впал в депрессию и в тридцать лет покончил с собой. Из всех детей только старшая дочь оказалась деятельным человеком и проложила себе дорогу в жизни.

Жена Фроста не дожила до последнего несчастья в семье — самоубийства сына. Утрата любимой дочери, умершей до этого, была для нее невыносимым горем. «Я вместе с ней переживал ее страданья», — писал Фрост в одном из своих писем. Сам он стоически перенес все несчастья, кроме смерти жены. За несколько лет до этого он экспромтом сказал о себе злове-

щие пророческие слова: «…поэты гораздо менее чувствительны, так как злоупотребляют своими чувствами. Вынужденные выражать их, чтобы заработать на жизнь, они неизбежно становятся бесчувственными, если это не затрагивает их профессиональных нужд».

Казалось, он переживает трагедии своих детей с б***о***льшим спокойствием, чем многие другие люди. Когда умерла жена, им обоим уже перевалило за шестьдесят, и Фрост, оставшись один, казалось, утратил веру в себя. Он бросил работу, впервые в жизни стал пить и несколько месяцев провел отшельником на пустыре, дойдя чуть ли не до сумасшествия. Почти через год он писал: «Пожалейте бедного старика с железной волей. Все, что я говорю или делаю, обусловлено твердой решимостью идти своим путем. Я могу казаться больным, но лишь по практическим соображениям. Не знаю, чего я заслужил своим характером. Но я гордился… в тот самый день, когда сумел справиться с ним».

Все эти беды обрушились на него, когда он уже стал прославленным поэтом (по крайней мере в странах, говорящих по-английски), занял в литературе видное положение, хотя и не совсем такое, какого он добивался, и стал вполне обеспе-

ченным человеком. Он достиг многого, но ждать ему пришлось очень уж долго. Ему было уже сорок лет, когда это случилось. Он продолжал публиковать свои стихи в журналах, теперь уже забытых, преподавал в школах Нью-Хэмпшира. Никого не интересовало, чем он занимается. Ни один критик не сказал ни слова о его стихах.

Но вот Фрост приехал в Англию{216}. К тому времени дед умер, оставив ему наследство, которое должно было выдаваться небольшими частями. Следует заметить, что Фрост никогда не доходил до такой крайней нужды, когда уже не на кого было рассчитывать; Уэллс, как и Резерфорд, мог бы рассказать ему, что это такое. Фрост смог оплатить переезд своей семьи в Англию и снять там деревенский коттедж. Через несколько месяцев он нашел у нас издателя, выпустившего первый сборник его стихов.

Кажется, все так легко и просто. Англичанину, конечно, приятно, что признание к поэту пришло в нашей стране. Однако объяснить это нетрудно, причем тут нет особой заслуги наших литера-

{216} Комментарии: 2.216

Но вот Фрост приехал в Англию. — В 1912–1915 гг. Фрост жил в Англии, где вошел в группу английских и американских поэтов-имажистов. В Англии были опубликованы сборники его стихов «Воля мальчика» (1913) и «К северу от Бостона».

турных кругов. К тому времени Фрост уже писал очень хорошие стихи, их появление в сборнике раскрывало талант, который нельзя было не заметить. А что касается Эзры Паунда, то он тогда был одним из великодушных открывателей талантов. Вскоре Паунд поссорился с Фростом, так как он хотел, чтобы Фрост писал стихи по его указаниям, а Фрост никогда не собирался писать или вообще что-либо делать по чьим-то правилам, кроме своих собственных. В дальнейшем они на всю жизнь стали литературными врагами, но вначале Паунд помог ему получить признание но обе стороны Атлантики.

Вторая книга стихов Фроста «К северу от Бостона» имела еще больший успех. В Англии его имя получило известность (однако понадобился еще один год, прежде чем первый сборник его стихов вышел у него на родине, в Соединенных Штатах). Это был апрель 1914 года, ему исполнилось тогда сорок лет.

На следующий год Фрост вернулся к себе на родину. За время пребывания в Англии он стал признанным поэтом. И все же он не очень-то любил англичан и Англию. В глубокой старости его поведение несколько изменилось. Он был прежде всего человек, триумфальный прием в

Англии в 1957 году дал ему почувствовать, что в конце концов надо сказать что-то хорошее об этой стране (то же самое он почувствовал и в России после такого же триумфа). Но почти до конца своей жизни он по-настоящему так и не полюбил нас. Не знаю, так ли это странно. В отношениях между Англией и Америкой всегда была какая-то натянутость. Я говорю о себе, но это справедливо и для других англичан, бывавших в Америке. Я себя никогда не чувствовал там иностранцем. Я понимаю наши различия, жил во многих частях США, малоизвестных самим американцам, и все же не чувствовал себя чужим, то есть пользовался той же свободой, что и у себя на родине. Был гораздо смелее в критике, чем, скажем, в Голландии или Швеции, которые ближе к Англии по своей социальной структуре. Фрост счел бы эту свободу, как это видно из его писем, результатом плохого воспитания, плохими манерами. Англичане не чувствовали себя в Америке иностранцами, но для Фроста они были таковыми. И сам он чувствовал себя в Англии чужим. В конце концов и по имени, и по англосаксонскому происхождению, и по религиозной вере предки Фроста ничем не отличались от теперешних англичан, с которыми он встречался. А все же какое-то несо-

ответствие было реальным как для него, так и для большинства американцев его поколения. Теперь несоответствие несколько ослабло. Иногда я подозреваю, что оно было особенно сильным в людях англосаксонского происхождения.

Англия признала Фроста известным поэтом в сорок лет. Впереди еще полжизни. До глубокой старости он продолжал писать стихи (явление крайне редкое у поэтов его толка), что, конечно, объяснялось внутренней чистотой его бытия. Для него в этом был смысл жизни. Не лишенный практической сметки, он довольно умело вел свои дела. Он по-прежнему называл себя фермером, владел в Новой Англии пятью фермами, полученными им по наследству, но мало бывал на них. Подобно большинству крупных писателей, особенно тех, у кого возвышенное представление о своем призвании, Фрост был весьма деловым человеком, значительно более деловым, чем обычный фермер (и между прочим куда более деловым, чем Уэллс или Арнолд Беннетт, которые кичились своей практичностью). От своих издателей он вначале получал ежегодное пособие, а затем, когда ему уже было лет пятьдесят, его поэзия начала приносить доход, не очень значительный, но, вероятно, больший,

чем у любого из поэтов того времени, писавших по-английски, за исключением Т. С. Элиота{217}. В своих деловых отношениях он был абсолютно честен. В общем-то, его издатели хорошо зарабатывали на нем, и он, будучи здравомыслящим человеком, даже одобрял это. Однако действительным источником его благополучия были, конечно, американские университеты…

Фрост был крупной фигурой среди писателей и поэтов, находившихся на службе в учебных заведениях. Являясь профессором в Мичиганском университете{218} и Амхерстском колледже{219} (в последнем ему в течение многих лет щедро платили, предоставляя возможность проводить во Флориде зиму, что благотворно сказывалось на его здоровье), он до восьмидесяти лет преподавал. Он прочитал цикл блестящих литературных

{217} Комментарии: 2.217

Элиот, Томас Стернз (1888–1965) — известный англо-американский поэт и критик, представитель модернизма. Отвергая буржуазную цивилизацию, обращался к монархизму и религии. Широко известны его произведения «Бесплодная земля» (1922), «Полые люди» (1925), «Четыре квартета» (1936–1943) и др.

{218} Комментарии: 2.218

Мичиганский университет — находится в городе Анн-Арбор, штат Мичиган.

{219} Комментарии: 2.219

Амхерстский колледж — мужской колледж, находится в городе Амхерсте, штат Массачусетс.

лекций почти во всех больших американских университетах, получил столько почетных званий, что вряд ли с ним сравнится какой-нибудь другой писатель (Фрост уверял, что не знает, сколько у него почетных степеней и званий, но как будто всего их было около пятидесяти. Рекорд на все времена и для всех жаждущих поставил, очевидно, американский президент Герберт Гувер, у которого их было восемьдесят восемь).

Все это могло стать пагубным для многих писателей, но на Фросте это не отразилось. Вероятно, жизненный комфорт и деньги не так уж много значили для него; в этом отношении он был так же нетребователен, как и Г. Г. Харди.

Фросту прежде всего нужна была духовная поддержка, и он находил ее у студентов в колледжах. Иначе он бы вовсе не приходил туда. Это говорит о том, какую важную роль в его творчестве сыграли американские университеты.

В свою очередь и он многое им дал, и не только престиж своего имени. Все его лекции были исполнены мудрости, порожденной сложностью, богатством его натуры — в частности, он был одним из интереснейших рассказчиков о поэзии (немного в меньшей степени — о других формах литературы). Так что я, хотя мне было уже более

пятидесяти лет, — что еще удивительнее, — слушал его, как молодой человек.

И все же были в его жизни парадоксы. Ни один профессиональный писатель не тратил так много времени на преподавание. И это продолжалось до глубокой старости, чего не бывало ни у кого из профессиональных писателей.

Ему было трудно ладить с академическим литературоведением (с учеными других отраслей науки взаимоотношения у него были лучше), да и литературоведам было нелегко с ним. В академических кругах Фрост не получил признания, которого так страстно желал, и, за небольшими исключениями, его там до сих пор еще не признали.

Фрост был истинным художником, совершенно честным и правдивым, хотел писать хорошие стихи. Ничто не могло бы заставить его писать о том, что он считал дурным. Он никогда не позволил бы себе напечатать стихи, которые его не вполне удовлетворяли. Всю свою жизнь, более долгую, чем у Гёте или Томаса Харди{220}, самую долгую творческую жизнь поэта, какую только

{220} Комментарии: 2.220

Харди, Томас (1840–1928) — английский писатель-реалист, автор широко известных романов «Тэсс из рода д'Эрбервиллей» (1891), «Джуд Незаметный» (1896) и др.

можно себе представить, он твердо придерживался своих собственных правил. В них он всегда был прост и благороден. Где-то в самых нижних пластах этой изменчивой, непостоянной натуры залегла твердая порода.

Таким он оставался до самого конца, с неуемной жаждой, которую никогда нельзя полностью удовлетворить, — писать хорошие стихи. Ему также хотелось, чтобы их считали хорошими. В этом он мало отличался от других поэтов, разве что его желание было сильнее. Но в то же время он хотел быть признанным на своих собственных, вполне определенных условиях. Восторженные аудитории, деньги и почести — все это было для него только отделкой, украшением, а не настоящим признанием. Он хотел, чтобы его считали поэтом, уж во всяком случае, не меньшим, чем Т. С. Элиот, но понимал, что этого нет. Будучи очень гордым и завистливым, он не мог подавить в себе зависть к Элиоту, который получил такое полное признание, которое только может быть у поэта в истории. Такого признания у Фроста не было. Уже в очень преклонных летах, став величественным патриархом, он все еще сохранил юношеские амбиции, неукротимость и юношескую страсть.

Вот почему Нобелевская премия так непомерно

много значила для него. У Фроста было великое множество наград, но эта награда была важна вдвойне, тем более, что она была и у Элиота. Стало быть, он тоже должен ее получить. Тут он стал жертвой явного заблуждения. Даже получение Нобелевской премии не принесло бы ему того признания, какого он хотел, так как литературоведы все равно не изменили бы своего отношения к нему; ведь он по-прежнему оставался бы самим собой. Но пылкие люди не в состоянии оценить мудрые уроки литературной истории. Со страстной одержимостью Фрост хотел стать лауреатом Нобелевской премии по тем же причинам, по которым Г. Дж. Уэллс хотел быть академиком, членом Лондонского Королевского общества.

Из всех страстей человеческих наименее приятно созерцать зависть, в особенности когда она терзает людей значительных. Большинство из нас мучительно ненавидит ее в себе. Но, к несчастью, зависть — это профессиональное заболевание во многих областях нашей жизни, а особенно в искусстве. Причины этого очевидны. Критерий для оценки достижений в искусстве не столь отчетливо ясен, как в науке. Творчески работающий ученый обычно убежден в ценности своей работы в отличие от большинства

писателей и художников. Я встречал двух-трех писателей, которые судили о себе с внутренней убежденностью (встречал я также и таких, которые с той же внутренней убежденностью считали себя не хуже Шекспира). Но уверенность в себе у писателя, поэта или художника — сравнительно редкий случай. Ее не было, конечно, и у Фроста.

Постоянные сомнения и неуверенность причиняют страдания и отравляют жизнь в мире искусства. Ученые нисколько не ближе к ангелам, чем писатели, но они не подвержены таким искусам. Нелепо было бы, например, Эйнштейну или Харди завидовать какому-нибудь другому ученому. Харди, самый непосредственный человек, какого я знал, с сардонической улыбкой говорил, что если бы Литлвуд решил задачу Гольдбаха[28]{221}, то он, Харди, страшно огорчился бы на целые сутки. И это было самое большее, на что он был бы способен. Во второй половине своей жизни Эйнштейн один, без всякой поддержки, выступал против физиков — сторонников кван-

[28] Примечания: 1.28

Одна из не решенных еще задач в теории чисел, предложенная петербургским академиком Гольдбахом (1690–1764). — *Прим. перев.*

{221} Комментарии: 2.221

Гольдбах, Христиан (1690–1764) — немец по национальности, математик, один из первых академиков Петербургской академии наук, работал в области теории чисел и математического анализа.

товой теории. С этим сходна и та борьба, которую вел Фрост против модернистской поэзии. Однако Эйнштейну никогда и в голову не приходило считать своих оппонентов врагами. А вот те, кто знал Фроста в старости, еще далеко не успокоившегося, могли заметить, что писателям труднее всего быть добрыми и хорошими людьми. […]

К тому, что уже сказано, я добавил бы, что если бы мне представился случай выбирать, то из всех, о ком я пишу в этой книге, я бы, кроме Харди, безусловно, выбрал в друзья и Роберта Фроста. Я встречался с ним в Англии на приемах, где бывало человек десять. Для большинства стариков, которым уже больше восьмидесяти, такие вечера были бы утомительны, но его они, казалось, вовсе не тяготили. Он как бы ожидал «выхода», чтобы сыграть свою роль, и был то язвительным, то весьма забавным. Среди гостей обычно находилось несколько литературных обозревателей, которых он поддразнивал за то, что символику его стихов уловили другие критики, а не они.

«А ведь я простая душа, — объяснял он им (как будто кто-то из них поверил бы в это). — Когда у меня написано „спать“, то так это и понимайте. Спать — это не значит умереть». (Кстати сказать, сам он любил вздремнуть и мог спать чуть ли не

в любом месте.) Потом игра шла по-другому, и он давал несколько туманное толкование — на этот раз всерьез — эмблем (это слово он употреблял в том же смысле, что и Диккенс) своей поэзии. Да, скорей эмблемы, чем символы. И затем следовало превосходное научное объяснение, совершенно ясное, великолепный образец научного анализа.

Через три года, в ноябре 1960 года, я встретился с ним в Беркли. Фрост только что пережил очередное ежегодное разочарование, связанное с присуждением Нобелевской премии. Мне сказали, что он очень расстроен. Наше свидание состоялось в доме Стюартов, куда я приехал к чаю. Был яркий солнечный день, типичный для Калифорнии. Дом Стюартов стоял на одном из склонов горы, и из окна видны были залив и Золотые ворота. Хозяева сказали, что Фрост еще спит после завтрака. Мы покончили с чаем и уже перешли к вину, когда Фрост вошел в гостиную. У него была еще твердая походка, и он был необычайно крепок для своего возраста. Глаза немного поблекли с тех пор, как я последний раз видел его, хотя, быть может, мне это просто показалось. Но он все же не был таким бодрым, как в Англии. Мы немного поболтали, он вспомнил детские годы, проведенные им в Сан-Франциско. Потом

хозяева дома с чисто американской вежливостью извинились и оставили нас одних. Фрост был чрезвычайно тонким человеком. С такими людьми незачем играть в прятки, и, когда остаешься с ними наедине, надо быть прямым и откровенным. Я сказал, что ожидал присуждения ему Нобелевской премии и очень сожалею, что этого не произошло. Он пристально поглядел на меня и кивнул головой. Он не притворился безучастным, а сказал что-то в том смысле, что хорошо было бы ее получить. Тут он вдруг мрачно усмехнулся и начал рассказывать историю, по всей вероятности вымышленную, о некоем безнадежном кандидате — не из англичан или американцев, — который уже много лет «упускает» Нобелевскую премию. Он пустил в ход все средства, и его заверили, что на этот раз дело решенное. В день присуждения премии он сидел в кругу своих почитателей. На столе стояло шампанское. Ждали телефонного звонка. Долго ждали. Очень долго. Наконец раздался звонок. Ему сообщили о присуждении премии другому и назвали имя победителя. «Это невозможно!» — вскричал он. Он без конца повторял «невозможно», он не мог поверить в это, со злорадством пояснил Фрост.

Рассказав эту историю, Фрост даже как будто повеселел и заговорил об Англии. Он был благодарен своей английской аудитории, и у меня создалось впечатление, что он всю жизнь был истинным другом англичан. Когда впоследствии были опубликованы письма Фроста и я прочитал в них его высказывания о «бриттах» (при мне он так англичан не называл), они чрезвычайно удивили меня. Наверное, все же со временем он стал лучше относиться к нам. В беседе со мной он восторгался нашим общим языком, считая это весьма важным обстоятельством. Затем он заговорил о том, что он называл «локальностью» в искусстве. Он считал значительным только такое искусство, которое связано с определенной средой и отражает ее своеобразие. Мы немного поспорили об этом. Я сказал, что мои чувства на его стороне. Однако, чтобы понимать национальное искусство, надо запастись терпением и обладать какими-то предварительными знаниями. Но не требуется каких-то особых знаний, чтобы читать, скажем, Кафку или Хемингуэя. Они широко известны во всем мире, как никогда не бу-

дут известны Джейн Остин или Э. М. Форстер{222}. Фрост не соглашался со мной. Он утверждал, что величайшие образцы национального искусства способны передать все. Это истинное искусство, органичное по своей природе, и никакое другое не сравнится с ним. Он приводил все новые и новые доводы и соображения в пользу своей точки зрения, не оставил эту тему даже и после того, как вернулись хозяева дома.

Спустя два месяца состоялось самое знаменательное выступление Фроста как национального поэта Америки. Это произошло на церемонии вступления Джона Кеннеди в должность президента. В Англии мы смотрели эту церемонию по телевидению. Рядом с президентом стоял знакомый нам старик, так много испытавший на своем веку и еще сохранивший могучую жизненную энергию и неукротимую силу духа. Он должен был читать новые стихи, которые написал для этого торжественного события. Но резкий ветер и слепящие лучи январского солнца не дали ему читать написанный текст. Тогда он сложил бума-

---

{222} Комментарии: 2.222

Форстер, Эдуард Морган (1879–1970) — английский писатель, автор романов на семейно-бытовые темы, например «Куда боятся ступить ангелы» (1905). Широко известен его антиколониальный роман «Поездка в Индию» (1924).

гу с текстом нового стихотворения и, нисколько не растерявшись, начал читать свои знаменитые патриотические стихи «Чистосердечный дар». Медленно и монотонно (на английский слух) произносил он слова с характерным акцентом жителя Новой Англии, немного запинаясь при этом. У стоящего рядом президента беззвучно шевелились губы, как бы повторяя строчки стихов, памятные наизусть.

После этого Фрост удостоился еще больших почестей. По решению конгресса отчеканили золотую медаль, чтобы отметить день, когда ему исполнилось восемьдесят восемь лет. Затем его с триумфом встретили в России. Но он все еще не получил Нобелевской премии. И давнее страстное желание получить эту премию не давало ему покоя. Наконец его бренное тело (но не неукротимый дух) отслужило свой срок. Он был сражен недугами, которые приносит с собой глубокая старость. В течение двух месяцев все было кончено. В январе 1963 года, перед тем как ему должно было исполниться восемьдесят девять лет, его на смертном одре навестил старый друг Унтермейер. Это была их последняя встреча. Они говорили о недавних триумфах Фроста и о том, чего он хотел бы еще. Унтермейер прочитал ему письмо Роберта Грейвза{223}, где тот сообщал, что в этом году он выдвинул Фроста кандидатом на Нобелевскую премию. Фрост очень обрадовался. Он сказал, что этой весной поедет в Англию, чтобы получить там еще одну большую награду, и просил Унтермейера почаще навещать его. «На этом я простился с ним», — писал Унтермейер.

{223} Комментарии: 2.223

Грейвз, Роберт Рэнке (род. в 1895) — английский поэт и романист, пишет в основном лирические стихи.

Неделю спустя Фрост умер.

Пер. Г. Льва

Эйнштейн{˘}

Как-то перед самой войной мы с Г. Г. Харди были на университетской крикетной площадке в Кембридже и разговорились там об Эйнштейне{225}. Он несколько раз встречался с Эйнштейном, а я недавно вернулся после поездки к нему. Харди сказал тогда, что если взять любую область творчества: науку, литературу, политику — все, что угодно, то на его веку только двух человек во всем мире можно отнести к «Брадман-классу»{226}.

Это утверждение я, конечно, не стал оспаривать. Было ясно — все физики-теоретики

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге «Многообразие людей». Перевод (с сокращениями) опубликован в журнале «Звезда», 1969 г. Печатается по тексту журнала.

{225} Комментарии: 2.225

Альберт Эйнштейн (1877–1947) — один из самых замечательных ученых в истории мировой науки, физик, создавший теорию относительности. Кроме того, он является одним из основоположников квантовой теории, а также статистической физики. С 1914 г. работал в Берлине (Берлинском университете и Физическом институте). Здесь же завершил создание общей теории относительности, развил квантовую теорию излучения. В 1933 г. в знак протеста против фашизма покинул Германию, отказался от германского подданства и переехал в Принстон (США), где работал в Институте высших исследований и

занимался вопросами единой теории поля и проблемами космологии. Был противником применения ядерного оружия. В августе 1939 г. по предложению ученых-антифашистов подписал письмо президенту США Франклину. Рузвельту, в котором говорилось: «Вы, возможно, пожелаете установить постоянный контакт между правительством и группой физиков, ведущих исследования над цепной реакцией в Америке». Эйнштейн указал также на опасность появления ядерного оружия в фашистской Германии. Именно последний факт стимулировал ядерные разработки в США.

{226} Комментарии: 2.226

…отнести к «Брадман-классу». — Дональд Брадман (род. в 1908) — знаменитый австралийский крикетист. В Англии так называют многообещающего или очень популярного игрока в крикет.

говорили об этом, — что если бы не существовало Эйнштейна, тогда физика XX века была бы иной. Этого нельзя сказать ни об одном другом ученом, даже о Резерфорде и Боре. В данном случае речь шла о таком научном перевороте, который мог совершить лишь человек, принадлежащий к «Брадман-классу». Кроме того, его личность была неотделима от его научного подвига. Ни Харди, ни я не были склонны к преувеличенным оценкам людских добродетелей, но мы оба сошлись на том, что если слово «благородный» еще сохраняет свое значение, то Эйнштейн был самым благородным человеком, какого мы когда-либо встречали.

«Добрый, кроткий и мудрый». Харди вспомнил, что так отозвался об Эйнштейне один видный журналист. Не считаю ли я, что это самые точные эпитеты? Впервые в жизни я стал увиливать от прямого ответа. Да, они верны, говорил я, но это еще не все, что нужно сказать о таком человеке. Однако, прибегнув к такого рода отговоркам, я должен был предложить и свое определение. Каким оно должно быть, чтобы точно передать впечатление? «Упрямый» было бы чересчур бесцветно и придирчиво. «Непреклонный» — почти гротескно. «Независимый» или «необычный»

— этого недостаточно. Было в Эйнштейне нечто такое, что я не мог точно определить, хотя и пытался. Разговор с Харди происходил почти тридцать лет тому назад, но, когда бы с тех пор я ни думал об Эйнштейне, я не находил нужного слова.

Начну с того, что Эйнштейн весьма отличался от тех, о ком я писал до него. С психологической стороны (хотя, конечно, не по степени одаренности) можно отыскать в людях что-то общее с Ллойд Джорджем, Резерфордом, Уэллсом или Харди. Черчилль был более оригинальным. Я склонен думать, что между ним и Эйнштейном имелось в некоторых отношениях какое-то отдаленное сходство. Я, конечно, при этом не провожу параллелей с точки зрения нравственных качеств или интеллекта — в этом смысле никто не выдерживает сравнения с Эйнштейном. Но в некоторых чертах их психологии и в том, как формировались их личности, можно, я полагаю, обнаружить сходные звенья. Если бы я высказал эту мысль, когда Харди был еще жив, то он решительно не согласился бы со мной.

Как и у Черчилля, на жизненном пути Эйнштейна встречаются весьма странные парадоксы. Я подозреваю, что у людей с чересчур сильно разви-

тым «я» — Эйнштейн, впрочем, в отличие от Черчилля научился смирять свое «я» или забывать о нем — эти парадоксы встречаются, вероятно, чаще. Так или иначе, Эйнштейн в тридцать семь лет был признан величайшим физиком-теоретиком нашего века, равным Ньютону, и останется им навсегда. Главные его работы, сделанные между тридцать вторым и тридцать седьмым годами жизни, имеют непреходящее значение. Но расстался он с физикой не так, как Ньютон. Эйнштейн отдал физической теории всю свою жизнь, работал над ее проблемами с предельной сосредоточенностью (это была одна из важнейших черт, сохранившаяся у него до семидесяти шести лет, до самой смерти). Однако многие его коллеги считали и продолжают считать, что он понапрасну расточал силы во второй половине своей жизни.

Были и другие парадоксы. Для целого поколения Эйнштейн был глашатаем передовой науки, пророком разума и мира. А сам он в глубине своей кроткой и невозмутимой души без всякой горечи оставался скептиком. Он был последовательным интернационалистом, порвал с еврейской общиной, ненавидел всякое проявление сепаратизма и национализма, а ему навязывали

роль знаменитого еврея. Он хотел затеряться и как бы раствориться в окружающем его мире, а оказался одним из самых разрекламированных людей нашего века, и его лицо, вдохновенное и отрешенное от всех грехов мира, стало таким же широко известным, как фотография какой-нибудь кинозвезды.

К этому следует добавить, что его порицали или ему приписывали то, чего он в действительности не делал. Так возникла легенда, что он, пророк братства людей, несет ответственность за создание атомной бомбы, что на его совести кровавая трагедия Хиросимы и Нагасаки{227}. По существу, открытие деления атомного ядра и цепной реакции никак не связано с его работами, а его обращение с известным письмом к Рузвельту в 1939 году имело лишь ограниченное значение. Ниже я попытаюсь развенчать эту легенду.

Конечно, именно его моральные качества проявились в этих парадоксах жизни. Его характер уже сформировался к шестнадцати годам. Здесь мы должны положиться на факты (его жизнен-

---

{227} Комментарии: 2.227

...кровавая трагедия Хиросимы и Нагасаки. — Эйнштейн выступил с осуждением атомной бомбардировки этих городов спустя несколько дней после нее. Как президент Чрезвычайного комитета ученых-атомников он заявил, что подобный акт — наказуемое преступление.

ный путь подробно подтвержден документами, особенно в швейцарских источниках) и на его собственные записи, сделанные в старости, как логическое осмысление прошедших событий.

> «Я никогда беззаветно не принадлежал ни стране, ни государству, ни кругу друзей, ни моей семье.
>
> Внешние условия играли второстепенную роль в моих мыслях и чувствах.
>
> Восприятие мира рассудком, отбрасывая все субъективное, стало сознательно или бессознательно моей высшей целью (о себе в ранней юности).
>
> Еще юношей, не по летам развитым, я уже ясно осознал бесплодность надежд и чаяний, исполнения которых большинство людей добивается всю жизнь.
>
> Материальное благополучие и счастье никогда не казались мне единственной целью жизни. Я даже склонен сравнивать такие моральные цели с амбициями свиньи».

Эти строки (они исходят из глубины его характера и полностью отвергают веселье, радости жизни и любви) были написаны им в старости.

Немногие могли бы утверждать это. Быть может, только Спиноза{228}, которым Эйнштейн восхищался и к которому был духовно близок. Но даже сказанные Спинозой или Эйнштейном, эти слова нуждаются в некотором пояснении. В конце концов, эти люди жили на Земле, как и все мы.

Эйнштейн вырос в свободомыслящей мелкобуржуазной семье, чьи предки из поколения в поколение жили в Швабии (юго-западная часть Германии). По происхождению они были евреями, но безразлично относились к религии. Жизнь семьи была сносной, хотя и беспечной, но они никогда не были так бедны, как Уэллсы или Резерфорды.

В детстве Эйнштейн не был особенно способным ребенком. Он казался отсталым (как и Черчилль), поздно начал говорить. Все это кажется несколько странным, особенно для будущего математика. Как правило, математические способности проявляются в очень раннем возрасте. Многие из выдающихся математиков уже задавали вопросы о больших или бесконечно больших

{228} Комментарии: 2.228

Спиноза, Бенедикт (1632–1677) — нидерландский философ-атеист, был противником иудаизма. В своих философских воззрениях следовал пантеизму, считается радикальным представителем детерминизма и противником теологии, за что его высоко ценил Энгельс.

числах, когда им не было и трех лет (рассказы об этом вполне достоверны, скажем, в отношении Харди и Дирака{229}). Я лично наблюдал за одним действительно талантливым юным математиком, которому было четыре года. И я полагаю, что теперь, когда начали внимательно изучать этот ярко выраженный и особенный талант, мы будем знать, есть ли у ребенка математические способности, еще до того, как он научился читать.

Итак, в детстве Эйнштейн не проявлял математических способностей, но не следует думать, что он был вовсе лишен их. Они просто не обнаруживались в раннем возрасте. С десяти лет в нем стали заметны признаки быстрого развития, но это было быстрое развитие не интеллекта, а характера.

Его родители, которые вполне могли быть и католиками, если бы они вообще были верующими, отдали сына в католическую начальную школу. Он отнесся к ней равнодушно. Десяти лет его определили в одну из гимназий Мюнхена. Ее он возненавидел по тем же причинам, по которым ненавидел и в семьдесят лет: гимназия была

{229} Комментарии: 2.229

Дирак, Поль Адриен Морис (род. в 1902) — английский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, работал в Кембриджском университете.

пропитана милитаристским духом, а ему раз и навсегда, на всю жизнь, стал ненавистен немецкий милитаризм. Дети маршировали, учителя рявкали — это была не школа, а казарма. Уже в десять лет он отвергал всякую муштру. Он приходил в ужас от принуждения в любом виде или в любой форме — физической, эмоциональной или умственной. Zwang[29]. Знаю ли я это немецкое слово, спросил он у меня, когда мы говорили об английских нравах. Так вот, в мюнхенской гимназии он впервые ополчился на этот Zwang.

В десять лет он, казалось, с такой же уверенностью полагался на свой разум, как и в семьдесят. В детстве у него был период религиозного настроения. Но недолго. Очень скоро в центре его внимания стал разум, и в двенадцать лет он исповедовал нечто вроде космической религии неверующего, которая сохранилась у него на всю жизнь. Но он так часто произносил слово «бог», что вводил этим людей в заблуждение. Ребенком он действительно пережил глубокое религиозное чувство, но когда потом говорил о боге, то вовсе не имел в виду то, что под этим понимали верующие. «Я верю в бога Спинозы, который рас-

---

[29] Примечания: 1.29
Насилие *(нем.)*.

крывается в гармонии всего сущего, а не в того бога, который управляет судьбами и поступками людей», — говорил он уже в зрелом возрасте.

В ранней юности он сам пришел к этому умозаключению, когда был еще скромным учеником мюнхенской гимназии. С такой же самостоятельностью он решил, чем он будет заниматься. У него были хорошие — но не больше того — успехи в физике и математике. Но он не выносил большинства школьных предметов и вовсе не хотел преуспевать в них. В этом он весьма отличался от многих одаренных мальчиков и почти от всех будущих ученых. В школьные годы Резерфорд, например (он тоже был творчески самобытным человеком), учился всему тому, чему его учили, и учился отлично. Харди не любил свою школу в Уинчестере{230}, но он стремился проявить себя, чтобы получить награду и стипендии в Тринити-колледже. Для Эйнштейна соревнование ничего не значило, оно не соблазняло его. Здесь снова можно заметить духовное сходство с молодым Черчиллем, не способным или не желающим проявить прилежание в школе. Только написание английских эссе доставляло ему радость.

{230} Комментарии: 2.230

...любил свою школу в Уинчестере. — Уинчестер-колледж — одна из старейших в Англии мужских привилегированных средних школ.

Отец Эйнштейна был неудачным коммерсантом. В Мюнхене дела у него шли плохо, и он переехал в Милан, где стало еще хуже. Сына, которому тогда было пятнадцать лет, родители оставили в Мюнхене, чтобы он окончил гимназию. Разлука с семьей мало повлияла на мальчика, уже отличавшегося независимым умом, но, оставшись один, он в эти шесть месяцев принял окончательное решение.

Приехав в Милан, он объявил свое решение родным, которые, по-видимому, одобрили его. Во-первых, он решил бросить мюнхенскую гимназию, которую ненавидел, и не сдавать выпускных экзаменов, которые презирал. Во-вторых, порвать с еврейской общиной, в которой он еще формально состоял. И в-третьих, самое тяжелое, отказаться от немецкого подданства. Он решил не иметь обязательств, которые были бы ему навязаны. Его уверенность в себе была безграничной. Он полагался только на самого себя.

В результате он сразу же провалился на вступительных экзаменах в Политехнический институт в Цюрихе. Он хотел поступить туда, чтобы стать инженером-электриком, что выглядит несколько странно в свете легенды о его непрактичности. На самом же деле о непрактичности Эйнштейна

можно говорить ничуть не больше, чем о рассеянности Харди, но шаблонные представления трудно искоренить.

Хотя отец Эйнштейна не мог найти денег, лучшие члены семьи Эйнштейнов, разбросанные по всей Европе, решили, что получить образование в Цюрихе действительно неплохо, и были готовы наскрести деньги на обучение молодого Эйнштейна. И уж неудивительно, что он сдал вступительные экзамены по тем предметам, которые изучал, и провалился по остальным.

Итак, молодой Эйнштейн, уже достигший такой степени зрелости, какую не встретишь у многих людей почтенного возраста, вынужден был провести один год в швейцарской кантональной школе{231}. Затем он перебирается в Цюрих и поступает на педагогический факультет Политехникума, желая теперь стать учителем физики. Естественно, он тут же сталкивается с тем же Zwang, с которым не в силах мириться. Не то, чтобы ему не нравилась Швейцария, которую он считал цивилизованной и демократической

{231} Комментарии: 2.231

Швейцарская кантональная школа. — В Швейцарии нет единой системы народного образования, и каждый кантон имеет свое школьное законодательство и управление; общим для всех кантонов является обязательное обучение детей от 6–7 до 15–16 лет; начальная школа бывает 7–9-летняя и состоит из двух ступеней.

страной. Нет, на этот раз Zwang — это экзамены. Они так подавляют и сковывают его ум, что в течение целого года по окончании института Эйнштейн не хочет заниматься научными проблемами.

Впрочем, в институте ему очень повезло. Он учился у Минковского{232}, выдающегося ученого, который после опубликования первых эйнштейновских работ признал, что ученик намного превзошел его (хотя учился Эйнштейн с ленцой). Цюрихский Политехникум был хорошим учебным заведением, и общий уровень преподавания был там достаточно высоким. У Эйнштейна появились друзья, которые восторгались им, как высшим существом. Б Цюрихе Эйнштейн, вероятно, находился в таких же благоприятных условиях, как и Харди в Кембридже.

Однако в девяностые годы прошлого века не существовало такого высшего учебного заведения, которое могло бы увлечь или удовлетворить молодого Эйнштейна, и сомнительно, есть ли

{232} Комментарии: 2.232

Минковский, Герман (1864–1909) — немецкий математик и физик, работал в области геометрии, математической физики, гидродинамики. Как считает биограф Эйнштейна Ф. Гернек («Альберт Эйнштейн». М., 1966), «законченную математическую форму специальная теория относительности Эйнштейна приобрела благодаря усилиям Германа Минковского».

оно и в наши дни. Его независимость не укладывалась в установленные рамки. Выпускные экзамены он сдал хорошо, хотя и без особого блеска. Его не оставили при институте, даже на самой простой должности. Это была самая большая ошибка институтского начальства, и эта неудача мучила его. Почти в то же время в Кембридже также не оставили значительно более уживчивого Резерфорда и вместо того, чтобы дать ему аспирантскую стипендию, одобрили его отъезд в Монреаль.

Словом, Эйнштейн получил диплом, но стал безработным. Одно время казалось, что ему никогда не найти себе работы. Раза два удалось временно устроиться преподавателем. Пока он учился, родители помогали ему, а теперь они ожидали, что он сам будет зарабатывать себе на жизнь. У Эйнштейна был единственный поношенный костюм (с этим он легко мирился) и маловато еды (с чем примириться было куда труднее). Ему помог верный и любящий друг

Марсель Гроссман{233}, впоследствии сам ставший видным ученым. Он уговорил своего отца, состоятельного швейцарского промышленника, куда-нибудь устроить Эйнштейна.

Место, куда его определили, оказалось весьма необычным: эксперт патентного бюро в швейцарской столице. Еще более странным было то, что его все-таки взяли на это место. Работа оказалась не особенно трудной, и Эйнштейн вполне справлялся с ней. Одна из его величайших интеллектуальных способностей — и в малом, и в великом — проявлялась в том, что он умел отбросить все наносное, второстепенное, обнажая самую суть проблемы, а это было основное, что требовалось для экспертизы патентов. Как я уже упомянул, он вовсе не был лишен практической сметки. Его интересовали разные усовершенствования, он хорошо разбирался в них и даже пытался сам изобретать. Он умело и плодотворно работал

{233} Комментарии: 2.233

...любящий друг Марсель Гроссман. — Как пишет еще один биограф Эйнштейна, Карл Зеелиг, Гроссман был однокурсником Эйнштейна, поступившим с ним вместе в 1896 г. на педагогический факультет Федерального высшего политехнического училища в Цюрихе, где готовили преподавателей математики и естественных наук. Там же учился и Минковский. Зеелиг считает, что дружба Эйнштейна с Гроссманом привела к совместной разработке ими общей теории относительности. Гроссман убедил Эйнштейна в том, что для современной физики математика является необходимейшим оружием. Гроссман умер в 1936 г.

в патентном бюро, где ему вскоре прибавили жалованье. Ему было тогда двадцать три года, и все свободное от службы время он проводил в раздумьях о физической природе Вселенной; день за днем, неделя за неделей он размышлял об этом с такой неистовой сосредоточенностью, словно что-то крепко сжимал в кулаке.

Главным источником познания для него была интуиция. Его мышление было абстрактным, но важно отметить, что прежде всего он обладал интуицией в области физики. В Цюрихе он много времени проводил в лаборатории. Когда он работал над созданием теории относительности, у него не было столь богатого знания математики, как у первоклассных физиков-теоретиков; он был значительно менее подготовлен, чем, скажем,

Клерк Максвелл{234}, Борн{235}, Гейзенберг{236} или Паули{237}. Насколько позволяли обстоятельства, он продолжал расширять свои математические знания до конца жизни. Эйнштейн говорил о годах своей молодости: «Моя интуиция в математике не была достаточно сильной, чтобы я мог тогда различить существенно важное, отделив его от остальной, более или менее необязательной учености. Кроме того, у меня был безграничный интерес к познанию природы, но как студенту мне еще не было ясно, что путь в глубины теоретической физики связан с самыми сложными математическими расчетами. Мне стало это ясно только после многих лет самостоятельной научной работы».

По существу, для него это стало ясно только

{234} Комментарии: 2.234

Максвелл, Джеймс Клерк (1831–1879) — английский физик, основоположник электродинамики и статистической физики, профессор Кембриджского университета, первый директор Кавендишской лаборатории.

{235} Комментарии: 2.235

Борн, Макс (1882–1970) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, активный борец за мир, с 1933 г. работал в Англии, с 1953 г. — в ФРГ.

{236} Комментарии: 2.236

Гейзенберг, Вернер (1901–1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, имеет труды по структуре атомного ядра.

{237} Комментарии: 2.237

Паули, Вольфганг (1900–1958) — швейцарский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, выдвинул гипотезу о существовании нейтрино.

тогда, когда интуиция в физике уже привела его к решению некоторых важных проблем, когда им уже была создана специальная теория относительности и он разрабатывал общую теорию. Именно тогда он увидел, что открытие новых физических законов связано со сложным аппаратом тензорного исчисления{238}.

Это было характерно для него: он смог достичь значительно большего, чем другие физики, более эрудированные в области математики. И сделал это без чьей-либо помощи, целиком полагаясь на свои собственные силы. Никто другой не решился бы на это. В двадцать три года он уже был тем гением, которого позднее мир пытался понять, но так и не сумел этого сделать. Он был абсолютно уверен в себе и безгранично верил в свое понимание вещей.

Однако не надо никого идеализировать, даже Эйнштейна.

Молодой Эйнштейн, совершавший великие открытия, не чуждался и общества завсегдатаев кафе. Себя он считал замкнутым человеком и говорил, что у него «нет потребности часто встречаться с людьми». Но, несмотря на это,

---

{238} Комментарии: 2.238

Тензорное исчисление — математическая теория, обобщающая векторное исчисление и матричную алгебру.

живя в Европе, он иногда проводил беззаботные вечера за сигарой, кофе и застольной беседой. Он бывал тогда остроумен и весел, раскатисто смеялся, и ему было на все наплевать. Эти вечера прекратились, когда жизнь охладила его и он почувствовал свою ответственность за многое. Он так и не привык к американским вечеринкам, где люди просто много пьют и не желают говорить об основном в жизни. Если он когда-нибудь и чувствовал себя где-то как дома, то это было в Берне и Цюрихе в годы, предшествовавшие первой мировой войне.

В Берне, вскоре после поступления на работу в патентное бюро, он женился. Об этом браке и о его первой жене существуют противоречивые свидетельства. Сербская девушка Милева Марич, ставшая его первой женой, училась вместе с ним в Цюрихе и была на четыре года старше его. Вот, пожалуй, и все, что о ней достоверно известно. Большинство швейцарских знакомых Эйнштейна считали ее угрюмой, малоодаренной, хотя она, вероятно, просто была скрытным, меланхоличным человеком. Ни то ни другое нельзя считать привлекательным, но иные источники говорят о ее чисто славянском отношении к жизни и очаровательной беззащитности.

Был ли этот брак несчастливым с самого начала? Об этом мы, видимо, никогда не узнаем, хотя я как будто натолкнулся на некоторые данные, которые помогут внести ясность в этот вопрос. Эйнштейн очень не любил говорить о своей личной жизни, но как-то сказал, что ученому, занятому поисками истины, необходима «пуританская сдержанность». Антония Валлентайн, хорошо знавшая его вторую жену, пишет, что Эйнштейн был весьма чувственным человеком. Когда я познакомился с ним, я тоже отметил эту черту. Вполне вероятно, что, подобно Толстому и Ганди, которых он всегда почитал, он тоже придерживался мнения, что его чувственность — одна из тех оков, от которых надо освободиться. Так или иначе, от первого брака у него было два сына, которых он, конечно, очень любил. Старший не причинял ему никаких беспокойств и впоследствии стал крупным специалистом по гидравлике, профессором Калифорнийского университета. Младший сын, по-видимому, унаследовал в острой форме депрессивную психику своей матери, что было для Эйнштейна, вероятно, самым большим горем в его личной жизни.

Эйнштейну было двадцать шесть лет, когда у него родился первый сын. К этому времени он

уже избавился от горькой нужды и, продолжая работать в патентном бюро, опубликовал (в 1905 году) в «Анналах физики»{239} пять научных статей. Среди них три работы принадлежат к числу величайших в истории физики. В одной, очень просто написанной, давалось квантовое объяснение фотоэлектрического эффекта — за эту работу через шестнадцать лет он был удостоен Нобелевской премии. Другая рассматривала так называемое броуновское движение, иначе говоря, беспорядочные колебания мельчайших частиц, находящихся во взвешенном состоянии в жидкости. Эйнштейн показал, что движение этих частиц подчиняется конкретному статистическому закону. Это было похоже на фокус иллюзиониста: то, что казалось загадочным и почти чудесным, становилось предельно простым и понятным после объяснения. Если раньше кто-либо из физиков мог сомневаться в реальном существовании молекул и атомов, то теперь статья Эйнштейна давала почти прямое доказательство этому. Самое убедительное доказательство, о котором мог мечтать теоретик!

{239} Комментарии: 2.239

«Анналы физики» — швейцарский научный журнал, где в 1902–1903 гг. были опубликованы исследования Эйнштейна «Кинетическая теория теплового равновесия» и «Теория основ термодинамики».

Третья статья излагала специальную теорию относительности, соединявшую в одно целое материю, пространство и время.

В этой статье не было ни цитат, ни ссылок на авторитеты. Да и остальные статьи написаны в такой манере, которая не походила на работы других физиков-теоретиков. В эйнштейновских статьях было мало математических расчетов и много логического анализа. Приводимые в статьях доводы выглядели несокрушимыми, а выводы — совершенно невероятные выводы! — казалось, возникали с величайшей легкостью. К этим выводам он пришел, пользуясь силой и логикой своей мысли, не прислушиваясь к мнению других. Это кажется поразительным, но именно так и создавалась большая часть его трудов.

Можно с уверенностью сказать, что, пока существует физика, ни у кого больше не хватит сил выступить с тремя такими работами в течение одного года. Многие высказывали сожаление по поводу того, что Эйнштейн не получил немедленного признания. Мне это представляется необоснованным. Уже через несколько месяцев после опубликования указанных статей поль-

ские физики в Кракове{240} заявили, что появился новый Коперник. Прошло еще около четырех лет, и крупнейшие германские теоретики, такие, как Планк{241}, Нернст{242} и фон Лауэ{243}, провозгласили его гением.

Между тем семейная жизнь у него не ладилась. Никто не может сказать, как глубоко это повлияло на него. К тому времени, когда он переехал в Прагу, семейный разлад все более углублялся. Вообще его пребывание в Праге было не из самых приятных. Приглашенный в Пражский университет на должность профессора, Эйнштейн становится чиновником империй Габсбургов. При назначении на должность требовалось, чтобы он объявил о своей религиозной принадлежности. Эйнштейн давно и окончательно порвал с еврейской общи-

---

{240} Комментарии: 2.240

...польские физики в Кракове... — В конце XIX — начале XX в. мировую известность получили пионеры физики низких температур З. Врублевский и К. Ольшевский из Ягеллонского университета в Кракове.

{241} Комментарии: 2.241

Планк, Макс (1858–1947) — немецкий физик, основоположник квантовой теории, имеет труды по теории относительности, философии естествознания.

{242} Комментарии: 2.242

Нернст, Вальтер (1864–1941) — немецкий ученый, один из создателей современной физической химии.

{243} Комментарии: 2.243

Лауэ, Макс фон (1879–1960) — немецкий физик (ФРГ), имеет труды по теории относительности, квантовой теории, атомной физике; был

ведущим ядерщиком в фашистской Германии.

ной, но в Австрии был силен антисемитизм, и это было достаточным основанием для него, чтобы заявить о своем происхождении.

Эйнштейн не падал духом, и по-прежнему громко звучал его смех. До нас дошли трогательные рассказы о его игре на скрипке в одном из литературных салонов Праги, где велись споры о Канте, Гегеле и Фихте{244} и исполнялась камерная музыка. Там часто бывал не известный еще в те времена Франц Кафка{245}, но вряд ли они когда-нибудь говорили друг с другом. Между ними было мало общего.

Когда в 1914 году Эйнштейн уехал в Берлин, он оставил жену и сыновей в Цюрихе. Семья распадалась, и он, должно быть, чувствовал это, хотя, по-видимому, никому об этом не говорил. Прощаясь с сыновьями, он тосковал так, как это редко с ним бывало.

Эйнштейн приехал в Берлин за несколько месяцев до начала первой мировой войны. В

{244} Комментарии: 2.244

Фихте, Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.

{245} Комментарии: 2.245

Кафка, Франц (1883–1924) — австрийский писатель, жил в Праге. В романах «Америка» (1914), «Процесс» (1915), «Замок» (1922), рассказах развивал тему трагического одиночества и бессилия человека в условиях абсурдного буржуазного мира. Близок к экспрессионизму.

ученом мире его известность была уже велика, и его ожидала слава, какой еще никогда не знал ни один физик. Он был пацифистом, но вскоре ему пришлось наблюдать не только среди уличной толпы, но и среди своих коллег в Прусской академии наук то, что он назвал «тевтонским сумасшествием». Эйнштейн сохранил швейцарское подданство, что в какой-то степени ограждало его, когда с обычной для него смелостью он поддержал Ромена Роллана{246}, выступившего против войны. В Германии это вызвало большое раздражение. «В воюющих странах даже ученые ведут себя так, словно у них восемь месяцев назад (так писал Эйнштейн Роллану в мае 1915 года) удалили головной мозг!»

Но и в атмосфере милитаристского угара ему

{246} Комментарии: 2.246

Роллан, Ромен (1866–1944) — французский писатель. Первая мировая война застала его в Швейцарии. С августа 1914 г. он постоянно публиковал антивоенные статьи. Одним из первых европейских интеллигентов выступил против империалистической бойни. В 1915 г. издает антивоенный сборник «Над схваткой». Эйнштейн был знаком с выступлениями Роллана и в марте 1915 г. написал ему письмо. «Из газет я узнал, — говорилось в нем, — о смелости, с которой Вы выступили, чтобы устранить то тяжелое, что разделяет сейчас немецкий и французский народы. Это заставляет меня выразить Вам чувства моего горячего уважения. Пусть Ваш пример пробудит других людей от ослепления, которое охватило столько умов». А 16 сентября того же года в Веве, в Швейцарии, произошла встреча Роллана и Эйнштейна. Роллан тогда же записал в своем дневнике: «Необычайно вольны его суждения о Германии, в которой он живет. Не всякий немец обладает такой свободой суждений. Другой человек страдал бы, чувствуя себя

духовно изолированным в этот страшный год. Он — нет. Он смеется».

удалось обрести покой и в личной жизни, и в творчестве. Во всяком случае, он был счастлив, переехав в Берлин, где он встретился со своим дядей и его дочерью Эльзой, которая недавно развелась после неудачного замужества. Быть может, он полюбил ее, но нам трудно судить об этом. Мы знаем лишь, что после развода с Милевой Марич он женился на Эльзе. Нетребовательная, жизнерадостная, умеющая распознавать людей, она всю жизнь ограждала его от житейских неприятностей. В отличие от первой жены, которая изучала математику, Эльза ничего не понимала в работах Эйнштейна. Это был один из тех браков, какие нередко бывают у великих ученых: он давал Эйнштейну свободу и оставлял наедине с самим собой. До встречи с Эльзой у него был период спада в научной работе. Почти сразу после женитьбы он стал работать с особой энергией и достиг небывалого творческого подъема.

В ноябре 1915 года он написал известному физику Арнольду Зоммерфельду{247} одно из своих классических писем: «Последний месяц был одним из самых тревожных и трудных в моей

{247} Комментарии: 2.247

Зоммерфельд, Арнольд (1868–1950) — немецкий физик и математик (ФРГ), уточнил модель атома Бора, создал теорию тонкой структуры спектра водородоподобных атомов.

жизни, но и одним из наиболее успешных. О письмах некогда было и думать. Я понял, что мои прежние уравнения гравитационного поля были совершенно необоснованными. После того как у меня исчезло всякое доверие к прежней теории, я ясно увидел, что удовлетворительное решение можно найти только на основе идеи Римана{248}. К великой моей радости, выяснилось, что, кроме решения Ньютона как первого приближения, во втором приближении появилось смещение перигелия у Меркурия. Для отклонения света Солнцем получилось значение, вдвое больше прежнего…»

Ответ Зоммерфельда был осторожным и скептическим. Тогда Эйнштейн написал ему в почтовой открытке: «Как только вы изучите общую теорию относительности, вы убедитесь в ее правильности. Поэтому я ни слова не скажу в ее защиту».

Она и не нуждалась в защите. Общая теория относительности была опубликована в 1916 году, и, как только с ней познакомились в Англии (куда она дошла, преодолев рогатки, воздвигнутые вой-

{248} Комментарии: 2.248

Риман, Бернхард (1826–1866) — немецкий математик, положил начало геометрическому направлению в теории аналитических функций, имеет труды по алгебраическим функциям, тригонометрическим рядам, теории интеграла.

ной), наши ученые пришли к заключению, что она почти безоговорочно верна. «Это величайшее открытие в науке со времен Ньютона», — заявили они. На основании этой теории Эйнштейном было сделано, в частности, предсказание, которое могло быть сразу же проверено астрономами. В своей статье он просил их произвести эту проверку. Английские астрономы решили это сделать. В марте 1917 года они объявили, что 29 мая 1919 года, когда произойдет полное солнечное затмение, должна быть произведена решающая проверка общей теории относительности.

Все это дела давно минувших дней. Проверка, конечно, дала требуемое подтверждение.

Поразительна судьба общей теории относительности! Все остальные работы Эйнштейна, включая специальную теорию относительности, были бы очень скоро осуществлены и без него. (Это относится и к трудам Резерфорда, и вообще ко всем научным открытиям.) Но этого нельзя сказать об общей теории относительности, распространившей идеи частной теории на гравитационное поле. Не будь Эйнштейна, физики наверняка дождались бы этого обобщения лишь через несколько поколений.

Как только была опубликована общая теория

относительности (а слава пришла к Эйнштейну еще до ее подтверждения), он занял в общественной жизни такое положение, какое вряд ли займет в будущем другой ученый. Никто, собственно, не знает, почему, но он вошел в общественное сознание всего мира, став живым символом науки и властителем дум двадцатого века. Казалось, что люди снова хотят возвеличить человеческий разум и изгладить из памяти ужасы войны. Благоговея перед Эйнштейном, они, в сущности, не понимали значения того, перед чем они благоговели. Но как бы то ни было, они верили, что перед ними существо высшего порядка.

Символом науки могли стать Резерфорд и Нильс Бор. В науке XX века Резерфорд оставил более заметный след. (Эйнштейн говорил о нем: «Я считаю Резерфорда одним из величайших физиков-экспериментаторов всех времен, стоящим в одном ряду с Фарадеем. То, что мне не представилась возможность упомянуть о нем в моих трудах, объясняется тем, что я сосредоточил свои усилия на абстрактных областях теории, в то время как Резерфорд сумел достичь великих открытий довольно простыми размышлениями и использованием сравнительно несложных экспериментальных средств».) Что касается Бора, то

он основал школу физиков-теоретиков и оказал такое влияние на других ученых, какого у Эйнштейна никогда не было. Резерфорд и Бор были, конечно, замечательные люди, но у первого не было духовной независимости и оригинальности Эйнштейна, а у второго они, может быть, и были, но он не сумел их полностью проявить. Нет, общественный инстинкт оказался верен, отдав предпочтение Эйнштейну. Как говорил Харди, только кичливые интеллектуалы не почитают действительно великих людей.

В двадцатые годы Эйнштейн стал поборником добрых дел. Он потратил много времени и сил, пытаясь помочь международному пацифизму. К концу его жизни некоторые американцы стали утверждать, что он наивен. Это крайне раздражало меня, так как он вовсе не был наивным человеком, а то, что имели в виду американцы, означало лишь его нежелание полагать, что в США всегда все хорошо, а в Советском Союзе всегда все плохо. Если бы они внимательно изучали его общественное поведение, то могли бы понять, что он всегда стоял над схваткой. Он не мог стать фанатиком, даже если бы очень старался. С одной стороны, он полностью обособился от людей, с другой — чувствовал себя полностью в

долгу перед ними. Антония Валлентайн точно определила, что умом он был свободен от всех оков, а морально связан ими.

Он любил одиночество, «мучительное, когда ты молод, и восхитительное, когда становишься зрелым человеком». Но в еще большей степени он сознавал свой долг перед обществом, став всемирно известным ученым. Он говорил: «Забота о человеке и его судьбе должна быть основной целью в науке. Никогда не забывайте об этом среди ваших чертежей и уравнений». Позднее он также сказал: «Ценна только та жизнь, которая прожита для людей».

В двадцатые годы жизнь еще не совсем отрезвила его. Он бродил по свету, как странствующий музыкант. Жаловался каждому и самому себе на тяжкое бремя популярности. Здесь, как я уже говорил, есть некоторые разногласия. Хотя Эйнштейн и был великим пророком, он питал слабость к фотографам и толпе. Отдельные свойства актера, довольно плохого, как-то уживались в нем с его духовным величием. Если бы он не хотел рекламы, ее бы не было. Это не так уж трудно. Никто не заставлял Эйнштейна колесить по всему миру. Если бы он удалился в Швабию, где родился, то мог бы наслаждаться безвестностью.

Но он этого не сделал. Гораздо чаще, чем мы признаемся себе в этом, с нами происходит то, чего мы хотим. Правда, это не относится к событиям мирового значения.

Эйнштейн всегда более трезво, чем большинство его коллег, оценивал политическую обстановку в Германии. Он видел, как под поверхностью Веймарской республики{249} бродят темные силы. Как только Гитлер пришел к власти, Эйнштейн гораздо быстрее многих политических деятелей понял, что ожидает мир в будущем. Значит, следовало расстаться с надеждами на международный пацифизм. Эйнштейну было ясно, что нацистская империя должна быть уничтожена, и он открыто выступал против Гитлера. Его не было в Германии, когда Гитлер стал канцлером. Эйнштейн был смелым человеком, но он понимал, что если он вернется в Германию, то фашисты убьют его. Большую часть 1933 года он прожил в маленьком фламандском приморском городке Ден-Хаан (Кок-сюр-Мер). Там он основал своего рода интеллектуальный двор для беженцев. Ден-Хаан стал временной столицей германоязычного научного мира. Между прочим,

---

{249} Комментарии: 2.249

Веймарская республика — буржуазно-демократическая республика в Германии (1919–1933).

это самое милое местечко на побережье Фландрии, где был приятный обычай называть улицы в честь великих людей. У них были улицы Шекспира, Данте, Рембрандта и так далее. Но они не назвали ни одну улицу именем своего наиболее выдающегося жителя.

Его привлекала Бельгия. Он любил маленькие уютные страны (особенно Голландию), но и там он не был в безопасности от нацистов. Пришлось, хотя и против желания, уехать в Соединенные Штаты и поселиться в Принстоне{250}, где он прожил до самой смерти.

За океаном он ощущал себя изгнанником, хотя, живя в Европе, он тоже никогда не чувствовал себя дома, очень тосковал «по запахам и краскам» Старого Света. Тем не менее в Америке достиг он вершин мудрости и печали. Жена его вскоре по приезде умерла. Младшего сына поместили в психиатрическую лечебницу в Швейцарии. Его веселость окончательно исчезла. Осталось только чувство долга перед людьми. И еще одно оставалось неизменным в нем — потребность размышлять о законах Вселенной вплоть до са-

---

{250} Комментарии: 2.250

Принстон — город в США в штате Нью-Джерси, где находится Принстонский университет, крупный центр в области технических и физико-математических наук, а также космических исследований.

мой смерти.

В одном из своих публичных выступлений Эйнштейн сказал: «Кто сумеет указать путь, позволяющий нам хотя бы немного глубже заглянуть в вечные тайны природы, тому на долю выпадет величайшее благо». Всю свою жизнь он пытался — и в этом заключалась для него прелесть одиночества — найти этот путь. В отличие от Ньютона, который оставил занятия физикой, чтобы стать директором монетного двора и погрузиться в исследование библейских текстов, Эйнштейн до конца своей жизни не расставался с наукой. Он шел своим путем, часто совершенно противоположным тому, которым следовало большинство ученых. В общественной жизни он выступал против милитаризма, против Гитлера, против жестокости и безрассудства, и ничто не могло бы заставить его отступить от этого. В теоретической физике он с той же непреклонностью не поддавался давлению со стороны самых крупных и уважаемых физиков — Бора, Борна, Дирака и Гейзенберга. Они считали, что основные законы выражаются статистически, а когда возникают квантовые явления, то, по образному выражению Эйнштейна, бог должен играть в кости. Он верил в классический детерминизм, в то, что в

конечном счете станет возможным создать одну великую теорию поля, в которой снова возникнет традиционная концепция случайности. Год за годом он продолжал разъяснять и отстаивать свои положения. В письме к Карлу Зеелигу{251} он писал: «Я решительно расхожусь во мнениях о фундаментальных положениях физики почти со всеми моими современниками, а поэтому не могу позволить себе выступать как представитель физиков-теоретиков. В частности, я не верю в необходимость статистических формулировок законов».

К Максу Борну: «Я очень хорошо понимаю, почему вы считаете меня „упрямым старым грешником“, но ясно чувствую, что вы не понимаете, как я оказался в одиночестве на своем пути. Это вас, конечно, позабавит, хотя навряд ли вы способны верно оценить мое поведение. Мне доставит также большое удовольствие изорвать в клочья вашу позитивистско-философскую точку зрения».

{251} Комментарии: 2.251

Зеелиг, Карл — биограф Эйнштейна, много лет знавший его. Написал книгу «Альберт Эйнштейн», которая впервые вышла на немецком языке в ГДР, а в 1966 г. была переведена и опубликована в СССР.

К Джеймсу Франку{252}: «На худой конец, я могу вообразить, что бог может создать мир, в котором нет законов природы. Короче, хаос. Но совершенно не согласен, что должны быть статистические законы с определенными решениями, то есть законы, которые заставят бога бросать кости в каждом отдельном случае».

Бог не играет в кости, обычно повторял он. Но ему так и не удалось открыть единую теорию поля, хотя он работал над этим почти сорок лет. Верно и то, что его коллеги, страстно преклонявшиеся перед ним, иногда считали его «упрямым и старым грешником». Они полагали, что зря растрачена половина жизни самого великого из современных ученых. Они чувствовали, что потеряли своего естественного вождя.

Аргументы с обеих сторон были самыми прекрасными и изысканными. К сожалению, их нельзя понять без знания физики, иначе «Дискуссия о проблемах теории познания» Бора и «Ответ» Эйнштейна стали бы частью общего образования. Ни одна дискуссия еще не проводилась так глубоко.

{252} Комментарии: 2.252

Франк, Джеймс (1882–1964) — немецкий физик, с 1935 г. жил в США, провел классические исследования столкновений электронов с атомами, участник создания атомной бомбы, выступал против ее применения.

Поскольку оба участника были людьми высокого ума, спор был благородным. Если два человека расходятся во мнении по вопросу, представляющему наибольший взаимный интерес, значит, так и должно быть. Жаль, что их дебаты вследствие своей природы не могут стать общепонятными.

Великий спор достиг своей высшей точки в послевоенные годы, когда Эйнштейн был уже стариком. Он так и не был решен. Эйнштейн и Бор, восхищавшиеся друг другом, интеллектуально расходились все дальше и дальше.

Когда в 1937 году я встретился с Эйнштейном, он полностью (и, как потом оказалось, окончательно) разошелся с другими теоретиками. Мне случалось и раньше раз или два встречаться с ним на больших научных собраниях и пожимать ему руку. В то лето я приехал в Америку, и мой друг Леопольд Инфельд{253}, который работал тогда с Эйнштейном, предложил съездить к нему.

Был очень жаркий день, даже для нью-йорк-

{253} Комментарии: 2.253

Инфельд, Леопольд (1898–1968) — польский ученый, один из основателей польской школы теоретической физики. В 1936–1950 гг. работал за границей, имеет труды по общей теории относительности, автор книги «Эволюция физики» (1938), которую написал совместно с Эйнштейном.

ского лета. Когда мы ехали в Лонг-Айленд{254}, сиденья в вагоне казались раскаленными. Мы на ходу позавтракали, чтобы, не задерживаясь, быть у Эйнштейна к часу дня. Однако мы попали к нему с большим опозданием. На лето Эйнштейн поселялся в Лонг-Айленде, так как прогулки на парусной лодке по-прежнему были его любимым отдыхом. Инфельд не бывал здесь, и никто из местных жителей не знал, где живет Эйнштейн, и вообще, по-видимому, не имел о нем ни малейшего представления. Мой спутник, человек не очень терпеливый, прямо-таки выходил из себя. В конце концов, чтобы узнать точный адрес, нам пришлось позвонить по телефону в Принстон и разыскать там одного из институтских секретарей (что было нелегко, так как это происходило в субботу или воскресенье). Потратив около часа, мы наконец узнали, как найти его дом.

Наше опоздание не имело особого значения. Эйнштейн всегда был любезен с посетителями, а я был лишь одним из многих. Через несколько минут после нашего прихода он вышел к нам в гостиную. В гостиной почти не было мебели,

{254} Комментарии: 2.254

Лонг-Айленд — остров у Восточного побережья США, в западной части острова находятся районы Нью-Йорка Бруклин и Куинс; ранее дачное место.

стоял только маленький стол и садовые стулья. Окна выходили на залив, но жалюзи были приспущены, чтобы умерить жару. Воздух в комнате был очень влажным.

Вблизи Эйнштейн оказался таким, каким я и представлял себе, — величественный, лицо светилось мягким юмором. У него был высокий, покрытый морщинами лоб, пышная шапка седых волос и огромные, навыкате, темно-карие глаза. Я не могу сказать, за кого можно было бы принять его. Один остроумный швейцарец сказал, что у Эйнштейна простое лицо ремесленника и выглядит он, как старомодный, солидный часовых дел мастер из маленького городка, занимающийся, наверное, по воскресеньям ловлей бабочек.

Меня удивило его телосложение. Он только что вернулся с прогулки на парусной лодке и был в одних шортах. Его массивное тело было очень мускулистым; правда, он уже несколько располнел, но выглядел еще весьма крепким и всю жизнь, должно быть, отличался физической силой.

Был он радушен, прост в обращении и совершенно нестеснителен. Его большие глаза невозмутимо глядели на меня, словно вопрошая, для чего я пришел и о чем хочу говорить? Инфельд, человек не только очень умный, но и весьма

находчивый, попытался завязать разговор, начав рассказывать о том, как он провел этот день. Попутно он упомянул, что я друг Г. Г. Харди.

— Да, Харди прекрасный человек, — с любезной улыбкой сказал Эйнштейн. Потом вдруг довольно резко спросил у меня: — А он по-прежнему пацифист?

Я ответил, что Харди не настолько близок к пацифизму, чтобы это имело какое-нибудь значение.

— Не понимаю, — мрачно сказал Эйнштейн, — как такой умный человек может быть столь непрактичным.

Затем он пожелал узнать, являюсь ли и я пацифистом. Я объяснил, что далек от этого. К тому времени я уже был уверен в неизбежности войны с фашизмом. И меня тревожило не столько предчувствие войны, сколько мысль о том, что мы можем ее проиграть. Эйнштейн в знак согласия кивнул мне. В этот день мы все трое не расходились во мнениях по политическим вопросам. Имея в виду политику в широком смысле этого слова, я не думаю, чтобы в то время кто-нибудь мог рассуждать более проницательно, чем Эйнштейн. Он не особенно интересовался методами политической борьбы, но его прозорливость в

оценке положения в мире и сила его предвидения оказались более точными, чем у многих других.

Время шло. Смутно помню, как во время нашей беседы несколько человек входили и выходили из комнаты, но я их не запомнил. Жара становилась нестерпимой. В доме, по-видимому, не было строго установленного времени для еды. В комнату то и дело вносили подносы, на которых были бутерброды с колбасой, сыром и огурцами. Пили мы только содовую воду. От жары и бутербродов я почувствовал такую жажду, словно из меня высосали всю воду, и за те восемь часов, что мы провели у Эйнштейна, я выпил содовой воды больше, чем выпил бы ее за восемь месяцев.

Говорили мы главным образом о политике, о моральном и практическом выборе, который стоял перед нами, и о том, что могло бы спасти от надвигающейся грозы не только Европу, но и все человечество. Когда говорил Эйнштейн, неизменно ощущалось значение его духовного опыта, богатство которого нельзя было сравнить с тем, что я встречал у других людей. По существу, он не был сентиментален, и у него не было никаких иллюзий. Он весьма трезво смотрел на жизнь, значительно мрачнее, чем его большой

друг Поль Ланжевен{255}. Эйнштейн сказал тогда, что человечеству повезет, если оно сможет найти выход из создавшегося положения. Но даже и в этом, сулящем мало надежд положении, добавил Эйнштейн, мы морально обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь человечеству выйти из беды…

Инфельд, который в этот период знал его лучше, чем кто-либо, позднее писал, как мне кажется, очень верно:

> «Эйнштейн, эта „совесть мира“, питает глубокое отвращение ко всякого рода хвастовству, устрашению людей и угнетающей жестокости. Можно легко поддаться искушению и изобразить его сверхчувствительным человеком, который содрогается при одном упоминании о несправедливости и насилии. Но это вовсе не так. Я не знаю никого, кто жил бы такой одинокой, отшельнической жизнью. Его огромная доброжелательность, его социальные идеи, несмотря на их про-

{255} Комментарии: 2.255

Ланжевен, Поль (1872–1946) — французский физик и прогрессивный общественный деятель; внес вклад в теорию относительности, создал теорию диа- и парамагнетизма.

тиворечивость, его абсолютная честность совершенно бескорыстны и кажутся не от мира сего. Его сердце не кровоточило, в глазах не было слез».

И все же он много страдал, но страдание проявлялось иначе, и эгоистичным людям трудно это понять.

Мне приходилось раньше не раз слышать о том, что Эйнштейн — веселый человек. Но его веселость исчезла, и, видимо, навсегда. За те восемь часов, что я был у него, я только однажды услышал его громкий смех. Это случилось, когда наш разговор принял несколько неожиданный оборот. Он говорил о странах, в которых жил, и сказал, что его симпатия к ним обратно пропорциональна их обширности. Нравится ли ему Англия? — спросил я. Да, ему нравилась Англия, у нее такие же достоинства, как и у любимой им Голландии. «В конце концов с точки зрения сегодняшних мировых масштабов Англия тоже становится небольшой страной». Потом мы заговорили о людях, с которыми он встречался (не только об ученых, но и о политических деятелях). Зашел разговор о Черчилле. Эйнштейн восхищался им. Я сказал, что прогрессивные люди моего

толка хотят, чтобы он вошел в правительство как символ сопротивления. Против этого возражали не столько лейбористы, сколько сама консервативная партия Черчилля. Эйнштейн с грустью размышлял. «Чтобы победить нацизм, — сказал он, — нам потребуются все силы, даже национализм».

Так как у меня, очевидно, не нашлось более подходящего вопроса, то я поинтересовался, почему, оставив Германию, он не поселился у нас в Англии.

— Нет-нет! — сказал Эйнштейн.

— Но почему?

— Ваш образ жизни… — Тут он вдруг стал громко смеяться. — У вас великолепный образ жизни. Но он не для меня.

Он наслаждался своей замечательной шуткой, а я был озадачен. Что за таинственный «образ жизни» он имеет в виду? Оказалось, что в первый же день пребывания в Англии его привезли в большой загородный дом. Там, как водится, его встретил дворецкий. Все были во фраках и смокингах. А Эйнштейн никогда в своей жизни не надевал смокинга. Потом мистер Линдеман

повез его на обед в Крайст-Черч{256}. А там еще больше дворецких, еще больше фраков и смокингов. Рассказывая это, Эйнштейн чуть не давился от смеха. Казалось, он был убежден в том, будто все в Англии, и уж во всяком случае служащие и интеллигенты, большую часть времени заняты тем, что по разным поводам переодеваются. Вот тогда-то я и услышал от него немецкое слово Zwang. Нет, этот Zwang не для него. Никаких дворецких. И никаких фраков и смокингов.

Я подумал, что эти слова отражают его жизнь в Швейцарии лет тридцать тому назад. Но он больше ничего не добавил, и это осталось моей догадкой. День уже был на исходе, и в комнате становилось все темней. Эйнштейн заговорил об условиях плодотворной творческой жизни. Он сказал, что человек не способен создать что-либо значительное, если он несчастен, и это он хорошо знает по себе. Едва ли кто назовет ему такого физика, который сделал бы выдающуюся работу, находясь в горе и отчаянии. То же самое можно сказать о композиторе. Или о писателе. Единственным исключением, которое он может вспомнить, является Нильс Бор. У него было мно-

{256} Комментарии: 2.256

Крайст-Черч — крупнейший колледж в Оксфордском университете, основан в XVI в.

го волнений{257} и переживаний именно тогда, когда он писал свою замечательную работу о спектре водорода.

Ни я, ни Инфельд этого не знали. Эйнштейн говорил о знаменитых современниках, принадлежавших к его поколению. А я вспомнил о Толстом. Ведь и он писал «Анну Каренину», находясь в глубоком отчаянии{258}. Эйнштейн заинтересовался этим, так как Толстой был одним из его любимых писателей. Художественный вкус Эйнштейна и его понимание искусства были такими же классическими, как и его проникновение в сущность физических законов природы. Он отвергал, например, романтизм, и в частности немецкий романтизм. Ему не нравился субъективизм. Из всех романов он выше всего

{257} Комментарии: 2.257

У него было много волнений… — Нильс Бор (1885–1962) занимался вопросами спектроскопии накануне первой мировой войны. Проведя ряд исследований, он написал об этом статью и отправил ее в Англию Резерфорду, у которого работал раньше. «Ваши взгляды на механизм рождения водородного спектра очень остроумны и представляются отлично разработанными», — ответил Бору Резерфорд. Однако он счел, что статья длинна и трудна для понимания, и поэтому сократил ее. Бора это страшно взволновало, так как он усмотрел в этом своеобразный ущерб для выдвинутой им теории. Он поехал в Англию, чтобы обсудить статью с Резерфордом. «Наконец, — пишет советский биограф Бора Д. Данин в своей книге „Нильс Бор“, — с одобрения Резерфорда 5 апреля 1913 г. статья Бора о квантовой конституции атома была отправлена в английский „Философский журнал“».

{258} Комментарии: 2.258

…писал «Анну Каренину», находясь в глубоком отчаянии. — Лев Николаевич Толстой создавал роман «Анна Каренина» с перерывами с марта 1873 г. по апрель 1877 г. Лето 1873 г. Толстой проводил в своем самарском имении, когда край был охвачен засухой. Страдания народа волновали писателя, и он обратился к издателям «Московских новостей» с письмом, в котором раскрывал картины «страшного бедствия, постигшего народ вследствие трех неурожайных годов». В 1875 г. собственное нездоровье и полоса болезней его близких не позволили ему работать над романом. А 12 ноября 1876 г. Толстой пишет одному своему корреспонденту: «Нездоровится. Уныние. Отчаяние в своих силах». Этот же год стал началом духовного кризиса писателя, приведшего к критике прожитой им жизни, поискам основ нравственности в религии.

ценил «Братьев Карамазовых». Снова заговорив о творческой жизни, он сказал, покачав своей крупной головой: «Нет, чтобы понять мир, надо прежде всего самому не мучиться».

Вернувшись поздно вечером в Нью-Йорк, я долго вспоминал беседу с Эйнштейном, его высказывания о счастье и творческой жизни вместе со многими другими. В то время я был мало знаком с его личной жизнью и не знал, да и теперь не знаю, в какой степени то, что он говорил, относилось лично к нему. Но если и относилось, это можно узнать по его воспоминаниям о двух основных творческих периодах. В первый, в 1905 году, было написано много важных научных статей. Он недавно женился, у него родился первый сын. Я склонен думать, что вопреки рассказам о тех годах этот брак вначале был счастливым. Что же касается второго творческого периода, то почти все свидетельства сходятся. Несмотря на войну, он был счастлив: Эльза сняла с него бремя житейских забот и почти сразу он занялся решением трансцендентальных научных проблем.

Вероятно, в этом же доме в Лонг-Айленде Эйнштейн два года спустя подписал известное письмо к Рузвельту о возможности создания атомной бомбы. Впоследствии это событие по-

лучило крайне мелодраматическое освещение. Эйнштейн стал героем легенды. Иные легенды верны и многозначительны, а эта, как я уже сказал, вовсе не имеет того значения, которое ей приписывается.

Позвольте мне попытаться поставить все на свое место.

Во-первых, работы Эйнштейна не имеют ничего общего ни с открытием, ни с потенциальным использованием деления атомного ядра. Во-вторых, возможность использования внутриатомной энергии в практических целях обсуждалась задолго до открытия деления ядра урана. Само это открытие, сделанное экспериментальным путем, было осуществлено без участия теории. Начиная с первых месяцев 1939 года о возможности создания атомной бомбы уже говорил каждый физик-атомщик, а также и многие физики-неатомщики. В-третьих, все крупные физики-атомщики стремились как можно быстрее и полнее информировать свои правительства о возможности изготовления атомной бомбы. В Англии это было сделано за несколько месяцев до письма Эйнштейна Рузвельту. В-четвертых, группа ученых, эмигрировавших в Америку (Сци-

ларда{259}, Вигнера{260}, Теллера{261}, Ферми{262}), не имела возможности непосредственно обратиться в Белый дом. Они весьма обстоятельно объяснили положение Эйнштейну, и тот подписал составленное ими письмо. «Я выполнил роль почтового ящика», — говорил Эйнштейн. Это письмо от 2 июля 1939 года дошло к Рузвельту только 11 октября. В-пятых, тогда опасались, что нацисты смогут первыми сделать атомную бомбу. В таком случае они захватили бы мировое господство. Это было ясно Эйнштейну так же, как и самому неискушенному человеку.

Жаль, что история с этим письмом к Рузвельту заслонила возникшую в последние годы жизни Эйнштейна подлинную нравственную проблему. А она заключалась в следующем: что

{259} Комментарии: 2.259

Сциларда, Лео (1898–1964) — физик, родился в Венгрии, работал в Германии и США, участвовал в разработке первого ядерного реактора, выступал за запрещение ядерных испытаний.

{260} Комментарии: 2.260

Вигнер, Эуген Пол (р. в 1902) — американский физик-теоретик, родился в Венгрии, работал в Германии и США, участвовал в разработке первого ядерного реактора.

{261} Комментарии: 2.261

Теллер, Эдвард (р. в 1908) — американский физик, родился в Венгрии, учился и работал в Германии, Дании, Англии, США. Участвовал в создании американских атомной и термоядерной бомб, выступает против разоружения и разрядки международной напряженности.

{262} Комментарии: 2.262

Ферми, Энрико (1901–1954) — итальянский физик, один из создателей ядерной и нейтронной физики, основатель научных школ в Италии и США. С 1938 г. работал в США; открыл искусственную радиоактивность, вызванную нейтронами, построил первый ядерный реактор и осуществил в нем цепную ядерную реакцию.

делать человеку теперь, когда атомная бомба уже существует? Эйнштейн был, вероятно, мало осведомлен или вообще ничего не знал о том, как шли работы над атомной бомбой. Его не было в числе ученых, заблаговременно протестовавших против использования атомной бомбы в войне с Японией, так как он просто не знал, что она уже почти готова.

Когда сбросили на Хиросиму первую атомную бомбу, он воскликнул: «Какой ужас!» Ничто не убедило бы его в том, что можно простить трагедию Хиросимы, как ничто не убедило в этом и всех нас в последующие десятилетия.

Итак, бомба была создана. Что же делать человеку? Он не мог найти ответа, к которому прислушались бы люди. Призывал к созданию единого мирового государства, что вызвало недоверие и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах.

В 1950 году он выступил по телевидению с эсхатологическим предупреждением:

> «Теперь народу заявляют, что создание водородной бомбы — это новая цель, которая, вероятно, будет осуществлена. Ускоренная разработка водородной бом-

бы была торжественно провозглашена президентом США. Если эти усилия окажутся успешными, то радиоактивное заражение атмосферы, и, следовательно, уничтожение всей жизни на Земле, станет технически возможным. Роковой исход, по-видимому, заключен в неумолимом характере самого явления. За каждым новым шагом неизбежно последует другой. А в конце все яснее предстает всеобщее уничтожение».

После этой речи недоверие к нему в Америке усилилось. Что же касается практических результатов, то его никто не слушал. Между прочим, по мнению большинства современных военных, уничтожить все человечество будет гораздо труднее, чем полагал Эйнштейн. Но самые интересные строки — это те, которые я подчеркнул. Они совершенно справедливы. Чем больше вникаешь в эти ужасы, тем правдоподобнее они кажутся.

Он присоединялся и к другим предостережениям, одно послание он подписал за неделю до смерти.

Он не ожидал, что к ним прислушаются. Силь-

ный духом, он еще сохранял надежду, но умом, по-видимому, понимал, что надеяться не на что.

Физически он был самым сильным из тех, о ком я пишу. Духовно он тоже был сильнейшим. Он привык быть в одиночестве. «Странно, — писал он, — быть известным во всем мире и все же быть таким одиноким».

Ничего, это не так важно. Он был один в своем поиске теории единого поля. То была великая научная тема его жизни. Он мог непоколебимо вынести все и стоически работать над этой темой. Он говорил: «Нужно делить свое время между политикой и уравнениями. Но уравнения гораздо важнее для меня».

Последние годы жизни Эйнштейн постоянно болел. Его мучила болезнь кишечника, печени и под конец тяжелое заболевание аорты. Он был лишен житейских удобств, часто страдал от острой боли, но оставался приветливым и спокойным, не обращая внимания на свою болезнь и приближение смерти. И продолжал работать. Смерть он встретил спокойно. «Свою задачу на земле я выполнил», — сказал он безо всякого сожаления.

В то воскресенье ночью на столике у его кровати лежала рукопись. В ней были новые уравнения, приводящие к единой теории поля, которую он

никак не мог завершить. Он надеялся, что завтра боли утихнут и он сможет поработать над рукописью. Но на рассвете произошло прободение стенки аорты, и он умер.

«Добрый, кроткий и мудрый». Это сказал Харди в тот день на крикетной площадке, когда мы говорили об Эйнштейне. Мне хотелось тогда сказать и свое слово о нем. Если бы наш разговор состоялся снова, я выбрал бы, наверное, не самое гладкое. Из всех людей, которых я знал, он был в любом отношении — умственном, эмоциональном и духовном — самым независимым и самым непоколебимым.

Пер. Г. Льва

Резерфорд{˘}

В 1923 году в Ливерпуле на конгрессе Британской ассоциации по развитию науки Резер-

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге «Многообразие людей». Перевод (с сокращениями) опубликован в журнале «Звезда», 1969 г. Печатается по тексту журнала.

форд{264} своим громовым голосом провозгласил: «Мы живем в героический век физики!» Он продолжал повторять это вплоть до самой своей смерти четырнадцать лет спустя.

То, что он утверждал, было совершенно верно. Такой поры никогда еще не было. Тысяча девятьсот тридцать второй год стал самым знаменательным в истории науки. Живя в Кембридже, нельзя было не поддаться царившему там всеобщему возбуждению. Джеймс Чедвик{265}, осунувшийся после двух недель работы, когда он спал не более трех часов в сутки, рассказывал в клубе Капицы (быть членом этого клуба каждый молодой ученый считал для себя честью), как он открыл нейтрон. Самый замечательный из молодых ученых, П. М. С. Блэкетт{266}, без обычной

{264} Комментарии: 2.264

Эрнест Резерфорд (1871–1937) — английский ученый-физик, положил начало теории радиоактивности и строения атома, впервые осуществил искусственное разложение элементов, был профессором Кембриджского университета.

{265} Комментарии: 2.265

Чедвик, Джеймс (1891–1974) — английский физик, ученик Резерфорда, работал в области физики атомного ядра.

{266} Комментарии: 2.266

Блэкетт, Патрик Мейнард Стюарт (1897–1974) — английский физик, в 1923–1933 гг. работал в Кавендишской лаборатории (см. коммент. к с. 186 /В файле: комментарий № 310 — *Прим. верст.*/) Кембриджского университета, впервые получил фотографии расщепления атомных ядер азота альфа-частицами.

своей уверенности, так как все казалось слишком удачным, показывал пластинки, которые демонстрировали существование положительного электрона. Джон Кокрофт{267}, всегда невозмутимый, как герцог Веллингтон{268}, носился по площади Кингс-Пэрейд, твердя каждому знакомому: «Мы расщепили атом! Мы расщепили атом!»

Наука заговорила голосом Резерфорда, а это был язык, в котором звучали и высокопарная похвальба — ведь делались такие важные открытия, — и творческая уверенность, и благородство, и логика, и щедрость, и полнота надежд. Он отличался от языка английских писателей в такой же мере, в какой сам Резерфорд отличался от Т. С. Элиота. В двадцатые и тридцатые годы нашего столетия Кембридж был столицей экспериментальной физики всего мира. Этого не было даже и тогда, когда в конце прошлого века профессорами здесь

{267} Комментарии: 2.267

Кокрофт, Джон Дуглас (1897–1967) — английский физик, осуществил первую ядерную реакцию с искусственно ускоренными протонами, с 1924 г. работал у Резерфорда в Кавендишской лаборатории, в 1939–1944 гг. руководил разработкой радара, был директором центра по атомной энергии в Харуэлле.

{268} Комментарии: 2.268

Герцог Веллингтон — Артур Уэлсли Веллингтон (1769–1852) — английский полководец, государственный деятель, дипломат, в 1815 г. командовал одной из союзных армий в сражении при Ватерлоо, позднее был премьер-министром правительства тори.

были Кларк Максвелл и Дж. Дж. Томсон{269}.

— Вы всегда на гребне волны, — сказал кто-то Резерфорду.

— Что ж, в конце концов я создал волну{270}, не так ли? — ответил он.

Я видел его много раз, прежде чем мне представился случай заговорить с ним. В то время я работал на периферии физики и потому не имел с ним непосредственного контакта. Я уже понял, что хочу писать романы, готов посвятить себя литературному труду, и это, конечно, порождало во мне двойственное отношение к миру. Но все равно я не мог не испытывать волнения и живейшего интереса, когда бы ни встречался с Резерфордом, идущим по Фри-скул-лейн.

Резерфорд был крупный, довольно неуклюжий человек с заметным брюшком. Я бы сказал, что он не был таким уж физически сильным, каким

{269} Комментарии: 2.269

Томсон, Джозеф Джон (1856–1940) — английский физик, директор Кавендишской лаборатории, выполнил ряд исследований, приведших его к открытию электрона, работал в области атомной физики.

{270} Комментарии: 2.270

…я создал волну… — Очевидно, намек на то, что Резерфорд, еще будучи студентом Новозеландского университета, изучал проблему использования электромагнитных волн для беспроволочного телеграфа и создал магнитный детектор электромагнитных колебаний. За эти исследования он получил после окончания университета (1894) стипендию, которую использовал для поездки в Англию, чтобы работать в Кавендишской лаборатории.

казался с первого взгляда. У него были большие, широко раскрытые голубые глаза и влажная, немного отвислая нижняя губа. Менее всего он походил на интеллигента. О таких, как он — по виду, конечно, — не скажешь, что это человек умственного труда, но все утверждения, что Резерфорд выглядел фермером, — просто чушь. На самом деле и его лицо, и весь его облик говорили о сильном характере и одаренности. Таким вполне мог быть, скажем, великий писатель. На улице Резерфорд говорил очень громко, раза в три громче своих собеседников, при этом акцент у него был очень своеобразный. Он родился в Новой Зеландии в семье бедного шотландского переселенца.

Мне, вероятно, можно простить то, что во время первого знакомства с ним я не очень хорошо разглядел его. Это было в начале 1930 года, я еще не был избран в члены научного общества своего колледжа и обратился с просьбой о предоставлении мне стипендии Стокса в Пемброке{271}. Однажды в субботу днем меня вызвали на со-

{271} Комментарии: 2.271

Стипендия Стокса в Пемброке. — Пембрук-колледж находится в Кембриджском университете. Джордж Габриель Стокс (1819–1903) — английский физик, преподавал в Кембриджском университете, в 1849 г. стал заведовать «люкасовской» кафедрой, которую в свое время занимал Ньютон.

беседование. Прибыв в Пембрук, я обнаружил, что в списке претендентов значатся только двое: Филип Ди и я. Ди вызвали первым, и, пока с ним беседовали, я без особого удовольствия вспоминал, что он считается одним из способнейших учеников Резерфорда.

Затем наступила моя очередь. Когда я вошел, то первый, кого я увидел, был Резерфорд, сидевший по правую руку от директора колледжа. Тот стал расспрашивать меня о моих работах, а Резерфорд в это время сосал трубку, не выказывая заметного интереса к происходящему. Закончив опрос, директор повернулся к нему. «Профессор Резерфорд?» — обратился он, приглашая задавать вопросы.

Резерфорд вынул изо рта трубку и обратил на меня свои голубые глаза, холодные и скучающие. Он был весьма непосредственным человеком: если ему было скучно, он не скрывал этого. Сейчас он, безусловно, скучал. Разве его ученик, очень хороший ученик, не является наилучшим кандидатом? И что тут делать другому? Так зачем же мы зря тратим время?.

Раздраженным, нетерпеливым тоном он задал мне один или два незначительных вопроса. Чем я в настоящее время занимаюсь? И что может

нам дать работа по спектроскопии? Не будет ли это просто работа, которую складывают в ящик стола?

Мне все это показалось несколько грубоватым. Вероятно, я понял, что терять мне нечего. Во всяком случае, как можно веселее я спросил, не может ли он позволить хотя бы немногим из нас не заниматься ядерной физикой. И продолжал отстаивать тему своей работы.

В тот же вечер мне на квартиру принесли извещение. Выбран был Ди. Члены комиссии пожелали отметить, что оба кандидата были вполне достойны. Это выглядело обычной кембриджской вежливостью, и я несколько расстроился. Однако спустя день или два я вновь воспрянул духом, узнав, что Резерфорд во всеуслышание назвал меня мужественным молодым человеком. Через несколько месяцев он поддержал назначение мне другой стипендии. Надо сказать, что Ди далеко превосходил меня как ученый, так что ни Резерфорд, ни кто-либо другой не оказался в данном случае несправедливым.

С этого времени и до самой его смерти я имел некоторую возможность вблизи наблюдать за Резерфордом. Некоторые из моих друзей были его близкими друзьями, чего я не могу сказать

о себе. Конечно, очень жаль, что Тизард{272} или Капица{273}, люди с острой психологической наблюдательностью, подробно не описали его. Но я был членом того клуба, который он посещал, и вспоминаю, что раза два-три у нас были серьезные беседы наедине.

Трудно отделить самого человека от обширной «резерфордианы», в которой, впрочем, много истинного. Как-то мы с приятелем, ожидая своей очереди у кембриджского портного, услыхали из-за занавески знакомый раскатистый голос: «Воротник этой сорочки жмет мне шею. Я с каждым днем увеличиваюсь в объеме. И интеллектуально тоже!»

Все же по своей натуре он был менее уверен в себе, чем это казалось. Точно так же и его характер,

---

{272} Комментарии: 2.272

Тизард, Генри (1885–1959) — английский химик, профессор Оксфордского университета, во время второй мировой войны был руководителем Авиационного научно-исследовательского комитета.

{273} Комментарии: 2.273

Капица, Петр Леонидович (1894–1984) — советский физик, автор ряда выдающихся научных открытий, в 1921 г. был направлен в научную командировку в Англию, где работал вместе с Резерфордом, в 1924–1932 гг. был помощником директора Кавендишской лаборатории, после этого — директор Лаборатории им. Монда в Кембридже. В Москве возглавил Институт физических проблем, которым руководил до последних дней жизни. Был действительным членом АН СССР и почетным членом академий ряда стран. Лауреат государственных премий СССР и Нобелевской премии.

казавшийся таким сильным, озаренным детской радостью творчества и славы, вовсе не был так прост. Он был личностью масштаба Сэмюэла Джонсона{274}... И как и Джонсон, внешне казался властным и непроницаемым — изломы были спрятаны внутри.

Никто не мог бы больше, чем он, упиваться творческой работой или почестями, которые она ему приносила. Работал он напряженно, с огромным, особенным увлечением. Он был увлечен не только в решающие моменты исследования, но также и в те часы, когда другие выполняли тяжелую, нудную работу, сидя в темноте и считая искорки, высекаемые альфа-частицами на экране. Его проникновение в самую суть предмета исследования было точным, а интуиция — почти непогрешимой. Еще не было ученого, который допустил бы так мало ошибок. В списке опубликованных им трудов, одном из самых больших в истории науки, не оказалось таких, которые он должен был бы впоследствии исправлять.

К тридцати годам Резерфорд — уже профессор, получающий жалованье 500 фунтов стерлин-

---

{274} Комментарии: 2.274

Джонсон, Сэмюэл (1709–1784) — крупнейший английский критики лексикограф; составитель «Словаря английского языка» (1755).

гов в год. Он работает в уединении канадского Монреаля и самостоятельно закладывает основы ядерной физики. К сорока годам, уже в Манчестере, он объясняет структуру атома — то, на чем основана вся современная ядерная физика.

Это была удивительная жизнь, творчески деятельная до самой смерти. Как я уже упомянул, он родился в очень бедной семье. В восьмидесятые годы прошлого столетия Новая Зеландия была очень глухой провинцией, но он сумел получить там хорошее образование и завоевать все награды. Он был столь же самобытен, как и Эйнштейн, но в отличие от него не восставал против казенного школьного образования и был в школе отличным учеником.

Свое исследование радиоволн он начал с таким оборудованием, которое сегодня встретишь разве только в Африке. Это не остановило его. «Я мог бы заниматься научной работой и на Северном полюсе», — однажды заявил он, и в этом нельзя было сомневаться. Ему дали специальную «стипендию 1851 года»{275}, которая была учреждена

{275} Комментарии: 2.275

«Стипендия 1851 года» — присуждалась наиболее талантливым выпускникам английских провинциальных высших учебных заведений и выплачивалась из доходов Всемирной выставки в Лондоне, состоявшейся в 1851 г.

для окончивших университеты в заморских владениях (позже эта стипендия привела в Англию Флори, Олифанта, Филиппа Боудена и целую группу одаренных новозеландцев). Получил он эту стипендию только потому, что тот, кому ее присудили, отказался от нее, так как предпочел остаться дома и жениться. Со смирением, забавно уживавшимся в нем с некоторой хвастливостью, он всю жизнь был благодарен этому человеку. Когда он уже стал лордом Резерфордом, президентом Королевского общества и величайшим ученым-экспериментатором, было внесено предложение об упразднении этой стипендии. Резерфорд на заседании комитета, который рассматривал этот вопрос, от волнения долго не мог говорить и наконец выпалил:

— Если бы не эта стипендия, то не было б и меня!

Это, конечно, не так. Его ничто не могло остановить. Он привез в Кембридж свою работу о радиоволнах, но затем бросил заниматься этим, потому что увидел: другое явление — радиоактивность — представляет больший научный интерес.

Между прочим, если бы он продолжал заниматься радиоволнами, то, конечно, стал бы

богатым человеком. Но для этого у него никогда не было свободного времени. Он обеспечил жене и дочери благополучную жизнь в доме среднего достатка — и этим все ограничилось. Его исследования привели к созданию атомно-энергетической промышленности, на которую через десять лет после его смерти уже затрачивались миллиарды фунтов стерлингов. Сам он никогда не получал и не стремился получать больше, чем жалованье профессора — около 1600 фунтов стерлингов в год, которые ему в тридцатые годы платили в Кавендише. В своем завещании он оставил сумму, равную полученной им некогда Нобелевской премии, что составляло тогда 7000 фунтов стерлингов. Из всех, о ком я пишу в этой книге, он умер наименее богатым. Даже Г. Г. Харди, который рядом с ним выглядел аскетом, неземным существом, проявлял определенный интерес к своим доходам.

Как только Резерфорд начал заниматься радиоактивностью, это стало делом всей его жизни. Его идеи были просты, грубы и наглядны, во всяком случае так он их излагал. Он думал об атомах так, словно они были теннисными мячами. Ему удалось открыть частицы меньше атомов и выяснить, как они движутся и сталкиваются. Иногда

частицы сталкивались не так, как обычно. Исследовав эти случаи, он создал новую, но, как обычно, простую картину происходящего. Таким путем — с той же уверенностью, с какой бродит лунатик, — он пришел от неустойчивых радиоактивных атомов к открытию атомного ядра и структуры атома.

В 1919 году он сделал одно из замечательнейших открытий всех времен: он расщепил ядро азота прямыми ударами альфа-частиц. Это означало, что человек может проникнуть внутрь атомного ядра и управлять им, если сумеет получить надлежащие бомбардирующие частицы. Эти бомбардирующие частицы можно было получить либо от радиоактивных атомов, либо от обычных атомов, ускоряемых электрическими машинами.

Остальная часть нашего рассказа приводит нас к основам технической и военной истории нашего времени. Резерфорд не создал те замечательные машины, которые сыграли решающую роль в современной физике элементарных частиц, хотя некоторые из его учеников, особенно Кокрофт, начали их строить. Резерфорд работал с допотопными, простыми приборами, но действительно выжимал из них все, что они могли

дать. Его исследования остаются высшим достижением самостоятельной и индивидуальной работы ученого в области экспериментальной физики. Никто не сумел бы теперь работать так — «с помощью сургуча и бечевки», как говорится в старой кавендишской поговорке.

Дело делалось не без шума, с ссорами и спорами, но и с такой бьющей через край творческой энергией, с таким пылом и жаром, словно исследовательская работа была самым легким и самым естественным призванием в мире. Наряду с этим у Резерфорда был большой интерес к искусству, особенно к литературе. Он много читал, значительно больше, чем иные литераторы. Но он не читал критических статей. Он враждебно и подозрительно относился к людям, которые обволакивали туманом трудностей научные исследования, разводя длинные и тягучие методологические сентенции, чтобы объяснить вещи, которые он в совершенстве понимал интуитивно. «Те господа» — так называл он их. «Те господа», то есть философы-логики, критики, метафизики. Они были умны, обычно более ловки, чем он, и в спорах с ними он часто оказывался в невыгодном положении. Однако они никогда не создавали ничего серьезного, в то время как он

был величайшим ученым-экспериментатором нашего века.

Я слышал и более высокие оценки. Помню, в частности, одну дискуссию спустя год или два после его смерти, в которой принимали участие ученые с мировым именем: Дарвин[30], Дж. Тейлор{276}, Р. Фаулер{277} и некоторые другие. Был поставлен вопрос: является ли Резерфорд величайшим ученым-экспериментатором со времен Фарадея{278}? Без всякого сомнения, отвечали они. Может быть, более значительным, чем Фарадей? Возможно, что и так. В таком случае сколько лет было бы потеряно, если бы не появился Резерфорд? Насколько позже мы познали бы ядро атома таким, каким мы сейчас представляем его себе? Вероятно, лет на десять позже. Но, скорее

---

[30] Примечания: 1.30

Чарлз Галтон Дарвин — физик, внук великого естествоиспытателя. — *Прим. перев.*

{276} Комментарии: 2.276

Тейлор, Джефри Инграм (1886–1975) — английский ученый в области механики, имеет труды по теории турбулентности, ядерному взрыву и др.

{277} Комментарии: 2.277

Фаулер, Ральф — английский математик, работавший в Тринити-колледже Кембриджского университета, муж дочери Резерфорда Эйлин.

{278} Комментарии: 2.278

Фарадей, Майкл (1791–1867) — английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле, открыл фундаментальные физические законы и явления, получил признание во всем научном

мире. Ф. Энгельс считал его величайшим исследователем в области электричества.

всего, лет на пять.

Разум Резерфорда был так могуч, что в конечном счете он согласился бы с этим суждением. Но оно ему не понравилось бы. Его оценка своих сил была реалистической, но если она и грешила в чем-то, то не в сторону скромности.

— Для этой частицы в атоме нет места, кроме выясненного мною, — однажды услышал я от него в большой аудитории.

Ему было свойственно переоценивать масштаб своей работы процентов на десять. Была у него эта слабость: он всегда стремился казаться несколько величественней. Жажда славы? Он любил каждое ее проявление: почести, звания, общество высокопоставленных лиц. Он рассказывал: «Стою я как-то в гостиной Тринити-колледжа и вижу, входит какое-то духовное лицо. Я говорю ему: я — лорд Резерфорд. А он отвечает мне: а я — архиепископ Йоркский. И я полагаю, что оба мы не поверили друг другу».

Резерфорд был великим человеком, истинно великим. В нем, правда, не было утонченности, но зато он был умен, талантлив, отзывчив и великодушен, насколько может быть великодушен человек. Его тщеславие было столь же велико, как и его мудрость, — сочетание, которое встре-

чается чаще, чем думают, особенно в молодости. Он наслаждался своей жизнью, полной удивительных побед. В общем-то, он восхищался самим собой. Но я убежден, что до последних дней его терзало чувство болезненной неуверенности.

Где-то в глубине этой богатой творческой натуры прятался больной, сжавшийся в комок нерв. Стоит только прочесть письма, написанные, когда Резерфорд был еще молодым человеком, чтобы убедиться в этом. У него бывали такие приступы сомнений в себе, которые нельзя полностью объяснить только, лишь бедными детством и юностью, прошедшими в далекой британской колонии. В душе он был колеблющимся и нерешительным, что кажется странным в молодом человеке незаурядных способностей. Он скрывал свой ум, таил в себе свои возможности. За всем этим стояла какая-то непонятная робость и неуверенность в себе. Он не переставал опасаться, что к нему относятся свысока, даже когда он стал мировым ученым. Архиепископ Лэнг{279} однажды проявил бестактность, высказав предположение, что у знаменитого ученого, вероятно, нет времени для чтения. Резерфорд

{279} Комментарии: 2.279

Архиепископ Лэнг. — Космо Гордон Лэнг (1864–1945) — архиепископ Кентерберийский, член палаты лордов.

тут же почувствовал, что его воспринимают как невежественного простака. Он назвал огромный список книг, прочитанных им за последний месяц, а затем полуневинно, полузлорадно спросил:

— А что вам удалось прочесть, ваше преосвященство?

— Боюсь, — прогудел архиепископ голосом, идущим откуда-то из глубины груди, — что человек в моем положении действительно не имеет свободного времени.

— Ах, да, конечно, ваше преосвященство, — с торжеством подхватил Резерфорд. — Это, должно быть, собачья жизнь. Действительно собачья!

Как-то мне пришлось самому убедиться в его мнительности. Вскоре после того, как вышел мой первый роман «Поиски», мы с Резерфордом встретились на площади Кингс-Пэрейд.

— Что вы с нами сделали, молодой человек? — загремел он.

Я начал было пересказывать роман, но оказалось, что в этом нет необходимости: он объявил, что внимательно прочитал его. Затем он пригласил меня, или, вернее, скомандовал мне совершить с ним прогулку. Подобно большинству моих ученых друзей, он благосклонно отозвался о

моей книге, рассказавшей — вероятно, в какой-то степени близко к истине — о научных исследованиях. Он похвалил ее. Это было солнечным октябрьским днем. Внезапно он сказал:

— Мне не нравятся эротические места в вашем романе. Полагаю, что это потому, что мы с вами принадлежим к разным поколениям.

Моя книга, подумал я, достаточно сдержанна. Но я не знал, как ответить ему.

С полной серьезностью и прямотой он высказал еще одно пожелание. Он выразил надежду, что я буду писать не только об ученых. Я заверил его, что сейчас вообще не пишу и, во всяком случае, пока что не собираюсь.

Резерфорд кивнул. Он был задумчив и выглядел более добродушным, чем обычно.

— Это, знаете ли, маленький мир, — сказал он, имея в виду научный мир. — Держитесь от нас как можно дальше. Люди склонны думать, что вы добрались до некоторых из нас. А я полагаю, что во всех нас есть нечто такое, что мы прячем от чужих глаз.

Я упомянул, что только в одном случае его интуитивное предвидение оказалось ошибочным. Обычно он был совершенно прав в своих суждениях о практическом использовании науки. Но

одно его высказывание звучит сейчас по меньшей мере наивно. В 1933 году он заявил в своем выступлении в Британской ассоциации: «Эти превращения атомов представляют исключительный интерес для ученых, но мы не сможем управлять атомной энергией в такой степени, чтобы это имело какую-нибудь коммерческую ценность, и я считаю, что вряд ли мы когда-нибудь будем способны сделать это. Об атомных превращениях наговорили множество всякой чепухи. Наш интерес к этой проблеме чисто научный».

Это заявление — оно было сделано за девять лет до того, как стал работать первый атомный реактор, — не было ни оптимистическим, ни пессимистическим. Это был просто неправильный прогноз.

Оставляя в стороне это ошибочное суждение, следует заметить, что за пределами научного мира часто считали, что Резерфорд и люди его склада — это оптимисты, прямая противоположность умонастроениям литературной интеллигенции XX века, оптимисты воинствующие и дерзкие. Такое представление имело свои основания, но различие между учеными и другими интеллектуалами было более сложным. Когда

ученые говорили об условиях жизни человека, они видели не больше оснований для надежды, чем многие из нас. Можно ли представить себе, что Бертран Рассел{280}, Г. Г. Харди, Резерфорд, Блэкетт и другие ученые глупели от радости, оценивая свое личное положение и успехи? Очень немногие из них находили какое-то утешение в религии, ибо ученые знали — с той же ясностью, с какой они принимали строение атома, предложенное Резерфордом, — что за их земной жизнью последует переход в небытие. Некоторые были людьми с глубокой внутренней интуицией. Им вовсе не нужно было объяснять экзистенциалистскую абсурдность.

Тем не менее верно то, что из всех людей, среди которых я жил, ученые — самые счастливые. Они были как-то бодры и жизнерадостны, в то время как другие интеллектуалы не могли скрыть отчаяния. Причины этого не так уж просты. Отчасти это объясняется самой природой научной работы: ее полный успех только в ней самой, она сама по себе является источником счастья.

{280} Комментарии: 2.280

Рассел, Бертран (1872–1970) — английский философ, математик, социолог, основоположник философии логического анализа и аксиоматической теории множеств; один из инициаторов Пагуошского движения ученых за мир, разоружение, международную безопасность, научное сотрудничество.

Ученые скорее удовлетворяются своей судьбой, чем другие умные люди. Они меньше думают о затруднениях в личной жизни. Поскольку они не могут избавиться от них и изменить что-нибудь, они не обращают на них внимания. Но когда они думают о людях, то они думают главным образом о том, что можно изменить, а не о том, чтобы примириться с действительностью, потому что в этом случае их помыслы обращены не к личным, а к социальным условиям существования.

По своей сути наука всегда выступала как величайшая преобразующая сила, ученые сами были участниками глубочайшей революции человеческих отношений со времен открытия земледелия. Они умели понять и принять новое, когда другие интеллектуалы шарахались от него. Более того, они не только принимали, но и радовались ему. Почти все ученые считают, что научно-техническая революция в промышленности приносит несравненно больше пользы, чем вреда.

Именно таким был характерный оптимизм ученых в двадцатые и тридцатые годы нашего века. Сохранился ли он? Отчасти, полагаю, сохранился. Однако произошли некоторые перемены.

В последнюю войну физика стала играть весьма важную роль. Радиолокация, которой

занимались тысячи ученых, изменила прежний характер военных действий, а ядерная бомба навсегда покончила с прежними масштабами «обычной» войны. В некоторой степени можно было в середине тридцатых годов предвидеть, что, как только разразится война (а большинство из нас ожидало этого), физиков призовут с самого начала. Тизард, который был близким другом Резерфорда, информировал его о перспективах РДФ, как тогда называли радиолокатор. Уже к 1938 году многие физики в Кавендише были секретно завербованы. Но никто, положительно никто не имел хотя бы смутного представления о том, что и впоследствии большой процент физиков в США, Советском Союзе и в нашей стране останется солдатами в штатском.

Когда сбросили первую атомную бомбу, Марк Олифант{281} с грустью заметил: «Это погубило прекрасную научную тему». В научном смысле это утверждение оказалось неверным, но оно заключало в себе некое пророчество. Секретность, требования государства, влияние военных иссушали духовные силы физиков. Должно пройти

{281} Комментарии: 2.281

Олифант, Марк Лоуренс (род. 1901) — австралийский физик, работавший некоторое время в Англии; имеет труды в области ядерной физики и физики элементарных частиц.

еще немало времени, прежде чем в Кембридже, Копенгагене и Гёттингене снова возродится атмосфера двадцатых годов{282} или прежде чем появится такой физик, который сможет говорить со всем миром с незыблемой авторитетностью Эйнштейна или Бора{283}. В этом смысле ведущая роль перешла теперь к биологам, которые пока еще не так важны для правительств. И я полагаю, что, должно быть, они дадут научных глашатаев следующих десятилетий. Известный вопрос Горького «С кем вы, „мастера культуры“?» мог бы сейчас повторить скорей всего биолог, который выступил бы в защиту своих собратьев-людей.

В научном окружении Резерфорда трудностей при выборе сотрудников не возникало. Считалось само собой разумеющимся соблю-

---

{282} Комментарии: 2.282

…прежде чем в Кембридже, Копенгагене и Гёттингене снова возродится атмосфера двадцатых годов… — В Копенгагене в 1920 г. был создан Институт Нильса Бора, которым Бор руководил до конца жизни. Институт сыграл ведущую роль в развитии квантовой механики, стал центром исследований в этой области. Гёттинген — крупный научный центр Германии, где находится Гёттингенский университет, в конце XIX — начале XX в. в нем работали известные математики Б. Риман, Ф. Клейн, Г. Минковский и др., кроме того, тут было научное Общество Макса Планка и отделение Национальной академии наук.

{283} Комментарии: 2.283

Бор, Нильс Хенрик Давид (1885–1962) — датский физик, создатель квантовой теории атома, разрабатывал основы квантовой механики, занимался теорией атомного ядра и ядерных реакций, в 1911–1912 гг. работал в Кембридже у Томсона и в Манчестере у Резерфорда.

дение приличий либерального толка. Это был единственный мир, свободный от классовых, национальных или расовых предубеждений. Резерфорд называл себя то консерватором, то независимым, а работать он хотел с теми, кто мог заниматься физикой. Нильс Бор, Отто Ган{284}, Георг Хевеши{285}, Ханс Гейгер{286} были людьми и собратьями — независимо от того, были ли они евреями, немцами или венграми, — значительно более близкими Резерфорду, чем, скажем, архиепископ Кентерберийский, кто-либо из «тех господ» или какой-нибудь несносный английский философ. После 1933 года по инициативе Резерфорда еврейским иммигрантам был открыт доступ в английскую академическую среду. Научное общество было тогда у нас действительно

{284} Комментарии: 2.284

Ган, Отто (1879–1968) — немецкий радиохимик (ФРГ); открыл протактиний, работал в области деления ядер урана под действием нейтронов.

{285} Комментарии: 2.285

Хевеши, Дьердь (Георг) (1885–1966) — венгерский химик, почетный член Венгерской академии наук, работал в области радиохимии, первым применил изотопы для изучения химических и биохимических процессов. С 1943 г. находился в Швеции.

{286} Комментарии: 2.286

Гейгер, Ханс (1882–1945) — немецкий физик, в 1908 г. вместе с Резерфордом изобрел прибор, позволяющий считать отдельные заряженные микрочастицы, который был усовершенствован немецким физиком В. Мюллером и стал широко известен как счетчик Гейгера — Мюллера.

широко открытым, И вряд ли когда-нибудь так еще будет. Работать в лабораториях приезжали из всех стран, включая Россию. Любимый ученик Резерфорда Петр Капица пользовался благосклонностью советских властей и в то же время был научной звездой Кавендиша.

Капица был весьма одаренным, и в нем проглядывали черты вдохновенного русского шутника. Он любил свою страну, но отдавал должное и Англии, работал в Кавендише, но в отпуск уезжал на родину. Однажды он спросил у одного из моих друзей, может ли иностранец стать пэром Англии, и это дало нам повод подозревать, что он был бы не прочь быть членом советской Академии наук и одновременно преемником Резерфорда в палате лордов.

В то время Капица вызывал большую зависть, отчасти по той причине, что он мог делать с Резерфордом, что хотел. Он называл его «крокодилом», объясняя, что по-русски это слово имеет ласковый оттенок. На стене его новой лаборатории по его просьбе скульптор Эрик Гилл{287} высек фигуру крокодила. В Капице было много дерзости, отваги и научной проницательности.

{287} Комментарии: 2.287

Гилл, Эрик (1882–1940) — английский скульптор, гравер и художник. П. Л. Капица подарил Нильсу Бору барельеф Резерфорда работы Гилла.

Он основал клуб, названный его именем (что также вызывало зависть); это были встречи по вечерам каждый вторник у него на квартире в Тринити-колледже. Число участников было умышленно ограничено, всего около тридцати человек: по-видимому, Капица хотел позлить тех, кто занимался темами, которые он не одобрял. Обычно в комнате рядом с прихожей мы пили из больших чашек кофе с молоком (жизнь в научном Кембридже была весьма простой и удивительно безалкогольной), кто-нибудь делал сообщение — часто драматическое, как это было с Чедвиком, когда он рассказывал о нейтроне. Тут можно было впервые услышать о крупных открытиях, сделанных в тридцатые годы. Я не думаю, чтобы оказанным таким образом доверием когда-нибудь злоупотребили.

Здесь и я пережил свой маленький научный успех. В те годы Капица едва терпел меня, поскольку я занимался спектроскопией — а это занятие он считал подходящим разве что для банковских клерков. Я так никогда и не смог понять, почему он разрешил мне вступить в свой клуб. В один из вечеров я предложил прочитать

доклад не по своей теме, а о ядерном спине{288}, который меня тогда интересовал. Я не очень-то много знал об этом ядерном спине, но полагал, что большинство ученых в Кавендише знает о нем еще меньше. Мое предложение было принято без особого энтузиазма. В назначенный день я прочел свой доклад. Капица глядел на меня своими большими голубыми глазами с нескрываемым удивлением: так глядят на ограниченного человека, который вдруг умудрился сообщить что-то интересное. Он повернулся к Чедвику и, словно не веря себе, сказал: «Джимми, я полагаю, тут что-то есть».

Для Резерфорда было личной утратой, когда Капице, уехавшему в очередной отпуск в Россию, вежливо, но твердо сказали, что он должен остаться. Капица был очень ценным ученым, и естественным было желание, чтобы он в полную силу работал у себя дома. Впоследствии он наилучшим образом оправдал возлагавшиеся на него надежды. Капица всегда был настоящим патриотом своей страны, и, хотя он и его жена происходили из привилегированного слоя (если такой был в старой России: отец Капицы был до

{288} Комментарии: 2.288

Спин — одна из важнейших квантовых характеристик ядерного состояния.

революции генералом инженерной службы), он принял революцию. Это оставалось в нем непоколебимым, хотя я не думаю, что он возразит, если я скажу, что его восхищение Сталиным не было безоговорочным. Тем не менее Капица все свои способности отдал делу советской науки. Только тогда мы, те, кто знал его в Кембридже, поняли, какая сила характера, какая смелость и доброта в этом человеке. Его дружба с Кокрофтом и другими учеными означала, что связь между советской и английской наукой никогда не была совершенно разорвана, даже в самые худшие дни. Только такие крупные ученые, как Лев Ландау{289}, могли бы с исчерпывающей полнотой рассказать о том, что Капица сделал для науки в своей стране. Если бы его не было, мир был бы хуже — эпитафия, которую большинство из нас хотело бы заслужить, но не заслужило.

Капица разрывался между Ленинградом и Кембриджем. А между Копенгагеном и Кембриджем циркулировал целый поток ядерных физиков со всего мира. Копенгаген стал второй научной сто-

---

{289} Комментарии: 2.289

Ландау, Лев Давыдович (1908–1968) — советский физик. В 1927 г. был командирован в Данию, где работал у Бора, затем работал в научных учреждениях Англии и Швейцарии, создал теорию электронного диамагнетизма, занимался проблемами квантовой электродинамики, основатель советской школы физиков-теоретиков.

лицей мира благодаря одному человеку, Нильсу Бору, который своим терпением и раздумьями прустовского толка дополнял Резерфорда{290} как человека точно так же, как теоретическая квантовая физика Бора дополняла экспериментальную физику Резерфорда. Бор был учеником Резерфорда, и они как отец и сын любили и почитали друг друга. (Но натуре Резерфорд был прирожденным отцом семейства, и смерть единственной дочери была величайшим горем в его жизни. В его отношении к Бору, Капице и другим ученикам сказывалось сильное отцовское чувство: сына у него не было.)

Но как ни сильна была его любовь к Бору, она все же оказалась недостаточной, чтоб заставить его примириться с продолжительностью лекции, которую тот однажды прочитал в Кембридже. На лекции Бора в лекционном зале Кавендиша Резерфорд после первого часа начал ерзать на своем стуле. Прошло полтора часа, и он стал нетерпеливо дергать себя за рукав, бормоча громким шепотом: «Еще пять минут». Вежливый,

---

{290} Комментарии: 2.290

...раздумьями прустовского толка дополнял Резерфорда... — Здесь, очевидно, имеется в виду самоуглубленный, аналитический характер размышлений Бора, сближающий его с манерой письма Марселя Пруста.

терпеливый, решивший ничего не пропускать, Бор читал уже больше двух часов. Резерфорд начал шуметь, что «пора уж кончать лекцию», и вскоре добился своего.

Резерфорд умер внезапно, еще полный сил, когда ему было шестьдесят шесть лет. Его смерть была не только внезапной, но и трагически случайной с врачебной точки зрения. А ведь вполне можно было ожидать, что он доживет до глубокой старости.

Было солнечное октябрьское утро. В такой осенний день Кембридж особенно красив. Я только что пришел в лабораторию кристаллографии, которая помещалась в одном из зданий в лабиринте старого Кавендиша. Не помню уж, почему я туда пришел и с кем разговаривал, помню только, что собеседником моим был не Бернал. Вдруг кто-то просунул в дверь голову и сказал: «Профессор умер».

Кажется, никто тогда больше не сказал ни слова. В тот момент мы все были скорее ошеломлены, чем опечалены. В это невозможно было поверить.

Пер. Г. Льва

Г. Г. Харди{˘}

Все было как обычно за преподавательским столом в столовой Крайст-колледжа, за исключением того, что за обедом с нами сидел в качестве гостя Годфри Гарольд Харди{292}. Он только что вернулся в Кембридж профессором математики. Все были в восторге от его возвращения. Ведь он, как говорили, не в пример Дираку и Бору, о которых постоянно твердят физики, самый настоящий, чистейший математик. К тому же он еще такой неортодоксальный, эксцентричный, ужасно радикальный, готовый спорить обо всем. Тогда — в 1931 году — в английском языке еще не было подходящего выражения, но в более поздние годы о нем бы, наверно, сказали, что он в какой-то степени наделен свойствами прославленной «звезды».

Сидя в дальнем конце стола, я внимательно

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге «Многообразие людей». Перевод (с сокращениями) опубликован в журнале «Звезда», 1969 г. Печатается по тексту журнала.

{292} Комментарии: 2.292

Годфри Гарольд Харди (1877–1947) — английский математик, работал в области теории чисел и теории функций, автор книги «Апология математика».

приглядывался к Харди. Ему было тогда немногим больше пятидесяти, волосы у него уже поседели, лицо было очень загорелое — кожа, как у индейца, отливала бронзой. Красивое лицо с выдающимися скулами и тонким носом было суровым и одухотворенным, но оно совершенно преображалось, когда он внезапно разражался безудержным смехом уличного мальчишки. У него были темно-карие, блестящие, как у птицы, глаза. В те годы в Кембридже на каждом шагу встречались необычные, характерные лица, но даже и тогда, как мне показалось в тот вечер, Харди особенно отличался от других.

Я уж не помню, как он был одет. Вполне вероятно, под профессорской мантией на нем была спортивная куртка и серые фланелевые брюки. Подобно Эйнштейну, он одевался так, как ему нравилось, хотя в отличие от него несколько разнообразил свою одежду, питая склонность к дорогим шелковым рубашкам.

Когда после обеда мы сидели в профессорской за бутылкой вина, кто-то вспомнил, что Харди хотел поговорить со мной о крикете. Меня только год назад выбрали членом ученого совета колледжа, но Крайст-колледж был в то время небольшим учебным заведением, и спортивные пристрастия

даже младших научных сотрудников быстро становились известными. Без всяких представлений меня просто усадили рядом с ним. Как я впоследствии обнаружил, Харди был застенчив и неловок на всех официальных приемах и до смерти не любил, чтобы его представляли. Наклонив голову, словно это было признанием нашего знакомства, он без всяких предисловий спросил:

— Вы, надо полагать, разбираетесь в крикете, не так ли?

— Да, — ответил я, — немного разбираюсь.

Он тут же подверг меня довольно строгому экзамену. Играл ли я сам в крикет? Каким был игроком? Из его вопросов я понял, что он терпеть не мог таких субъектов — а их тогда было множество в университетской среде, — которые усердно читали спортивную литературу, но сами никогда ни во что не играли. По-видимому, я в какой-то степени убедил его в том, что играю в крикет, и он перешел к обсуждению преимущественно тактических вопросов крикетной игры. Кого бы я поставил капитаном команды на матче в прошлом сезоне 1930 года? Какова была бы моя стратегия и тактика игры, если бы было решено, что Сноу и есть тот самый человек, которому можно доверить спортивную честь Англии? И

все в таком же роде. Он был так поглощен этой беседой о крикете, что, казалось, и вовсе забыл о существовании всех остальных, сидевших с нами за столом.

В дальнейшем я имел возможность неоднократно убедиться в том, что при знакомстве с людьми Харди не доверял своей интуиции или личным впечатлениям, а также не полагался на отзывы других. По мнению Харди, единственный способ правильно определить и оценить знания человека — это проверить его. Это относилось к математике, литературе, философии, политическим наукам и ко всему, чему хотите. Если проверяемый сначала пускал пыль в глаза, а потом терялся от задаваемых вопросов, ему приходилось пенять на себя. Самое существенное в человеке быстро распознавалось глубоким и острым умом Харди.

В тот вечер в профессорской требовалось выяснить, стоит ли со мной беседовать о крикете. Все остальное не имело значения. Под конец нашей беседы Харди чрезвычайно обаятельно, как-то по-детски открыто улыбнулся и сказал мне, что в следующем сезоне университетская крикетная площадка может оказаться вполне подходящим местом, чтобы основательно продолжить наш

разговор.

Как своим знакомством с Ллойд Джорджем я был обязан его увлечению френологией{293}, так и своей дружбой с Харди я обязан тому, что в молодости несообразно много времени уделял игре в крикет. Не знаю, какой тут можно сделать вывод. Во всяком случае, мне чрезвычайно повезло: дружба с Харди была в интеллектуальном смысле самой ценной в моей жизни. Как я уже сказал, он был человеком глубокого, выдающегося ума, так что рядом с ним каждый казался немного тусклым, немного скучным и немного скованным. Харди не был таким великим гением, как, скажем, Эйнштейн или Резерфорд. С обычной для него простотой он говорил, что если слово «гений» действительно что-то значит, то он «не из их числа». В лучшем случае, замечал Харди, он некоторое время был на пятом месте среди лучших математиков мира. Поскольку характер Харди был таким же прямым и прекрасным, как и его разум, он постоянно утверждал, что его друг Литлвуд, с которым они совместно написали большинство своих работ, несомненно, является более сильным математиком, чем он, а о своем

{293} Комментарии: 2.293

Френология — псевдонаучная теория о связи между формой черепа и умственными и моральными качествами человека.

протеже Рамануджане{294} он всегда говорил, что тот, безусловно, прирожденный математический гений.

Люди иногда думали, что он сознательно недооценивал себя, когда так отзывался об этих своих друзьях. Действительно, Харди был великодушен и не завистлив, насколько это возможно для человека, но мне кажется, что мы совершим ошибку, не поверив в искренность его суждений. Я лично предпочитаю верить тому, что он сказал в своей «Апологии математика», где так гордо и вместе с тем так скромно прозвучали его слова: «Я говорю себе, когда бываю угнетен и вынужден слушать разглагольствования напыщенных и надоедливых людей: „Ну что ж, я по крайней мере сделал то, чего вы никогда не сможете, — работал как равный с Литлвудом и Рамануджаном“».

Точная оценка значения Харди — дело историков математики (хотя это крайне трудная задача, поскольку большинство его лучших работ написаны им в соавторстве). В одном, однако, он явно

{294} Комментарии: 2.294

Рамануджан, Шринваза (1887–1920) — индиец, учился в Мадрасском университете, но после женитьбы в 1909 г. был вынужден работать клерком в порту. Заочно познакомившись с Харди по письмам, в апреле 1914 г. приехал в Англию, где Харди помог ему улучшить образование. Рамануджан работал в области теории чисел. Заболев туберкулезом в 1917 г., вернулся в 1919 г. в Индию, где и умер.

превосходил Эйнштейна, Резерфорда и других великих гениев — в способности обращать умственный труд (большой и малый и даже просто шутку) в произведение искусства. Думаю, что главным образом именно эта способность приносила ему огромное духовное наслаждение. Когда вышла его «Апология математика», Грэм Грин писал, что наряду с записными книжками Генри Джеймса ее можно назвать творческим отчетом художника. Вспоминая то впечатление, которое Харди производил на окружающих, я полагаю, что в этом надо искать ключ к пониманию его личности.

Харди родился в 1877 году в скромной учительской семье. Его отец был казначеем и учителем закрытой средней школы в Кренли, а мать — старшей преподавательницей в педагогическом колледже. Оба были людьми одаренными, со склонностью к математике. В данном случае, как и в биографиях большинства математиков, не приходилось долго отыскивать влияния наследственности. В отличие от Эйнштейна у Харди уже в раннем детстве проявились способности будущего математика. В два года он уже писал числа до миллиона (что является первым признаком математической одаренности). Когда его водили

в церковь, он забавлялся тем, что разлагал на множители номера церковных псалмов. Уже с той поры он начал играть с цифрами, сохранив эту привычку на всю жизнь.

Харди рос в просвещенной, культурной семье. Его родители, возможно, были люди несколько ограниченные, но очень добрые. Дети в такой старомодной викторианской семье были окружены нежной, но, по-видимому, требовательной заботой.

Ребенком Харди был необычным. С ранних детских лет он отличался болезненной застенчивостью. Родители знали, что он удивительно умен, и он сам это понимал. Он был первым учеником в классе, и ему приходилось публично, на торжественных собраниях всей школы, получать награды, что было для него ужасным испытанием. Как-то за обедом он рассказал мне, что в школьные годы иногда нарочно отвечал на задаваемые вопросы неправильно, чтобы отделаться от невыносимо тягостной церемонии вручения наград. Однако у него никогда не было способности к обману, и ему все равно по-прежнему давали награды.

Со временем он отчасти избавился от своей застенчивости и стал стремиться к соревнованию

с другими. В «Апологии математика» он говорит: «Не помню, чтобы мальчиком я питал страсть к математике, а мысль о том, что я могу добиться успеха как математик, была далека от благородных побуждений. Я относился к математике с точки зрения сдачи экзаменов: мне хотелось опередить других учеников, а математика казалась мне наиболее верным средством для достижения этой цели».

Однако по натуре своей он был человек чересчур деликатный. В отличие от Эйнштейна, чье могучее «я» целиком погрузилось в исследование внешнего мира еще до того, как он достиг духовной зрелости, Харди постоянно должен был укреплять свои духовные силы. Время от времени ему приходилось убеждать себя в правоте (чего Эйнштейну никогда не требовалось) своих этических взглядов. Зато это породило у него глубокую самооценку и удивительную прямоту характера, так что он мог говорить о себе с полнейшей простотой (чего не было у Эйнштейна).

Надо полагать, что вот с такими противоречивыми или неловкими чертами его характера была связана и некоторая странность в его поведении. Харди был решительным, так сказать, классическим противником всякой самовлюб-

ленности. Он, например, терпеть не мог фотографироваться, и, насколько мне известно, едва ли наберется с полдюжины его фотографий. В квартире у него не было ни одного зеркала, даже зеркала для бритья. Когда он останавливался в отеле, то у себя в номере он первым делом завешивал полотенцами все зеркала. Это выглядело бы достаточно странным даже в том случае, если бы он походил на какого-нибудь фантастического урода, и казалось особенно странным, потому что он до конца дней своих был действительно привлекательным человеком.

В данном случае его поведение выглядело чудачеством. Тут между ним и Эйнштейном также можно отметить различие. Те, кто много общался с Эйнштейном — как, например, Инфельд, — обнаруживали, что, чем ближе они узнавали его, тем больше он казался странным и непохожим на других. Я убежден, что и я со временем почувствовал бы то же самое. С Харди дело обстояло совершенно иначе. Его поведение часто разнилось от общепринятого, выглядело странным, но это, по-видимому, было лишь каким-то наслоением, потому что в действительности он вовсе не отличался от нас, разве что был более деликатным, менее надутым и к тому же очень

тонким человеком.

Одна из особенностей детства Харди была весьма прозаической и, по существу, означала устранение всех практических препятствий с его жизненного пути. Сам Харди с его кристальной честностью меньше всего разбирался в том, как надо устраиваться в жизни. Он понимал, что такое превосходство, и знал, что обладает им. Его родители не имели средств, кроме своего учительского жалованья, но у них были большие связи в учебных кругах Англии конца прошлого века. А в нашей стране дельный совет всегда значил больше, чем деньги. Скажем, стипендию наверняка получишь, если знаешь, какими путями ее добиться. Никогда не возникало ни малейшего сомнения в том, что молодой Харди может не получить ее, как это случалось с молодым Уэллсом или Эйнштейном.

Действительно, в двенадцать лет ему дали стипендию в Уинчестерской школе, которая и тогда, и долгие годы спустя считалась лучшей математической школой в Англии. Стипендию ему дали просто потому, что в Кранли-Скул{295} он уже достиг значительных успехов в мате-

{295} Комментарии: 2.295

Кранли-скул — мужская привилегированная частная средняя школа в графстве Суррей.

матике, выполнив ряд серьезных работ (между прочим, любопытно, какое высшее учебное заведение смогло бы в наши дни проявить такую же мудрость?). Харди был первым учеником по математике, но и по другим классическим предметам он не отставал от лучших учеников колледжа. Он не любил школу, но любил занятия. Подобно всем закрытым учебным заведениям викторианского времени, Уинчестерская школа была достаточно неприятным местом. В одну из зим Харди едва там не умер. Он завидовал Литлвуду и другим своим друзьям, которые учились в обычных средних школах. Окончив Уинчестерскую школу, Харди никогда больше туда не заглядывал, но он вышел из нее с уверенностью человека, который находится на верном пути и имеет возможность получить стипендию в Тринити-колледже.

В колледже ему пришлось испытать некоторые злоключения. Дело в том, что Харди решил — как я полагаю, еще в Уинчестерской школе, — что он не верит в бога. Это было твердое решение, точное и ясное, как и все другие его логические построения. В Тринити-колледже посещение церкви было обязательным. Но Харди заявил декану (не сомневаюсь, что это было сказано с присущей ему застенчивостью, но убежденно),

что совесть не позволяет ему посещать церковь. Декан, обычный чиновник, потребовал, чтобы Харди написал об этом родным. Он знал, а еще лучше знал это сам Харди, что подобное известие огорчит его родителей, людей глубоко верующих, и причинит им такую боль, какую мы в наше время, семьдесят лет спустя, и представить себе не можем.

Совесть мучила Харди. Он не был еще настолько зрелым, чтобы найти выход из этого положения. Не догадался он — как с горечью рассказывал мне много лет спустя, — обратиться за советом к более рассудительным товарищам, которые могли поддержать и надоумить его. В конце концов он не выдержал и написал родным.

С тех пор, отчасти благодаря этому случаю, Харди стал открытым и деятельным безбожником. Он отказывался идти в церковь даже тогда, когда там устраивались официальные собрания, например выбирался глава колледжа. У него были друзья среди священников, но бог всегда оставался его личным врагом.

В студенческие годы было у него и еще одно беспокойство. Почти со времени Ньютона в Кембридже господствовала старая система математических экзаменов для получения отли-

чий. Англичане всегда — и больше, чем другие народы, — придавали значение конкурсным экзаменам. Они проводились с традиционной справедливостью, но и с весьма тупым формализмом (что, между прочим, сохранилось и до наших дней). Особенно это сказывалось на экзаменах для получения отличий по математике, когда обычно задавались весьма каверзные вопросы, причем, к несчастью, такие, которые не давали возможности экзаменующемуся проявить свое математическое воображение, интуицию или творческие способности. Из числа студентов, успешно справлявшихся с такого рода экзаменом, по полученным баллам в строго установленном порядке отбирались особо отличившиеся. Если кого-либо объявляли лучшим из них, то в его честь в колледжах устраивались особые торжества. Первые два или три из числа признанных особо отличившимися тут же выбирались в члены научного общества колледжа.

Все это было вполне в английском духе. Беда состояла в том (как указывал Харди, когда стал выдающимся математиком и вместе со своим первым другом Литлвудом ратовал за уничтожение этой системы), что такого рода опрос на экзаменах вот уже более ста лет весьма эффек-

тивно губил в Англии серьезных математиков.

С самого начала своих занятий в Тринити-колледже Харди попал в путы этой системы. Надо было научиться преодолевать, как скаковая лошадь, множество таких математических упражнений, которые он и в девятнадцать лет считал бессмысленными.

Ему наняли известного репетитора, который славился тем, что весьма успешно готовил к сдаче таких экзаменов. Репетитор в совершенстве знал все препоны и все козни, чинимые экзаменаторами, и величественно пренебрегал самой математикой. Молодой Эйнштейн тут бы, конечно, взбунтовался: он или ушел бы из Кембриджа, или не стал бы тратить время на столь формальную подготовку. Но Харди получил воспитание в типично английской, очень трудолюбивой учительской семье, которой присущи и свои достоинства и свои недостатки.

В 1898 году Харди после сдачи экзамена оказался на четвертом месте. Это несколько разозлило его, как он признавался впоследствии. Но он был достаточно настойчив, чтобы продолжать соревнование, даже такое нелепое, ибо был уверен, что победит. В 1900 году Харди успешно выдержал экзамен, что дало ему право на получение сти-

пендии и позволяло остаться в университете для исследовательской работы.

Именно тогда, в сущности, и определилась его жизнь. Харди поставил перед собой цель — внести строгую точность в английский математический анализ. Он никогда не оставлял исследовательской работы, которую называл «постоянным величайшим счастьем своей жизни». Не было у него сомнений и в том, чем он должен заниматься. Ни он сам, ни люди, знавшие его, не сомневались в его большом таланте. В тридцать три года его избрали академиком, членом Королевского общества содействия успехам естествознания.

Харди чрезвычайно повезло во многих отношениях. Ему не пришлось думать о своей ученой карьере. А с двадцати трех лет он имел и полную свободу, о которой только мог мечтать человек, и средства, какие ему были необходимы.

Он прожил свою жизнь счастливее, чем большинство из нас. У него было много друзей, и удивительно разных. Все они подвергались скрытой проверке с целью обнаружения у них того, что он называл «spin»[31] (этот непереводимый

[31] Примечания: 1.31

Так называют в крикете резкий удар, который подсекает мяч и делает его крученым. — *Прим. перев.*

дословно термин крикетной игры употреблялся им в переносном смысле, и означал известное отклонение от прямолинейности или способность к ироническому восприятию. Из недавних политических деятелей у Макмиллана{296} и Кеннеди были бы в этом смысле высокие показатели, а у Черчилля и Эйзенхауэра — низкие). Что касается самого Харди, то он всегда был человеком терпимым; он очень любил своих друзей, хотя открыто и не проявлял своих чувств. Однажды мне довелось прийти к нему утром, когда он обычно занимался математикой. Харди сидел за письменным столом и что-то писал своим четким, красивым почерком. Я пробормотал обычную в таких случаях банальную фразу, что, мол, надеюсь, не помешал. Он внезапно усмехнулся своей озорной усмешкой и сказал:

— Как вы непременно должны были бы заметить, ваши надежды не оправдались и вы помешали. И все же я всегда рад вас видеть.

За шестнадцать лет, что мы знали друг друга, я не слышал от него большего упрека. И только на смертном одре он укоризненно заметил, что

{296} Комментарии: 2.296

Макмиллан, Гарольд (род. в 1894) — английский политический деятель, премьер-министр, лидер консервативной партии; с середины 60-х гг. — глава крупной издательской фирмы.

всегда с нетерпением ожидал моего прихода.

С насмешливым стоицизмом Харди писал в «Апологии математика» — книге, где, несмотря на всю ее жизнерадостность, сквозит глубокая печаль, — что когда человек творческого труда теряет силы или желание творить, то, «как это ни жаль, в таком случае он теряет и свое значение, и глупо было бы возиться с ним».

Вот так же он смотрел и на себя вне математики. Она была оправданием всей его жизни. Это обычно не замечалось теми, кто находился в его блестящем обществе, точно так же как в общении с Эйнштейном легко забывалось, что только физика была для него единственной целью и оправданием его существования. Но и тот, и другой всегда помнили об этом. Это была основа основ их жизни с юношеских лет и до самой смерти.

В отличие от Эйнштейна Харди начинал не так уж стремительно. Его ранние работы между 1900 и 1911 годами были достаточно серьезны, чтобы он мог стать членом Королевского общества и добиться международного признания, но сам он не считал их значительными. С его стороны это было не ложной скромностью, а суждением опытного мастера, который ясно видит достоин-

ства и недостатки своей работы.

В 1911 году началось его научное содружество с Литлвудом{297}, которое продолжалось тридцать пять лет, почти до самой смерти Харди. В 1913 году он открыл никому не известного индийского математика Рамануджана, что положило начало еще одному научному содружеству. Все свои работы Харди создал вместе с ними, главным образом с Литлвудом, причем их сотрудничество стало самым прославленным в истории математики. Ничего подобного еще не встречалось в какой-нибудь другой области науки или творческой деятельности. Вместе с Литлвудом он написал около ста научных работ. Многие из них имеют весьма большое значение.

Работы Харди — Литлвуда в течение жизни целого поколения господствовали в английской чистой математике и оказали значительное влияние на развитие этой науки во всем мире. Еще преждевременно судить — так говорили мне математики, — в какой степени они определили направление математического анализа или как скажется влияние их работ в ближайшие сто лет. Но их непреходящая ценность вне всякого

{297} Комментарии: 2.297

Литлвуд, Джон Идензор (1885–1977) — английский математик, имеет труды в области теории чисел и теории функций.

сомнения.

Нет никаких свидетельств о том, как они наладили свою совместную работу. В самый деятельный период их сотрудничества они даже работали в разных университетах.

На протяжении многих лет Харди часто рассказывал мне о себе, говорил он почти обо всем, за исключением того, как осуществлялось их научное содружество, хотя и указывал, что оно было главной удачей в его творческой работе. Сам же я не настолько знаком с математикой, чтобы разбираться в их работах[32].

С полной откровенностью Харди поведал нам, как он открыл индийского математика Рамануджана. «В моей жизни случай этот весьма романтический», — писал он. В один из дней (дело происходило в 1913 году) Харди за завтраком увидел среди утренней почты, лежавшей на столе, большой замусоленный конверт с индийским почтовым штемпелем. Вскрыв его, он обнаружил мятые листы бумаги, исписанные странным, незнакомым почерком и усеянные математиче-

---

[32] Примечания: 1.32

Норберт Винер, который занимался и у Харди, и у Литлвуда, в своей книге «Я математик» замечает: «За долгие годы творческого содружества роли Харди и Литлвуда определились вполне четко: оригинальность замыслов и ясность мысли шли от Харди, непреклонное упорство и неустанная энергия — от Литлвуда». — *Прим. перев.*

скими обозначениями. Харди взглянул на них без особого интереса. К тому времени он был уже ученым с мировым именем, а знаменитых ученых, как ему пришлось убедиться, довольно часто осаждают письмами разные чудаки. Он уже привык получать рукописи, в которых трактовались то пророческая мудрость Великой пирамиды{298}, то откровения мудрецов Сиона, то способы тайнописи, которыми пользовался Бэкон{299} в пьесах так называемого Шекспира.

Итак, Харди со скукой поглядел на эти листки. Он пробежал письмо, как видно с трудом написанное по-английски и подписанное неизвестным ему индийским именем. В письме обращались к нему с просьбой высказать свое мнение по поводу прилагаемых математических

{298} Комментарии: 2.298

...пророческая мудрость Великой пирамиды. — Имеется в виду пирамида Хеопса в Египте. Современный западногерманский писатель К. В. Керам в своей книге «Боги, гробницы, ученые» (М., 1963) пишет о том, что с древности пирамида Хеопса была предметом разного рода мистических цифровых выкладок. Ее называли «Библией в камне»: из плана пирамиды сумели якобы узнать историю человечества. Керам считает, что если даже и подтвердилось бы, что египтяне запечатлели в пропорциях и размерах этой пирамиды сведения из математики и астрономии (которые стали доступны науке лишь в XIX–XX вв., например точное расстояние от Земли до Солнца), то все же не следует наделять эти цифры каким-то мистическим значением.

{299} Комментарии: 2.299

...способы тайнописи, которыми пользовался Бэкон. — С конца XVIII до конца XIX в. предпринимались попытки доказать, будто современник

Шекспира философ-материалист и государственный деятель Фрэнсис Бэкон (1561–1626) является автором шекспировских пьес. Защитники подобной теории считали, что сын торговца и ремесленника, актер и театральный предприниматель, каким был Шекспир, не мог обладать теми знаниями, которые помогли ему написать все его произведения. Кроме того, они усматривали в тексте пьес Шекспира криптограммы (тайнопись), означавшие, что пьесы написаны Бэконом. Никакой фактической основы эти попытки не имели. В нашем веке у этой версии сторонников уже нет, хотя всевозможные домыслы о «реальном» авторстве произведений Шекспира высказываются до сих пор.

открытий.

На беглый взгляд рукопись состояла из теорем, большинство которых казались дикими или фантастическими, а две или три были давно известны, но преподносились так, словно о них говорится впервые. Харди не только скучал, но и испытывал раздражение. Все это казалось ему какой-то мистификацией или мошенничеством. Он отложил рукопись в сторону и занялся своими обычными делами.

Поскольку в течение всей жизни распорядок дня оставался у него неизменным, не составит особого труда воспроизвести его. За завтраком он прежде всего читал «Таймс», причем если в газете были помещены отчеты о крикете, то он непременно начинал с них, изучая эти отчеты с пристальным вниманием. Его друг Мейнард Кейнз как-то сказал, что если бы Харди каждый день полчаса читал биржевые отчеты с таким же вниманием, с каким он подсчитывал очки в отчетах о крикетной игре, то он непременно стал бы богатым человеком.

Затем с девяти утра и до часа дня, если в этот день у него не было лекций, Харди занимался математическими исследованиями. Четыре часа творческой работы в день — это предел для

математика, говорил он. Затем — легкий второй завтрак уже в столовой колледжа. После этого он отправлялся на закрытый университетский корт играть в теннис (а летом шел на крикетную площадку смотреть проходившие там игры).

Так было и в тот день. Распорядок дня не был нарушен, но Харди чувствовал, что все у него как-то не ладилось. Индийская рукопись не давала ему покоя и мешала как следует насладиться игрой в теннис. Какие-то дикие теоремы. Таких он никогда не встречал и даже не мог представить себе. Быть может, это — гениальное плутовство, подумал он. Но так как это был Харди, то он тут же язвительно спросил себя: разве гениальное плутовство более вероятно, чем неизвестный математический гений? Придя к себе на квартиру в Тринити-колледж, он еще раз просмотрел рукопись. Затем он известил Литлвуда (вероятно, через посыльного, во всяком случае не по телефону, ибо телефона, подобно другим техническим затеям, включая и авторучки, терпеть не мог), что после обеда им нужно переговорить.

Пообедав, они могли бы немного задержаться в столовой. Харди любил выпить стакан вина, но, несмотря на то что в свое время такая перспектива пленяла его юношеское воображение, он не

засиживался в профессорской за портвейном с орешками. Литлвуд был более склонен к такого рода удовольствиям. Словом, они могли несколько задержаться. Во всяком случае, не позже девяти часов вечера они уже сидели дома у Харди, и перед ними лежала индийская рукопись.

Им понадобилось всего часа два или три, чтобы удостовериться в том, что автор рукописи гениален. Позднее Харди решил, что Рамануджан — прирожденный математический гений, равный Гауссу{300} и Эйлеру{301}, но из-за отсутствия у него образования, а также потому, что его появление в истории математики слишком запоздало, трудно было ожидать, чтобы он сделал научный вклад такого же крупного масштаба.

Казалось бы, весьма нетрудно распознать то, что увидели Харди и Литлвуд. Однако следует упомянуть о двух ученых, которые в данном случае оказались слепы. По своему благородству Харди умолчал об этом, но этих людей уже нет на

{300} Комментарии: 2.300

Гаусс, Карл Фридрих (1777–1855) — немецкий ученый, работал в области теоретической и прикладной математики.

{301} Комментарии: 2.301

Эйлер, Леонард (1707–1783) — ученый, родился в Швейцарии, но не имел там условий для научной деятельности. В 1727 г. переехал в Россию, где работал в Петербургской академии наук, затем работал в Берлине. Создал труды в области математики, механики, физики, астрономии; отличался широтой интересов и творческой продуктивностью.

свете, и пора сказать истину. Она проста. Харди не был первым из выдающихся ученых, которому была послана рукопись Рамануджана. До него она побывала у двух крупных английских математиков, и оба они вернули ее, не сказав ни слова. Думаю, что для истории неважно, какова была их реакция (если она вообще была), когда к Рамануджану пришли заслуженная известность и слава.

На следующий день Харди начал действовать. Он решил, что Рамануджан должен приехать в Англию. Материальная сторона дела не была в данном случае главной проблемой. Тринити-колледж всегда стремился поддержать редкие таланты (спустя несколько лет это же было сделано и для Капицы). А кроме того, раз Харди так решил, то никакая человеческая сила не могла воспрепятствовать этому, а вот помощь силы сверхчеловеческой им бы не помешала.

Рамануджан оказался бедным клерком из Мадраса, вместе с женой он жил на двадцать фунтов стерлингов в год. Он был к тому же брамином, чрезвычайно строго соблюдавшим все религиозные обряды, а его мать была еще более фанатичной, чем он. Казалось совершенно невероятным, что он сможет нарушить религиозные

запреты и пересечь океан. К счастью, его мать, особенно почитавшая богиню Немаккал, однажды утром сделала потрясающее признание. Оказывается, ночью она видела во сне своего сына, сидящего в большом зале среди европейцев, и тут же появилась богиня Немаккал и приказала ей, чтобы она не мешала ему исполнить то, что предначертано судьбой. Индийские биографы Рамануджана отмечают, что это явилось приятной неожиданностью для тех, кто был озабочен его судьбой.

В 1914 году Рамануджан приехал в Англию. Насколько Харди мог заметить (хотя в этом отношении я не очень-то доверяю его интуиции), несмотря на трудности преодоления религиозных табу, Рамануджан в действительности, за исключением туманного пантеизма{302}, оказался не более верующим, чем сам Харди.

Взаимоотношения этих двух людей были удивительно трогательными. Харди не забывал, что перед ним гений, но гений почти без всякого образования, даже математического. Рамануджан не мог поступить в Мадрасский университет, потому что не сдал бы экзамена по английскому

{302} Комментарии: 2.302

Пантеизм — религиозное и философское учение, отождествляющее бога и мир.

языку. По словам Харди, он всегда был милым, добродушным, но они с большим трудом понимали друг друга, когда их разговор выходил за пределы математики. Рамануджан обычно слушал его внимательно, с терпеливой улыбкой на добром и милом лице. Но и в математике на их взаимопонимании сказывалось различие в образовании. Рамануджан был самоучка и не имел никакого представления о точности современного научного вывода; в известном смысле он вообще не понимал, каким должно быть научное доказательство. В какую-то сентиментальную минуту Харди однажды заметил, что если бы Рамануджан имел образование, то он не был бы самим собой. Но стоило вмешаться его критическому уму, как он тут же поправил себя, признав, что сказал чушь. Если бы Рамануджан получил надлежащее образование, то он, конечно, стал бы еще более удивительным человеком.

Харди пришлось обучать его основным положениям математики, словно Рамануджан был кандидатом на стипендию в Уинчестерской школе. Это был совершенно необычный опыт, рассказывал Харди, так как современная математика воспринималась в данном случае таким человеком, который обладал глубочайшей мате-

матической интуицией, но буквально никогда не слышал о большинстве математических положений.

Как бы то ни было, они вместе создали пять работ огромного научного значения, в которых и Харди проявил свою блестящую оригинальность. Великодушие и творческая фантазия редко бывали так щедро вознаграждены.

Такова уж природа нашей добродетели. Как только люди начинают совершать хорошие поступки, они становятся лучше. Приятно вспомнить, что Англия оказала Рамануджану всяческие почести. В тридцать лет его избрали членом Королевского общества (что даже для математика было необычно рано), и в том же году он был избран членом ученого совета Тринити-колледжа. Он оказался первым индийцем, удостоившимся таких отличий. Но вскоре Рамануджан заболел.

Харди часто навещал тяжело больного, умирающего Рамануджана, когда тот лежал в больнице в Патни{303}. С одним из его посещений и связана любопытная и хорошо известная история с номером такси. В Патни Харди приезжал на такси. В один из дней, войдя в палату, где лежал Рамануд-

---

{303} Комментарии: 2.303

Патни — южный пригород Лондона, известен многочисленными гребными спортивными клубами на Темзе.

жан, и как всегда не зная, с чего начать разговор, возможно, даже не поздоровавшись, он сказал:

— Номер моего такси 1729. Мне кажется, что это довольно скучное число.

— Нет-нет, Харди. Что вы? — тут же отвечал Рамануджан. — Это очень интересное число. Это наименьшее число, выражающее сумму кубов двух чисел двумя различными способами.

Шла война, и Рамануджана было трудно переправить в места с более мягким климатом. Спустя два года после войны он умер от туберкулеза, уже вернувшись к себе, в Мадрас. В «Апологии математика» Харди писал: «Галуа{304} умер в двадцать один год, Нильс Абель{305} — двадцати семи лет, Рамануджан — тридцати трех, Риман — в сорок… Я не знаю никого, кто был бы после пятидесяти лет крупным математиком».

Не будь Харди так поглощен совместной работой с Рамануджаном, он острее переживал бы войну 1914–1918 годов. Но она и без того оставила в его душе глубокую незаживающую рану, вновь

{304} Комментарии: 2.304

Галуа, Эварист (1811–1832) — французский математик, положил начало современной алгебре.

{305} Комментарии: 2.305

Нильс, Хенрик Абель (1802–1829) — норвежский математик, занимался алгеброй, один из создателей теории эллиптических функций.

открывшуюся в дни второй мировой войны. До конца жизни Харди был человеком весьма радикальных взглядов. В его радикализме отражались просветительские идеи начала нашего века. Людям моего поколения временами казалось, что они тогда дышали более чистым и более невинным воздухом.

Как и большинство его друзей-интеллектуалов, Харди высоко ценил Германию. Ведь в девятнадцатом веке она была крупным центром просвещения. Восточная Европа, Россия и Соединенные Штаты Америки многому научились у германских университетов. Но немецкая философия и литература не оказали большого влияния на Харди, он больше почитал античность. Однако во многих отношениях германская культура казалась ему выше, чем культура его собственной страны. В отличие от Эйнштейна, который значительно глубже понимал политическую жизнь, Харди, по существу, мало что знал о кайзеровской Германии.

Подобно Бертрану Расселу и большинству рафинированной кембриджской интеллигенции, Харди не верил, что разразится первая мировая война. Когда же это произошло, то вследствие укоренившегося в нем недоверия к нашим поли-

тиканам он считал, что большая ответственность — на нашей стороне. Все же Харди не смог найти убедительного для себя основания, чтобы отказаться от военной службы. Он записался в добровольцы, но врачи признали его негодным к службе. Находясь в Кембридже, он чувствовал себя все более одиноким среди воцарившейся там шумной воинственности.

Как только представилась возможность, Харди оставил Кембридж. В 1919 году ему предложили профессуру в Оксфордском университете, и это стало началом счастливейшего периода его жизни. Он уже написал вместе с Рамануджаном и Литлвудом крупные научные работы, но теперь его содружество с последним достигло своей полной силы. Он был «во цвете лет для выдумки», как говорил когда-то Ньютон, но у Харди это происходило после сорока — необычно поздно для математика.

Этот поздний творческий подъем создавал у него ощущение сохранившейся молодости, что было для него важнее, чем для многих других людей. Харди вел жизнь молодого человека, каким он и был по своей натуре. Он еще играл в теннис, и даже лучше, чем раньше. Ему нравилась Америка, и он часто приезжал в американские

университеты. Но Харди был, пожалуй, одним из немногих англичан своего времени, одинаково почитавших как Соединенные Штаты, так и Советский Союз.

У себя в квартире он повесил большой портрет Ленина. Радикализм у Харди был до некоторой степени стихийным, но всегда искренним. Как я уже указывал, он родился в скромной учительской семье, затем почти всю жизнь ему пришлось провести среди состоятельных буржуа, но он вел себя как некий аристократ романтического склада. Быть может, в чем-то он подражал своему другу Бертрану Расселу.

Харди легко сходился, без всякой тени покровительства, с бедными, несчастливыми и скромными людьми, со всеми, кому трудно жилось. Он предпочитал их тем, кого он называл «толстозадыми». В глазах Харди ими были самодовольные, процветающие епископы, директора школ, судьи и все политические деятели, за исключением одного лишь Ллойда Джорджа.

Только для того, чтобы показать верность своим идеям, Харди однажды согласился занять общественную должность. В течение двух лет (1924–1926) он был президентом Ассоциации научных работников. Харди саркастически заметил,

что это довольно странный выбор, поскольку он «самый непрактичный представитель наиболее непрактичной в мире профессии». Но в важных делах он вовсе не был так уж непрактичен.

Его вторая молодость в Оксфорде в двадцатых годах была такой счастливой, что многие думали, что он уже никогда не вернется обратно в Кембридж. Но в 1931 году он вернулся. Как я полагаю, это было вызвано двумя причинами. Первая (и главная) была связана с научными интересами, так как Кембридж все еще оставался центром английской математики. Вторая, несколько странная, объяснялась заботой о своей старости. Дело в том, что в оксфордских колледжах, где обстановка в целом была весьма теплой и дружеской, существовало одно безжалостное к старикам правило: после отставки в 65 лет профессор должен был освободить занимаемую им университетскую квартиру. А вернувшись обратно в кембриджский Тринити-колледж, Харди мог бы жить при колледже до конца своих дней.

Мое знакомство с Харди началось, когда он вернулся в Кембридж и наступила, так сказать, вечерняя заря его большой деятельной жизни. Он был еще счастлив. У него еще были творческие силы, хотя и не такие, как в двадцатые годы, но,

как и в Оксфорде, Харди был полон воодушевления. Он оставался почти таким же, как и в свои лучше годы.

Когда мы стали друзьями, то обычно каждые две недели мы приглашали друг друга на обед в свой колледж. Само собой понятно, что летом мы постоянно встречались на университетской крикетной площадке. Огибая гаревую дорожку, он шел, как всегда, немного раскачиваясь, уверенным широким шагом. Голова опущена, а волосы, галстук, бумаги, которые он держит, — все развевается и как бы плывет в воздухе. На него нельзя было не обратить внимания. «Вот идет греческий поэт», — однажды сказал про него какой-то весельчак, когда Харди проходил мимо.

Он обожал крикет и находил в нем красоту, создаваемую грациозностью движений и характером игры. Те же эстетические черты были присущи и его математическим трудам вплоть до самой последней работы.

В тридцатые годы он продолжал на свой манер вести жизнь очень подвижного молодого человека. Затем внезапно все изменилось: в 1939 году у него обнаружили серьезное заболевание — коронарный тромбоз.

Он подлечился, однако с теннисом, с любой

игрой в мяч, как и вообще с любимой им гимнастикой, пришлось окончательно распрощаться. Начавшаяся вторая мировая война еще больше омрачила его существование. В его глазах войны означали сумасшествие, ему казалось, что все мы сбились с пути, и он, как и в 1914 году, не мог примириться с этим, хотя одно ему было ясно: страна должна выстоять. В это время трагически погиб один из его ближайших друзей. Думаю, что все эти горести в конце концов и привели к тому, что после шестидесяти лет в нем угасли духовные силы и, во всяком случае, творческие силы математика.

Вот почему его «Апология математика», если ее читать с тем вниманием, какого она заслуживает, представляется книгой неотступной печали. Да, эта книга остроумна, тонка, отмечена веселой живостью ума; да, она написана с кристальной ясностью и прямотой; она — откровение подлинного художника. Но в то же время эта книга — страстное и мужественное сожаление об исчезнувших творческих силах, которые никогда больше не вернутся. Другой такой книги на английском языке я не знаю, вероятно, потому, что большинство людей с литературным талантом, пускаясь в откровения, не вполне искренни, да

и весьма редко писатель полностью сознает, что для него все уже кончено.

В последние годы жизни Харди я редко встречался с ним. Во время второй мировой войны я глубоко завяз на Уайтхолле[33], у меня была масса дел, часто я очень уставал, и мне трудно было выбраться в Кембридж.

После окончания войны я не вернулся в Кембриджский университет, но в 1946 году несколько раз побывал у Харди. Он по-прежнему находился в угнетенном состоянии, чувствовал себя физически слабым и задыхался, сделав несколько шагов. Наши долгие веселые прогулки после крикета навсегда ушли в прошлое. Он радовался тому, что я опять вернулся к литературному труду и пишу книги: ведь творческая жизнь — это единственно приемлемое существование для серьезного человека. Говоря о себе, он сказал, что хотел бы снова, как и прежде, жить творчески, но его жизнь уже прожита. Может быть, это не совсем его слова, но все было так непохоже на него, что я пытался обратить их в шутку или поскорее забыть.

В начале лета 1947 года утром у меня раздался телефонный звонок. Звонила сестра Харди. Она

---

[33] Примечания: 1.33

Улица в Лондоне, где находятся правительственные учреждения. — *Прим. перев.*

сообщила, что он в очень тяжелом состоянии. Не могу ли я сразу приехать к ним, зайдя предварительно в Тринити-колледж? Я не мог понять, для чего мне надо заходить в колледж, но повиновался. Там у привратника была оставлена для меня записка, в которой говорилось, чтобы я зашел на квартиру к Дональду Робертсону.

Профессор греческого языка и литературы Робертсон был близким другом Харди. Он встретил меня спокойно. За окном было солнечное утро.

— Вы должны знать, что Харди пытался покончить с собой, — сказал Робертсон. — Сейчас он уже вне опасности и пока что цел и невредим, если так можно сказать.

Робертсон так же, как и его друг Харди, был человеком прямым.

— Жаль, что попытка окончилась неудачно, — продолжал он. — Здоровье Харди становится все хуже, и он во всяком случае долго не протянет. Даже пройти из своей квартиры до столовой колледжа стоит ему теперь большого труда. Харди сделал вполне обдуманный шаг. Жизнь в таком состоянии невыносима, в ней нет ничего. Так вот, он собрал достаточное количество снотворных таблеток, но принял их слишком много.

Мне нравился Дональд Робертсон, но до этого

я только изредка встречался с ним в столовой Тринити-колледжа. Впервые мы разговаривали с глазу на глаз. С вежливой настойчивостью он сказал затем, что я должен как можно чаще навещать Харди. Хотя видеть его в таком состоянии тяжело, но это наша обязанность, которая к тому же, вероятно, не продлится долго. Мы оба чувствовали себя ужасно. Я попрощался и никогда больше не видел Робертсона.

В частной лечебнице на кровати лежал Харди. Казалось, какой-то оттенок фарса был в том, что под глазом у него красовался большой синяк. Он упал и ударился головой о ванну.

Сейчас, лежа на кровати, он пытался иронизировать. Подумать только, как он опростоволосился. Кто-нибудь устраивал когда-либо большую кутерьму?

Никогда еще я не чувствовал себя менее расположенным к шуткам, но решил подладиться под его тон.

Затем я приезжал к нему в Кембридж по меньшей мере раз в неделю. Почти каждый раз, когда я бывал у него, он заговаривал о смерти. Он желал смерти и не боялся ее. Чего бояться в небытии? К нему снова вернулся его непоколебимый интеллектуальный стоицизм. Он не сделал бы новой

попытки покончить с собой. Да у него и не было сил для этого. Он приготовился ждать. Но с непоследовательностью, которая, очевидно, мучила его (подобно большинству людей его круга, он придерживался рациональных начал, а в данном случае поступал нелогично), Харди с мрачным беспокойством напряженно следил за развитием своей болезни.

Почти все время, что я находился у него, мы разговаривали исключительно о крикете. И если бы я не приносил ему какие-то новости, то он пребывал бы в том мрачном одиночестве, что приходит к людям перед концом.

Несколько раз я пытался расшевелить его. Может быть, нам стоит рискнуть и отправиться поглядеть на крикет? Я теперь богаче, чем раньше, говорил я, собираясь взять такси и отвезти его на любую крикетную площадку, которую он выберет. Он оживлялся, но затем уверял, что на руках у меня может оказаться мертвец. Я говорил, что этого не случится, да и он сам понимал, что смерть его — дело нескольких месяцев. Мне же очень хотелось, чтобы хоть один день он снова был как-то радостен и весел. Но когда я в следующий раз приехал к нему, он с какой-то злостью отрицательно покачал головой. Нет, ему не стоит

даже пытаться: нет смысла.

Подчас мне было тяжело беседовать с ним о крикете, но еще труднее приходилось его сестре, обаятельной, умной женщине, которая не вышла замуж и почти всю свою жизнь посвятила заботам о брате. С забавным рвением, таким же, как и у него, она вырезала из газет все сообщения о крикете, хотя сама ничего не понимала в этой игре.

За две или три недели до смерти Королевское общество удостоило его своей высшей награды — медали Копли. Узнав об этом, Харди в первый раз за последние месяцы оживился и с великолепной мефистофельской усмешкой сказал:

— Теперь я знаю, что должен скоро умереть. Когда люди торопятся оказать вам почести — это самый верный признак, что конец близок.

После этого я еще дважды побывал у него. В последний раз — дней за пять до печального конца. Индийская крикетная команда отправилась тогда на матч в Австралию, и мы говорили об этом.

На той же неделе он сказал сестре:

— Даже если бы я знал, что умру сегодня, то все равно хотел бы услышать о крикете.

Ему почти удалось это. Всю ту неделю сестра перед сном читала ему по одной главе из истории крикета в Кембриджском университете. В одной из глав и оказались последние слова, которые он услышал в своей жизни, так как умер внезапно на рассвете.

Пер. Г. Льва

Дж. Д. Бернал{˘}

Бернал{307} — великий человек. Это ясно. Тут невозможны преувеличения. К тому же он человек со странностями. Часть этих странностей — внешние. Зато другая часть существенна и знаменательна. И чтобы понять значение этого человека для своего поколения, нужно разобрать-

---

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в сборнике статей «Наука о науке», изданном в Англии в 1964 г. и выпущенном в 1966 г. на русском языке (М., «Прогресс»). Этот сборник, куда вошли статьи видных ученых Англии, Венгрии, США, издан к двадцатипятилетию со дня выхода в свет книги Бернала «Социальная функция науки» (1939), положившей начало новой области знаний — науковедению. В этом исследовании с позиций диалектического материализма Бернал показал характерные черты развития науки при капитализме и социализме.

{307} Комментарии: 2.307

Джон Десмонд Бернал (1901–1971) — английский физик и общественный деятель, в 1927–1937 гг. работал в Кембриджском, затем в Лондонском университетах. В 1933 г. определил так называемую берналовскую модель льда, что дает возможность объяснить поведение

воды во всех соединениях. В 1939–1942 гг. Бернал занимался вопросами противовоздушной обороны, *в* 1942–1945 гг. был научным советником штаба объединенных операций. Бернал активно выступал за мир. В 1953 г. ему была присуждена международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». В 1958 г. в Англии была опубликована его книга «Мир без войны», в 1960 г. она издана в СССР.

ся в соотношении внешних и знаменательных черт его характера.

Уже с первого взгляда ясно, что он не похож ни на кого на свете. Величественная голова. Не принимающая загара белая кожа. Копна белокурых непокорных волос (это тоже имеет значение). Красивые, полные юмора карие глаза. Художники и скульпторы не раз пытались дать его портрет, но проникнуть за внешность им удавалось редко. Сложность натуры изолирует иногда Бернала, и люди начинают больше обращать внимание на чудачества, а не на то, что он действительно думает и говорит. Как раз поэтому долгое время не удавалось подыскать ему подходящего имени. Когда человека называют не тем именем, на которое он привык отвечать дома, то в этом первый признак того, что человек выделен среди других, не чувствует себя с ними легко и уверенно. В тридцатые годы друзья и последователи Бернала называли его обычно Сейдж. Среди левых он был известен как Дес. И лишь сравнительно недавно за Берналом установилось правильное и подходящее для него имя — Десмонд. Только в Советском Союзе его повсюду и неукоснительно называют по первому имени — Джон. На родине называть его так никому не приходило в голову.

Симптомы странности сопутствуют Берналу с момента появления на свет в 1901 году. Он родился в католической фермерской семье графства Типперери. Берналы из сефардов-евреев, но семья с давних пор приняла христианство. В XIX столетии они покинули Испанию и обосновались в Ирландии. Отец Бернала был предприимчивым и беспокойным человеком. В детстве он убежал из дому, скитался по морям. Потом разводил овец в Австралии. А вернувшись на родину в Нинаг, женился на американке, женщине в духе героев Генри Джеймса — начитанных, утонченных, живущих на чужбине.

Конфликт традиций в семье был острым, родители мало подходили друг другу. Юный Бернал рос под влиянием беззаветной веры в науку и романтического ирландского национализма. Это противоречивое наследство всегда заставляло Бернала воспринимать англичан с некоторым юмором, что, правда, не распространяется на политику.

Для матери сын всегда был тем образованным собеседником, которого трудно отыскать среди мало приверженного к чтению ирландского фермерства. С отцом у Бернала мало общего, хотя отец и был общительным, приятным в компании

человеком. Еще в ранние годы у Бернала развился так называемый «самсонов комплекс»{308} — страх, что отец «острижет его наголо».

Бернал не испытал бедности. Семья была буржуазной, если только этот термин приложим к ирландскому обществу, которое то времена детства Бернала напоминало скорее Россию XIX века, а не современную Англию. Отец, конечно, считал себя джентльменом, у него и повода не было сомневаться в этом. Финансовое положение семьи бывало шатким, но всегда находились богатые родственники. Деньги никогда не были предметом поклонения и надежды. Это в Бернале осталось. Его необыкновенная щедрость, которую он проявляет всю жизнь, восходит, видимо, к финансовой безалаберности ирландских сквайров из романов Троллопа. Жил Бернал неуравновешенной, иногда грудной жизнью богемы, но тут уж его вина и его добровольный выбор. У него просто не было того уважения к деньгам, которое возникает у пролетария из постоянной нужды,

{308} Комментарии: 2.308

«Самсонов комплекс». — По библийской легенде, сила богатыря Самсона таилась в его длинных волосах. Филистимлянка Далила, возлюбленная Самсона, отрезала у спящего богатыря его волосы, лишив его силы, что дало возможность филистимлянам заковать его в цепи и ослепить. Но в плену волосы у Самсона отросли, к нему вернулась сила, и он разрушил храм, где погибли филистимляне.

а у мелкого буржуа — из забот о собственной респектабельности. В отношении к деньгам, как и во многих других отношениях, Бернал был более свободен, чем большинство людей.

Воспитывали Бернала католиком, и в детстве он был даже горячим адептом католичества. Еще и сейчас, то ли в силу укоренившейся привычки, то ли с грустью подшучивая над прошлым, он часто пользуется католической терминологией. Учиться его определили в Стоунихерст, в колледж иезуитов. Здесь он основал «Общество постоянного поклонения». Началось с того, что он прочитал житие святого Алоизия Гонзага, покровителя детей у иезуитов. Узнав, что поклонение желательно, Бернал, следуя Алоизию, со свойственной ему неумолимой логикой заключил, что поклонение не должно прекращаться. И опять же со свойственным ему организаторским талантом он по очереди вытаскивал по ночам своих коллег из кроватей и заставлял подолгу молиться. По ночам в спальне всегда стояла молящаяся фигура, пока благоразумие отцов-наставников не прекратило эту затею. Уже в то время, как бы предвосхищая будущее, Бернал брал на свои плечи больше забот, чем ему полагалось.

До шестого класса в Стоунихерсте не учили

естественным наукам, поэтому Бернал, испытывая неодолимую тягу к науке, решил перебраться в Бедфорд{309}. С 12 лет он сам планирует свое образование, найдя себе союзника в лице матери. Отец умер, когда Берналу было восемнадцать. В школе Бернал сумел проявить творческое мышление как в математике, так и в физике. Г. Г. Харди не раз говорил, что Бернал мог бы стать настоящим математиком. В устах Харди это высшая похвала. Но склонности Бернала определились рано. Уже в юности он, видимо, чувствовал, что ему придется пользоваться математикой, а не творить ее. Подобно многим из тех, кто мог бы отличиться в математике и не использовал эту возможность, Бернал иногда испытывал чувство потери.

В Кембридже Бернал появился в 1919 году, в том самом году, когда бывший морской офицер Блэкетт поступил в колледж Магдалины, а Резер-

{309} Комментарии: 2.309

Бедфорд — главный город графства Бедфордшир, известный учебными заведениями, например школой Бедфорд-скул для мальчиков, основанной в 1552 г., в которой учился Бернал.

форд вернулся в Кавендишскую лабораторию{310}. Бернал учился в колледже Эммануила. Это был бурный период в жизни Кембриджа, и события того времени наложили отпечаток на характер Бернала. По вкусам, а отчасти и по духу он до сих пор дитя двадцатых годов. Его писатели — Джойс и Донн{311}. Художники — Пикассо и Сезанн. Беспорядочная жизнь богемы — его родная стихия.

Как и многие другие из его поколения, Бернал стал убежденным марксистом. Процесс интеллектуального перерождения не был, по всей видимости, ни болезненным, ни трудным. С самого начала он основывался на глубоком понимании того, чем может стать наука для человечества. Какое-то время он был одновременно и католиком, и марксистом. Порвал он с католи-

---

{310} Комментарии: 2.310

Кавендишская физическая лаборатория — основана в 1871 г. в Кембридже на средства герцога Девонширского, родственника Генри Кавендиша (1731–1810), известного английского физика и химика, который работал в области химии газов и экспериментальной физики. Кавендишская лаборатория сыграла огромную роль в научной революции в физике, начавшейся на рубеже XX в., в ней работали такие выдающиеся ученые, как Дж. К. Максвелл, П. Дирак, Дж. Томсон, Э. Резерфорд, П. Капица.

{311} Комментарии: 2.311

Донн, Джон (1572–1631) — английский поэт, родоначальник так называемой метафизической школы поэтов. Его первые стихи написаны в духе жизнерадостной лирики Возрождения, затем он обращается к мрачной религиозной поэзии (поэмы «Путь души», 1601; «Анатомия мира», 1611).

цизмом не столько из-за теологии, сколько из-за социальных приложений религиозной догмы.

Студенческая жизнь Бернала вошла в легенды. Еще бы, красный, к тому же ирландец, который отбросил условности среднего класса! Бернал и тогда был, да и теперь остается, самым красноречивым оратором Кембриджа. Вдобавок ко всему он еще очень походил на Пайда Пайпера. Когда в 1928 году я впервые попал в Кембридж, о Бернале рассказывали множество историй. Одна из них (за ее истинность я не могу поручиться) особенно любопытна. Те качества, о которых я только что говорил, очень привлекательны для молодых интеллектуалов, но они далеко не столь привлекательны для молодых морских офицеров. Офицеры не жалуют эксцентричных мыслителей. И вот однажды моряки решили прорваться к Берналу в комнату и, схватив его, выкупать в пруду. Рассказывали, что рейд был задуман Маунтбеттеном{312}, под началом которого Берналу пришлось впоследствии служить. Офицеры, чис-

{312} Комментарии: 2.312

Маунтбеттен, Луи (1900–1979) — вице-король Индии, автор так называемого плана Маунтбеттена — декларации правительства Великобритании от 3 июля 1947 г., предусматривавшей раздел Индии на два государства с правами доминионов. 15 августа 1947 г. процедура раздела была завершена и оба государства — Хиндустан и Пакистан — объявлены доминионами.

ло их меняется от рассказчика к рассказчику, но было их, видимо, пятеро или шестеро, поднялись, как и было задумано, по лестнице и ворвались к Берналу. Они успели заявить ему, что он в этом городе нежелателен, но не успели сообразить, что перед ними находчивый, бесстрашный и физически сильный человек. Бернал выключил свет, и, так как противники курили, он мог их видеть, а они его нет. Бесстрашие и силу Бернал доказал, когда смело пошел врукопашную: он хватал противников за ворот и сталкивал друг с другом, так что в общей свалке офицеры принялись тузить друг друга. Тем временем он выскочил из комнаты и вскоре вернулся с подкреплением.

У этой истории забавный эпилог — через двадцать два года Бернал снова встретился со своими противниками в кают-компании у берегов Франции.

Бернал не остался в Кембридже, он перешел в Исследовательскую лабораторию Дэви-Фарадея{313} на Альбемарл-стрит в Лондоне. К этому времени он уже выбрал кристаллографию в качестве своей научной специальности и теперь в течение пяти лет осваивал экспериментальную

{313} Комментарии: 2.313

Дэви, Гемфри (1778–1829) — английский физик и химик, у него учился и начал работать Фарадей.

технику. В этом немалая доля иронии. Кристаллография — прекрасная дисциплина, но ее экспериментальная техника в двадцатые годы, как и теперь, требовала усидчивости и терпения. Иногда она попросту скучна, а ум Бернала никогда не отличался терпением, он у него творческий, иногда срывающийся в беспочвенные фантазии.

Как бы то ни было, но Бернала увлекли замеры структуры графита и его поверхностей. В то время в лаборатории под руководством старого Брэгга{314} работала группа молодежи: г-жа Кэтлин, Лонсдейл, Астбери, Робертсон. Позднее они стали ведущей группой в кристаллографии и биофизике, но уже тогда они открывали новую страницу в исследовании веществ. Бернал живо интересовался их работой. С самого начала ему везло в собственных исследованиях, и он вел их беспечно, не проявляя заботы о приоритете.

Лондонская жизнь Бернала за стенами лабораторий менее всего была скучной. Он увлекся политикой, но она не отняла у него веселья и живости. Всегда, за исключением разве самых

{314} Комментарии: 2.314

Брэгг, Уильям Генри (1862–1942) — английский физик, основоположник, совместно с сыном Уильямом Лоренсом Брэггом (1890–1971), рентгеноструктурного анализа.

тяжелых моментов жизни, он оставался веселым и шутливо настроенным. В те годы было принято делить вкусы на высокие, глубокие и тонкие, причем высшим считался тонкий. Бернал возглавлял людей с тонким вкусом. С ним происходило множество любопытнейших происшествий, которые нужно было записать, пока они не стерлись в памяти. Так, однажды Пайк при активной поддержке Бернала пробовал скупить по себестоимости большую часть мирового производства меди. Медь им потребовалась, чтобы удовлетворить альтруистическое желание — основать в Кембридже школу художественного литья.

В 1927 году в Кембридже ввели преподавание кристаллографии, ввели не без противодействия Кавендишской лаборатории. Резерфорд не признавал других отраслей физики, кроме его собственной. Учитывая глубокое знание им предмета, вакансию предложили Берналу. Я обосновался в Кембридже через несколько месяцев, так что начиная с этого периода большая часть фактов о Бернале основана на моих личных наблюдениях.

До сих пор помню, как Артур Хатчинсон, в то время ректор колледжа Пемброк и профессор минералогии, рассказывал о первой беседе с Бер-

налом. Бернал вошел в комнату и сел, опустив голову. (Бернал всегда был внешне застенчив, терпеть не мог процедур представления и всяких тонкостей светского ритуала.) Да, он признает, его действительно зовут Берналом. Да, он признает факты собственной служебной карьеры. Больше из него ничего не удавалось вытянуть. В конце концов председательствующий Хатчинсон спросил в отчаянии, что он будет делать с кафедрой, если ее получит. Тут Бернал резко откинул голову, встряхнул волосами, как знаменем, и сказал: «Нет!» (так он обычно начинает свои лучшие речи). Сказал: «Нет» и начал говорить. И произнес замечательную, увлекательную, мастерскую речь на сорок пять минут.

«Нам ничего не оставалось, как избрать его», — говорил потом Хатчинсон.

Сам Хатчинсон корректен и вежлив, но он всегда испытывал неодолимую тягу к талантам. Как раз по его предложению вводили чтение лекций по кристаллографии.

«С тех пор я только тем и занят, — заключил он свой рассказ, — что убираю битые горшки за этим молодым человеком».

Бернал читал в Кембридже ровно десять лет. Все это время он не был членом совета какого-

либо колледжа, хотя многие из нас пытались провести его кандидатуру в своих колледжах. Мне это не удалось сделать у себя в Крайст-колледже. Один из престарелых коллег заметил: «С такими волосами нельзя быть нормальным».

Влиянием Бернал пользовался огромным, оно распространялось на науку, политику, социальное предвидение. Бернал готов был говорить с первым встречным, но чаще он выступал в узких кружках, вроде основанного им же дискуссионного клуба ученых, где было около десяти членов. Когда Берналу приходило желание говорить публично, в аудиторию сразу набивались студенты. Но наибольшим влиянием он, мне кажется, пользовался у молодых преподавателей и ученых в возрасте от 25 до 35 лет. Некоторые из них в то время уже определили свое призвание, другие были на пути к этому. Это люди, подобные Холдейну{315}, Нидаму, Эддингтону, Пири, в большинстве своем естественники, хотя были и филологи. Все они переросли пору ученичества, большинство имели твердые убеждения

{315} Комментарии: 2.315

Холдейн, Джон Бердон Сандерсон (1892–1964) — английский биолог, имеет труды по применению математических методов в биологии; член Коммунистической партии Великобритании, член Политбюро (1942–1943) и Политического комитета исполкома (1943–1945) КП Великобритании, с 1957 г. жил в Индии.

и сложившиеся взгляды. Они критически воспринимали действительность, не лишены были самомнения и совершенно не были расположены признавать чье-то лидерство. Было бы неверно предполагать, что они видели в Бернале своего духовного вождя. Разумеется, нет. И все-таки огромное влияние Бернала на их научное и социальное мышление — факт очевидный.

Бернал не смог бы добиться этого, не будь у него трех преимуществ. Прежде всего, он был признан всеми как крупный ученый. Никто не мог сомневаться в этом, даже если бы захотел. В таком профессиональном и замкнутом мире, каким был Кембридж тридцатых годов, было бы просто невозможно завоевать твердое уважение, не будь человек первоклассным мастером своего дела. Следует напомнить, что в те годы в Кембридже работал еще Резерфорд. В Кавендишской лаборатории вела исследования группа выдающихся физиков: Чедвик, Капица, Блэкетт, Кокрофт. В Кембридже были Гоуленд Хопкинс{316}, Дирак находился в апогее творчества, а также группа чи-

{316} Комментарии: 2.316

Хопкинс, Фредерик Гоуленд (1861–1947) — английский биохимик, основатель научной школы; открыл витамины A и D, стимулирующие рост; первым установил накопление молочной кислоты в работающей мышце.

стых математиков во главе с Харди и Литлвудом, которые хотя и прошли уже вершину творчества, но сохраняли силу блестящего интеллекта. Здесь были Витгенштейн{317}, Кейнс{318}, а также такой крупный филолог, как Хаусмен. Не многие университеты могли бы похвастаться подобной плеядой талантов, работающих вместе в одно время. На таком фоне трудно было выделиться и стать равным. Все признают, что Берналу это удавалось.

В науке Бернал оказался в центре тех революционных событий, которые были связаны с внедрением методов физики и химии в биологию. Идея перестройки биологии стала основной в работе Бернала еще до возвращения в Кембридж, может быть, несколькими годами раньше. Задавшись конечной целью — исследовать физическую природу жизни, — Бернал, как и в

{317} Комментарии: 2.317

Витгенштейн, Людвиг (1889–1951) — австрийский философ и логик, представитель аналитической философии. С 1929 г. жил в Англии. Выдвинул, тезис о построении искусственного «идеального» языка, прообразом которого является язык математической логики.

{318} Комментарии: 2.318

Кейнс, Джон Мейнард (1883–1946) — английский экономист, основоположник «кейнсианства», буржуазной теории государственно-монополистического регулирования капиталистической экономики, разработанной под влиянием мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. Экономическая политика на основе «кейнсианства» не сумела предотвратить кризисы и инфляцию в капиталистических странах.

других случаях, работал по плану. Знакомство с экспериментальной техникой кристаллографии давало Берналу в руки мощный инструмент анализа неорганических структур. Он пытался применить эту технику на веществах, имеющих отношение к биологии, прежде всего на аминокислотах, стеролах и витаминах. Затем он перешел к исследованию воды, основной составляющей организмов. Затем — к белкам и вирусам. К загадкам воды он еще вернется через двадцать пять лет.

Так возникала молекулярная биология. Бернал не ограничивался использованием только собственной техники эксперимента. Он действовал, как импресарио, стараясь привлечь к работе других ученых, с другой техникой экспериментирования. Если персонифицировать ситуацию, Бернал действовал в роли посредника между Кавендишской лабораторией Резерфорда и биохимической лабораторией Хопкинса, отца биохимии, который в то время был еще одним реформатором научного мышления в Кембридже. Некоторые идеи Хопкинса появились преждевременно. При тогдашнем состоянии экспериментальной техники их нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Раньше своего

времени появилась и некоторая, пожалуй, даже значительная часть идей Бернала. Но его основная тема, его собственный вклад в науку были точно рассчитаны по месту и времени.

Иногда спрашивают, какое место занимает Бернал в истории науки, если понимать историю в узком смысле слова. Ответ, видимо, должен быть таким: его природное дарование огромно, он самый образованный из естественников своего времени, возможно, даже последний ученый-естественник, к которому применим этот термин, включающий знание того, что представляет собой наука в целом. У Бернала необыкновенно смелое воображение и природный дар проникать в суть вещей. Он достиг многого в науке. И все же, если бы удалось составить список его дел, научные достижения Бернала не были бы в числе первых. В какой-то степени этот факт отражает свойства его натуры. Бернал любил начинать что-нибудь, подсказать идею, сделать первый шаг, а потом самоустраниться, кому-нибудь другому оставить доводить дело до завершающего результата. Во всех частях мира под разными именами опубликовано много научных статей, которые появлением своим обязаны Берналу. Самому Берналу недостает одержимости, которой

обладает большинство ученых и которая заставляет их доводить до конца начатое исследование. Будь у него эта одержимость, Бернал завершил бы, видимо, значительную часть современной молекулярной биологии и получил бы несколько Нобелевских премий.

Но есть всему этому и более серьезная причина. Темперамент, горячее гражданское чувство вынуждали Бернала отдавать много времени деятельности за пределами науки. Это мешало ему использовать все свои возможности в науке и, естественно, мешало получить результаты, которые он по праву мог бы назвать своими. В 1937 году, еще очень молодым, он стал членом Королевского общества, и в том же году ему предложили место профессора физики в Бербек-колледже. Место необычное, но во многих отношениях почетное и удобное для Бернала. Пришли, как водится, и почести: медаль Королевского общества, избрание в члены зарубежных академий и т. п. Но Бернал мог бы достичь гораздо большего, как мог бы и написать значительно больше работ. Он, видимо, и сам это прекрасно понимал, к тому же многие из нас часто говорили ему об этом. Сказать, что все это ему совершенно безразлично, значило бы покривить душой.

Во многих отношениях Бернал — альтруист, но что касается авторства или приоритета, то здесь полного безразличия, видимо, вообще не бывает. Мне приходилось видеть не так уж много людей, которые жертвовали наукой, любимым делом ради более высокого блага. Но мне не приходилось еще видеть людей, которые бы, как Бернал, пожертвовали столь многим. Возможно, он пожертвовал половиной того, чего он мог бы добиться в науке.

Полная политическая определенность Бернала — вторая причина его влияния на окружающих. Как марксист Бернал никогда не колебался. В свое время он начал с того, что смотрел на события глазами веры, но, однажды убедившись разумом в истинности марксизма, Бернал — последний из тех, кто мог бы отступиться. Было бы наивно думать, что он не знал тяжелых переживаний и мрачных мыслей. Острее, чем многие из нас, воспринимал он жестокость и даже простое равнодушие. Во время XX съезда КПСС и, надо полагать, во время венгерских событий Бернал прошел через большие раздумья. Но в конечном счете его марксизм только закалился и укрепился. По его мнению, это единственная философская система, которая придает смысл существованию

мира, каков он есть и каким он стремится стать.

В Кембридже тридцатых годов он со своими взглядами оказался среди англичан-эмпириков, которых можно было убедить во многом, но далеко не во всем. Вместе с тем мы знали, и в этом был третий источник его влияния, который мне хочется назвать самыми простыми словами, мы знали: Бернал — добрый человек. Он может быть раздражающе эгоцентричен, больше даже любого из нас, но в этом эгоцентризме нет и следа заботы о себе самом, о своих личных интересах. Он патологически благороден и добр по отношению ко всем. Даже после недолгого общения с ним убеждаешься, что он со свойственной лишь очень немногим людям настойчивостью ищет счастья для всего человечества. На первый взгляд странно, но именно эта его идеализирующая доброта заставит его позднее проводить бессонные ночи и — здесь мне придется коснуться личного — поведет к разногласиям между нами.

Бернал никогда не добивался личной власти, она его привлекала меньше, чем других. Но Бернал не допускал даже мысли, что у власти есть свои законы, что такая концентрация власти, как это было, например, при Сталине, опасна по своей природе. Я успел узнать кое-что о власти,

прежде чем увидел ее в действии, к тому же по складу характера я много подозрительнее и пессимистичнее Бернала. Только сравнительно недавно я нашел свой собственный, нелегкий путь к надежде. Так что в оценке политической власти и ее свойств наши взгляды не совпадают.

Что же касается способности Бернала видеть будущее, когда речь идет не о деталях и конкретных проявлениях, то его воображение более продуктивно и дисциплинированно, чем у любого из нас. Обычно он оказывается прав. В его способности видеть будущее я не сомневался в тридцатые годы, не сомневаюсь и теперь. Тогда, в Кембридже тридцатых годов, он в каждого из окружающих вселял обоснованную, аргументированную, доказанную силой его интеллекта уверенность, что, используя прикладную науку, мы в состоянии избавить современное человечество от нищеты. Это и есть основная мысль его великой книги «Социальная функция науки». Еще до выхода книги в свет мы все прослушали ее. Она часть бесконечного диалога, который продолжался все тридцатые годы. «Диалог» здесь не совсем точный термин: говорил в основном один, а остальные были в роли коллективного собеседника. Нам приходилось соглашаться с

большей частью того, что мы слышали, а потом читали в книге. Как и многие другие, я до сих пор разделяю основные мысли этого труда.

Когда пыль уляжется и прошлое покажет свое истинное лицо, то, может быть, в набросках путей использования науки, как они даны в «Социальной функции» и других трудах Бернала, обнаружатся моменты наибольшей заботы и тревоги. Это относится также к основному его труду по молекулярной биологии. Но так будет, когда пыль уляжется, а сейчас мы вправе поговорить о других вещах.

В войну, например, Бернал был в высшей степени самим собой, был больше Берналом, чем мы могли себе представить. Поначалу его мучили теоретические неувязки. Он не пацифист, но он марксист. Какая это война? Бернал решил этот проклятый вопрос со свойственной ему изобретательностью: стал сначала национальным, а потом мировым авторитетом по вопросам противовоздушной обороны. Предотвращать смерть людей от бомб приемлемо и благородно в любых этических стандартах. Сам способ действия, при помощи которого он поступил на государственную службу, характеризует не только лично Бернала, но и реализм английских правящих

классов. Бернал и другие взяли приступом министерство внутренних дел, изводя его проектами «предупредительных мероприятий». Бернала пригласили на завтрак, где был также министр, сэр Джон Андерсен. Бернал красноречиво и понятно объяснил, что именно следует понимать под «предупредительными мероприятиями». Его тут же попросили участвовать в работе комитета Андерсена. Это, естественно, вызвало беспокойные запросы службы безопасности: разве Бернал не состоит в ...? Андерсен ответил: «Меня мало заботит, так ли он красен, как огонь в аду. Без него нам не обойтись».

Свою службу государству Бернал обставил такими приключениями, которые вряд ли пришлись бы по душе кому-нибудь из нас. Обладая абсолютным физическим и моральным мужеством, он в течение всей войны шел на такой риск, которого любой на его месте попытался бы избежать, если есть хоть малейшая возможность. Не было, например, никаких разумных причин для того, чтобы в 1940 году спешить на вокзал Св. Панкраца разряжать неразорвавшуюся бомбу. К счастью для Бернала, обнаружилось, что перед ним не бомба, а стреляная артиллерийская гильза. Он тут же поспешил к начальнику вокзала и

с подкупающим разочарованием сообщил ему: «Можете открывать ваш вокзал, мистер».

Но и такого рода приключений было ему мало. В войну он прошел долгий и сложный путь от организации активных воздушных налетов до работы в штабе объединенных операций, где стал научным советником лорда Маунтбеттена. Здесь Бернал был во всем многообразии своих качеств: веселый, выносливый, не знающий усталости, способный реализовать не только, свои собственные идеи, но и идеи других. Должна, например, стать когда-нибудь достоянием гласности эпопея с авианосцем-айсбергом «Хабукак», в которой принял участие также Пайк.

Бернал объездил весь мир. Был в Бирме, Индии, дважды пересекал Африку. В путешествиях по миру он на месте знакомился с острыми проблемами слаборазвитых стран.

Вокруг Бернала складывались мифы. Большинство из них имеет зерно истины. Мне больше других нравится история со 3 службой безопасности. Ее я могу подтвердить, так как все происходило у меня на глазах. В конце 1943 года Берналу понадобился еще один помощник. Вполне естественно, что он потребовал одного из своих прежних коллег, с которым они вместе работали до войны.

Человека требовалось перевести из другой части; он, как и Бернал, работал на оборону. Перевод согласовали, но возникла необъяснимая задержка. Бернал не стеснялся беспокоить высокое начальство, и вскоре возмущенный голос Маунтбеттена осведомился, почему человек не прибыл. Он нужен Берналу. Задержка даже на день наносит непоправимый ущерб.

В отдел безопасности посыпались запросы. Последовал уклончивый ответ. Затем еще более уклончивый. Наконец — разъяснение:

— Да, нам пришлось задержать перевод этого человека.

— Почему?

— Видите ли, до войны он был связан с известным коммунистом.

— С кем?

— С Дж. Берналом.

Частью из-за секретности, которой были окружены все его действия, частью по другим причинам, но роль Бернала в подготовке высадки не получила должного признания. А ситуация была достаточно острой. Карты врали. Во всяком случае, их точность не соответствовала масштабу и точности задуманных операций. Бернал в то время часто говорил:

— А знаете, в сущности, никто представления не имеет, где находится Франция.

И конечно, никто не представлял, на что похожи французские берега. Бернал поднимал старые геологические отчеты, копался в средневековых хрониках о войне в Нормандии. Он высылал аквалангистов за пробами прибрежного грунта, и было трудно удержать его от попыток самостоятельно отправиться в подводное путешествие. В день высадки Бернал не выдержал. И хотя его должны были остановить, он все же сумел пробраться на место действий только для того, чтобы убедиться в правильности своих исследований. Здесь на берегу он и стоял в совершенно неправдоподобной по условиям места и времени форме лейтенанта-инструктора королевского флота.

После войны Бернал живет на виду, и то, что им сделано в этот период, не нуждается в описании. Не заботясь о здоровье и о других вещах, он всего себя отдает деятельности, которая, по его мнению, может помочь сохранить мир. Атомная бомба — единственное научное достижение, которое произвело на него угнетающее впечатление. «Это проклятое открытие», — говорил он о бомбе подавленно. Но Бернал никогда не перестает надеяться, и по крайней мере некоторые из его

надежд становятся реальностью. Кстати говоря, ему подобное заявление показалось бы изрядно скучным. Если часть надежд Бернала становится действительностью, он воспринимает это как повод взяться за что-либо другое.

Между заседаниями, путешествиями по всему миру, растущими заботами о неполадках в устройстве мира Берналу удается выкраивать время для работы в чистой науке. Он делает это в таком возрасте, в котором большинство физиков давно оставили бы занятия наукой. Когда ему было около шестидесяти, он выдвинул связанную с основной научной темой гипотезу о структуре жидкостей, гипотезу, необыкновенно простую и оригинальную, и завершил одну из наиболее интересных своих работ.

Когда человек стареет, он (я, во всяком случае) начинает оглядываться в прошлое в поисках людей, которые оказали на него наибольшее влияние. С годами фигура Бернала растет в моей памяти. Я знаю людей, которым Бернал представляется человеком замкнутым, далеким, неотзывчивым. Действительно, к малым бытовым огорчениям он бывает порой равнодушен и маленьким бедам своих друзей уделяет не больше внимания, чем они его собственным. Но стоит

прийти настоящей беде — я говорю о том, что я доподлинно знаю, — Бернал будет первым, кто отнесется к ней внимательно. Точнее, он будет первым по-настоящему внимательным; нет в делах помощи никого, кто был бы так оперативен, внимателен, практичен, способен забыть все, кроме необходимости помочь.

Из людей, которых я знал, Бернал, несомненно, самый смелый. У него самое широкое и дисциплинированное воображение. Если бы можно было рассматривать наши жизни в перспективе и взглянуть со стороны на события, участниками которых мы были, то для меня встречи с Берналом стали бы во многих отношениях выдающимися.

Пер. М. Петрова

Лекции и статьи
Две культуры и научная революция{˘}

1. Две культуры

Примерно три года назад я коснулся в печати одной проблемы, которая уже давно вызывала у меня чувство беспокойства[34]. Я столкнулся с этой проблемой из-за некоторых особенностей своей биографии. Никаких иных причин, заставивших меня размышлять именно в этом направлении, не существовало — некое стечение обстоятельств, и только. Любой другой человек, сложись его жизнь так же, как моя, увидел бы примерно то же, что и я, и, наверное, пришел бы почти к тем же выводам.

Все дело в необычности моего жизненного опыта. По образованию я ученый, по призванию

{˘} Комментарии: ˘

Лекция, прочитанная в Кембриджском университете в мае 1959 г. В том же году она вышла в Англии отдельным изданием. На русском языке опубликована в книге Ч. П. Сноу «Две культуры. Сборник публицистических статей». М., «Прогресс», 1973. Печатается по тексту этого издания.

[34] Примечания: 1.34

«The Two Cultures». — «New Statesman», 6 октября 1956 года. — *Здесь и далее прим. автора.*

— писатель. Вот и все. Кроме того, мне, если хотите, повезло: я родился в бедной семье. Но я не собираюсь рассказывать сейчас историю своей жизни. Мне важно сообщить только одно: я попал в Кембридж и получил возможность заниматься исследовательской работой в то время, когда Кембриджский университет переживал пору научного расцвета. Мне выпало редкое счастье наблюдать вблизи один из наиболее удивительных творческих взлетов, которые знала история физики. А превратности военного времени — включая встречу с У. Л. Брэггом в вокзальном буфете Кеттеринга{320} пронизывающе холодным утром 1939 года, встречу, в значительной мере определившую мою деловую жизнь, — помогли мне, даже, более того, вынудили, сохранить эту близость до сих пор. Так случилось, что в течение тридцати лет я поддерживал контакт с учеными не только из любопытства, но и потому, что это входило в мои повседневные обязанности. И в течение этих же тридцати лет я пытался представить себе общие контуры еще не написанных книг, которые со временем сделали меня писателем.

{320} Комментарии: 2.320
Кеттеринг — город в графстве Нортхемптоншир.

Очень часто — не фигурально, а буквально — я проводил дневные часы с учеными, а вечера — со своими литературными друзьями. Само собой разумеется, что у меня были близкие друзья как среди ученых, так и среди писателей. Благодаря тому, что я тесно соприкасался с теми и другими, и, наверное, еще в большей степени благодаря тому, что все время переходил от одних к другим, меня начала занимать та проблема, которую я назвал для самого себя «две культуры» еще до того, как попытался изложить ее на бумаге. Это название возникло из ощущения, что я постоянно соприкасаюсь с двумя разными группами, вполне сравнимыми по интеллекту, принадлежащими к одной и той же расе, не слишком различающимися по социальному происхождению, располагающими примерно одинаковыми средствами к существованию и в то же время почти потерявшими возможность общаться друг с другом, живущими настолько разными интересами, в такой непохожей психологической и моральной атмосфере, что, кажется, легче пересечь океан, чем проделать путь от Берлингтон-Хауса{321} или

{321} Комментарии: 2.321

Берлингтон-Хаус — здание на улице Пикадилли в Лондоне, где находится Королевская академия искусств; в нем ежегодно устраиваются летние выставки современного искусства.

Южного Кенсингтона до Челси{322}.

Это в самом деле сложнее, так как, преодолев несколько тысяч миль водных просторов Атлантики, вы попадете в Гринвич-Виллидж{323}, где говорят на том же языке, что и в Челси; но Гринвич-Виллидж и Челси до такой степени не понимают МТИ{324}, что можно подумать, будто ученые не владеют ни одним языком, кроме тибетского. Ибо это проблема не только английская. Некоторые особенности английской системы образования и общественной жизни делают ее в Англии особенно острой, некоторые черты социального уклада частично ее сглаживают, но в том или ином виде она существует для всего западного мира.

Высказав эту мысль, я хочу сразу же предупредить, что имею в виду нечто вполне серьезное, а не забавный анекдот про то, как один из замечательных оксфордских профессоров, человек

{322} Комментарии: 2.322

Челси — район в западной части Лондона, где живет много художников.

{323} Комментарии: 2.323

Гринвич-Виллидж — район в Нью-Йорке, ранее населенный писателями и художниками, теперь там в основном живут служащие.

{324} Комментарии: 2.324

МТИ — Массачусетский технологический институт, находится в США в городе Кембридже.

живой и общительный, присутствовал на обеде в Кембридже. Когда я слышал эту историю, в качестве главного действующего лица фигурировал А. Л. Смит, и относилась она, кажется, к 1890 году. Обед проходил, по всей вероятности, в колледже Сен-Джонсон или в Тринити-колледже. Смит сидел справа от ректора или, может быть, заместителя ректора. Он был человеком, любившим поговорить. Правда, на этот раз выражение лиц его сотрапезников не слишком располагало к многоречию. Он попробовал завязать обычную для оксфордцев непринужденную беседу со своим визави. В ответ послышалось невнятное мычание. Он попытался втянуть в разговор соседа справа — и вновь услышал такое же мычание. К его великому изумлению, эти два человека переглянулись, и один из них спросил: «Вы не знаете, о чем он говорит?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил другой. Этого не мог выдержать даже Смит. К счастью, ректор, выполняя свои обязанности миротворца, тут же вернул ему хорошее расположение духа. «О, да ведь они математики! — сказал он. — Мы никогда с *ними* не разговариваем…»

Но я имею в виду не этот анекдот, а нечто совершенно серьезное. Мне кажется, что духовный

мир западной интеллигенции все явственнее поляризуется, все явственнее раскалывается на две противоположные части. Говоря о духовном мире, я в значительной мере включаю в него и нашу практическую деятельность, так как отношусь к тем, кто убежден, что, по существу, эти стороны жизни нераздельны. А сейчас о двух противоположных частях. На одном полюсе — *художественная интеллигенция,* которая случайно, пользуясь тем, что никто этого вовремя не заметил, стала называть себя просто интеллигенцией, как будто никакой другой интеллигенции вообще не существует. Вспоминаю, как однажды в тридцатые годы Харди с удивлением сказал мне: «Вы заметили, как теперь стали употреблять слова „интеллигентные люди“? Их значение так изменилось, что Резерфорд, Эддингтон{325}, Дирак, Эдриан{326} и я — все мы уже, кажется, не подходим под это новое определение! Мне это

{325} Комментарии: 2.325

Эддингтон, Артур Стэнли (1882–1944) — английский астроном, имеет работы в области теории внутреннего строения и эволюции звезд, теории относительности, релятивистской космологии.

{326} Комментарии: 2.326

Эдриан, Эдгар Дуглас (1899–1977) — английский физиолог, зарегистрировал электрическую активность отдельных нервных клеток.

представляется довольно странным, а вам?»[35]

Итак, на одном полюсе — *художественная интеллигенция,* на другом — *ученые,* и как наиболее яркие представители этой группы — физики. Их разделяет стена непонимания, а иногда — особенно среди молодежи — даже антипатии и вражды. Но главное, конечно, непонимание. У обеих групп странное, извращенное представление друг о друге. Они настолько по-разному относятся к одним и тем же вещам, что не могут найти общего языка даже в плане эмоций. Те, кто не имеет отношения к науке, обычно считают ученых нахальными хвастунами. Они слышат, как мистер Т. С. Элиот — вряд ли можно найти более выразительную фигуру для иллюстрации этой мысли — рассказывает о своих попытках возродить стихотворную драму и говорит, что хотя не многие разделяют его надежды, но и его единомышленники будут рады, если им удастся подготовить почву для

[35] Примечания: 1.35

Эта лекция была прочитана в Кембриджском университете, поэтому я мог называть целый ряд имен без всяких разъяснений. Г. Г. Харди (1877–1947) — один из самых выдающихся математиков-теоретиков своего времени — был достопримечательной фигурой в Кембридже и в качестве молодого члена совета одного из колледжей, и возвращении на кафедру математики в 1931 году.

нового Кида{327} или нового Грина{328}. Вот та приглушенная манера выражения, которая принята в среде *художественной интеллигенции;* таков сдержанный голос их культуры. И вдруг до них долетает несравненно более громкий голос другой типичнейшей фигуры. «Это героическая эпоха науки! — провозглашает Резерфорд. — Настал елизаветинский век!{329}» Многие из нас неоднократно слышали подобные заявления и не так мало других, по сравнению с которыми только что приведенные звучат весьма скромно, и никто из нас не сомневался, кого именно Резерфорд прочил на роль Шекспира. Но в отличие от нас писатели и художники не в состоянии понять, что Резерфорд абсолютно прав; тут бессильны и их воображение, и их разум.

{327} Комментарии: 2.327

Кид, Томас (1558–1594) — английский драматург, автор пьесы «Испанская трагедия» (1592), некоторыми его сюжетами воспользовался Шекспир.

{328} Комментарии: 2.328

Грин, Роберт (1560–1592) — английский поэт, драматург, автор пасторального романа «Пандосто» (1588).

{329} Комментарии: 2.329

Елизаветинский век — конец XVI — начало XVII в., последние 20 лет правления королевы Елизаветы Тюдор и первые 10 лет царствования Якова Стюарта; в этот период, когда английская литература достигла высочайшего расцвета, писали такие поэты и драматурги, как Эдмунд Спенсер, Филип Сидни, Джон Лили, Кристофер Марло, Томас Нэш, Бен Джонсон, Томас Кид, а также Шекспир.

Сравните слова, менее всего похожие на научное пророчество: «Вот как кончится мир. Не взрыв, но всхлип»{330}. Сравните их со знаменитой остротой Резерфорда. «Счастливец Резерфорд, всегда вы на волне!» — сказали ему однажды. «Это правда, — ответил он, — но в конце концов я создал волну, не так ли?»{331}

Среди художественной интеллигенции сложилось твердое мнение, что ученые не представляют себе реальной жизни и поэтому им свойствен поверхностный оптимизм. Ученые со своей стороны считают, что художественная интеллигенция лишена дара провидения, что она проявляет странное равнодушие к участи человечества, что ей чуждо все, имеющее отношение к разуму, что она пытается ограничить искусство и мышление только сегодняшними заботами и так далее.

Любой человек, обладающий самым скромным опытом прокурора, мог бы дополнить этот список множеством других невысказанных обвинений. Некоторые из них не лишены оснований, и это в

{330} Комментарии: 2.330

«Вот как кончится мир. Не взрыв но всхлип». — Строки из поэмы Т. С. Элиота «Полые люди» (1925) (пер. А. Сергеева).

{331} Комментарии: 2.331

«Но в конце концов я создал волну...» — См. коммент. к с. 157 /В файле: комментарий № 270 — *Прим. верст.*/.

равной степени относится к обеим группам интеллигенции. Но все эти пререкания бесплодны. Большинство обвинений родилось из искаженного понимания действительности, всегда таящего много опасностей. Поэтому сейчас я хотел бы затронуть лишь два наиболее серьезных из взаимных упреков, по одному с каждой стороны.

Прежде всего о свойственном ученым «поверхностном оптимизме». Это обвинение выдвигается так часто, что оно стало уже общим местом. Его поддерживают даже наиболее проницательные писатели и художники. Оно возникло из-за того, что личный жизненный опыт каждого из нас принимается за общественный, а условия существования отдельного индивида воспринимаются как общий закон. Большинство ученых, которых я хорошо знаю, так же как и большинство моих друзей-неученых, прекрасно понимают, что участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы — лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один. Некоторые из знакомых мне ученых находят утешение

в религии. Может быть, они ощущают трагизм жизни не так остро. Я не знаю. Но большинство людей, наделенных глубокими чувствами, как бы жизнерадостны и счастливы они ни были — самые жизнерадостные и счастливые еще в большей степени, чем другие, — воспринимают эту трагедию как одно из неотъемлемых условий жизни. Это в равной степени относится и к хорошо знакомым мне людям науки, и ко всем людям вообще.

Но почти все ученые — и тут появляется луч надежды — не видят оснований считать существование человечества трагичным только потому, что жизнь каждого отдельного индивида кончается смертью. Да, мы одиноки, и каждый встречает смерть один на один. Ну и что же? Такова наша судьба, и изменить ее мы не в силах. Но наша жизнь зависит от множества обстоятельств, не имеющих отношения к судьбе, и мы должны им противостоять, если только хотим оставаться людьми.

Большинство представителей человеческой расы страдают от голода и умирают преждевременно. Таковы социальные условия жизни. Когда человек сталкивается с проблемой одиночества, он иногда попадает в некую моральную западню:

с удовлетворением погружается в свою личную трагедию и перестает беспокоиться о тех, кто не может утолить голод.

Ученые обычно попадают в эту западню реже других. Им свойственно нетерпеливое стремление найти какой-то выход, и обычно они верят, что это возможно, до тех пор пока не убедятся в обратном. В этом заключается их подлинный оптимизм — тот оптимизм, в котором мы все чрезвычайно нуждаемся.

Та же воля к добру, то же упорное стремление бороться рядом со своими братьями по крови, естественно, заставляют ученых с презрением относиться к интеллигенции, занимающей иные общественные позиции. Тем более, что в некоторых случаях эти позиции действительно заслуживают презрения, хотя такое положение обычно бывает временным, и потому оно не столь характерно.

Я помню, как меня с пристрастием допрашивал один видный ученый: «Почему большинство писателей придерживаются воззрений, которые наверняка считались бы отсталыми и вышедшими из моды еще во времена Плантагенетов{332}? Разве

{332} Комментарии: 2.332
Плантагенеты — королевская династия в Англии (1154–1399).

выдающиеся писатели XX века являются исключением из этого правила? Йитс, Паунд, Льюис{333} — девять из десяти среди тех, кто определял общее звучание литературы в наше время, — разве они не показали себя политическими глупцами, и даже больше — политическими предателями? Разве их творчество не приблизило Освенцим?»

Я думал тогда и думаю сейчас, что правильный ответ состоит не в том, чтобы отрицать очевидное. Бесполезно говорить, что, по утверждению друзей, мнению которых я доверяю, Йитс был человеком исключительного великодушия и к тому же великим поэтом. Бесполезно отрицать факты, которые в основе своей истинны. Честный ответ на этот вопрос состоит в признании, что между некоторыми художественными произведениями начала XX века и самыми чудовищными проявлениями антиобщественных чувств действительно есть какая-то связь и писатели заметили эту связь с опозданием, заслуживающим всяческого пори-

{333} Комментарии: 2.333

Льюис, Перси Уиндхем (1884–1957) — английский художник-модернист, писатель, критик; основоположник «вортисизма» — абстракционистского течения в Англии. В 1914–1915 гг. вместе с Э. Паундом выпустил два номера журнала «Бласт»; автор трилогии «Век человеческий» (1930–1954). Льюис подвергает критике буржуазный порядок с реакционных позиций.

цания[36]. Это обстоятельство — одна из причин, побудивших некоторых из нас отвернуться от искусства и искать для себя новых путей[37].

Однако, хотя для целого поколения людей общее звучание литературы определялось прежде всего творчеством писателей типа Йитса и Паунда, теперь дело обстоит если не полностью, то в значительной степени иначе. Литература изменяется гораздо медленнее, чем наука. И поэтому периоды, когда развитие идет по неверному пути, в литературе длиннее. Но, оставаясь добросовестными, ученые не могут судить о писателях только на основании фактов, относящихся к 1914–1950 годам.

Таковы два источника взаимонепонимания между двумя культурами. Должен сказать, раз уж я заговорил о двух культурах, что сам этот термин вызвал ряд нареканий. Большинство моих друзей

---

[36] Примечания: 1.36

Подробнее на этих вопросах я остановился в своей статье «Угроза интеллекту» («Challenge to the Intellect»), опубликованной в «Times Literary Supplement» 15 августа 1958 года.

[37] Примечания: 1.37

Правильнее было бы сказать, что из-за некоторых художественных особенностей мы почувствовали, что господствующие литературные направления ничем нас не обогащают. Подобное ощущение в значительной мере усилилось, когда мы осознали, что эти литературные направления связаны с такими общественными позициями, которые мы считаем порочными или бессмысленными либо порочно-бессмысленными.

из мира науки и искусства находят его в какой-то степени удачным. Но люди, связанные с сугубо практической деятельностью, решительно с этим не согласны. Они видят в таком делении чрезмерное упрощение и считают, что если уж прибегать к подобной терминологии, то надо говорить по меньшей мере о трех культурах. Они утверждают, что во многом разделяют взгляды ученых, хотя сами не принадлежат к их числу; современные художественные произведения говорят им так же мало, как и ученым (и, наверное, говорили бы еще меньше, если бы они знали их лучше). Дж. Х. Плам, Алан Буллок и некоторые из моих американских друзей-социологов настойчиво возражают против того, чтобы их принуждали считаться помощниками тех, кто создает атмосферу социальной безнадежности, и запирали в одну клетку с людьми, с которыми они не хотели бы быть вместе не только живыми, но и мертвыми.

Я склонен относиться к этим доводам с уважением. Цифра два — опасная цифра. Попытки разделить что бы то ни было на две части, естественно, должны внушать самые серьезные опасения. Одно время я думал внести какие-то добавления, но потом отказался от этой мысли. Я

хотел найти нечто большее, чем выразительная метафора, но значительно меньшее, чем точная схема культурной жизни. Для этих целей понятие «две культуры» подходит как нельзя лучше; любые дальнейшие уточнения принесли бы больше вреда, чем пользы.

На одном полюсе — культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым.

Я думаю, что при статистической проверке среди ученых окажется несколько больше неверующих, чем среди остальных групп интеллиген-

ции, а в младшем поколении их, по-видимому, становится еще больше, хотя и верующих ученых тоже не так мало. Та же статистика показывает, что большинство научных работников придерживаются в политике левых взглядов, и число их среди молодежи, очевидно, возрастает, хотя опять-таки есть немало и ученых-консерваторов. Среди ученых Англии и, наверное, США людей из бедных семей значительно больше, чем среди других групп интеллигенции[38]. Однако ни одно из этих обстоятельств не оказывает особенно серьезного влияния на общий строй мышления ученых и на их поведение. По характеру работы и по общему складу духовной жизни они гораздо ближе друг к другу, чем к другим интеллигентам, придерживающимся тех же религиозных и политических взглядов или вышедшим из той же среды. Если бы я рискнул перейти на стенографический стиль, я сказал бы, что всех их объединяет будущее, которое они несут в своей крови. Даже не думая о будущем, они одинаково чувствуют перед ним свою ответственность. Это и есть то,

[38] Примечания: 1.38

Было бы любопытно проанализировать, из каких учебных заведений выходит большая часть членов Королевского общества. Во всяком случае, совсем не из тех, которые готовят кадры, например, для министерства иностранных дел или для Совета Королевы.

что называется *общей культурой.*

На другом полюсе отношение к жизни гораздо более разнообразно. Совершенно очевидно, что, если кто-нибудь захочет совершить путешествие в мир интеллигенции, проделав путь от физиков к писателям, он встретит множество различных мнений и чувств. Но я думаю, что полюс абсолютного непонимания науки не может не влиять на всю сферу своего притяжения. Абсолютное непонимание, распространенное гораздо шире, чем мы думаем — в силу привычки мы просто этого не замечаем, — придает привкус ненаучности всей «традиционной» культуре, и часто — чаще, чем мы предполагаем, — эта ненаучность едва не переходит на грань антинаучности. Устремления одного полюса порождают на другом своих антиподов. Если ученые несут будущее в своей крови, то представители «традиционной» культуры стремятся к тому, чтобы будущего вообще не существовало[39]. Западный мир руководствуется традиционной культурой, и вторжение науки лишь в ничтожной степени поколебало ее господство.

---

[39] Примечания: 1.39

Сравните «1984» Дж. Оруэлла — произведение, наиболее ярко выражающее идею отрицания будущего, — с «Миром без войны» Дж. Д. Бернала.

Поляризация культуры — очевидная потеря для всех нас. Для нас как народа и для нашего современного общества. Это практическая, моральная и творческая потеря, и я повторяю: напрасно было бы полагать, что эти три момента можно полностью отделить один от другого. Тем не менее сейчас я хочу остановиться на моральных потерях.

Ученые и художественная интеллигенция до такой степени перестали понимать друг друга, что это стало навязшим в зубах анекдотом. В Англии около 50 тысяч научных работников в области точных и естественных наук и примерно 80 тысяч специалистов (главным образом инженеров), занятых приложениями науки. Во время второй мировой войны и в послевоенные годы моим коллегам и мне удалось опросить 30–40 тысяч тех и других, то есть примерно 25 %. Это число достаточно велико, чтобы можно было установить какую-то закономерность, хотя большинству тех, с кем мы беседовали, было меньше сорока лет. Мы составили некоторое представление о том, что они читают и о чем думают. Признаюсь, что при всей своей любви и уважении к этим людям я был несколько подавлен. Мы совершенно не подозревали, что их связи с

традиционной культурой настолько ослабли, что свелись к вежливым кивкам.

Само собой разумеется, что выдающиеся ученые, обладавшие недюжинной энергией и интересовавшиеся самыми разнообразными вещами, были всегда; есть они и сейчас, и многие из них читали все, о чем обычно говорят в литературных кругах. Но это исключение. Большинство же, когда мы пытались выяснить, какие книги они читали, скромно признавались: «Видите ли, я пробовал читать Диккенса…» И это говорилось таким тоном, будто речь шла о Райнере Марии Рильке{334}, то есть о писателе чрезвычайно сложном, доступном пониманию лишь горсточки посвященных и вряд ли заслуживающем настоящего одобрения. Они в самом деле относятся к Диккенсу, как к Рильке. Одним из самых удивительных результатов этого опроса явилось, наверное, открытие, что творчество Диккенса стало образцом непонятной литературы.

Читая Диккенса или любого другого ценимого нами писателя, они лишь вежливо кивают традиционной культуре. Живут же они своей полнокровной, вполне определенной и посто-

{334} Комментарии: 2.334

Рильке, Райнер Мария (1875–1926) — австрийский поэт, автор сборников «Книга образов», «Часослов» и др.

янно развивающейся культурой. Ее отличает множество теоретических положений, обычно гораздо более четких и почти всегда значительно лучше обоснованных, чем теоретические положения писателей. И даже тогда, когда ученые не задумываясь употребляют слова не так, как писатели, они всегда вкладывают в них один и тот же смысл; если, например, они употребляют слова «субъектный», «объектный», «философия», «прогрессивный»[40], то великолепно знают, что именно имеют в виду, хотя часто подразумевают при этом совсем не то, что все остальные.

Не будем забывать, что мы говорим о высокоинтеллигентных людях. Во многих отношениях их строгая культура заслуживает всяческого восхищения. Искусство занимает в этой культуре весьма скромное место, правда за одним, но весьма важным исключением — музыки. Обмен мнениями, напряженные дискуссии, долгоиграющие пластинки, цветная фотография: кое-что

---

[40] Примечания: 1.40

«Субъектный» на современном технологическом жаргоне значит «состоящий из нескольких предметов»; «объектный» — «направленный на определенный объект». Под «философией» понимаются общие соображения или та или иная нравственная позиция. (Например, «философия такого-то ученого, касающаяся управляемых снарядов», очевидно, приведет к тому, что он предложит некоторые «объектные исследования».) «Прогрессивной» называется такая работа, которая открывает перспективы повышения по службе.

для ушей, немного для глаз. Очень мало книг, хотя, наверное, не многие зашли так далеко, как некий джентльмен, стоящий, очевидно, на более низкой ступеньке научной лестницы, чем те ученые, о которых я только что говорил. Этот джентльмен на вопрос, какие книги он читает, с непоколебимой самоуверенностью ответил: «Книги? Я предпочитаю использовать их в качестве инструментов». Трудно понять, в качестве каких же инструментов он их «использует». Может быть, в качестве молотка? Или лопаты?

Так вот, книг тем не менее очень мало. И почти ничего из тех книг, которые составляют повседневную пищу писателей: почти никаких психологических и исторических романов, стихов, пьес. Не потому, что их не интересуют психологические, моральные и социальные проблемы. С социальными проблемами ученые, безусловно, соприкасаются чаще многих писателей и художников. В моральном отношении они, в общем, составляют наиболее здоровую группу интеллигенции, потому что в самой науке заложена идея справедливости и почти все ученые самостоятельно вырабатывают свои взгляды по различным вопросам морали и нравственности. Психологией ученые интересуются в такой же

мере, как и большинство интеллигентов, хотя иногда мне кажется, что интерес к этой области появляется у них сравнительно поздно. Таким образом, дело, очевидно, не в отсутствии интереса. В значительной мере проблема заключается в том, что литература, связанная с нашей традиционной культурой, представляется ученым «не относящейся к делу». Разумеется, они жестоко ошибаются. Из-за этого страдает их образное мышление. Они обкрадывают самих себя.

А другая сторона? Она тоже многое теряет. И может быть, ее потери даже серьезнее, потому что ее представители более тщеславны. Они все еще претендуют на то, что традиционная культура — это и есть вся культура, как будто существующее положение вещей на самом деле не существует. Как будто попытка разобраться в сложившейся ситуации не представляет для нее никакого интереса ни сама по себе, ни с точки зрения последствий, к которым эта ситуация может привести. Как будто современная научная модель физического мира по своей интеллектуальной глубине, сложности и гармоничности не является наиболее прекрасным и удивительным творением, созданным коллективными усилиями человеческого разума! А ведь большая часть

художественной интеллигенции не имеет об этом творении ни малейшего представления. И не может иметь, даже если бы захотела. Создается впечатление, что в результате огромного числа последовательно проводимых экспериментов отсеялась целая группа людей, не воспринимающих какие-то определенные звуки. Разница только в том, что эта частичная глухота не врожденный дефект, а результат обучения — или, вернее, отсутствия обучения. Что же касается самих полуглухих, то они просто не понимают, чего они лишены. Узнав о каком-нибудь открытии, сделанном людьми, никогда не читавшими великих произведений английской литературы, они сочувственно посмеиваются. Для них эти люди просто невежественные специалисты, которых они сбрасывают со счета. Между тем их собственное невежество и узость их специализации ничуть не менее страшны. Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое

второе начало термодинамики{335}. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя: «Читали ли вы Шекспира?»

Сейчас я убежден, что если бы я поинтересовался более простыми вещами, например тем, что такое масса или что такое ускорение, то есть опустился бы до той ступени научной трудности, на которой в мире художественной интеллигенции спрашивают: «Умеете ли вы читать?», то не более чем один из десяти высококультурных людей понял бы, что мы говорим с ним на одном и том же языке. Получается так, что величественное здание современной физики устремляется ввысь, а для большей части проницательных людей западного мира оно так ’ же непостижимо, как и для их предков эпохи неолита.

Теперь я хотел бы задать еще один вопрос из числа тех, которые мои друзья — писатели и художники считают наиболее бестактными. Б Кембриджском университете профессора точных, естественных и гуманитарных наук ежедневно

{335} Комментарии: 2.335

Второе начало термодинамики — один из основных ее законов, так называемый закон возрастания энтропии.

встречаются друг с другом во время обеда[41]. Примерно два года назад было сделано одно из самых замечательных открытий за всю историю науки. Я имею в виду не спутник. Запуск спутника — событие, заслуживающее восхищения по совсем иным причинам: оно явилось доказательством торжества организованности и безграничности возможностей применения современной науки. Но сейчас я говорю об открытии Янга и Ли{336}. Выполненное ими исследование отличается удивительным совершенством и оригинальностью, однако результаты его настолько устрашающи, что невольно забываешь о красоте мышления. Их труд заставил нас заново пересмотреть некоторые основополагающие закономерности физического мира. Интуиция, здравый смысл — все перевернулось с ног на голову. Полученный ими результат обычно формулируется как несохранение четности. Если бы между двумя культурами существовали живые связи, об этом

---

[41] Примечания: 1.41

Почти в каждом колледже за профессорскими столами можно встретить представителей всех наук.

{336} Комментарии: 2.336

...об *открытии Янга и Ли.* — Ли Цзундао (род. в 1926) — физик-теоретик, по национальности китаец, с 1946 г. живет в США. В 1956 г. совместно с Ян Джэньнином (Янг, род. в 1922 г., физик-теоретик, с 1945 г. живет в США) выдвинул гипотезу о несохранении четности в слабых взаимодействиях.

открытии говорили бы в Кембридже за каждым профессорским столом. А на самом деле — говорили? Меня не было тогда в Кембридже, а именно этот вопрос мне хотелось задать.

Создается впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы. Я не собираюсь тратить время на разговоры о том, как это печально. Тем более что на самом деле это не только печально, но и трагично. Что это означает практически, я скажу немного ниже. Для нашей же умственной и творческой деятельности это значит, что богатейшие возможности пропадают впустую. Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик — если не бояться зайти так далеко! — не может не высечь творческой искры. Как видно из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи.

Сейчас мы по-прежнему возлагаем наши творческие надежды прежде всего на эти вспышки. Но сегодня наши надежды повисли, к сожалению, в воздухе, потому что люди, принадлежащие к двум культурам, утратили способность общаться друг с другом. Поистине удивительно, насколько поверхностным оказалось влияние науки XX века

на современное искусство. От случая к случаю попадаются стихи, в которых поэты сознательно используют научные термины, причем обычно неправильно. Одно время в поэзии вошло в моду слово «рефракция», получившее совершенно фантастический смысл. Потом появилось выражение «поляризованный свет»; из контекста, в котором оно употребляется, можно понять, что писатели считают, будто это какой-то особенно красивый свет.

Совершенно ясно, что в таком виде наука вряд ли может принести искусству какую-нибудь пользу. Она должна быть воспринята искусством как неотъемлемая часть всего нашего интеллектуального опыта и использоваться так же непринужденно, как всякий другой материал.

Я уже говорил, что размежевание культуры не специфически английское явление — оно характерно для всего западного мира. Но дело, очевидно, в том, что в Англии оно проявилось особенно резко. Произошло это по двум причинам. Во-первых, из-за фанатической веры в специализацию обучения, которая зашла в Англии гораздо дальше, чем в любой другой стране на Западе или на Востоке. Во-вторых, из-за характерной для Англии тенденции создавать неизменные фор-

мы для всех проявлений социальной жизни. По мере сглаживания экономического неравенства эта тенденция не ослабевает, а усиливается, что особенно заметно на английской системе образования. Практически это означает, что, как только происходит нечто подобное разделению культуры, все общественные силы способствуют не устранению этого явления, а его закреплению.

Раскол культуры стал очевидной и тревожной реальностью еще 60 лет назад. Но в те времена премьер-министр Англии лорд Солсбери имел научную лабораторию в Хэтфилде, а Артур Бальфур{337} интересовался естественными науками гораздо серьезнее, чем просто любитель. Джон Андерсен{338}, прежде чем начать государственную службу, занимался в Лейпциге исследованиями в области неорганической химии, интересуясь одновременно таким количеством научных дисциплин, что сейчас это кажется просто немыс-

{337} Комментарии: 2.337

Бальфур, Артур Джеймс (1848–1930) — английский политический деятель, консерватор. В 1902–05 гг. — премьер-министр. В 1904 г. правительство Бальфура заключило соглашение с Францией, ставшее основой Антанты.

{338} Комментарии: 2.338

Андерсен, Джон (1882–1958) — английский политический деятель.

лимым[42]. Ничего похожего не встретишь в высших сферах Англии в наши дни; теперь даже сама возможность такого переплетения интересов представляется абсолютно фантастичной[43].

Попытки перебросить мост между учеными и не учеными Англии выглядят сейчас — особенно среди молодежи — значительно безнадежнее, чем тридцать лет назад. В то время две культуры, уже давно утратившие возможность общения, еще обменивались вежливыми улыбками, несмотря на разделявшую их пропасть. Теперь вежливость позабыта, и мы обмениваемся только колкостями. Мало того, молодые ученые ощущают свою причастность к расцвету, который переживает сейчас наука, а художественная интеллигенция страдает от того, что литература и искусство утратили свое былое значение. Начинающие ученые к тому же еще

---

[42] Примечания: 1.42

Он держал экзамены в 1905 году.

[43] Примечания: 1.43

Справедливо, однако, заметить, что благодаря компактности верхушки английского общества, где каждый знает каждого, ученые и не ученые Англии легче завязывают дружеские отношения, чем ученые и не ученые большинства других стран. Точно так же, как многие ведущие политические деятели и административные работники Англии, насколько я могу судить, гораздо живее интересуются искусством и обладают более широкими интеллектуальными интересами, чем их коллеги в Соединенных Штатах. Это, конечно, преимущество англичан.

уверены — позволим себе эту грубость, — что получат хорошо оплачиваемую работу, даже не имея особенно высокой квалификации, в то время как их товарищи, специализирующиеся в области английской литературы или истории, будут счастливы получить 50 % их зарплаты. Ни один молодой ученый с самыми скромными способностями не страдает от сознания собственной ненужности или от бессмысленности своей работы, как герой «Счастливчика Джима»{339}, а ведь, в сущности, «сердитость» Эмиса и его единомышленников в какой-то степени вызвана тем, что художественная интеллигенция лишена возможности полностью использовать свои силы.

Из этого положения есть только один выход: прежде всего изменить существующую систему образования. В Англии по тем двум причинам, о которых я уже говорил, это труднее сделать, чем где бы то ни было. Почти все согласны, что наше школьное образование слишком специализировано. Но почти все считают, что попытка

{339} Комментарии: 2.339

«Счастливчик Джим» — роман английского писателя Кингсли Эмиса (род. в 1922), опубликованный в 1954 г. В начале своей литературной карьеры Кингсли Эмис выступал как представитель «рассерженных молодых людей», английских писателей, выразивших в 50-е гг. недовольство молодежи английским буржуазным обществом. В конце 60-х гг. перешел на конформистские позиции.

изменить эту систему лежит за пределами человеческих возможностей. Другие страны недовольны своей системой образования не меньше, чем Англия, но они не так пассивны.

В США на каждую тысячу человек приходится гораздо больше детей, продолжающих учиться до 18 лет, чем в Англии; они получают несравненно более широкое образование, хотя и более поверхностное. Американцы знают, в чем их беда. Они надеются справиться с этой проблемой в ближайшие десять лет, но, возможно, им придется поторопиться. В СССР (также на тысячу человек населения) обучается больше детей, чем в Англии, и они получают не только более широкое образование, но и гораздо более основательное. Представление об узкой специализации в советских школах — нелепый миф, созданный на Западе[44]. Русские знают, что перегружают детей, и всеми силами стараются найти правильный путь.

Скандинавы, в частности шведы, уделяющие вопросам образования значительно больше вни-

[44] Примечания: 1.44

Я попытался сравнить американскую, советскую и английскую системы образования в статье «Новый интеллект для нового мира» («New Minds for the New World»), опубликованной в «New Statesman» 6 октября 1956 года.

мания, чем англичане, испытывают серьезные затруднения из-за необходимости тратить много времени на изучение иностранных языков. Важно, однако, что проблема образования их тоже тревожит.

А нас? Неужели мы уже закоснели до такой степени, что потеряли всякую возможность что-либо изменить?

Поговорите со школьными преподавателями. Они скажут вам, что наша жесткая специализация, которой нет больше ни в одной стране, — законнейшее дитя системы вступительных экзаменов в Оксфордский и Кембриджский университеты. Но в таком случае было бы вполне естественно изменить — эту систему. Не будем, однако, недооценивать наш национальный талант, разными способами убеждать себя, что это не так просто. Вся история развития образования в Англии показывает, что мы способны лишь усиливать специализацию, а не ослаблять ее.

По каким-то неизвестным причинам в Англии уже давно была поставлена цель готовить элиту, значительно меньшую, чем в любой другой сравнимой с нами стране, и получающую академическое образование по одной строго ограниченной специальности. В Кембридже в

течение ста пятидесяти лет это была только математика, затем математика либо древние языки и литература, потом были допущены естественные науки. Но до сих пор разрешается изучать только что-нибудь одно.

Быть может, процесс этот зашел столь далеко, что стал необратимым? Я уже говорил, почему я считаю его пагубным для современной культуры. Дальше я собираюсь рассказать, почему я считаю его роковым для решения тех практических задач, которые диктует нам жизнь. И при этом я могу вспомнить только один пример из истории английского образования, когда нападки на систему формальной умственной тренировки принесли какие-то плоды.

Здесь, в Кембридже, пятьдесят лет тому назад было отменено старое мерило заслуг — «математический трайпос»{340}. Более ста лет ушло на то, чтобы окончательно сложились традиции проведения этих экзаменов. Битва за первые места, от получения которых зависело все будущее ученого, становилась все более и более жестокой. В

{340} Комментарии: 2.340

«*Математический трайпос*» — публичный экзамен на степень бакалавра с отличием, введенный в Кембриджском университете в первой половине XVIII в.; *буквально:* стул на трех ножках, на котором в то время сидел экзаменующийся.

большинстве колледжей — в том числе и там, где учился я, — занявшие первое или второе место сразу же становились членами совета колледжа. Существовала специальная система подготовки к этим экзаменам. Таким одаренным людям, как Харди, Литлвуд, Рассел, Эддингтон, Джинс{341} и Кейнс, пришлось потратить два-три года, чтобы подготовиться к участию в этом необычайно усложненном состязании. Большинство кембриджцев гордились «математическим трайпосом», как почти все англичане и сейчас гордятся нашей системой образования, независимо от того, хороша она или плоха. Если вы займетесь изучением проспектов об образовании, вы наткнетесь на множество горячих доводов в пользу сохранения старой экзаменационной системы в том виде, в котором она существовала еще в древности, когда считалось, что это единственная возможность поддерживать должный уровень, единственный честный способ оценить заслуги и вообще единственное серьезное объективное испытание, которое известно в мире. Но ведь и сейчас, если

{341} Комментарии: 2.341

Джинс, Джеймс Хопвуд (1877–1946) — английский физик и астрофизик; имеет труды в области кинетической теории газов, теории теплового излучения, строения и эволюции звезд и т. д.; выдвинул космогоническую гипотезу.

кто-нибудь осмелится предположить, что вступительные экзамены в принципе — хотя бы только в принципе! — можно изменить, он так же, как сто лет назад, наткнется на стену искренней убежденности в том, что это невозможно, и даже рассуждения по этому поводу будут примерно такими же.

В сущности, старый «математический трайпос» можно было считать совершенным во всех отношениях, кроме одного. Правда, многие находили этот единственный недостаток довольно серьезным. Как говорили молодые талантливые математики Харди и Литлвуд, он заключался в том, что экзамен этот был абсолютно бессмысленным. Они пошли еще дальше и осмелились утверждать, что «трайпос» обесплодил английскую математику на сто лет вперед. Но даже в академических спорах им приходилось прибегать к обходным маневрам, чтобы доказать свою правоту. А ведь между 1850 и 1914 годами Кембридж обладал, видимо, значительно большей гибкостью, чем в наше время. Что было бы, если бы старый «математический трайпос» незыблемо стоял на нашем пути и сейчас? Сумели ли бы мы когда-нибудь его уничтожить?

2. Интеллигенция в роли луддитов

Существует много причин, объясняющих возникновение двух культур; они достаточно глубоки и сложны. Некоторые из этих причин связаны с общими закономерностями исторического развития, другие — с конкретными обстоятельствами истории Англии, третьи — с особенностями внутренней динамики интеллектуальной деятельности людей. Сейчас я хочу выделить одну из них, ту, которая, собственно, является не столько причиной, сколько коррелятом — неким фактором, неизменно фигурирующим во всех дискуссиях на эту тему. Ее легко сформулировать, и она действительно проста. Если забыть о тех, кто связан с наукой, вся остальная западная интеллигенция никогда не пыталась, никогда не хотела и никогда не была в состоянии понять промышленную революцию и еще меньше — принять ее. Интеллигенты, в частности писатели и художники, по существу, оказались

луддитами{342}.

Это особенно верно для Англии, где промышленная революция произошла раньше, чем во всем остальном мире, задолго до пробуждения социального сознания человечества. Может быть, этим в какой-то степени объясняется глубокая окаменелость внешних форм нашей сегодняшней жизни. Хотя, как ни странно, Соединенные Штаты оказались почти в таком же положении.

В обеих странах и вообще всюду на Западе первая волна промышленной революции подкралась так незаметно, что никто не понял, что произошло. Между тем это было событие огромной важности или, во всяком случае, чреватое важнейшими последствиями — мы видим их сейчас на каждом шагу, — так как по глубине вызванных им преобразований оно гораздо значительнее всего, что произошло в человеческом обществе после открытия земледелия. По существу, эти две революции — сельскохозяйственная и промышленная — единственные качественные изменения в развитии производительных

{342} Комментарии: 2.342

Луддиты — рабочие, стихийно выступавшие против применения машин и капиталистической эксплуатации в эпоху промышленного переворота в Англии (конец XVIII — начало XIX в.). Название произошло от имени легендарного подмастерья Лудда, который первым разрушил станок.

сил за всю историю человечества. Но традиционная культура не замечала промышленной революции, а если и замечала, то относилась к ней неодобрительно. Это, однако, не мешало ей процветать за счет развития промышленности: английские учебные заведения получали свою долю богатств, стекавшихся в Англию в XIX веке, что коварным образом и помогло им стать теми закосневшими институтами, которые мы сейчас знаем. Промышленная революция создавала благосостояние для всех, но интеллигенция отдавала ей лишь жалкие крохи своего таланта и творческой энергии. Чем богаче становилась традиционная культура, тем дальше уходила она от революции; молодых людей готовили для административной деятельности, для службы в Индии, для развития самой культуры, но никогда и ни при каких обстоятельствах им не давали знаний, которые помогли бы им осмыслить промышленную революцию или принять в ней участие. В первой половине XIX века дальновидные люди начали понимать, что для процветания страны необходимо, чтобы часть одаренных умов получала научное и особенно научно-техническое образование. Однако к ним никто не прислушался. Представители традиционной

культуры не слушали их вовсе, а ученые-теоретики, такие, какими они тогда были, слушали неохотно. Рассказ об этом, оставшийся близким нам по духу и сейчас, можно найти в книге Эрика Эшби{343} «Технология и чистая наука»[45].

Английские ученые не хотели иметь ничего общего с промышленной революцией. «Это равно не угодно ни богу, ни мне», — как сказал Корри, ректор колледжа Иисуса, о поездах, приходящих по воскресеньям в Кембридж. В XIX веке теоретическими проблемами, связанными с промышленностью, интересовались в Англии только чудаки или способные рабочие. Американские социологи говорили мне, что в Соединенных Штатах происходило примерно то же самое. Промышленная революция началась в Новой Англии на 50 лет позже, чем у нас[46], но ни в период возникновения, ни потом, в XIX веке, в стране почти не было одаренных людей, обладав-

---

{343} Комментарии: 2.343

Эшби, Эрик (род. в 1904) — английский деятель в области просвещения.

[45] Примечания: 1.45

Eric Ashby, «Technology and the Academics» — лучшая и почти единственная книга на эту тему.

[46] Примечания: 1.46

В Америке промышленная революция развивалась очень быстро. Уже в 1865 году в Соединенные Штаты была направлена английская комиссия для изучения эффективности промышленного производства.

ших необходимыми специальными знаниями.

Любопытно, что, хотя процесс индустриализации начался в Германии гораздо позже, в 30–40-х годах XIX века, в немецких университетах того времени уже можно было получить довольно хорошее техническое образование, во всяком случае лучшее, чем то, которое было доступно по крайней мере еще двум поколениям молодежи Англии или Америки. Я не понимаю, как это произошло, поскольку совершенно очевидно, что никакого особого смысла в такой системе образования для Германии не было, но тем не менее дело обстояло именно так. В результате сын придворного поставщика Людвиг Монд{344}, окончивший университет в Гейдельберге{345}, оказался крупнейшим специалистом в области прикладной химии. А прусский офицер службы связи Сименс{346} получил в военной академии, а затем в университете прекрасное по тем вре-

{344} Комментарии: 2.344

Монд, Людвиг (1839–1900) — немецкий химик и промышленник, принявший британское подданство.

{345} Комментарии: 2.345

Университет в Гейдельберге — Гейдельбергский университет, основан в 1386 г., один, из старейших в Европе.

{346} Комментарии: 2.346

Сименс, Вильгельм (1823–1883) — немецкий инженер, специалист в области мартеновского производства.

менам образование в области электротехники. И Монд и Сименс переехали в Англию и не встретили там ни одного достойного соперника. Вслед за ними приехали другие немецкие специалисты, и все они нажили в Англии огромные состояния, как будто находились в богатой колонии, где никто не умел ни читать, ни писать. Такими же богачами становились немецкие инженеры в Соединенных Штатах.

И все-таки почти ни в одной стране мира интеллигенция не поняла того, что произошло. И писатели, конечно, не были исключением. Большинство из них с отвращением отвернулись от промышленной революции, как будто самое правильное, что могли сделать люди, наделенные высокой чувствительностью, — это бесплатно пользоваться благами, которые добывали другие; некоторые, вроде Рескина{347}, Уильяма Мор-

{347} Комментарии: 2.347

Рескин, Джон (1819–1900) — английский писатель и теоретик искусства; в его произведениях романтический протест против буржуазной действительности сочетался с призывом к возрождению «творческого» средневекового ремесла.

риса{348}, Торо, Эмерсона и Лоуренса, создавали фантастические идиллии, казавшиеся криками ужаса. Трудно назвать хотя бы одного первостепенного писателя, который был бы искренне увлечен промышленной революцией и увидел бы за уродливыми бараками, дымящимися трубами и торжеством чистогана жизненные перспективы, открывшиеся для бедных и пробудившие у 99 % его сограждан надежды, знакомые раньше только редким счастливцам. Так могли бы отнестись к промышленной революции некоторые русские романисты XIX века — у них хватило бы для этого широты натуры, — но они жили в обществе, еще не знавшем индустриализации, и им не представился подходящий случай. Единственным писателем мирового масштаба, который, кажется, понял значение промышленной революции, был престарелый Ибсен, но на свете существовало не так уж много вещей, которых не понимал этот старик. Индустриализация была единственной надеждой для бедняков. Я употребляю сейчас слово «надежда» в его примитивном

{348} Комментарии: 2.348

Моррис, Уильям (1839–1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства; видел в искусстве средство преобразования буржуазной действительности, участвовал в английском рабочем движении; широко известен его социально-утопический роман «Вести ниоткуда» (1891).

и прозаическом смысле. По-моему, те, кто слишком утончен, чтобы употреблять это слово таким образом, не заслуживают особого уважения. Хорошо нам, располагая всеми жизненными благами, рассуждать о том, что материальные ценности не имеют такого уж большого значения. Если кто-нибудь по доброй воле решил отречься от цивилизации — пожалуйста, никто не воспрещает ему повторить идиллию на берегах Уолдена. Если этот человек согласен довольствоваться скудной пищей, видеть, как его дети умирают в младенчестве, готов презреть удобства грамотности и жить на двадцать лет меньше, чем ему положено, я в состоянии отнестись к его эстетическому бунту с уважением[47]. Но к людям, которые — пусть только пассивно — пытаются навязать этот путь тем, кто лишен выбора, я не могу относиться с уважением. Потому что на самом деле выбор известен. С редким единодушием в любом месте, где представляется возможность, бедняки бросают землю и уходят на фабрики, уходят с той быстротой, с которой фабрики успевают их принимать.

[47] Примечания: 1.47

Вполне естественно, что улицы Стокгольма, построенные в XVIII веке, привлекают интеллигентных людей больше, чем Воллингбай. Я полностью с ними согласен. Но это не значит, что надо препятствовать строительству новых Воллингбаев.

Я вспоминаю свои детские беседы с дедом. Его вполне можно считать характерным примером мастерового XIX века. У него был недюжинный ум и сильный характер. В десять лет ему пришлось оставить школу, и с тех пор до глубокой старости он упорно учился сам. Как и все люди его класса, он самозабвенно верил в образование. И все-таки он ушел недалеко: не хватило житейской опытности и сноровки, как я теперь думаю. Все, чего ему удалось добиться, — это должности ремонтного мастера в трамвайном депо. Проживи такую жизнь его внуки, она показалась бы им чудовищно тяжкой и несправедливой. Но ему она казалась иной. Он был достаточно умен и понимал, что способен на большее; он был достаточно горд, чтобы испытывать законное возмущение; он был разочарован своими убогими успехами — и все-таки знал, что по сравнению со своим дедом он сделал огромный шаг вперед. Его дед был, наверное, батраком. Мне ничего о нем не известно, кроме имени. Он принадлежал к «темному люду», как называли подобных ему людей старые русские либералы, и его жизнь затерялась в необозримом море безымянных тружеников истории. По словам моего деда, его дед не умел ни читать, ни писать, но был человеком способ-

ным. Мой дед нисколько не оправдывал то, что общество сделало или, вернее, не сделало для его предков, и нисколько не идеализировал их жизнь. Во второй половине XVIII века батракам жилось вовсе не сладко; только такие снобы, как мы, думают об этом времени как об эпохе просвещения и вспоминают Джейн Остин.

Промышленная революция выглядела поразному в зависимости от того, откуда на нее смотрели — сверху или снизу. И сегодня тем, кто смотрит на нее из Челси, она кажется совсем не такой, как тем, кто живет в азиатской деревне. Люди вроде моего деда не спрашивали, будет им лучше или нет, если совершится промышленная революция. Они хотели только одного: как-то помочь ей.

Но в более изощренной форме этот вопрос все-таки остается. Мы, жители высокоразвитых стран, поняли, что приносит с собой промышленная революция: огромный рост населения, так как прикладные науки развиваются вместе с медициной и медицинской помощью; достаточное количество пищи — по тем же причинам; всеобщую грамотность, потому что это необходимое условие существования индустриального

общества. Есть, конечно, и потери[48]. Одна из них — милитаризм: организованное индустриальное общество легко может быть переорганизовано для ведения тотальной войны. Но плоды остаются, и с ними остается надежда на социальное переустройство.

Так что же, представляем ли мы себе, как появились эти преимущества? Научились ли мы понимать старую промышленную революцию? Сейчас мы стоим на пороге новой, научной революции., Неужели она встретит еще меньшее понимание? Никогда прежде мы не сталкивались с явлением, которое нуждалось бы в нашем понимании больше, чем научная революция.

3. Научная революция

Я только что вскользь заметил, что научная революция отличается от промышленной. Различие между ними нелегко поддается определению. Но поскольку оно достаточно существенно, я попытаюсь объяснить, в чем оно состоит. Под промышленной революцией я подразумеваю

---

[48] Примечания: 1.48

Не надо забывать, что при переходе от охоты и собирательства к земледелию тоже были потери, причем переходный период продолжался гораздо дольше. Для многих людей он наверняка был связан с подлинным духовным обнищанием.

постепенное внедрение машин, использование мужчин и женщин в качестве фабричных рабочих, превращение Англии из страны с преобладающим сельским населением в страну с населением, занятым главным образом промышленным производством и сбытом готовой продукции. Я уже говорил, что эти перемены застали нас врасплох: ученые не удостоили их вниманием, а у луддитов — как у настоящих, так и у их собратьев из интеллигенции — они вызвали только ненависть. Мне кажется, что эта реакция на промышленную революцию во многом определила то отношение к научным и художественным ценностям, которое выкристаллизовалось в наши дни. Промышленная революция началась примерно в середине XVIII века и продолжалась до начала XX века. Она вызвала к жизни другую революцию, тесно с ней связанную, но более глубоко пронизанную наукой, развивающуюся более бурно и таящую, быть может, гораздо более удивительные возможности. Эта новая революция родилась из союза чистой науки с индустрией. Она покончила с усовершенствованиями наобум и с чудаками изобретателями; в результате во главе промышленности встали те, кто действительно может ею

руководить.

На вопрос, когда именно началась научная революция, разные люди отвечают по-разному. Некоторые связывают ее начало с первыми серьезными успехами химической промышленности и машиностроения, то есть считают, что она началась около шестидесяти лет тому назад. Лично я думаю, что научная революция началась позже, не более чем тридцать-сорок лет назад. В качестве некой условной вехи я принимаю первые попытки применения технических средств, разработанных в промышленности для исследования атомных частиц. Я убежден, что общество, широко использующее автоматику и электронику и овладевшее атомной энергией, кардинальным образом отличается от всех других типов человеческого общества и ему предстоит глубочайшим образом изменить мир. С моей точки зрения, вся совокупность этих преобразований и называется *научной революцией.*

Такова материальная основа нашей жизни или, точнее, такова социальная плазма, частью которой мы являемся. Между тем мы почти ничего о ней не знаем. Я уже говорил, что высокообразованные люди из ненаучной среды часто бывают незнакомы с простейшими научными

понятиями; как это ни странно, но с прикладными науками дело обстоит еще хуже, чем с чисто теоретическими. Многие ли образованные представители художественной интеллигенции знают что-нибудь о старых или новых способах производства средств производства? Или представляют себе, что такое станок? Однажды я задал эти вопросы на литературном вечере. Присутствующие казались провинившимися школьниками. В их представлении промышленное производство так же таинственно, как шаманское врачевание. Возьмите, например, пуговицы. Это не слишком сложная вещь, но, поскольку их ежедневно изготовляют в количестве нескольких миллионов штук, только совсем уж закоснелые луддиты могут считать, что этот вид производства не заслуживает никакого внимания. И тем не менее я совершенно уверен, что среди лучших выпускников факультета изящных искусств Кембриджского университета нельзя найти даже одного из десяти, имеющего об этом производстве хотя бы самое отдаленное представление. В Соединенных Штатах поверхностное знакомство с промышленностью распространено, наверное, шире, чем в Англии, но мне кажется, что ни один американский романист,

независимо от степени его таланта, ни разу не рискнул этим воспользоваться. Американские писатели часто, и даже слишком часто, исходят из знакомства своих читателей с неким подобием феодального общества (напоминающим их старый Юг), но никогда не предполагают знакомства читателей с промышленным обществом. И английские романисты, конечно, тоже.

А между тем личные взаимоотношения в развитом промышленном обществе строятся на очень тонких нюансах и представляют большой интерес. Внешние формы их проявления обманчивы. На первый взгляд может показаться, что они ничем не отличаются от взаимоотношений в любом другом человеческом сообществе, построенном на принципе иерархии, где команды последовательно передаются сверху вниз, как это делается, например, в армии или в министерствах. На самом же деле они гораздо более сложны, и тот, кто привык к взаимоотношениям типа передачи команд по цепи, в современном обществе неизбежно попадает впросак. Странно, что ни один человек ни в одной стране Запада еще не знает, какими должны быть личные взаимоотношения в индустриальном обществе. Очевидно только, что они почти не зависят от

большой политики и связаны непосредственно с особенностями развития промышленности.

Честности ради надо также сказать, что ученые-теоретики всегда проявляли и проявляют до сих пор глубокую невежественность во всем, что касается промышленного производства. Совершенно естественно, что физиков-теоретиков и специалистов в области технической физики объединяют единые рамки общей научной культуры. Но расстояние между этими двумя группами все же очень велико. Настолько велико, что теоретики и инженеры часто совсем не понимают друг друга. Ведут они себя тоже по-разному: инженеры вынуждены приспосабливать свою жизнь к некой организованной среде, и, какими бы личными странностями они ни обладали, на работе они всегда дисциплинированны. Иное дело — ученые. Недаром статистика показывает, что среди тех, кто в политике занимает позиции слева от центра, больше всего ученых (хотя их стало меньше, чем было двадцать лет назад). Инженеры же почти целиком принадлежат к консерваторам. Не к реакционерам в буквальном смысле слова, а просто к консерваторам. Они заняты производством реальных ценностей, и существующий порядок вещей их вполне устра-

ивает.

У тех, кто работает в области чистой науки, сложилось совершенно превратное мнение об инженерах и техниках. Им кажется, что все связанное с практическим использованием науки совершенно неинтересно. Они не в состоянии представить себе, что многие инженерные задачи по четкости и строгости не уступают тем, над которыми работают они сами, а решение этих задач часто настолько изящно, что может удовлетворить самого взыскательного ученого. Инстинкт, обостренный чисто английским снобизмом — если не удается найти реальный повод стать снобом, англичанину ничего не стоит его выдумать, — говорит им, что практика — удел второсортных умов, и они считают, что это само собой разумеется.

Я позволяю себе несколько утрировать, так как тридцать лет назад сам думал точно так же. Сейчас даже трудно себе представить, в какой моральной атмосфере протекала тогда работа молодых кембриджских ученых. Больше всего мы гордились тем, что наша научная деятельность ни при каких мыслимых обстоятельствах не может иметь практического смысла. Чем громче это удавалось провозгласить, тем величественнее

мы держались.

Даже Резерфорд почти не разбирался в технике. Капица вызывал у него чувство глубочайшего изумления; множество раз с нескрываемым восхищением он рассказывал, как Капица переслал свой рабочий чертеж в «Метровик»{349}, где с помощью какого-то волшебства правильно его поняли, изготовили прибор (!) и доставили в лабораторию. Технические способности Кокрофта произвели на Резерфорда такое впечатление, что он добился для него специальных ассигнований на оборудование, и не каких-нибудь пустяков, а шестисот фунтов стерлингов! В 1933 году, за четыре года до смерти, Резерфорд твердо и недвусмысленно заявил, что не верит в возможность освобождения атомной энергии. А девять лет спустя в Чикаго начал действовать первый атомный котел. Это была единственная грубая ошибка, которую Резерфорд допустил за всю свою научную деятельность. Очень характерно, что она касалась вопроса, связанного с переходом от чистой науки к прикладной.

Не больше понимания и здравого смысла про-

{349} Комментарии: 2.349

«Метровик» — «Метрополитен-Виккерс», известная английская фирма, выпускающая вооружение, одна из старейших фирм этого рода в стране.

являли представители чистой науки и тогда, когда речь шла о социальных факторах. Самый большой комплимент, который можно им сделать, — это признать, что, как только настала необходимость, они с легкостью многому научились. Во время второй мировой войны абстрактный гуманизм ученых-теоретиков заставил их все-таки заинтересоваться промышленным производством, и это открыло им глаза. По роду своей деятельности я тоже вынужден был сделать попытку проникнуть в тайны промышленности. Должен сказать, что это один из самых плодотворных периодов моего образования. Но он начался, когда мне исполнилось тридцать пять лет, и, разумеется, было бы гораздо лучше, если бы это произошло хотя бы на десять лет раньше.

Итак, я снова вернулся к проблеме образования. Почему мы, англичане, не в состоянии справиться с научной революцией? Почему в других странах дело обстоит лучше, чем у нас, в Англии? Что мы думаем о нашем будущем? О нашей будущей культуре и нашей будущей практической деятельности? Мне кажется, моя точка зрения теперь уже ясна. Я считаю, что обе нити логических доводов приводят к одному и тому же выводу: обратимся ли мы к сфере интеллекту-

альной или социальной жизни, мы с одинаковой очевидностью увидим, что английская система образования порочна — порочна и для нашей духовной, и для материальной культуры.

Я не хочу утверждать, что во всех других странах система образования безупречна. Русские и американцы, как я уже говорил, в некоторых отношениях недовольны своей системой образования даже больше, чем мы, англичане, или, во всяком случае, делают более решительные попытки изменить ее. Но это связано, с тем, что они острее реагируют на перемены, происходящие за пределами их страны. Лично я не сомневаюсь, что, хотя ни русским, ни американцам пока не удалось найти правильное решение, они гораздо ближе к нему, чем мы. Кое-что нам удается значительно лучше, чем им. В битве за овладение умами тактически мы часто превосходим русских и американцев, но в вопросах стратегии наша деятельность — детская забава по сравнению с тем, что делают они.

Установить, в чем состоит различие между тремя системами образования, нетрудно. В Англии число учащихся в возрасте до восемнадцати лет на тысячу населения значительно меньше, чем в СССР и США, и студентов, оканчивающих выс-

шие учебные заведения, тоже. Старый принцип создания немногочисленной элиты так никогда и не был у нас уничтожен, хотя он стал ныне менее жестким. Сохраняя верность традиции, мы по-прежнему придерживаемся строгой специализации и даем нашим молодым людям в возрасте до двадцати одного года более тяжелую нагрузку, чем это делается в США, хотя и меньшую, чем в СССР. В восемнадцать лет молодые англичане, изучающие точные или естественные науки, несравненно образованнее студентов любой другой страны, но только в своей области; о том, что выходит за рамки их узкой специальности, они знают гораздо меньше, чем все их сверстники. В двадцать один год, получив первую ученую степень{350}, они все еще впереди других по своей профессиональной подготовке примерно на год.

Американцы ставят перед собой совершенно иные стратегические задачи. Они стремятся обучить в средних школах всех детей до восем-

{350} Комментарии: 2.350

...получив первую ученую степень и ниже (с. 218): *две первые степени.* — В Англии и США первой ученой степенью, которую получают все оканчивающие высшие учебные заведения, является степень бакалавра; затем следует ученая степень магистра и доктора; у нас последняя соответствует степени кандидата наук.

надцати лет[49] и дают им довольно широкое образование, не слишком заботясь о глубине и основательности знаний. Однако в рамках этого широкого образования всегда находится место для основных понятий математики, физики и естественных наук. Значительная часть 18-летних американцев поступает затем в колледжи, где так же, как и в школах, они получают более разностороннее и менее профессиональное образование, чем это принято в Англии[50]. По прошествии четырех лет учебы молодые американцы обычно не становятся такими хорошими специалистами, как выпускники учебных заведений Англии, но, если быть честным, необходимо признать, что среди лучших из них оказывается больше людей, сохранивших творческие устремления. Это связано, очевидно, с тем, что в американских колледжах нет такой жестокой муштры, как в английских. Настоящие трудности

---

[49] Примечания: 1.49

Это не совсем так. В тех штатах, где среднее образование поставлено особенно хорошо, например в Висконсине, среднюю школу посещают примерно 95 % детей в возрасте до 18 лет.

[50] Примечания: 1.50

Общественная структура в Соединенных Штатах сложна и многообразна, и уровень требований в колледжах колеблется в этой стране гораздо резче, чем в английских университетах. В некоторых колледжах он очень высок. В целом же это утверждение, очевидно, соответствует действительности.

в Америке начинаются лишь при получении докторской степени. Тут американцы становятся гораздо требовательнее, чем англичане. Стоит напомнить, что они находят достаточно талантов, чтобы позволить себе ежегодно отвергать такое же количество претендентов на докторскую степень по науке и технике, которое мы ухитряемся протащить через две первые ученые степени.

В средних школах Советского Союза обучение значительно менее специализировано, чем в Англии, и требует от детей большего напряжения, чем в Америке. Нагрузка в школах столь велика, что людям, не связанным с наукой, она кажется чрезмерной, и они пытаются найти другие пути обучения подростков от пятнадцати до семнадцати лет. Основная идея школьного обучения в СССР состоит в том, чтобы каждый учащийся овладел общим курсом, близким по типу к курсу европейского лицея. Значительная часть его — более 40 % — посвящена естественным наукам и математике. Каждый учащийся обязан изучать все предметы. В высших учебных заведениях принцип универсальности образования внезапно резко нарушается, и в последние три года пятигодичного курса специализация становится даже более узкой, чем в Англии. Так, если

в большинстве английских университетов студенты могут получить, скажем, специальность инженера-механика, то их коллеги в Советском Союзе в большинстве случаев получают более узкую специальность, по одному из разделов технической механики — типа аэродинамики, приборостроения или моторостроения.

Советские педагоги, конечно, не станут меня слушать, но я уверен, что в этом вопросе они несколько перебарщивают, так же как немного перебарщивают в СССР и с числом инженеров, которых там готовят. Сейчас оно значительно — на 50 % — превосходит общее число инженеров, выпускаемых во всех остальных странах, вместе взятых[51]. По теоретическим дисциплинам СССР готовит лишь немногим больше специалистов, чем США; но это не относится к физике и математике — здесь Советский Союз ушел далеко вперед.

По сравнению с Соединенными Штатами и Советским Союзом население Англии невелико. Учитывая эту разницу, при грубом расчете на душу населения получается, что на каждого

---

[51] Примечания: 1.51

В Соединенных Штатах ежегодный выпуск инженеров резко сокращается. Но никто из тех, к кому я обращался, не мог объяснить мне, с чем это связано.

специалиста, которого готовят в Англии, считая вместе ученых и инженеров, приходится по крайней мере полтора специалиста в Америке и два с половиной в СССР. Ясно, что кто-то из нас ошибается.

Я убежден, что в Советском Союзе в общем здраво оценивают сложившуюся ситуацию. Там лучше, чем в Англии, и лучше, чем в Америке, представляют себе, что такое научно-техническая революция. Разрыв между двумя культурами у них, по всей вероятности, не так глубок, как у нас. Просмотрев романы, выходящие сейчас в СССР, вы увидите, что советские писатели в отличие от английских обращаются к читателям, которые хотя бы в общих чертах знакомы с промышленностью. Наука проникает в советскую литературу нечасто, в этом отношении в Советском Союзе ей, кажется, повезло не больше, чем в Англии. Но техника проникает, и вполне успешно. Инженер — такая же обычная фигура в советских романах, как психиатр в американских. Советские писатели проявляют не меньший интерес к промышленному производству, чем Бальзак проявлял к ремесленно-фабричному. Я не хочу переоценивать этот интерес, но, может быть, он знаменателен, подобно тому как, быть может,

знаменательна неистребимая вера в образование, с которой постоянно сталкиваешься на страницах советских романов. Их герои стремятся к образованию так же, как стремился к нему мой дед, и руководят ими те же возвышенные и сугубо практические интересы.

Во всяком случае, ясно, что русские как-то оценили, сколько и каких специалистов — мужчин и женщин[52] — нужно их стране, чтобы достигнуть вершин научно-технической революции. В достаточно упрощенном виде их расчеты, которые кажутся мне близкими к истине, таковы.

Во-первых, столько специалистов самого высокого класса, сколько может дать страна. Ясно, что их никогда не будет слишком много. Вместе с тем, если только имеется достаточно школ и университетов, все остальное (учебные планы, программы и т. п.) для этой категории специалистов уже не имеет большого значения — талантливые люди все равно сумеют пробить

[52] Примечания: 1.52

Треть инженеров, оканчивающих советские вузы, — женщины. Одна из наших главных ошибок состоит в том, что мы считаем женщин неспособными к научной деятельности, хотя часто утверждаем обратное. Тем самым мы вдвое сокращаем возможный приток талантов.

себе дорогу[53]. Пропорционально количеству населения в Англии по меньшей мере столько же специалистов такого рода, сколько в СССР и США, так что это самая маленькая из наших забот.

Во-вторых, гораздо более широкая прослойка высококвалифицированных специалистов: ученых, выполняющих рядовые научные исследования, конструкторов сложного оборудования, инженеров, претворяющих научные проекты в жизнь. По качеству такого рода работников Англия вполне может соперничать с США и СССР; это как раз тот тип специалистов, для подготовки которых английская система образования приспособлена лучше всего. Но в количественном отношении (опять-таки пропорционально населению) мы не в состоянии догнать СССР, так как не можем подготовить даже половины того числа специалистов, которые готовит он.

В-третьих, еще одна прослойка квалифицированных работников, соответствующая примерно тем, кто в Англии сдал первую часть экзаменов,

[53] Примечания: 1.53

Было бы весьма полезно выбрать наугад сто творческих работников самого высокого класса и установить точно, какое именно научное образование получают такие специалисты в наше время. Как это ни удивительно, мне кажется, что большинство из них преодолевают лишь самые обычные препятствия в виде 2-й части физики в Кембриджском университете или что-либо подобное.

входящих в естественнонаучный или технический «трайпос». Некоторые из них должны выполнять подсобные технические операции, другие — заниматься более ответственной работой, например руководить группами нижестоящих служащих. Правильное использование таких людей требует иного, чем в Англии, распределения специалистов по способностям. По мере развития научно-технической революции потребность в них возрастает до таких размеров, которые мы не можем себе представить, хотя в СССР сумели это сделать. Такого рода специалистов понадобятся тысячи тысяч, и все они должны обладать тем высоким уровнем общего развития, который дается высшим образованием[54]. Пожалуй, в этом пункте неспособность предвидения подводит нас больше всего.

В-четвертых, и в последних, большое количество работников государственного аппарата и администрации, достаточно разбирающихся в науке, чтобы понять запросы ученых.

---

[54] Примечания: 1.54

Англичане пытаются готовить таких специалистов не в университетах, а в учебных заведениях более низкого класса. Трудно придумать что-нибудь менее разумное. Мы не раз убеждались, что американские инженеры в узкопрофессиональном смысле подготовлены хуже, чем выпускники английских технических колледжей, но они все обладают той уверенностью — в себе самих и в своем социальном положении, — которая делает их неотличимыми от выпускников университетов.

Вот то, что необходимо, или почти все, что необходимо для успешного развития научно-технической революции[55]. Я хотел бы быть уверенным, что мы обладаем достаточной гибкостью, чтобы приспособиться к этим требованиям. Сейчас я собираюсь перейти к проблемам, которые представляют общемировой интерес, но надеюсь, что мне простят естественное желание поговорить прежде всего о нашем собственном будущем. Пройдя долгий путь развития, Англия оказалась в более неустойчивом положении, чем другие высокоразвитые страны. В этом равно повинны история и случай, и сейчас мы не можем возложить ответственность за то, что произошло, на кого-то одного из своих соотечественников. Если бы наши предки употребили свои способности на развитие промышленной революции, а не на создание колониальной империи, положение Англии оказалось бы гораздо более прочным. Но они этого не сделали.

Население Англии вдвое превышает количество людей, которое страна может прокормить,

---

[55] Примечания: 1.55

Я ограничился обсуждением вопроса о специалистах с высшим образованием. Сколько нужно технических работников и каких именно — это другая очень интересная проблема.

поэтому an fond[56] мы всегда испытываем большее беспокойство, чем Франция или Швеция[57]. К тому же наши природные ресурсы очень скудны (по масштабам великих мировых держав их просто нельзя принимать в расчет). По существу, наше единственное достояние — это наши способности. И они совсем неплохо нам послужили. Во-первых, мы проявили немалую искусность — врожденную и благоприобретенную, — научившись ладить друг с другом, а это уже значит стать сильными. Во-вторых, мы показали, что творческая энергия и изобретательность англичан несоразмерны с их численностью. Я не слишком верю в разделение народов на «умные», «менее умные» и т. п., но, во всяком случае, по сравнению с другими мы не оказались более глупыми.

Обладая такими качествами, мы, казалось бы, должны были раньше других осознать наступление научно-технической революции, лучше подготовиться к ее приходу и стать во главе нового движения. Кое-что мы действительно сделали.

---

[56] Примечания: *

Здесь: в глубине души *(фр.)*.

[57] Примечания: 1.57

Само собой разумеется, что сконцентрированность населения делает нас к тому же более уязвимыми в военном отношении.

В некоторых областях — в области атомной энергии, например, — мы сделали даже больше, чем можно было ожидать. Несмотря на мертвые шаблоны нашей системы образования и глубокий разрыв между двумя культурами, мы по мере наших скромных сил и возможностей пытались приспособиться к новым условиям.

Горько признаться, но это даже отдаленно не напоминает то, что нужно было сделать. Сказать, что мы должны перевоспитаться или погибнуть, — значит несколько сгустить краски и унизиться до мелодрамы. Наверное, правильнее сказать, что мы должны перевоспитаться, иначе мы увидим, как почва уходит у нас из-под ног. Но мы не в силах что-либо предпринять — теперь я твердо в этом уверен, — не разрушив сложившихся канонов нашей жизни.

Я понимаю, насколько это трудно. Почти все мы внутренне этому сопротивляемся. И я тоже в душе всячески сопротивляюсь неприятной необходимости опираться одной ногой на мертвый или умирающий мир, а другой нащупывать какой-то другой, неизвестный мир, которому мы должны взглянуть в лицо, чего бы это нам ни стоило. Я хотел бы быть уверенным, что у нас хватит мужества сделать то, что велит разум.

Один исторический миф тревожит меня чаще, чем хотелось бы. Содержится ли в нем подлинная историческая правда или нет, в конце концов, не так уж важно — он все равно производит на меня гнетущее впечатление. Я не могу забыть о последних пятидесяти годах существования Венецианской республики{351}. Как и Англия, Венеция когда-то была сказочно богата. Как и Англия, она разбогатела случайно. Венецианцы обладали исключительной политической ловкостью, и англичане тоже. Среди них было немало упорных, трезвых людей, любящих свое государство, и среди нас тоже. Они понимали — так же хорошо, как понимаем сейчас мы, — что их корабль плывет против течения истории. Многие из них напрягали все свои силы и способности в поисках спасения. Чтобы выжить, им надо было разбить сковавшие их традиции. Но они их любили так же, как мы любим свои. И у них не хватило на это сил.

{351} Комментарии: 2.351

Венецианская республика — существовала с начала IX в., была могущественным средиземноморским государством. В XVII–XVIII вв. войны с Турцией подорвали ее экономическое положение. В 1797 г. была оккупирована французскими войсками под командованием Наполеона, затем несколько раз бывала попеременно присоединена к Австрии и Итальянскому королевству. По Венскому миру 1866 г. окончательно вошла в состав Итальянского королевства.

4. Богатые и бедные

То, о чем я сейчас говорил, — это наша личная забота, и мы должны справиться с ней сами. Правда, иногда мне кажется, что тень Венецианской республики пала на весь Запад. Такое ощущение у меня бывало даже по другую сторону Миссисипи. В более светлые минуты я утешаюсь мыслью, что американцы скорее похожи на нас самих в период между 1850 и 1914 годами. Можно по-разному оценивать то, что они делают, однако же они что-то делают. Им нужны длительные и напряженные усилия, чтобы подготовиться к научно-технической революции так же хорошо, как русским, но, судя по всему, американцев на это достанет.

Основная проблема, связанная с научно-технической революцией, тем не менее не в этом. Она состоит в том, что народы индустриальных стран становятся все богаче и богаче, а в слаборазвитых странах жизненный уровень в лучшем случае остается прежним. Из-за этого разрыв между индустриальными и неиндустриальными странами непрерывно увеличивается. Так мы снова оказываемся перед старой пропастью между богатыми и бедными, но уже в мировом масштабе.

К богатым относятся США, такие страны Британского содружества наций, как Канада и Австралия, Великобритания, большая часть Европы и СССР. Все остальные народы принадлежат к бедным. В богатых странах люди живут дольше, питаются лучше и работают меньше. В бедных, например в Индии, продолжительность жизни по крайней мере вдвое меньше, чем в Англии. По некоторым данным, в Индии и ряде других азиатских стран на душу населения приходится сейчас меньше продовольствия, чем поколение назад. К сожалению, статистика здесь недостаточно надежна, и в ФАО{352} мне советовали не слишком на нее полагаться. Тем не менее считается общеизвестным, что во всех слаборазвитых странах люди едят лишь столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду, и работают так же тяжело, как работало большинство людей со времен неолита до XX столетия. Для большей части человечества жизнь всегда была мрачна, жестока и коротка. В бедных странах она не изменилась до сих пор.

Неравенство между богатыми и бедными не

{352} Комментарии: 2.352

ФАО («Фууд энд агрикалчурал организейшн») — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, межправительственная международная организация.

осталось незамеченным. И совершенно естественно, что первыми его заметили бедные. А коль скоро они его заметили, неравенство не будет существовать вечно. Трудно сказать, что именно из сегодняшнего мира сохранится до 2000 года, но такое положение вещей, во всяком случае, не сохранится. Поскольку секрет богатства известен — а теперь он действительно известен, — мир не останется расколотым на богатых и бедных. И он уже меняется.

Запад не может не помочь свершению этих преобразований. Беда только в том, что из-за разорванности нашей культуры мы не в силах ясно представить себе, насколько эти преобразования огромны и, главное, с какой быстротой их необходимо осуществить.

Я уже говорил, что найдется не много людей, не связанных с наукой, которые отчетливо представляют себе, что такое ускорение. Я говорил об этом в шутку. Но когда речь идет о социальных явлениях, это уже несколько больше, чем шутка. В течение всей истории человечества, вплоть до нашего столетия, социальные изменения происходили очень медленно. Настолько медленно, что за одну человеческую жизнь их просто нельзя было заметить. Теперь это уже не так. В наши дни

социальные перемены происходят с такой быстротой, что мы не успеваем с ними осваиваться. В следующие десятилетия неизбежно произойдет еще больше социальных изменений, чем в предыдущие, и они будут касаться гораздо большего числа людей. Народы, живущие в бедных странах, без труда постигли этот простой закон. Они больше не удовлетворяются надеждами, исполнения которых надо ждать дольше, чем длится одна человеческая жизнь.

Убаюкивающие заверения, идущие de haut en bas[58] и сулящие облегчение через сто или двести лет, вызывают теперь лишь возмущение. Высказывания, которые все еще приходится слышать от старых знатоков Азии и Африки: «Ну о чем вы говорите?! Этим людям понадобится пятьсот лет, чтобы достигнуть нашего уровня жизни», не только самоубийственны, но и технически безграмотны. Они производят особенно сильное впечатление, когда исходят от людей — а в большинстве случаев так оно и бывает, — находящихся на такой «высокой» ступени культуры, что неандертальцы, кажется, догнали бы их за каких-нибудь пять лет.

---

[58] Примечания: *
Сверху вниз *(фр.).*

Ситуация такова, что возможность быстрых перемен уже доказана. Когда сбросили первую атомную бомбу, кто-то сказал, что отныне самый важный секрет перестал существовать: все узнали, что такая бомба может взорваться. После этого любая индустриальная страна, захотевшая иметь атомную бомбу, могла сделать ее в течение нескольких лет. Точно так же основной секрет индустриализации СССР и некоторых других стран перестал быть секретом, как только индустриализация была осуществлена. Народы Азии и Африки обратили на это внимание. Советскому Союзу понадобилось для индустриализации 40 лет, причем русские начинали не с пустого места — какая-то промышленность в царской России уже существовала, но им помешала сначала гражданская война, а потом самая большая из всех войн, пережитых человечеством…

Вполне очевидно, что овладеть техникой не так уж трудно. Или, точнее, техника — это та часть человеческого опыта, которой можно овладеть в предсказуемый срок с предсказуемыми результатами. Но в течение долгого времени на Западе этого совершенно не понимали. Не менее шести поколений англичан постепенно овладевали тайнами промышленного производства. В конце

концов они убедили себя, что все связанное с техникой, очевидно, непостижимо ни для кого, кроме них самих. По сравнению с другими странами Англия действительно обладает некоторым преимуществом. Хотя, как мне кажется, оно заключается не столько в традициях, сколько в любви наших людей к механическим игрушкам: в Англии дети приобретают первые технические навыки раньше, чем научатся читать. Однако мы не извлекли из этого преимущества всего того, что могли бы извлечь. У американцев есть свое преимущество. Оно состоит в том, что девять из десяти их подростков умеют водить автомобили и в какой-то степени разбираются в моторах. В последней войне, которая была войной машин, это им очень пригодилось. СССР догоняет США по тяжелой индустрии, но пройдет еще немало времени, прежде чем поломка автомобиля будет в этой стране таким же мелким событием, как в

Америке[59].

Любопытно, что все эти обстоятельства на самом деле не имеют большого значения. Желание и немного времени — вот и все, что требуется для овладения техникой. Нет никаких доказательств, что одна страна или один народ более восприимчив к образованию, чем другой. Наоборот, есть много доказательств, что в этом отношении все равны. Традиции же и исходная техническая база, по-видимому, играют совершенно ничтожную роль.

Мы все видели это своими глазами. Я сам видел девушек из Сицилии, которые лучше других справлялись с дополнительным, и очень трудным, курсом физики в Римском университете; а каких-нибудь тридцать лет назад женщины Сицилии еще носили платки, закрывавшие все

---

[59] Примечания: 1.59

Во всех крупных индустриальных странах наблюдается одно интересное явление. Потребность в талантливых людях, способных выполнять работы первостепенной важности, оказывается больше, чем может дать страна, не прибегая к чрезвычайным мерам, и эта диспропорция становится с годами все более ощутимой. В результате эти страны испытывают недостаток в умных и компетентных людях, согласных заниматься интересной работой, а без этих людей невозможно добиться, чтобы колесики государственной машины вертелись без перебоев. Почта и железная дорога постепенно начинают работать хуже просто потому, что тех, кто раньше работал на этих участках, сейчас готовят для другой деятельности. Эта проблема стала уже очевидной в Соединенных Штатах и становится очевидной в Англии.

лицо. Я помню, как в начале 30-х годов Джон Кокрофт вернулся из поездки в Москву. Слух о том, что он видел не только лаборатории, но даже заводы и инженеров, мгновенно облетел всех знакомых. Не знаю, чего мы ожидали, но некоторые наверняка рассчитывали насладиться дорогими сердцу западного человека рассказами про мужиков, падающих ниц перед фрезерными станками или ломающих голыми руками вертикальные сверла. Кто-то спросил у Кокрофта, как выглядят в Москве квалифицированные рабочие. Надо сказать, что Кокрофт никогда не отличался многословием. Факт — это факт, это факт{353}. «Примерно так же, как в „Метровик“», — сказал он. И это было все. Самое интересное, что он, как всегда, оказался прав.

От этого никуда не уйдешь. Практически вполне возможно осуществить научно-техническую революцию в Индии, Африке, Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и на Среднем Востоке за пятьдесят лет. Для тех представителей западного мира, которые этого не знают, нет извинений. Так же как нет извинений для тех, кто не знает, что

{353} Комментарии: 2.353

Факт — это факт, это факт. — Перифраз выражения американской писательницы Гертруды Стайн (1874–1946): «Роза — это роза, это роза».

это единственный способ избежать страшных опасностей, которые нас подстерегают: водородной бомбы, перенаселения и все углубляющейся пропасти между богатыми и бедными. Сложилась действительно одна из тех ситуаций, когда неведение — тягчайшее преступление.

Поскольку пропасть между богатыми и бедными странами в принципе может быть уничтожена, она, конечно, исчезнет. Если мы так близоруки и неумны, что не способны этому содействовать, руководствуясь добрыми чувствами или соображениями выгоды, то это произойдет ценой кровопролития и жестоких страданий, но произойдет неизбежно. Вопрос только в том — как? Исчерпывающего ответа мы пока не знаем, но и то, что уже известно, дает достаточную пищу для размышления. Всемирная научно-техническая революция требует прежде всего огромных капиталовложений во всех видах, включая основное промышленное оборудование. Бедные страны, до тех пор пока они не достигнут определенного уровня индустриализации, не смогут сами накопить необходимых средств. Именно поэтому пропасть между странами богатыми и бедными все углубляется и бедным странам необходим приток капитала извне.

Существует только два источника, откуда могут поступить необходимые средства: один — это Запад, то есть главным образом США, другой — СССР. Но даже Соединенные Штаты не обладают беспредельными возможностями. Если США или СССР попытаются самостоятельно покрыть все расходы, это потребует от их промышленности большего напряжения, чем потребовала вторая мировая война. Если же они разделят это бремя с другими странами, такие тяжелые жертвы уже не понадобятся, хотя, с моей точки зрения, думать, как некоторые мудрецы, что при этом вообще можно обойтись без жертв, — значит проявлять чрезмерный оптимизм. Размах дела требует, чтобы оно стало общенациональным. Частным компаниям, даже самым крупным, подобные мероприятия не под силу, к тому же надо честно признать, что они выходят за рамки обычного делового риска. Просить их об этом — значит делать примерно то же самое, что уже было сделано в 1940 году, когда Дюпонов{354} и

{354} Комментарии: 2.354

Дюпоны — группа финансового капитала в США; совместно с другими финансовыми группами страны контролирует крупнейшие промышленные корпорации «Дженерал моторс», «Юнайтед стейтс раббер», ряд кредитно-финансовых институтов.

ИКИ{355} попросили финансировать создание атомной бомбы.

Второе, что необходимо для успеха научно-технической революции и так же важно, как деньги, — это *люди.* Иными словами, нужны хорошо подготовленные научные работники и инженеры, обладающие достаточным умением применяться к обстановке, чтобы отдать индустриализации чужой страны по меньшей мере десять лет жизни. Пока англичане и американцы не перевоспитаются, то есть не научатся иначе думать и иначе чувствовать, советский народ будет иметь в этом вопросе огромное преимущество. Тут советская система обучения дала уже прекрасные плоды. Люди, о которых я говорю, в СССР есть, а у нас их нет, и у американцев дело обстоит не многим лучше. Представьте, например, что правительства США и Англии решили помочь Индии провести индустриализацию. Представьте себе, что они нашли необходимые средства. Но ведь для того, чтобы пустить в ход эту огромную машину, понадобилось бы 10–12 тысяч инженеров-американцев и столько же англичан. Совершенно очевидно, что сейчас мы не можем

{355} Комментарии: 2.355

ИКИ («Империал кемикал индастрис») — английская химическая монополия.

найти такое количество подготовленных людей.

Будущие специалисты, которыми мы пока не располагаем, должны быть соответствующим образом подготовлены не только профессионально, но и морально. Они не смогут выполнять порученную им работу, не отбросив всякую мысль о собственном превосходстве. Множество европейцев, начиная со святого Фрэнсиса Ксавье{356} и кончая Швейцером{357}, благородно посвящали свою жизнь азиатам и африканцам; они делали это из самых лучших побуждений, но хорошо сознавали свое превосходство. Так вот, это не те европейцы, которых сейчас ждут в Азии и Африке. Там нужны люди, готовые по-товарищески поделиться своими знаниями, честно помочь преодолеть технические трудности и уйти. К счастью, это как раз то отношение к делу, которое свойственно прежде всего ученым. Ученые меньше других заражены расовыми предрассудками; человеческие отношения среди тех, кто объеди-

---

{356} Комментарии: 2.356

Ксавье, Фрэнсис (1506–1552) — испанский иезуит, был миссионером в Восточной Азии и Японии.

{357} Комментарии: 2.357

Швейцер, Альберт (1875–1965) — немецко-французский мыслитель, миссионер, врач, органист, основной принцип его мировоззрения — «преклонение перед жизнью как основа нравственного обновления человечества».

нен единой научной культурой, демократичны по самой своей природе. Моральная атмосфера, в которой живут и работают ученые, очищена ветром равенства; там, где занимаются наукой, этот ветер подчас бьет в лицо сильнее, чем бриз на побережье Норвегии.

Вот почему ученые, безусловно, окажутся полезными в любом районе Азии и Африки. И они, несомненно, примут участие в разрешении третьей основной проблемы научной революции — проблемы всеобщего образования, которая в таких странах, как Индия, должна быть разрешена одновременно с проблемой капиталовложений и первоначальной помощью извне. При участии английских и американских ученых, готовых поделиться своими знаниями, а также преподавателей английского языка, которые для этого совершенно необходимы, любая слаборазвитая страна, наверное, могла бы добиться неплохих результатов примерно за двадцать лет.

Таковы общие контуры задачи. Требуются огромные вложения капитала и огромные людские ресурсы — научные работники и преподаватели языка, — большая часть которых на Западе отсутствует. При этом в течение ближайших лет вся эта гигантская работа не может

привести ни к каким ощутимым результатам, да и в отдаленном будущем ее результаты тоже представляются достаточно проблематичными.

Можно, наверное, сказать, и в личных беседах мне это уже говорили: «Все это очень красиво и очень величественно. Но вас считают человеком трезвым. Вы сторонник четкой конструктивной политики. Вы потратили много времени, изучая поведение людей, стремящихся к определенной цели. Уверены ли вы, что в данном случае люди будут вести себя так, как, по-вашему, они должны себя вести? Представляете ли вы себе, с помощью каких политических процедур можно привести в исполнение подобный план в парламентском государстве вроде США или Англии? Считаете ли вы, что есть хотя бы один шанс из десяти, что это возможно?»

Все эти вопросы совершенно естественны. Я могу ответить на них лишь одно: не знаю. С одной стороны, сказать, что люди самовлюбленны, слабы, тщеславны и властолюбивы, и думать при этом, что мы сказали все, — значит впасть в ошибку, в ту самую ошибку, в которую чаще всего впадают так называемые «реалисты». Люди действительно самовлюбленны, слабы, тщеславны и властолюбивы. Но это не строительные кирпичи,

которые есть в нашем распоряжении, и каждый оценивает их, исходя из своих собственных недостатков. Причем иногда люди способны на большее, и тот «реалист», который не принимает этого в расчет, просто несерьезен.

С другой стороны, я вынужден признать — без этого я не мог бы считать себя честным человеком, — что не знаю, с помощью каких политических мер можно вызвать к жизни добрые человеческие качества западного мира. Самое простое — предъявлять претензии. Какой, однако, это жалкий выход! И разве можно надеяться рассеять тревогу с помощью таких средств? Я действительно не знаю, как осуществить все то, что нам необходимо, и не знаю даже, осуществим ли мы хоть что-нибудь, но в одном я уверен: если этого не сделаем мы, это сделают социалистические страны. Им тоже будет нелегко, но они это сделают. Такой поворот событий означает для нас полный крах — практический и моральный. В лучшем случае Запад окажется тогда архипелагом в океане чуждого ему мира, а Англия — одним из островков этого архипелага. Готовы ли мы смириться с подобной участью? История не знает жалости к банкротам. Обернись дело таким образом, мы, во всяком случае, историю

больше писать не будем.

Сейчас еще не поздно принять какие-то меры, не выходящие за пределы возможностей разумных людей. Образование, конечно, не является полным решением проблемы, но, не перестроив системы образования, Запад не сможет даже начать борьбу. Все стрелки указывают в одну сторону. Уничтожить пропасть между двумя культурами одинаково необходимо и во имя отвлеченной идеи нашего интеллектуального оздоровления, и для решения самых насущных практических задач. Пока эта пропасть существует, общество не в состоянии мыслить здраво. Ради нашего интеллектуального здоровья, ради безопасности нашей страны, ради благополучия западной цивилизации — богатой среди бедных, ради бедных, которым не для чего оставаться бедными, если в мире существует разум, Англия, Америка и весь Запад должны по-новому взглянуть на образование. Это один из тех случаев, когда англичанам и американцам есть чему поучиться друг у друга. А нам вместе надо многому научиться у Советского Союза, если только мы не слишком для этого горды. Русские, конечно, тоже могут многое позаимствовать у нас и у американцев.

Не пора ли начинать? Точка зрения, что мы располагаем безграничным запасом времени, чрезвычайно опасна. На самом деле у нас очень мало времени. Настолько мало, что я даже не решаюсь подумать — сколько.

Пер. Ю. Родман

Наука и государственная власть{˘}

I

Один из странных парадоксов нашего времени заключается в том, что в промышленно развитых странах Запада самце ответственные решения принимаются горсткой людей, принимаются тайно, и в тех случаях, когда это официальные лица, обычно теми, кто не обладает достаточными знаниями и не представляет себе, к чему приведут их действия.

Самыми ответственными решениями я называю те, от которых в прямом смысле зависит наша жизнь или смерть. Например, решение

{˘} Комментарии: ˘

Зимой 1960 г. Сноу прочел в Гарвардском университете цикл лекций на тему «Основы свободного правления и обязанности гражданина». В 1961 г. эти лекции были изданы в Англии и США под названием «Наука и государственная власть». На русском языке впервые напечатано в книге «Две культуры».

форсировать создание атомной бомбы, принятое Англией и Соединенными Штатами в 1940 и 1941 годах; решение использовать созданную бомбу, принятое в 1945 году; решение, касающееся межконтинентальных ракет, которое привело к различным результатам в Соединенных Штатах и в Советском Союзе.

Я думаю, что создание оружия массового уничтожения является той проблемой, которая позволит нам наиболее отчетливо увидеть всю драматичность или, если угодно, мелодраматичность сложившейся ситуации. Но подобные же мысли приходят в голову в связи с рядом других ответственных решений, не имеющих отношения к военным действиям. Например, некоторые наиболее ответственные решения об охране здоровья населения, которые принимаются или не принимаются втайне от всех горсткой людей, опять-таки занимающих достаточно высокое положение, но обычно неспособных разобраться в сути поставленной перед ними задачи.

Это явление представляет собой, как я уже говорил, характерную особенность нашей жизни. Мы привыкли к нему, как привыкли к тем отрицательным последствиям, которые порождены разрывом между наукой и практикой и все воз-

растающей сложностью языка самой науки. Тем не менее я считаю, что явление это заслуживает пристального рассмотрения, ибо от него во многом зависит наше будущее.

Здесь, на Западе, мы почти не способны взглянуть на эту особенность нашей жизни свежим глазом. Мы слишком привыкли обманывать себя словами «свободный мир», «свободная наука». Все эти выражения, однако, теряют всякий смысл, когда дело доходит до тех решений, о которых я говорил. Они лишь помогают скрыть истину. В дальнейшем я еще вернусь к этому вопросу. А сейчас я хочу лишь отметить, что, пока в мире существуют нации и государства, каждая страна независимо от своего политического строя и законодательства неизбежно будет вынуждена принимать такого рода решения и последствия их будут весьма ощутимы, более ощутимы, чем нам бы этого хотелось.

Я знаю, что можно графически изобразить политическую структуру Англии и убедиться, что каждый из наших политических институтов отвечает принципам парламентаризма. Но, начертив такого рода диаграмму, мы ни на шаг не приблизимся к действительному пониманию вещей. Мы лишь снова будем обманывать себя, как

обманывали уже не раз, с теми особыми, присущими только нам благодушием и легкомыслием, которые уже давно характерны для западного мира и становятся все более характерными по мере роста нашего благосостояния.

Мне кажется, что прежде всего нужно постараться понять, что происходит на самом деле. Как сказал К. Прайс, «мы должны научиться рассуждать, не прибегая к помощи шаблонных клише, бездумно заимствованных из учебников»[60]. Научиться этому труднее, чем кажется.

О том, как должны складываться отношения между наукой и государственной властью, задумывались многие, но ни один из тех, кто интересовался этим вопросом теоретически и тем более практически, не осмелился утверждать, что эту проблему можно с легкостью решить раз и навсегда. Большинство идей, выдвинутых в этой области специалистами по теории управления, представляют собой лишь попытку как-то улучшить действующую систему и не открывают новых подходов к решению проблемы; к тому же

---

[60] Примечания: 1.60

Don K. Price. Government and Science. New York University Press, 1954, p. 30. Самая интересная и содержательная книга из всех, которые я прочел по этому вопросу. Все остальное, написанное в Англии о государственной власти и науке, не идет с ней ни в какое сравнение.

предлагаемые рецепты, как правило, совершенно неприменимы на практике.

Мне не удалось найти правильного ответа ни в одной из книг, которые я прочел; даже просто разумная постановка вопроса встречалась нечасто. Поэтому единственное, что мне остается, — это рассказать одну историю. Она имеет прямое отношение к подлинной истории. Я не стану делать вид, что мой рассказ никак не связан с той проблемой, о которой мы сейчас говорим. Я попытаюсь извлечь из него несколько обобщений или, точнее, предложить несколько практических советов.

II

Это рассказ о двух решениях и двух людях. Первый из них — сэр *Генри Тизард.* Я не хочу скрывать своей заинтересованности, как говорят хозяйки английских пансионов. Вместе со многими другими англичанами, которых волнует история научных исследований, связанных с последней войной, я считаю, что Тизард был самым лучшим из английских ученых, когда-либо занимавшихся приложением науки к военному делу. Более того, хотя, вообще говоря, я согласен со взглядами Толстого на роль личности в истории, я считаю,

что среди всех тех, кто помог Англии выстоять во время воздушных налетов, длившихся с июля по сентябрь 1940 года, нет никого, кто сделал бы больше, чем Тизард. Его заслуги до сих пор еще не получили должного признания. 8 мая 1945 года, будучи уже ректором колледжа Магдалины в Оксфорде — пост, который был для Тизарда не более чем почетной ссылкой, — он написал в дневнике: «Интересно, будет ли когда-нибудь точно и справедливо оценено то, что сделали ученые? Наверное, нет»[61].

Меня не удивляет, что, обращаясь к американцам, я должен рассказывать о Тизарде все с самого начала, поскольку, выступая перед английской аудиторией, я поступил бы точно так же. Мне еще не приходилось говорить о нем, и я очень рад, что делаю это впервые в Соединенных Штатах. Тизард относился с большим уважением к Америке и американской науке. Как мы вскоре увидим, благодаря его усилиям американским ученым стало известно все, что делали и знали англичане за 16 месяцев до формального вступления Соединенных Штатов в войну. Этот широкий и смелый жест, вполне в духе Тизарда, помог обе-

[61] Примечания: 1.61
Архив Тизарда. Дневник, 8 мая 1945 года.

им нашим странам сэкономить немало времени в войне с Гитлером.

Я думаю, что Тизард не возражал бы против моего выступления, потому что однажды, когда я угрожал ему сделать нечто подобное, он сказал: «Во всяком случае, я надеюсь, что вы будете беспощадны». Я уверен, что этими словами он хотел напомнить мне об одном своем высказывании, связанном с Резерфордом, смысл которого сводится к тому, что, имея дело с человеком достаточно большого масштаба, нужно отбросить излишнюю щепетильность. Родные Тизарда тоже не сомневаются, что такое отношение было бы ему только приятно, поэтому они предоставили в мое распоряжение все его бумаги. Тизард оставил большой личный архив. Он начал писать автобиографию, сохранились отрывки из его дневников. К концу жизни ему, как и большинству тех, кому довелось делать историю, хотелось самому подвести итоги и поставить точки над «и». Хотя мы были хорошо знакомы, я многое почерпнул из этих записок, так же как из других документов. Мои собственные догадки и впечатления, не подтвержденные фактами, занимают очень незначительное место в том, что мне предстоит рассказать. Все подобные случаи я постараюсь отметить.

Как Тизард выглядел? Когда я с ним познакомился, он был уже немолод, и его внешность почти не изменилась до самой смерти в 1959 году. Тизард был англичанином с головы до ног. Человека с такой наружностью, телосложением и манерами редко встретишь за пределами Англии и даже за пределами того профессионального круга, из которого он вышел. Его трудно было назвать красивым. Иногда он больше всего походил на необычайно интеллигентную и крайне чувствительную жабу. У него были рыжеватые волосы, но их оставалось уже немного. Лицо его резко расширялось книзу. Однако глаза совершенно преображали его, они были прозрачно-голубыми, в них светились настойчивость и живой интерес. Тизард был среднего роста и, как почти все преуспевающие деловые люди, обладал немалой физической силой. Но несмотря на крепко сколоченное тело, несмотря на быстрые, уверенные повелительные жесты и теплый поскрипывающий голос, в нем угадывалась какая-то дисгармония. Он не принадлежал к монолитам.

Тизард был человеком властным и задиристым; стоило ему где-нибудь появиться, как все невольно начинали прислушиваться к его словам. У

него был острый, живой язык, который людям моего поколения казался несколько старомодным. «Эндрейд (руководитель группы контроля военных изобретений) — это Микобер наоборот: он только и ждет случая отвергнуть какое-нибудь предложение». По поводу личных симпатий и антипатий, о чем я скоро буду говорить, он как-то заметил: «Топор зарыт в землю, но топорище на всякий случай под рукой». И многое другое. Можно составить целый сборник «тизардизмов», однако это вряд ли поможет лучше понять их автора.

Тизард, конечно, знал, что он человек одаренный, знал, что способен сделать многое, но его уверенность, которая заставляла людей следовать за ним, ничем не напоминала непроизвольную, глубоко укоренившуюся веру в себя, свойственную тем, кто уже благополучно достиг самой высокой точки своего творческого пути, например непроизвольную творческую самоуверенность его кумира Резерфорда. Тизард не всегда уживался с Тизардом. Маска гордеца, которую он носил, не могла скрыть напряженность его внутренней жизни.

Точно так же, как прекрасная физическая форма не могла защитить его от частых недомоганий.

Всю жизнь он был необычайно восприимчив к инфекциям и часто оказывался в постели из-за того, что у него ни с того ни с сего поднималась температура. У Тизарда была дружная семья и одаренные сыновья, но его потребность в человеческом участии была столь велика, что ему не хватало привязанности близких. Будь он на самом деле тем самоуверенным человеком, каким казался, дружба никогда не занимала бы в его жизни такого места. К счастью, у него было достаточно энергии и душевной теплоты, чтобы завязывать дружеские отношения с людьми самого разного возраста. Мне не раз приходило в голову, что лучше всего он чувствовал себя в клубе «Атенеум»{359}, потому что здесь он был окружен теми, кто не только восхищался им, но и любил его, а одно из удивительных свойств Тизарда заключалось в том, что в его присутствии даже «Атенеум» становился уютным.

Генри Тизард родился в 1885 году. Его отец был морским офицером с ярко выраженным интересом к науке, благодаря чему он стал помощником главного гидрографа морского флота и членом Королевского общества, хотя всегда

{359} Комментарии: 2.359

«Атенеум» — клуб в Лондоне, где бывают главным образом ученые и писатели.

оставался прежде всего морским офицером. Это обстоятельство оказалось очень важным для Тизарда, потому что оно определило не только его взгляды, но и карьеру. Тизард на всю жизнь сохранил искренний, слепой, горячий патриотизм офицера и инстинктивное умение находить общий язык с солдатами и матросами. Если бы его не подвело здоровье, он, конечно, стал бы военным. Он уже готовился поступить во флот, что было совершенно естественно в этой семье, как вдруг перед самыми экзаменами выяснилось, что у него не в порядке один глаз. «По-видимому, я отнесся к этому открытию философски, — рассказывает Тизард. — Насколько мне помнится, я не испытывал ни разочарования, ни облегчения, но для моего отца это было тяжелым ударом… Он пришел к своему другу в адмиралтейство и сказал: „Что делать с юношей, который не может поступить во флот?“»[62]

Такая же приверженность к раз и навсегда заведенному порядку была свойственна и Тизарду. Когда дело касалось науки и техники, он был радикалом, но по своему душевному складу он до самой смерти оставался честным, умным, испол-

---

[62] Примечания: 1.62
Архив Тизарда. Автобиография, рукопись, лист 17.

нительным консерватором. Его семья нуждалась в деньгах. Как во многих консервативных семьях английских государственных служащих, отец и мать Тизарда относились к деньгам с некоторым презрением и в то же время постоянно страдали от того, что их не хватает. Так же жил и их сын. Тизард был вынужден думать о деньгах до самой смерти. Он всегда зарабатывал немного, и, когда ему пришлось оставить государственную службу, никто не позаботился о том, чтобы обеспечить его должным образом, — слишком много поворотов и перемен было в его служебной карьере. Дожив до старости, он с горечью понял, что ему не на что жить.

Тизард не поступил во флот; вместо этого он получил классическое английское образование в Вестминстере{360} и Оксфорде… При этом оказалось, что у него удивительные способности ко всему, за что бы он ни брался. Впоследствии он считал, что мог бы стать хорошим профессиональным математиком, и жалел, что не стал им. Но в те годы он избрал своей специальностью химию — тот единственный предмет, преподавание которого стояло в тогдашнем Оксфорде на

{360} Комментарии: 2.360

Вестминстер — Вестминстер-скул, старейшее в Англии частное привилегированное среднее учебное заведение для мальчиков.

должной высоте. Поскольку сейчас в Оксфорде можно с успехом заниматься самыми разными научными дисциплинами, нам трудно себе представить, что в 1908 году для молодого Тизарда, подававшего блестящие надежды, осыпанного множеством академических наград, не нашлось руководителя, который помог бы ему сделать первые самостоятельные шаги на научном поприще. Подобно другим одаренным молодым англичанам и американцам того времени, он решил, что Германия — это та страна, где ему легче всего найти наставника. Тизард уехал в Берлин и начал работать под руководством Нернста.

В Германии он провел год и, как потом выяснилось, не вывез оттуда никакого сколько-нибудь интересного научного багажа. Зато он вывез нечто другое. Дело в том, что в лаборатории Нернста Тизард впервые встретил другого главного героя этого рассказа. Мне не так легко его представить из-за того, что англичане вечно меняют имена и звания. Тридцать с лишним лет спустя в качестве правой руки Уинстона Черчилля — «Серого кардинала»{361} — он стал известен как лорд

{361} Комментарии: 2.361

«Серый кардинал» — так называли отца Жозефа (1577–1638), капуцина, который был не только другом, но и ближайшим сотрудником французского кардинала Ришелье.

Черуэлл. Но почти все то время, пока длилась его дружба и вражда с Тизардом, этот человек носил имя Ф. А. Линдеман{362}. Тизард в своих записках всегда называет его этим именем. Чтобы не создавать дополнительных сложностей, я буду называть его так же.

III

Двое молодых людей встретились в Берлине осенью 1908 года. Мы не знаем, при каких обстоятельствах. А было бы интересно знать, так как независимо от того, что произошло потом, Тизард и Линдеман, безусловно, принадлежали к замечательным представителям своего поколения, и подобные встречи случаются нечасто. По любым нормам Линдеман был человеком необычайно странным и одаренным — квинтэссенция личности. Я знал его не так хорошо, как Тизарда, но мне не раз приходилось с ним беседовать. Линдеману было известно, что я не безразличен к делу, которым занимаюсь, и он употребил свое влияние на то, чтобы помочь мне. Он даже произнес обо

{362} Комментарии: 2.362

Линдеман, Фредерик Александр (умер в 1957) — главный научный советник Черчилля в период второй мировой войны.

мне речь в палате лордов[63], однако для меня гораздо важнее было то, что он принадлежал к людям, при встрече с которыми у романиста начинают чесаться руки. Поэтому, хотя я уверен, что в контроверзе Тизард — Линдеман, о которой я собираюсь рассказать, прав был Тизард, я питаю слабость к Линдеману и отношусь к нему с глубоким уважением. Наверное, борьба Тизарда с Линдеманом вообще не вызвала бы у меня такого интереса, если бы оба эти человека не внушали мне чувство симпатии и уважения.

Я уже говорил, что Тизард был англичанином с головы до ног. В Линдемане не было ничего английского. Мне всегда казалось, что в пожилом возрасте он больше всего походил на бизнесмена из Центральной Европы: землистое лицо с отяжелевшими чертами, безукоризненный костюм и фигура человека, который в юности был хорошим игроком в теннис, а приближаясь к пятидесяти годам, сильно располнел. Он говорил по-немецки так же хорошо, как по-английски, но из-за его манеры бормотать себе под нос, не разжимая губ,

---

[63] Примечания: 1.63

Официальный отчет палаты лордов (1957), недельный № 323, с. 482–496. Он ссылался на мою статью «Новый интеллект для нового мира». Поскольку в то время я состоял на государственной службе, мои друзья из Уайтхолла считали, что мне лучше не подписывать эту статью своим именем, но мое авторство ни для кого не было тайной.

в его английском слышалось что-то германское. Кем был по национальности его отец, до сих пор неизвестно[64]. Возможно, что он был немцем или эльзасцем. Не исключено, что он был евреем, хотя мне это кажется сомнительным. Я надеюсь, что эта призрачная тайна будет наконец раскрыта в официальной биографии. Одно, во всяком случае, несомненно: отец Линдемана был по-настоящему состоятельным человеком, и сам Линдеман в отличие от Тизарда относился к деньгам, как богатый человек, а не как государственный служащий.

Таким же несхожим было их отношение к Англии. Я уже говорил, что патриотизм Тизарда был патриотизмом морского офицера, то есть чем-то столь же неотъемлемым и бессознательным, как дыхание. Линдеман, который не родился англичанином, а стал им, относился к своей новой родине с фанатизмом человека, продолжающего в глубине души считать эту страну чужой. По-своему Линдеман заботился об интересах Англии больше, чем кто бы то ни было,

[64] Примечания: 1.64

R. F. Harrod. The Prof. Macmillan, 1959, p. 15, 107. Книга сэра Роя Харрода представляет собой биографию Линдемана, написанную по личным воспоминаниям автора. Харрод хорошо знал Линдемана, но он не претендует на понимание его научных воззрений.

но в этом «по-своему» чувствовалась горячность новообращенного изгнанника, и людям вроде Тизарда его патриотизм казался неестественным и перенапряженным.

В Линдемане многое казалось неестественным и перенапряженным. Он производил впечатление настолько больного человека, что тому, кто осмеливался к нему приблизиться, хотелось как-то облегчить его страдания. Он был ужасен, он был жесток и подозрителен, он обладал даром зло и беспощадно вышучивать людей и произвольно называл этот дар чувством юмора. Однако когда дело доходило до серьезных вещей, он плохо понимал самого себя и, хотя был человеком умным и сильным, не всегда выходил победителем из схваток с жизнью. Линдеман не знал никаких чувственных радостей. Он не пил вина. Его вегетарианство носило характер мании и заходило так далеко, что он не употреблял в пищу ничего, кроме яичных белков, сыра «Порт салют» и оливкового масла. Насколько известно, у него никогда не было связей с женщинами. В то же время он жил напряженной эмоциональной жизнью.

Тизард, который тоже постоянно горел и кипел, никогда не скрывал своих чувств, благодаря чему он, к счастью, имел жену, семью и был окружен

друзьями. Линдеман подавлял свои страсти, загонял их внутрь и обращал на самого себя. Эта разница была особенно заметна в их шутках. Я уже говорил, что с людьми заносчивыми Тизард мог быть резок и даже груб, но обычно его язык никого не ранил. Во рту Линдемана таилось жало.

Помню, как однажды я оказался в Оксфорде, когда там опубликовали очередной список университетских лауреатов. Мне кажется, это было во время войны. Мы с Линдеманом о чем-то беседовали. Во время разговора я заметил, что английская академическая система поощрений доставляет больше огорчений, чем радостей, потому что удовольствие тех, кто в январе или в июне попадает в этот список, не может сравниться с разочарованием непопавших. Мрачное, оплывшее лицо Линдемана мгновенно преобразилось. Его карие глаза, обычно такие печальные, засияли. С торжествующей усмешкой он сказал: «Ну конечно! Зачем же еще нужна награда, если не для того, чтобы с приятностью думать о несчастных, которые не сумели ее получить».

В этом постоянном стремлении все отравить, как почти во всех других своих стремлениях, Линдеман был гораздо темпераментнее боль-

шинства людей. Страсти, которые его обуревали, не могли вместиться в одну человеческую жизнь; они часто принимали характер мономании и заставляли вспомнить о непомерных страстях, описанных Бальзаком. Линдеман весь не мог вместиться в одну человеческую жизнь. Я уже говорил, что при взгляде на него у писателя начинали чесаться руки. И все-таки мне трудно сказать, кто заинтересовал бы меня больше в качестве героя романа — Линдеман или Тизард. Когда я был моложе — конечно, Линдеман. Сейчас, когда то, что мы называем «отклонением от нормы», интересует меня все меньше, а «норма» — все больше (я пользуюсь этими выражениями, конечно, только для краткости), — наверное, Тизард. Он, безусловно, был гораздо менее странным человеком, чем Линдеман. Но мне кажется, что его внутренний мир был сложнее.

IV

Конечно, хотелось бы знать, о чем они беседовали зимой 1908 года в Берлине. О науке — несомненно. Они оба неколебимо верили в то, что научная деятельность является высшей формой интеллектуальной активности мужчины, и пронесли эту веру через всю жизнь. Тизард

серьезно интересовался литературой. Линдеман — нет, так же как искусством вообще. Возможно, они говорили о политике. Оба они принадлежали к консерваторам, но консерватизм Тизарда был сродни гибкому, снисходительному консерватизму истэблишмента, в то время как консерватизм Линдемана доходил до эксцентричности и крайней реакционности. Я не думаю, что они говорили о любви или о женщинах, что было бы вполне естественно для мужчин их возраста.

Существует романтическое предание о том, что некогда эти два человека не могли жить друг без друга; оно особенно дорого некоторым обитателям Уайтхолла, которые знали Тизарда и Линдемана во времена их возвышения и непоправимых раздоров. Но поскольку я знаком с автобиографией Тизарда, отрывок из которой я сейчас приведу, а также с другими документами, мне кажется, что в этом предании их дружба предстает в сильно идеализированном виде. Правда, Тизард писал автобиографию не по горячим следам, но он взялся за нее главным образом ради того, чтобы рассказать о драматических перипетиях своей вражды с Линдеманом, и он был от природы слишком хорошим рассказчиком, чтобы в подобной ситуации преуменьшать

значение их прежней дружбы, если только его не принуждала к этому простая честность.

«Ф. А. Линдеман и я стали близкими, хотя и не задушевными друзьями. (Это первое упоминание о Линдемане в автобиографии Тизарда.) В Линдемане было что-то, что мешало задушевности. Он был одним из самых умных людей, которых я знал. Линдеман кончал школу в Германии, прекрасно говорил по-немецки, так же как по-английски, и свободно изъяснялся по-французски. Он был прекрасным экспериментатором. И хорошим спортсменом. Он предложил мне поселиться с ним вместе (в Берлине), но я отказался. Я думаю, что мой отказ был продиктован прежде всего тем, что Линдеман был гораздо богаче меня и я вряд ли мог вести такой образ жизни, как он, к тому же, живя вместе, мы бы все время говорили по-английски, потому что Линдеман, конечно, не стал бы учить меня немецкому языку. Я не пожалел о том, что отказался, так как через некоторое время между нами произошла одна незначительная ссора. Я отыскал

в Берлине гимнастический зал, хозяин которого в прошлом был боксером и даже чемпионом Англии в легком весе; мне нравилось ходить к нему на тренировки. Я уговорил Линдемана пойти побоксировать со мной.

Линдеман не мог допустить, чтобы кто-нибудь из его сверстников хоть в чем-нибудь оказался выше его, — это был один из самых тяжелых его недостатков. Он был неуклюжим и неопытным боксером, и, увидев, что при меньшем росте и весе я подвижнее его и быстрее работаю руками, он настолько потерял над собой власть, что я больше никогда с ним не боксировал. Не думаю, чтобы он когда-нибудь простил мне свое поражение. Тем не менее мы оставались близкими друзьями больше двадцати пяти лет, а после 1936 года стали непримиримыми врагами»[65].

Проведя год в Берлине, в лаборатории Нернста, Линдеман остался в Германии, где он прежде

---

[65] Примечания: 1.65
Архив Тизарда. Автобиография, рукопись, лист 52.

учился в школе, а потом в университете и в аспирантуре. А Тизард вернулся в Англию и начал преподавать в Оксфордском университете. Он сам писал[66], что как это ни странно, учитывая его последующую карьеру, но до 1914 года его совершенно не интересовало приложение науки к военному делу. Все помыслы Тизарда были направлены на чистую науку, и, только когда началась война и он подружился с Резерфордом или, вернее, когда Резерфорд стал его кумиром, положение резко изменилось. На первый взгляд это кажется парадоксальным, потому что имя Резерфорда является символом высших творческих достижений чистой науки, но то, что произошло, психологически вполне объяснимо, и вы сейчас это увидите. Во время войны 1914–1918 годов Тизард и Линдеман, которые оба только что перешагнули за тридцать, занимались весьма необычным делом. При этом они проявили не просто большую храбрость, а неестественную храбрость в прямом медицинском смысле этого слова. Они добились права принимать участие в экспериментах, которые проводились с примитивными самолетами того времени. Они избрали

[66] Примечания: 1.66
Там же, лист 66.

эту работу потому, что им не позволили сражаться с пулеметами в руках. Тизарду было разрешено совершать тренировочные полеты, но только в такую погоду, когда обычным летчикам-курсантам летать не разрешалось. «Согласен», — сказал он. Линдеман с экспериментальной целью однажды сам ввел самолет в штопор. Статистическая вероятность, что хотя бы один из них останется в живых, была необычайно мала, о двоих и говорить нечего.

После войны их жизни снова переплелись. Тизард вернулся в Оксфорд и вновь занялся преподаванием химии. По его протекции Линдеман вскоре получил место на кафедре экспериментальной физики, чем очень удивил английских ученых, так как до этого он ни разу не переступал порога английского университета[67]. Линдеман был крестным отцом одного из детей Тизарда. В течение двух-трех лет казалось, что благодаря их совместным усилиям в Оксфорде начинается пора научного расцвета — первого после XVII столетия.

Но затем с Тизардом и Линдеманом что-то случилось, причем перемена, происшедшая с

---

[67] Примечания: 1.67
Архив Тизарда. Автобиография, рукопись, лист 122.

Тизардом, сразу бросалась в глаза, а в Линдемане ощущалась гораздо менее явственно, потому что его внутренняя жизнь протекала более скрыто. Перемена эта означала нечто весьма элементарное. Они оба поняли, что на поприще чистой науки никогда не достигнут того, что по большому счету называется успехом. Тизард не скрывал этого ни в разговоре со мной («Я знаю, что никогда не сделаю ничего по-настоящему интересного»), ни в своей автобиографии: «Теперь я убедился, что никогда не буду выдающимся ученым в области чистой науки. Появляются более молодые и более способные люди»[68]. Для Тизарда это означало, что он не мог бороться в той же весовой категории, что Резерфорд и его друзья. Резерфорд, который оказал на Тизарда огромное влияние, был для него мерилом научных достижений. Тизард не надеялся стать Резерфордом. Резерфорды рождаются раз в триста лет. Но он был человеком гордым и сознавал свои силы, поэтому ему хотелось подняться если не на ту же ступеньку, на которой стоял Резерфорд, то хотя бы на предыдущую. А подняться он не мог, и в этом было все дело.

---

[68] Примечания: 1.68
Там же, лист 124.

Эти рассуждения заставили меня вспомнить слова Альфреда Кейзина{363}, который как-то заметил, что англичане все время взвешивают друг друга и самих себя, как будто торгуют кониной. Мне остается сказать только одно: Тизард и Линдеман переменились. Линдеман медленнее и не так резко. Но он был еще более гордым человеком и внутренне еще более убежденным в незаурядности своего интеллекта. Ему была непереносима мысль, что он не может как равный соперничать с Резерфордом и с его молодыми учениками, такими, как Чедвик, Кокрофт, Капица, Блэкетт или — в области теоретической физики — Бор, Гейзенберг, Дирак и десяток других. Создавшееся положение его решительно не устраивало. Вот почему Тизард и Линдеман, один сознательно, другой ощупью, начали искать пути к отступлению.

Интересно, были ли они правы? Сохранились бы их имена в истории науки, если бы у них достало веры в свои творческие силы, той веры, которой им не хватало больше всего? В сущности, они были гораздо одареннее многих ученых,

{363} Комментарии: 2.363

Кейзин, Альфред (род. в 1915) — американский критик, выступавший с идеей превосходства литературы и культуры Америки, автор книги «На родной почве» (1956).

которые сделали немаловажные открытия. В конце жизни Тизард — о Линдемане я ничего не могу сказать — с радостью отдал бы все свои достижения за четвертую часть резерфордовских œuvres[69]. При большем везении, при меньшей гордости смог ли бы Тизард, смогли бы Тизард и Линдеман сделать хотя бы четвертую часть того, что сделал Резерфорд? Когда я думаю об этом, мне отчетливо слышатся слова Харди, произнесенные двадцать лет тому назад: «Чтобы заниматься чем-нибудь стоящим (в устах Харди это означало заниматься творческим трудом, так как творчество было для него единственным стоящим видом деятельности), одной одаренности мало».

Быть может, следует считать, что одаренность Тизарда и Линдемана все равно не принесла бы должных плодов и они поступили правильно, порвав с чистой наукой. Научные интересы Тизарда были необычайно широки. Он принадлежал к той категории ученых (наиболее ярким их представителем был Уиллард Гиббс{364}), которые создают грандиозные системы, но, чтобы понять,

---

[69] Примечания: *

Здесь: результатов *(фр.)*.

{364} Комментарии: 2.364

Гиббс, Джозайя Уиллард (1839–1903) — американский физик-теоретик, один из создателей термодинамики и статистической механики.

какая именно система представляет в данный момент интерес, нужно обладать некой особой прозорливостью, а Тизард ею не обладал. С Линдеманом дело обстояло иначе. Если оставить в стороне его воинственный разрушительный критицизм, он был ученым с практическим складом ума, изобретательным и неистощимым на выдумки. Чтобы до конца использовать такого рода практический талант, нужно обладать одержимостью, заставляющей годами обдумывать устройство одного прибора. Так работал Астон, так работали Ч. Т. Р. Вильсон и Томас Мертон[70]. Но Линдеману это быстро надоедало. Вот почему он остался любителем среди профессионалов, и ведущие физики, в том числе Резерфорд, так к нему и относились.

V

Итак, хотя оба они были избраны членами Королевского общества сравнительно рано, раньше, чем это было бы возможно сейчас, Тизард и

---

[70] Примечания: 1.70

Ф. У. Астон потратил несколько лет жизни на создание масс-спектрографа, а Вильсон — на создание так называемой камеры Вильсона; и тот и другой — нобелевские лауреаты. Сэр Томас Мертон — известный спектроскопист и одновременно не менее известный знаток и собиратель произведений искусства.

Линдеман оставили чистую науку. И в том, как они это сделали, уже были заложены семена двух тяжелых конфликтов. Тизард стал одним из крупных организаторов науки. Это произошло меньше сорока лет тому назад, но совпало как раз с тем периодом, когда Англия начала усиленно развивать прикладную науку. Управление научных и промышленных изысканий было создано в Англии только в период войны 1914–1918 годов. Тизард, который во время этой войны завоевал репутацию крупного специалиста по приложениям науки[71], получил должность постоянного секретаря, то есть стал одним из ответственных руководителей, подчиняющихся непосредственно министру. В Англии такие руководители обладают большей властью и в большей степени определяют политику правительства, чем их коллеги в Соединенных Штатах. Они занимают ключевые позиции в системе управления и во многих отношениях более влиятельны и могущественны, чем министры. Тизард с самого

[71] Примечания: 1.71

Во время первой мировой войны Тизард был заместителем Бертрана Гопкинсона, который, по существу, возглавлял всю научно-исследовательскую работу в области авиации. Гопкинсон, выдающийся инженер-теоретик своего времени, погиб в 1918 году, пилотируя собственный самолет; ему, больше чем кому-либо другому, Тизард обязан своим пониманием значения науки для военных целей.

начала почувствовал себя в этом мире как рыба в воде. Он не был руководителем руководителей в настоящем смысле этого слова, хотя пользовался доверием и симпатией высших чиновников. За исключением тизардовского радикализма в научных вопросах, у этих людей было много общего с Тизардом и в воспитании, и во взглядах. Тизарду нравился Уайтхолл. Ему нравился «Атенеум», нравились товарищи по работе, такие же преданные своему делу, честные и упорные люди, как он сам, хотя гораздо менее искренние. Когда в 1929 году Тизард стал ректором Имперского колледжа{365} в Лондоне, он продолжал оставаться своим человеком в министерских кулуарах.

В эти же годы Линдеман проложил себе путь в совершенно иной мир — в высшее общество Англии и в высшие сферы политиков-консерваторов, которые в то время, когда высшее общество еще сохраняло какие-то атрибуты социального института, теперь утраченные или отмершие, весьма тесно соприкасались друг с другом. На первый взгляд кажется странным, что человек без светских связей, не англичанин по рождению и к тому же настолько непохожий на типичного

{365} Комментарии: 2.365

Имперский колледж — Имперский колледж науки и техники, входит в состав Лондонского университета.

представителя английского высшего общества, насколько это можно себе представить, с такой легкостью проник в святая святых. В действительности же в этом не было ничего странного. Возвышение Линдемана представляется загадочным, только если подходить к английскому обществу, сохраняя иллюзии Пруста{366}.

Линдеман был богат и к тому же настойчив. А английское общество из поколения в поколение было доступно богатым и беззащитно перед настойчивыми. В особенности если эти богатые и настойчивые оказывались еще и умными. По прошествии нескольких месяцев (а вовсе не лет) Линдеману уже подавали особые вегетарианские блюда во многих аристократических домах Лондона, а слегка инфантильные столпы общества называли этого почтенного профессора просто «проф». Очень скоро Линдеман становится близким другом лорда Беркенхеда (Ф. Смита), который знакомит его с Уинстоном Черчиллем, и это знакомство, необычайно быстро переросшее в дружбу, определило жизнь Линдемана до конца

{366} Комментарии: 2.366

…сохраняя иллюзии Пруста. — Марсель Пруст, как отмечают некоторые его биографы, стремился проникнуть в высшее общество и даже, как пишет младший его современник Ж. Сименон, использовал обходные пути, чтобы быть принятым в каком-нибудь модном салоне.

его дней.

Дружба Черчилля и Линдемана оказалась на редкость прочной и оборвалась только со смертью Линдемана. В большинстве случаев Линдеман завязывал великосветские связи из чистого снобизма — это был способ убежать от внутреннего поражения. Но его преданность Черчиллю не была запятнана никакими расчетами. Она нисколько не пострадала — или, быть может, скорее окрепла, чем ослабла, — за те десять лет (1929–1939), когда Черчилль был не у дел и казался одним из сотни великих людей manqués[72], одним из тех политиков, чье блестящее будущее уже позади. Преданность Черчилля была такой же бескомпромиссной. Под конец жизни Линдеман стал причиной трения между Черчиллем и другими его близкими друзьями. Черчилль знал об этом, он понимал, что Линдеман в какой-то мере осложняет его политическую жизнь. Но не пошел ни на какие уступки.

На чем держалась эта дружба? Этот вопрос задавали многие. Черчилль и Линдеман казались странной парой. Трудно было поверить, что между Черчиллем и суровейшим аскетом

---

[72] Примечания: *
Здесь: так и не ставших великими *(фр.)*.

Линдеманом — некурящим, непьющим и не употребляющим мяса — могла существовать какая-то душевная близость. Но этот вопрос, так же как аналогичный вопрос о Рузвельте и Гарри Гопкинсе, совершенно бессмыслен, если не знать их обоих, пусть не до конца, но хотя бы так же хорошо, как они знали друг друга. На чем вообще держится любая дружба, если уж мы начали задавать подобные вопросы?[73]

VI

В 1934 году и Тизарду и Линдеману было около пятидесяти. К этому времени Тизард, несомненно, успел гораздо больше, чем Линдеман, но даже он считал, что не оправдал ожиданий. Тизард занимал ответственный административный пост, он получил почетное дворянство, его избрали руководителем крупнейшего университетского колледжа, но сам он ценил свои успехи невысоко.

Что же касается Линдемана, то его достижения были еще скромнее. Профессиональные физики

---

[73] Примечания: 1.73

Можно, конечно, строить психологические догадки. Это столь же легко делать в случае Рузвельта — Гопкинса, как и в случае Черчилля — Линдемана.

относились к нему как к дилетанту; в их глазах он был одним из эксцентричных баловней высшего общества — и только. В научном мире его имя стоило немного. Имя политического деятеля, чьим близким другом он стал, стоило, пожалуй, еще меньше.

И вот совершенно неожиданно Тизарду представилась возможность заняться тем, для чего он был создан. По целому ряду причин, ставших в наше время еще более существенными: крошечные размеры страны, большая плотность населения, — стратегическое положение Англии катастрофически невыгодно. Болдуин{367}, игравший в 1934 году главную роль в правительстве, двумя годами раньше мрачно заявил: «В Англии бомбардировщик всегда попадает в цель».

В открытых дебатах мятежные политики вроде Черчилля резко критиковали оборонную политику правительства. Втайне от всех ученых сотрудничавшие с правительством военные специалисты и высокопоставленные чиновники ломали головы, чтобы придумать какое-ни-

{367} Комментарии: 2.367

Болдуин, Стэнли (1867–1947) — премьер-министр Англии, консерватор; правительство Болдуина подавило Всеобщую забастовку в Англии в 1926 I., разорвало дипломатические отношения с СССР в 1927 г., проводило политику попустительства фашистской агрессии в 30-е гг.

будь эффективное средство противовоздушной защиты. В самом этом факте не было ничего неожиданного. Нетрудно было предсказать, что Англия, более уязвимая для воздушных налетов, чем другие крупные страны, будет тратить больше усилий на попытки предотвратить эту опасность. Но никак нельзя было предугадать, что волею обстоятельств возглавлять всю эту работу будет не кто иной, как Тизард.

При министерстве авиации по инициативе его научного советника Х. И. Уимпериса, которому эту мысль подсказал блестящий молодой ученый А. П. Роу[74], тесно связанный с правительственными кругами, был образован Комитет по изучению средств противовоздушной обороны. Задача, поставленная перед новым комитетом, была сформулирована, как всегда, довольно расплывчато: «Решить, какие новейшие достижения науки и техники могут быть использованы для повышения эффективности существующих методов защиты против дей-

[74] Примечания: 1.74

В научной войне 1935–1945 годов Роу играл важную роль, которую нелегко оценить по заслугам, так как вся его деятельность была засекречена. Больше всего он известен как директор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи, самого интересного и продуктивного научно-исследовательского учреждения Англии в военные годы.

ствий вражеской авиации». В момент создания комитет не вызвал никакого интереса. Когда был объявлен его состав, никому не пришло в голову, что это событие заслуживает обсуждения. Лишь назначение Тизарда на пост председателя, чему он был целиком обязан Уимперису[75], кое-кому показалось несколько странным. И действительно, это назначение никогда бы не состоялось, не будь Тизард так близок к официальным кругам.

Почти сразу после первого заседания все стали называть этот комитет «комитетом Тизарда». Забавно, что сам Тизард, который, естественно, не мог называть его так в своем дневнике, по-видимому, даже не помнил официального названия и каждый раз называл его по-иному.

С первого же заседания, которое состоялось 28 января 1935 года, Тизард с необычайной горячностью взялся за решение поставленных перед ним задач. Это была та работа, для которой он был рожден. Очень скоро, к лету того же года, первый луч надежды проник сквозь старательно охраняемые двери и достиг Уайтхолла, — воистину единственный светлый луч, блеснувший

[75] Примечания: 1.75

Любопытно, что именно миролюбивый и добродушный Уимперис, который терпеть не мог никаких раздоров, добился организации этого комитета и назначения Тизарда на пост председателя.

за эти годы в правительственных сферах. Тизард настоял на чрезвычайно узком составе комитета, членов которого выбрал он сам. Уимперис не мог в него не войти, Роу был введен в качестве секретаря, но на первых порах в комитет входили лишь два члена, не связанных с правительством: А. В. Хилл{368} и П. М. Блэкетт. Это были выдающиеся ученые совсем другого масштаба, чем Тизард или Линдеман. Хилл — один из самых замечательных физиологов мира, лауреат Нобелевской премии 1922 года. Блэкетт, которому тогда исполнилось всего 37 лет, считался одним из наиболее блестящих учеников Резерфорда и впоследствии тоже получил Нобелевскую премию[76].

Я не думаю, что выбор Тизарда определялся прежде всего их научными заслугами. Тизард обладал необычайной способностью находить нужных ему людей. Как и все, кто наделен этим даром, он исходил прежде всего из того, что человек умеет делать. Тизарду было безразлично, что Хилл не принадлежал к ортодоксальным консерваторам и относился крайне неодобрительно

{368} Комментарии: 2.368

Хилл, Арчибалд Вивиен (1886–1977) — английский физиолог, имеет труды по термодинамике мышечного сокращения.

[76] Примечания: 1.76

В 1948 году.

к политике Болдуина — Чемберлена, иными словами, к политике его друзей из Уайтхолла. В отличие от других, менее храбрых людей Тизарду было совершенно безразлично, что Блэкетт был радикалом, более того, считался самой приметной фигурой среди радикально настроенных молодых ученых, непримиримых антифашистов, которые не одобряли ни одного шага своего собственного правительства. Я могу говорить об этом без обиняков, так как сам был одним из них.

Все это не имело для Тизарда никакого значения. Он знал, что Хилл и Блэкетт обладали не только практической сметкой, но и сильным характером, а также способностью принимать решения. Это были те качества, которые были ему нужны. У них было очень мало времени. И мне кажется, хотя я не могу этого утверждать, что Тизарда волновало еще одно обстоятельство. Ему хотелось, чтобы члены его комитета питали искреннюю симпатию к военным и могли найти с ними общий язык. Хилл успешно воевал во время первой мировой войны и опубликовал классическую работу по теории зенитной стрельбы. Блэкетт до того, как стал физиком, служил морским офицером.

Я убежден, что их опыт пришелся кстати. По-

тому что Тизард, Блэкетт и Хилл должны были в первую очередь не только остановить на чем-то свой выбор, что они сделали быстро, но еще убедить в своей правоте военных (и наладить постоянный обмен мнениями между офицерами и учеными), без чего их научные рекомендации оказались бы совершенно бесполезными. Выбор, перед которым они стояли, формулировался так: или — или. *Или* борьба за применение того устройства, которое позднее в Америке стали называть радаром, а в то время, когда оно только что было создано, называли Р. Д. Ф.{369}, *или* полная капитуляция.

Комитет решил сделать ставку на радар практически еще до того, как этот прибор был создан. Уотсон Уотт, который первым в Англии занялся разработкой радаров, провел несколько предварительных экспериментов в Радиоисследовательской лаборатории при Управлении научных и промышленных изысканий. В результате сложилось впечатление (только впечатление!), что через три-четыре года этот прибор будет по-настоящему полезен в военных условиях. На остальные приборы, по-видимому, нечего было

{369} Комментарии: 2.369

Р. Д. Ф. («радиодирекшн файндер») — радиопеленгатор.

надеяться. Тизард, Хилл и Блэкетт доверились своему здравому смыслу. Без лишней суеты комитет остановил свой выбор на радаре. Но после того, как решение было принято, нужно было провести его в жизнь.

Административные методы, с помощью которых это было достигнуто, сами по себе небезынтересны. Формально министр авиации Суинтон[77] распорядился создать новый, весьма ответственный комитет, который должен был действовать как подкомитет Комитета имперской обороны. Этот подкомитет подчинялся непосредственно Суинтону, и в него был включен также главный критик военной политики правительства Уинстон Черчилль. Но тому, кто хочет знать, как все это происходило не формально, а на самом деле, надо постараться представить себе те скрытые рычаги, которые приводят в движение английскую государственную машину. Можно не сомневаться, что, как только комитет Тизарда решил остановить свой выбор на радаре, Тизард

[77] Примечания: 1.77

Роль лорда Суинтона в этой подготовительной работе до сих пор недооценивается, так же как и роль Роу, хотя и по другим причинам.

пригласил Хэнки[78] позавтракать с ним в «Атенеуме». Затем Хэнки в качестве секретаря кабинета министров счел удобным выпить чашку чая с Суинтоном и Болдуином. Если бы Тизард не был своим человеком в правительственных кругах, он потратил бы на утверждение этого решения несколько месяцев или даже лет. В действительности же все прошло быстро, легко, гладко и внешне без всяких усилий, как всегда бывает в Англии, когда то или иное начинание пользуется поддержкой правительственных кругов. Через очень короткое время комитет Тизарда запросил несколько миллионов фунтов и в мгновение ока получил их, потому что Хэнки и сменивший его на посту секретаря Бриджес[79] сделали ради проталкивания этого решения значительно больше того, что предусматривалось их служебным положением.

Вторая непосредственная задача комитета Тизарда состояла в том, чтобы, в частности, убедить офицеров штаба авиации, что радар — их един-

[78] Примечания: 1.78

В то время сэр Морис Хэнки, позднее лорд Хэнки, один из наиболее влиятельных закулисных деятелей Англии, в течение многих лет занимался, в частности, вопросами подготовки к войне.

[79] Примечания: 1.79

Позднее постоянный секретарь министерства финансов по делам государственных служащих и лорд Бриджес.

ственная надежда, и вообще научить ученых и военных понимать друг друга. На этом пути тоже могли встретиться неодолимые препятствия. На самом же деле едва Тизард открывал рот, как все старшие офицеры, за исключением тех, кто был связан с осуществлением бомбардировки, проникались к нему полным доверием[80]. Они не раз порывались надеть на него военную форму, но это лишило бы Тизарда возможности выступать в роли посредника между военными и учеными. «Я решил никогда не надевать кивер», — говорил он. Стараниями Тизарда военные вскоре не только согласились на установку радаров, но и поверили в их эффективность; мало того, Блэкетту удалось преподать ученым и военным первый из тех уроков, которые они с Тизардом давали тем и другим в течение двадцати лет.

Урок, который был преподан военным, заключался в том, что войны нельзя вести с помощью одного лишь энтузиазма. Военные операции должны быть научно обоснованы. С этого нача-

[80] Примечания: 1.80

См.: P. M. S. Blackett. Tizard and the Science of War. — «Nature», 185 (1960), p. 647–653.

лось исследование операций[81] — новая наука, создание которой является главным личным вкладом Блэкетта в победу над Германией[82]. Урок же, преподанный ученым, состоял в том, что разумный совет можно дать военным только в том случае, когда советчик убежден, что, оказавшись на месте ответственного исполнителя, он не изменил бы своего мнения. Это трудный урок. Если бы он был усвоен, число теоретических трактатов о будущих войнах сократилось бы во много раз.

Как я уже сказал, первое заседание комитета Тизарда состоялось в январе 1935 года. К концу этого года главные его решения были, по существу, приняты. К концу 1936 года большинство этих решений начали проводить в жизнь. Этот немногочисленный комитет оказался одним из самых работоспособных комитетов в истории Англии. Но еще до того, как в нем были приняты

---

[81] Примечания: 1.81

«Исследование операций» в Америке обозначалось как «operation research», а в Англии — как «operational research». Но так как начало им было положено в Англии, я предпочитаю английское название. Еще в 1914–1918 годах ученые, работавшие под руководством А. В. Хилла, испытывали зенитные орудия и впервые начали заниматься тем, что мы потом стали называть «исследованием операций».

[82] Примечания: 1.82

P. M. S. Blackett. Operational Research. — «Brassey's Annual», 1953, p. 88–106.

основные решения, разыгралась одна необычайно живописная битва.

Комитет Тизарда, как известно, был образован внутри министерства авиации. Одна из причин, по которой был принят именно этот статус, несомненно, заключалась в стремлении оградить его от критики извне, прежде всего от наиболее громогласной и резкой критики Черчилля. В 1934 году Черчилль публично заявил, что правительство недооценивает мощь гитлеровской авиации. Его расчеты, сделанные Линдеманом, были гораздо ближе к истине, чем расчеты правительства. Так получилось, что одновременно с тщательными и разносторонними обсуждениями, которые секретным образом происходили в комитете Тизарда, в палате общин и в прессе не смолкала запальчивая дискуссия по военным вопросам, причем в роли главного обвинителя правительства выступал Черчилль.

Это один из классических примеров сосуществования «закрытой» и «открытой» политики. Переходя из сферы закрытой политики в сферу открытой, наблюдатель не всегда может даже представить себе, что он имеет дело с одними и теми же фактами. В середине 1935 года Болдуин, который к этому времени стал премьер-мини-

стром не только формально, но и по существу, решил умерить накал «открытых» военных споров. Он воспользовался классическим приемом и предложил Черчиллю войти в правительство, но не в кабинет министров — личные разногласия были для этого слишком глубоки, — а в новый политический комитет Суинтона, о котором я только что упоминал, созданный для наблюдения за работой в области противовоздушной обороны.

Далее начинается необычайно запутанная история. Протоколы этого комитета никогда не были опубликованы, но, насколько я знаю Хэнки и его коллег, а мне выпало счастье недолгое время работать под их руководством, я уверен, что, с одной стороны, они вполне доверяли Тизарду и не считали нужным его опекать (тем более что Тизард присутствовал на заседаниях политического комитета и получал от него денежные ассигнования), а с другой — считали, что было бы совсем не вредно, а может быть, и полезно, если бы Черчилль получал не ложную, а правильную информацию о том, что делается в комитете Тизарда.

В основном эта цель была достигнута, но появление Черчилля в комитете Суинтона имело и

другие последствия. Черчилль согласился принять приглашение Болдуина при условии, что за ним останется право публично критиковать действия правительства, а Линдеман, его личный советник по делам науки, будет включен в состав комитета Тизарда. Условия были вполне разумными, но после того, как они были приняты, началась личная война.

С той минуты, когда Линдеман опустился на стул в комнате, где происходили заседания комитета Тизарда, о спокойной и согласованной работе больше не могло быть и речи. Должен сказать, что как писатель, интересующийся поведением людей, я страшно жалею, что не присутствовал на заседании комитета. Чего стоили одни только лица этих людей! Трое из них — Линдеман, Хилл и Блэкетт — были высокого роста и обладали весьма примечательной внешностью: красивый, с тонкими чертами лица Блэкетт, типичный краснолицый англичанин Хилл и тяжеловесный Линдеман, с землистым лицом представителя Центральной Европы. Блэкетт и Хилл одевались небрежно, как многие ученые. Тизард и Линдеман, которые в таких вопросах придерживались традиционных взглядов, носили черные пиджаки, полосатые брюки и приходили на заседания в

котелках. Блэкетта и Хилла трудно было назвать людьми особенно терпеливыми или склонными тратить время на пустую болтовню. Они с трудом сидели за столом и, не веря собственным ушам, вслушивались в невнятные ядовито-презрительные и надменные высказывания Линдемана, направленные против любых предложений Тизарда: тех, которые он сделал во время заседания, до заседания или мог бы сделать когда-нибудь потом. Сначала Тизард хранил спокойствие. Его, наверное, душило возмущение, но он умел сдерживаться и хорошо понимал, что дело слишком серьезно, чтобы давать волю своим чувствам. А кроме того, после первой речи, которую Линдеман произнес в комитете, Тизард понял, что их многолетней дружбе пришел конец.

Между ними существовали, очевидно, какие-то тайные обиды, какая-то скрытая вражда, которая возникла уже давно, но до времени ничем себя не проявляла, — подробностей мы, наверное, никогда не узнаем. Линдеман, несомненно, был убежден, что работу, порученную Тизарду, следовало поручить ему, и желал этого со всей страстностью человека, не удовлетворенного жизнью. Он, несомненно, был убежден, что справился бы с этой работой гораздо лучше Тизарда

— кто еще обладал такой самоуверенностью? — а главное, был убежден, что те специфические средства противовоздушной обороны, которые предлагает он, конечно, являются самыми надежными, более того, единственно надежными. При его фанатическом патриотизме он, несомненно, был убежден, что Тизард и его сообщники, все эти Блэкетты и Хиллы, представляют реальную опасность для страны и должны быть как можно быстрее убраны с дороги.

Вполне возможно, как говорили мне несколько человек, тесно связанных с этими событиями, что все его высказывания на заседаниях комитета были продиктованы ненавистью к Тизарду, вырвавшейся наружу так же бесконтрольно, как вырывается любовь. Это означало, что все, что Тизард поддерживал и считал правильным, Линдеман без всяких колебаний с полной уверенностью отвергал и считал неправильным. Другая точка зрения состоит в том, что в этом конфликте в полную меру проявились эмоциональные особенности Линдемана, человека и ученого: дело было не только в его ненависти к Тизарду, но и в его склонности слепо и безоговорочно верить в свои собственные механистические идеи. Во всяком случае, по этим причинам или по другим

Линдеман со свойственной ему всесокрушающей настойчивостью продолжал делать свое дело. Неправедное дело.

Суть разногласий в принципе сводилась к следующему. Эффективность радара еще не была доказана, но Тизард и его сотрудники, как я уже говорил, были уверены, что радар — это единственная надежда Англии. Никто из них не страдал приборомaнией, и речь шла не об их прихоти. Тизард, Блэкетт и Хилл располагали ограниченным временем, ограниченным числом людей и ограниченными ресурсами. В силу этих обстоятельств они остановили свой выбор на радаре и считали необходимым позаботиться не только о производстве радаров, но и о подготовке к их практическому использованию задолго до того, когда будут проведены первые испытания (как потом оказалось, небольшое тактическое преимущество Англии заключалось именно в эффективном использовании радаров, а не в оснащенности радиооборудованием).

Линдеман не хотел об этом слышать. Эффективность радаров не была доказана, и на этом основании он требовал, чтобы в списке, определяющем срочность тех или иных исследований, радар уступил место другим приборам. У него самого

было два любимых детища. Первое — это локация с помощью инфракрасных лучей. Остальные члены комитета, так же как все, кто слышал об этой идее, считали ее совершенно бесперспективной. Сейчас ее непрактичность представляется тем более очевидной. Назначение второго, еще более фантастического приспособления состояло в том, чтобы на парашютах сбрасывать бомбы и мины непосредственно перед вражескими самолетами. Линдеман вообще испытывал какое-то необъяснимое влечение ко всякого рода минам. Из записок Черчилля за 1939–1942 годы[83] видно, что Линдеман занимался минами — всякими минами: летающими, плавающими и т. п. — с одержимостью, которая невольно заставляет вспомнить рисунки Руба Голдберга{370}. Рассказывая о своих беседах с Черчиллем, Тизард, который находился тогда в необычайно трудном положении, вспоминает, что бесконечные разговоры о минах были последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Своим пристрастием к минам Черчилль был обязан, конечно, Линдеману. Ни

---

[83] Примечания: 1.83

См.: W. S. Churchill. The Second World War. Cassell, 1948, vol. 1, p. 399–401, 593–594.

{370} Комментарии: 2.370

Голдберг, Руб (1883–1971) — американский художник-карикатурист.

одна из придуманных Линдеманом мин так никогда и не была использована.

Бесплодная война между Линдеманом и остальными членами комитета продолжалась двенадцать месяцев. Линдеман был неутомим. Он с готовностью повторял одно и то же на каждом заседании. Он не был склонен к сомнению; он просто не знал, что это такое. Конечно, только незаурядный человек, обладающий противоестественной эмоциональной сопротивляемостью и энергией, мог находиться в одной комнате с такими яркими людьми, как Тизард, Блэкетт и Хилл, и ни на йоту не изменить своих взглядов.

Однако Тизард, Блэкетт и Хилл тоже ни на йоту не отступали от принятого решения. Тизард упорно проводил это решение в жизнь, позволяя Линдеману фиксировать в протоколах свое несогласие. Но постепенно все они устали. Ни Блэкетт, ни Хилл не принадлежали к флегматикам, которые способны долго находиться в обществе столь энергичного маньяка. В июле 1936 года[84], во время подготовки очередного доклада, Линдеман вновь принялся обвинять Тизарда в том, что он

[84] Примечания: 1.84

А не 1937 года, как утверждает Черчилль в «The Second World War»: vol. 1, p. 120. В главе «Problems of Sea and Air, 1935–1939,» p. 115–128, есть и другие неточности.

уделяет слишком большое внимание радару, но на сей раз в такой резкой форме, что секретарей пришлось выслать из комнаты[85].

Тогда Блэкетт и Хилл решили, что с них довольно. Они отказались продолжать работу в комитете и не потрудились скрыть истинную причину своего отказа. Обсуждали они предварительно свое решение с Тизардом или нет — неясно. Да и обсуждения, в сущности, не требовалось. Тизард, Блэкетт и Хилл прекрасно понимали, что разногласия между ними и Линдеманом слишком осложняют их работу. Они были достаточно опытными людьми и прекрасно понимали, что, пока Черчилль не вошел в правительство, они могут диктовать условия.

В течение короткого времени комитет был реорганизован. Председателем по-прежнему остался Тизард; Блэкетт и Хилл остались членами комитета. А Линдеман был выведен из его состава. Вместо него в комитет ввели Э. В. Эпл-

[85] Примечания: 1.85

Так утверждал Блэкетт. Роу склонен думать, что решающая стычка произошла до заседания, хотя он в этом не уверен. Вполне возможно, что, поскольку ссора ожидалась, секретарей заранее предупредили, чтобы они не присутствовали на заседании.

тона{371} — крупнейшего в Англии специалиста по распространению радиоволн. Радар фактически представлял собой одно из приложений фундаментальных теорий Эплтона. На немногословном, но выразительном языке официальных постановлений появление его имени в списке членов комитета означало полную победу радара и Тизарда.

К тому времени, когда началась битва за Англию{372}, радарные установки, включая и систему управления, были уже готовы; они не отличались совершенством, но делали свое дело. Это имело огромное и, быть может, решающее значение для Англии.

Мне кажется, что в истории первого столкновения Линдемана с Тизардом содержится несколько настораживающих и поучительных уроков, причем некоторые из них вовсе не очевидны. Зато один из этих уроков настолько очевиден и настолько двусмыслен, что я начну прямо с него.

{371} Комментарии: 2.371

Эплтон, Эдуард Виктор (1892–1965) — английский физик, исследователь ионосферы.

{372} Комментарии: 2.372

Битва за Англию — воздушное сражение над Британскими островами с августа 1940 г. до мая 1941 г.; массированные налеты немецко-фашистской авиации, с помощью которых немецкое командование старалось добиться капитуляции Англии, чтобы обеспечить себе тыл в войне с СССР, но не достигло цели.

Суть его такова: закрытая политика может приводить к результатам, прямо противоположным тому, что утверждается открыто. Таково основное свойство закрытой политики, такова природа секретных решений. О первом решении Тизарда — использовать радары — знало в общей сложности не больше ста человек, к обсуждению этого решения имело то или иное отношение не более двадцати человек, а принято оно было усилиями пяти, самое большее — шести человек.

Одновременно происходили жестокие столкновения в сфере открытой политики, политики тридцатых годов, отмеченной самыми яростными и страстными политическими битвами, которые я когда-либо видел. Почти все мои сверстники хотели, чтобы Черчилль вошел в правительство; само собой разумеется, что я имею в виду тех своих знакомых, которые интересовались политикой и считали, что фашизм должен быть остановлен, чего бы это нам ни стоило. Частично это стремление было связано с личными заслугами Черчилля, а частично с тем, что он был для нас символом той Англии, которая не могла допустить, чтобы Гитлер взял ее голыми руками. Мы писали коллективные письма в поддержку Черчилля и использовали

все наше влияние, которое в те годы мало что значило. Мы хотели правительства, способного противостоять фашизму, такого правительства, которое Англия в конце концов получила в 1940 году. Насколько мне известно, это была та позиция, которую занимал Блэкетт и большинство моих друзей-либералов; эту же позицию занимал я сам. Оглядываясь назад, я думаю, что мы были правы, и, если бы можно было вернуть те годы, я вел бы себя так же.

Попытки переиграть историю — занятие бесплодное, но давайте представим себе, что Черчилль был введен в правительство и что благодаря требованиям и настояниям моих либерально настроенных друзей открытая политика стала развиваться в том направлении, которое мы считали желательным.

Совершенно очевидно, что морально мы оказались бы лучше подготовлены к войне. Мы были бы лучше подготовлены к войне также и материально. Но, вдумываясь в то, о чем я только что рассказал, я не могу не признать, что в одном необычайно важном техническом аспекте мы могли бы оказаться подготовленными гораздо хуже. Придя к власти, Черчилль привел бы с собой Линдемана, как это и случилось позднее. Тогда,

по всей вероятности, Линдеман возглавил бы Комитет по изучению средств противовоздушной обороны. Я уже говорил, что в принципе придерживаюсь толстовских взглядов на роль личности в истории. Мне трудно смириться с мыслью, что столь незначительные личные столкновения могли существенно влиять на судьбы страны. И тем не менее… окажись Линдеман на месте Тизарда, возможно, было бы принято иное решение.

Все эти ретроспективные страхи достаточно бесплодны, но я не знаю другого случая, который с такой наглядностью продемонстрировал бы кардинальное расхождение между открытой и закрытой политикой, ведущее к кардинальным изменениям в судьбе нации.

VII

Таким образом, в первом туре состязания Тизард — Линдеман победил Тизард. Как только началась война, созданная им система противовоздушной обороны пришла в действие. Сам он был назначен научным советником министерства авиации, и его дневник за сентябрь 1939 — май 1940 года заполнен беглыми, торопливыми деловыми заметками, набросанными по ночам после посещения аэродромов, где он занимался

работой, в которой был непревзойденным мастером, а именно знакомил молодых офицеров с научными методами ведения войны, заражая их своим энтузиазмом и своим уважением к науке.

Дела Тизарда шли в ту зиму хорошо, но у него появилась новая забота. Он договорился о поездке Хилла в Вашингтон, так как в силу целого ряда веских соображений они с Хиллом пришли к выводу, что американские ученые должны получить полную информацию о радарах и о других секретных научных открытиях военного назначения. Почти все английские ученые придерживались того же мнения; Кокрофт, Олифант, Блэкетт уговаривали их поторопиться. Почти все ответственные администраторы возражали[86]. Письменный отчет о переговорах производит впечатление одновременно комическое и необычайно тоскливое; он вызывает то особое чувство тоскливой веселости, которое неизбежно охватывает каждого, кто сталкивается с умопомешательством на почве секретности. Одни, зевая, заявляют, что служба безопасности Соединенных Штатов не вызывает никакого доверия. Другие

[86] Примечания: 1.86

За исключением Хэнки. Этот максимально сдержанный человек, который за всю свою жизнь не выдал ни одного секрета, считал, что настало время это сделать.

— и среди них те, кто обязан был проявить большую осведомленность, — высказывают мнение, что Соединенные Штаты не могут предложить ничего взамен.

Тизард не скрывал раздражения, но продолжал делать свое дело. В начале войны Черчилль стал первым лордом адмиралтейства; и Линдеман появился в Уайтхолле в качестве его личного советника. Но на какое-то время создалось неустойчивое равновесие; противовоздушная оборона была вне компетенции Линдемана. Тизард, судя по дневникам, был в эти месяцы так же занят, как прежде.

Затем наступило 10 мая — день нападения Гитлера на Францию и прихода Черчилля к власти. Тизард, как и все остальные, понимал, какая опасность нависла над Англией. Но он, по-видимому, понимал также, что недолго останется на своем посту. Поэтому записи, которые он сделал в дневнике 10 и 11 мая, следует, очевидно, отнести к наиболее ярким примерам английской флегматичности.

«Пятница, 10 мая. В 9 часов утра вылетел из Оксфорда в Фарнборо. Видел Берга, обсуждали эксперименты, связанные

с локацией самолетов. В частности, работу по частотной модуляции. РЭИ{373} внесло некоторые усовершенствования в конструкцию, позволяющие ослабить влияние земных отражений, и Митчел настроен оптимистически — по-моему, чересчур. Нет никаких доказательств того, что метод частотной модуляции лучше импульсного.

Суббота, 11 мая. Из Хилхеда — в Тэнгмер. Обсуждали опыты по перехвату самолетов в воздухе. Говорят, что цепной перехват настолько неэффективен, что почти нет надежды на осуществление ночного перехвата, пока не удастся улучшить методы дневного. Я сказал, что лучше сосредоточить усилия на дневном; перехвате в воздухе и не заниматься сейчас ночным»[87].

Немецкие армии рассекли Францию. Черчилль

{373} Комментарии: 2.373

РЭИ («Ройял эйркрафт истэблишмент») — Королевский самолетостроительный центр, научно-исследовательская организация в г. Фарнборо в графстве Гэмпшир.

[87] Примечания: 1.87

Архив Тизарда. Дневник, 10–11 мая 1940 года.

и Линдеман сидели на Даунинг-стрит, 10{374}, и было ясно, что они в любую минуту могут взять на себя все руководство войной, включая и научно-исследовательскую работу в этой области. Записи в дневнике Тизарда ничем не отличаются от тех, которые я только что привел; он по-прежнему решает, советует, инструктирует. Конечно, в этом сказывается большой запас инерции, которой обладает каждый, кто живет активной деловой жизнью. Инерция — отличительная черта людей действия, а Тизард в значительной мере был человеком действия, поэтому он продолжал работать, пока его не остановили.

Это произошло довольно скоро. Остановили Тизарда, правда, несколько необычным способом. 4 июня его попросили зайти к Линдеману на Даунинг-стрит, 10. Как это ни обидно, но записи их разговора не сохранилось; по всей вероятности, они не сказали друг другу ничего определенного. В дневнике сухие строчки:

> «4 июня...
>
> Потом видел Линдемана на Даунинг-стрит, 10. Очевидно, премьер предложил

{374} Комментарии: 2.374

Даунинг-стрит, 10 — резиденция английских премьер-министров в Лондоне.

ему „выложить на стол“ какую-нибудь новинку, которую можно было бы пустить в ход этим летом; когда два человека отвечают за одно дело, ничего хорошего обычно не получается»[88].

Тизард наверняка знал, что его дело проиграно. Но то, как ему на это указали, должно было вызвать у него чувство удивления. 7 июня Тизард пришел на заседание в то самое министерство авиации, где он продолжал числиться научным советником; председательствовал сам министр. На заседании присутствовали маршалы авиации и высшие чиновники, а также Линдеман. Доклад о программе научных исследований делал Линдеман. В тот вечер Тизард написал: «Не думаю, что министр авиации на самом деле ожидал меня увидеть. Я пытался заставить их трезво оценить значение воздушного перехвата с помощью радаров и объединения радиолокационных станций орудийной наводки с прожекторами, но боюсь, что мне это не удалось. Ушел до конца заседания, так как мое присутствие не могло принести ни-

[88] Примечания: 1.88
Архив Тизарда. Дневник, 10–11 мая 1940 года.

какой пользы»[89].

Еще несколько дней Тизард продолжал работать и изредка навещать друзей. Большинство из них не верили, что человека, который столько раз оказывался прав, можно отстранить от дел.

«Пятница, 21 июня.

Встреча на Даунинг-стрит, 10; обсуждали немецкие методы навигации. Председательствовал премьер; присутствовали Линдеман, министр авиации, начальник штаба авиации, командующий бомбардировочной и истребительной авиацией, Уотсон Уотт, Р. В. Джонсон и я. Были приняты различные решения, которые вполне можно было принять без всей этой шумихи. Во время дневного заседания председательствовал министр авиации. Обсуждали новые исследования в области авиации. Так же непродуктивно, как утром. После заседания пошел в „Атенеум“ и написал письмо с просьбой об отставке. Показал его начальнику штаба авиации; он согласился, что это неиз-

[89] Примечания: 1.89
Там же, 7 июня 1940 года.

бежно, и попросил, чтобы я сам сказал, какой руководящий пост мне хотелось бы занять. Советовал подождать две-три недели»[90].

Начальник штаба авиации сэр Сирил Ньюэлл, как и большинство военных, принадлежал к числу преданных сторонников Тизарда. Но во время их беседы о будущем ответственном назначении Тизарда даже Тизард, всегда хорошо разбиравшийся в обстановке, конечно, обманывал самого себя. Ему предстояло еще одно дело первостепенной важности: в 1942 году Тизард принял участие в знаменитом споре об эффективности стратегических бомбардировок, — но на протяжении всей войны для него уже не могло найтись руководящего поста, сравнимого с тем, который он занимал.

Несколько недель в министерстве старались подыскать ему какую-нибудь работу. Потом, чтобы чем-то его привлечь или просто успокоить, кто-то вспомнил о его старой идее научного обмена с Соединенными Штатами.

«30 июля.

---

[90] Примечания: 1.90
Там же, 21 июня 1940 года.

Заседание с Фэри в зале министерства авиационной промышленности. Он сказал: „Я собираюсь принять участие в работе вашей группы“. „Какой группы?“ — спросил я. Он рассказал, что Бивербрук{375} только что сообщил ему о том, что я буду возглавлять нашу делегацию в Америке и что в нее войдет и он, Фэри. Поскольку Бивербрук не мог меня принять, Роулэнде, постоянный секретарь министерства авиационной промышленности, пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что премьер хочет, чтобы я возглавил делегацию, которая будет направлена в Америку для обмена технической информацией… Он вручил мне предварительный список „секретов“, которые я должен им сообщить, и перечень вопросов, подлежащих выяснению. Я ответил, что согласен поехать, только если мне будет предоставлена полная свобода действий… С первого взгляда это выглядит так, как будто они нашли прекрасный способ избавиться на некоторое

{375} Комментарии: 2.375

Бивербрук, Уильям Максуэлл (1879–1964) — английский газетный магнат, в 1918 и 1940–1945 гг. входил в состав правительства.

время от нежелательной личности»[91].

В этих словах, несомненно, была доля истины. Если Тизард хотел вести политическую игру, он, конечно, должен был остаться в Англии. Грубейшая ошибка, которую можно совершить в момент кризиса, — это оказаться не там, где он происходит; в мудрости этого правила не раз убеждались самые разные люди. Но Тизард всегда верил в то, что подобная поездка может принести большую пользу.

> «1 августа.
>
> В 5.45 явился к премьер-министру. Пришлось немного подождать, потому что он принимал архиепископа, который, как сообщил личный секретарь премьера, сбил весь график. Премьер всячески подчеркивал важность поездки и сказал, что просит меня возглавить делегацию. Я спросил, может ли он предоставить мне свободу действий и положиться на мою осторожность. Он сказал: „Конечно“ — при условии, что я письменно изложу свои конкретные пожелания. Тогда

[91] Примечания: 1.91
Архив Тизарда. Дневник, 30 июня 1940 года.

я ответил, что согласен поехать, после чего вышел в приемную, написал то, что было нужно, и оставил секретарю. Затем я позвонил Роулэндсу и сообщил ему; что принял предложение и что премьер гарантировал мне свободу действий. Роулэнде сказал, что это противоречит тому, что Черчилль говорил раньше»[92].

Тот, кто в августе 1940 года собирался перелететь через Атлантический океан, прежде всего приводил в порядок все свои дела. Перед отъездом Тизард распорядился, чтобы в случае несчастья его дневники, относящиеся к периоду войны, были переданы в Королевское общество. Это как раз те дневники, которые я сейчас цитирую. Тизард справедливо чувствовал себя оскорбленным тем, как с ним обошлись. Он был уверен, что если компетентные люди разберутся в его доказательствах — дневники и записные книжки 1935–1939 годов испещрены научными выкладками, приводить которые сейчас просто нет возможности, — его деятельность будет оценена по заслугам.

Но Тизард благополучно вернулся в Англию, и

---

[92] Примечания: 1.92
Архив Тизарда. Дневник, 1 августа 1940 года.

эту поездку, во время которой его помощником был Джон Кокрофт, нужно считать одним из крупных достижений и Тизарда, и Кокрофта. Американские ученые необычайно высоко оценили значение этого визита и до сих пор говорят о нем с большим уважением. Англичанам действительно пришлось напрячь все свои силы ради того, чтобы выжить; не удивительно поэтому, что в большинстве вопросов, связанных с использованием науки в военных целях, они оказались более осведомленными. В первую очередь это касалось радаров. Хотя английские, американские и немецкие ученые начали заниматься радарами почти одновременно — что, кстати, дает нам повод еще раз задуматься о природе «секретных» открытий, — к 1940 году англичане значительно опередили всех остальных.

Тизард и Кокрофт привезли в Америку черный кожаный чемодан, который мисс Джири, секретарша Тизарда, держала у себя под кроватью. Она не знала, что в нем хранятся почти все новые научные приборы военного назначения, созданные в Англии, и среди них новый магнетрон — прибор совсем иной степени важности, чем

все остальные весьма важные изобретения[93].

В очерке, посвященном научной войне Америки, мистер Джеймс Финни Бэкстер назвал этот черный чемодан «самым дорогим грузом, который когда-либо был доставлен к американским берегам», а также «наиболее ценным и единственным в своем роде предметом, который попал в Америку благодаря лендлизу наоборот». Магнетрон, созданный Рэндоллом и Бутом в лаборатории Олифанта в Бирмингеме, оказался, быть может, самым полезным прибором в борьбе с Гитлером. Он произвел на американских ученых настолько сильное впечатление, что они немедленно взялись за дело и трудились все 16 месяцев, которые у них оставались до вступления Соединенных Штатов в войну. Блэкетт так рассказывает об этом:

> «Необычайно смелый акт доверия, задуманный Тизардом и А. В. Хиллом, которые в конце концов сумели протолкнуть свой проект через Уайтхолл, оказал чрезвычайно благотворное влияние на развитие всех областей науки, связан-

[93] Примечания: 1.93

Магнетрон — прибор, генерирующий направление пучка радиоволн высокой частоты.

ных с военными усилиями союзников. Кокрофт подчеркивает, что Тизард прекрасно организовал эту поездку; особенно удачной оказалась его идея включить в состав делегации не только ученых, но и армейских офицеров. Наши американские друзья впервые услышали, как штатские с полным знанием дела обсуждают орудия войны, а военные дополняют их рассуждения практическими советами»[94].

Вернувшись в Англию, Тизард понял, что его положение не изменилось. Никакого настоящего дела для него так и не нашлось. Он работал, так сказать, на общественных началах в качестве научного советника в министерстве авиационной промышленности. Через некоторое время он был включен в Военный совет Королевских военно-воздушных сил, где к нему всегда хорошо относились. Но ни один из этих постов не давал ему возможности отдать работе всего себя. На самом деле ни одна работа не могла дать ему этой возможности до тех пор, пока основные научные

[94] Примечания: 1.94
P. M. S. Blackett. Tizard and the Science of War. — «Nature», 185.

вопросы, связанные с участием Англии в войне, решал Линдеман.

Я иногда видел Тизарда в то время. Он был необычайно бодрым человеком, и его бодрости хватало даже на то, чтобы не испытывать горечи. Ему было совершенно несвойственно жалеть самого себя. Зато он с большим чувством юмора рассказывал о многочисленных торжественных церемониях, из которых складывается официальная жизнь Англии. Обеды с представителями различных компаний, участие в работе различных советов управляющих — для большинства из нас все это вряд ли могло бы служить утешением, но Тизарда это утешало. И тем не менее, поскольку ему исполнилось к тому времени только 56 лет и он еще не утратил возможности работать в полную силу, ему, конечно, трудно было ходить на поводу. Я думаю, что он обрадовался окончательной ссоре с Линдеманом не только потому, что был уверен в своей правоте, но и потому, что эта ссора развязывала ему руки.

VIII

Ссора произошла в 1942 году; поводом для нее послужило обсуждение вопроса о стратегических бомбардировках. Как известно, в этом году запад-

ным державам не удалось осуществить ни одной сколько-нибудь значительной военной операции в Европе. В СССР происходили величайшие сражения. Естественно, что руководителям западного мира имело смысл прислушаться к любому предложению, касающемуся активных военных действий, но в течение многих лет Англия и Америка возлагали все свои надежды главным образом на стратегические бомбардировки, в чем как раз особого смысла не было. Государства, которые всерьез готовились к войне, не интересовались стратегическими бомбардировками и не тратили на их подготовку свои ресурсы и лучшие войсковые соединения. А Англия тратила — и не один год. При этом стратегия бомбардировок не разрабатывалась. Существовало убеждение, что стратегические бомбардировки являются для нас самым эффективным методом ведения войны; это был символ веры, который не подлежал обсуждению. Справедливости ради я должен сказать, что Линдеман и раньше поддерживал эту идею со всей присущей ему одержимостью.

В начале 1942 года Линдеман решил, что пора взяться за ее осуществление. К этому времени он уже стал лордом Черуэллом и членом кабинета министров. И он начал с того, что составил

докладную записку о стратегических бомбардировках Германии. Большая часть такого рода записок обычно была доступна только членам кабинета, и Линдеман время от времени использовал это преимущество для того, чтобы вносить те или иные научные предложения; так как в кабинете министров не было других ученых, то дискуссий, как правило, практически не возникало. Но докладная записка о бомбардировках выскользнула из стен кабинета и попала в руки главных научных советников правительства.

В записке количественно оценивалось, какой ущерб нанесут Германии рейды английских бомбардировщиков в течение следующих 18 месяцев (примерно с марта 1942 года по сентябрь 1943 года). В ней излагалась определенная стратегическая политика. Линдеман предлагал в первую очередь подвергнуть разрушению дома немецких рабочих. Он считал, что, поскольку дома зажиточной части населения располагаются слишком далеко друг от друга, при их обстреле с воздуха многие бомбы сбрасывались бы впустую; о бомбежках заводов и «военных объектов» к тому времени уже давно говорилось только в официальных бюллетенях, так как их было очень трудно обнаружить и поразить. В докладной

записке утверждалось, что, сосредоточив все усилия на производстве и использовании бомбардировочной авиации, можно уничтожить 50 % зданий всех крупных немецких городов (то есть городов с населением более 50 тысяч человек).

Сейчас я хотел бы на минуту отвлечься. Мне кажется вполне вероятным, что когда-нибудь в будущем один из тех, кому посчастливится жить в более доброжелательный век, чем XX, перечитает наши официальные отчеты и увидит, что люди вроде нас с вами, вполне образованные для своего времени, довольно мягкие для своего времени и даже способные на глубокие человеческие чувства, занимались подсчетами, о которых я только что говорил. Что подумают о нас эти будущие люди? Неужели то же самое, что думал Роджер Уильямс{376} о некоторых массачусетских индейцах, называя их волками с разумом человека? Может быть, они придут к выводу, что мы сознательно перестали быть людьми? У них будут для этого все основания.

В то время до меня тоже доходили разговоры о пресловутой докладной записке. Что касается

{376} Комментарии: 2.376

Уильямс, Роджер (1603–1683) — основатель первой колонии белых переселенцев в Род-Айленде, американский священник, родился в Англии.

моего личного отношения к ней и отношения тех людей, которые были мне ближе всего, я должен сказать следующее. Мы никогда не разделяли традиционной веры англичан в стратегические бомбардировки — отчасти по военным соображениям, отчасти по чисто человеческим. Но в тот момент нас больше всего беспокоило не бессердечие Линдемана, а правильность его расчетов[95].

Докладная записка Линдемана попала к Тизарду. Тизард принялся считать и пришел к твердому выводу, что число домов, которые можно разрушить с помощью бомбардировок, было завышено Линдеманом по крайней мере в пять раз.

Затем докладная записка попала к Блэкетту. Блэкетт произвел свои собственные расчеты и пришел к такому же твердому выводу, что Линдеман преувеличил эффективность бомбардировок в шесть раз.

Все понимали, что если цифры Тизарда и Блэкетта справедливы, то нет никакого смысла концентрировать усилия страны на подготовке бомбардировок. В этом случае нужно изменить

---

[95] Примечания: 1.95

R. F. Harrod. The Prof, p. 74–75. Ясно, что Харроду не было известно, в чем состояла суть разногласий ни в этом случае, ни в случае довоенных споров с Тизардом, о которых он рассказывал на с. 176–178 своей книги.

стратегию и иначе использовать наши ресурсы и отборные военные части. Эту точку зрения отстаивал Тизард, который утверждал, что идея стратегических бомбардировок несостоятельна.

Я не помню, чтобы когда-нибудь в секретной политике мнение меньшинства было столь непопулярно, как мнение Тизарда. Бомбардировки стали в Англии догматом веры. Мне кажется, что мои коллеги по административной работе, люди умные и беспристрастные и вовсе не склонные слепо верить в какую бы то ни было идею, вряд ли уверовали бы в идею стратегических бомбардировок, обладай они хотя бы элементарными навыками обращения с числами. В своем кругу мы утешались горькими шутками. «Есть статистика Ферми — Дирака, — говорили мы. — Статистика Эйнштейна — Бозе{377}. И новая неколичественная статистика Черуэлла». И еще мы рассказывали разные истории про человека, который к двум прибавил два и получил четыре. «Ему нельзя доверять, — сказал министр авиации, — он беседовал с Тизардом и Блэкеттом».

{377} Комментарии: 2.377

...статистика Ферми — Дирака... статистика Эйнштейна — Бозе. — Имеется в виду квантовая статистика, статистическая физика квантовых частиц; для частиц с целым спином это статистика Бозе — Эйнштейна, с полу целым — статистика Ферми — Дирака.

Министр авиации встал на сторону Линдемана. Меньшинство не только потерпело поражение, оно было разгромлено. Обстановка в Уайтхолле стала более истеричной, чем обычно, и в воздухе носился слабый, но отчетливый запах охоты за ведьмами. Тизард был окрещен пораженцем. По требованию Линдемана программа стратегических бомбардировок начала осуществляться со всей интенсивностью, на которую была способна Англия.

Конечный результат хорошо известен. Тизард считал, что оценка Линдемана завышена в пять раз, Блэкетт — в шесть. Послевоенные подсчеты показали, что цифры Линдемана были завышены в десять раз.

После окончания войны Тизард только однажды сказал: «Я же это говорил». Он прочел одну-единственную лекцию о теории и практике воздушных бомбардировок. «Сейчас никто не считает, что Германию можно было победить с помощью одних только бомбардировок. Стоимость человеческих усилий и материальных ресурсов, которые были затрачены на бомбардировки Германии, превышает стоимость нанесенного ущерба».

Однако во время войны, после того, как второе

столкновение с Линдеманом закончилось поражением, Тизарду пришлось пережить немало горьких минут. Любому стойкому и гордому мужчине трудно смириться с тем, что его называют пораженцем, тем более мужчине гораздо более гордому, чем большинство из нас. Еще труднее такому человеку потерять возможность принимать участие в научной жизни или участвовать в ней, не имея права высказать свое мнение до тех пор, пока его об этом не попросят. Сейчас кажется удивительным, что Тизарду пришлось пережить подобное унижение. Насколько я знаю, это беспрецедентный случай в истории Англии XX века.

Однако истэблишмент[96] обладает достаточной гибкостью, чтобы позаботиться о тех, кто считается своим. В конце 1942 года Тизарду предложили стать ректором колледжа Магдалины в Оксфорде. Предложение было весьма почетным, и большинство английских чиновников приняли бы его с благодарностью. Тизард поступил так же. Записи в дневнике, относящиеся к этому пе-

---

[96] Примечания: 1.96

Я пользуюсь этим выражением, хотя не считаю его ни достаточно точным, ни особенно удачным. Словом «истэблишмент» я обозначаю группу людей, не связанную непосредственно с официальной политикой, но оказывающую влияние на правительственные круги и обладающую некоторой долей власти.

риоду, очень скупы, хотя теперь у Тизарда было достаточно свободного времени. Может быть, именно поэтому его энергия начала иссякать.

Мне кажется вполне вероятным, что, сидя в своей квартире при колледже, он с сожалением вспоминал об Уайтхолле, хотя по-прежнему чувствовал себя оскорбленным. Тизард занимал один из самых блестящих и привлекательных постов, но его силы не находили применения, в то время как в Англии шла война, и это был тот единственный случай, когда именно его силы можно было использовать с наибольшей пользой для дела. Тизард представлял себе, на что он способен, гораздо отчетливее большинства людей. Он был убежден — и во время своей почетной ссылки в Оксфорд, и потом, до конца жизни, — что, если бы у него была возможность принимать участие в руководстве наукой между 1940 и 1943 годами, война могла бы кончиться немного раньше и обойтись немного дешевле. Если считаться с фактами, с ним нельзя не согласиться.

После войны отношения между Тизардом и Линдеманом остались прежними. Их деловая жизнь в Уайтхолле напоминала известное про-

изведение под названием «Бокс и Кокс»{378}, разве только с чуть большей долей сарказма. В 1945 году Черчилль потерпел поражение на выборах, и Линдеман вернулся на кафедру экспериментальной физики в Оксфорд. Лейбористское правительство тут же назначило Тизарда председателем Консультативного совета по науке и председателем Комитета по научным исследованиям в области обороны, в результате чего Тизард стал главным научным советником правительства и занял положение, сходное с положением Киллиана{379} и Кистяковского{380} в Соединенных Штатах. В 1951 году Черчилль и Линдеман снова пришли к власти. Тизард немедленно вышел в отставку.

В Англии много говорили о том, что Тизард так

{378} Комментарии: 2.378

«*Бокс и Кокс*» — фарс английского писателя Джона Мэддисона Мортона (1811–1891), главные герои которого Джон Бокс и Джеймс Кокс поочередно живут в одной и той же комнате.

{379} Комментарии: 2.379

Киллиан, Джеймс (р. 1904) — американский инженер, ученый, администратор, в 1957–1959 гг. был специальным помощником президента Эйзенхауэра по науке и технике.

{380} Комментарии: 2.380

Кистяковский, Джордж Б. (р. в 1900) — профессор химии Гарвардского университета; в 1957–1964 гг. был членом Консультативного комитета по науке при президентах Эйзенхауэре, Кеннеди, Джонсоне; в настоящее время — представитель леворадикального направления в американской буржуазной науке о международных отношениях,

один из авторов книги «Разрядка или катастрофа. Здравый смысл в американо-советских отношениях» (1979).

и не был введен в палату лордов, но его самого это нисколько не трогало. Единственное, на что он жаловался под конец жизни, — это на свою смехотворную пенсию, о чем я уже говорил. В самые последние годы, когда Тизард и Линдеман сильно постарели, Тизарду пришлось согласиться на какой-то незначительный официальный пост, чтобы обеспечить себя и жену. Линдеман умер в 1957 году. Тизард пережил его на два года.

IX

Мой назидательный рассказ подошел к концу. Мне осталось только указать, какие уроки, на мой взгляд, следует из него извлечь. Первый из них связан с некоторыми специфическими особенностями английского правительства и английской администрации. Особенности эти настолько специфичны, что совершенно непонятны и неинтересны ни американцам, ни русским, у которых достаточно своих забот, связанных с проблемой «наука и государственная власть». Это слишком уж британские проблемы, как говорят американские издатели, перенимая жалобный тон английских романов. Главная из них, как мне кажется, заключается в малых размерах, в плотности и необычайной однородности английского

официального мира. Об этом мне как-то сказал Раби{381}, который впервые приехал в Англию во время войны — по-моему, в 1942 году — и застал Черчилля на Даунинг-стрит, 10, как раз в тот момент, когда тот самолично опробовал модель нового радара. Раби никак не мог понять, почему англичане относятся к войне так, как будто это небольшое семейное предприятие.

Англичане в самом деле бессознательно прибегают ко всевозможным уловкам, благодаря которым население нашей страны, действительно небольшое по мировым стандартам, кажется еще малочисленнее, в то время как американцы поступают, по-моему, как раз наоборот.

Но даже при этих условиях уроки, которые я имею в виду, наверное, заслуживают внимания. Если мы хотим разобраться в том, как осуществляется закрытая политика в Англии, и тем самым исправить какие-то ее недостатки, разумно считать, что в других странах дело обстоит примерно так же или что различия, во всяком случае, не слишком велики. Доброжелательным наблюдателям часто кажется, что американцы ставят себя под удар чаще всего тогда, когда настаивают

{381} Комментарии: 2.381

Раби, Изидор Айзек (р. 1898) — американский физик, специалист в области низкочастотной радиоспектроскопии атомов и молекул.

на своей уникальности. В тех проблемах, о которых я сейчас говорю — государственная наука, закрытая политика, тайные решения, — как раз нет ничего уникального.

Осуществляя руководство наукой, проводя закрытую политику и принимая тайные решения, все страны в силу самой природы этой деятельности придерживаются примерно одних и тех же шаблонов. Нельзя утверждать, что в одной стране государственная наука «более свободна», чем в другой, или не так связана в своих секретных научных решениях. Я прошу вас прислушаться к моим словам[97]. С вами говорит человек, который немного знает вас, любит и хочет, чтобы ваши огромные творческие силы приносили пользу миру.

Вы так же связаны в области науки и кардинальных решений, как и ученые других стран. Я не раз беседовал с американскими и советскими учеными, стараясь разобраться в тех методах, с помощью которых американское и советское правительства осуществляют руководство наукой. Если говорить о различиях, то, наверное, прежде всего нужно сказать о том, что благодаря

[97] Примечания: 1.97

Эта лекция, повторяю, была прочитана перед американской аудиторией.

автономному положению Академии наук СССР и особым привилегиям, которыми она пользуется, советские ученые находятся в более выгодном положении, чем ученые других стран, и мне кажется — хотя, быть может, только кажется, — что в обсуждении и подготовке особо важных решений у них в стране принимает участие больше научных авторитетов и проводятся они на более широкой основе, чем в Англии или в США.

Поэтому я убежден, что мы все плывем на одном корабле и каждая страна может позаимствовать что-то ценное из опыта другой страны. Идеальные решения всем известны. Во-первых, можно было бы рассекретить если не все, то хотя бы часть ныне секретных решений при условии, что одновременно будут уничтожены национальные государства. Во-вторых, искусственная завеса сложности и таинственности, окутывающая секретные решения, могла бы стать, во всяком случае, менее плотной, если бы все политические деятели и административные работники обладали минимальными научными знаниями или хотя бы не были совершенно безграмотными. Ни одно из этих идеальных решений в ближайшее время не осуществимо. Поэтому мы вряд ли потеряем время даром, если попытаемся

проанализировать, как осуществляются научные рекомендации при закрытой политике.

Я уже пользовался выражением «закрытая политика». В моем понимании оно обозначает любые политические акции, не рассчитанные на поддержку более широкого круга людей, чем тот, который их непосредственно осуществляет, при этом безразлично, идет ли речь о поддержке группы лиц, объединенных какими-то общими взглядами, или о группе избирателей, или, в большем масштабе, о том институте, который мы не очень точно называем «общественным мнением». Так, например, некоторые битвы, которые происходят в английском кабинете министров, несут на себе черты закрытой политики, но их нельзя отнести полностью к закрытой политике, так как премьер-министр или любой член кабинета могут в случае необходимости перейти от приватного обмена мнениями к более широкому обсуждению за стенами кабинета. Вместе с тем почти все секретные научные решения целиком относятся к области закрытой политики.

В той истории-притче, которую я только что рассказал, несчастье Тизарда заключалось в том, что он не мог апеллировать к более широкой аудитории. Если бы у него была возможность

перенести свой спор[98] с Линдеманом в стены Королевского общества или привлечь к нему большую группу профессиональных ученых, теория Линдемана не просуществовала бы и недели. Но само собой разумеется, что Тизард не мог сделать ничего подобного, и это в равной степени относится к большинству конфликтов, возникающих в правительственной науке, и ко всем секретным решениям.

Таким образом, мы рассматриваем сейчас классическую ситуацию закрытой политики. При этом первое, что бросается в глаза, — это непропорционально большая роль, которую играют в закрытой политике личности и личные отношения. Получается так, что, несмотря на декорум, мы оказываемся гораздо ближе к личной власти и к личному выбору, чем при заурядном правительстве, которое не прибегает к помощи ученых. Одно из печальных последствий этого явления заключается в том, что в настоящее время все страны в какой-то мере отдают свою судьбу в руки торговцев наукой.

---

[98] Примечания: 1.98

Тогда появилась бы возможность привлечь большое число данных, касающихся, в частности, реальных средств управления самолетами в конкретных условиях. Ошибочность расчетов Линдемана была связана в первую очередь с неправильным использованием такого рода фактических данных.

Контроверза Тизард — Линдеман дает возможность познакомиться с тремя характерными формами закрытой политики. Их не всегда можно разграничить, они часто переплетаются друг с другом, но, быть может, стоит назвать каждую из них в отдельности. Первая — *создание разного рода комитетов.* Эта форма довольно сложна по своей структуре; каждый, кому случалось быть членом какого-нибудь общества — теннисного клуба, заводского драматического кружка, преподавательского коллектива колледжа, — знает, что оно собой представляет. Прототипом всех этих объединений является такой комитет, в котором каждый член выражает свое индивидуальное мнение, оказывает влияние на мнение своих коллег, не прибегая ни к каким посторонним воздействиям, и в конечном итоге голосует на равных правах со всеми остальными.

Комитет Тизарда сам по себе был хорошим примером коллектива такого рода. Члены комитета представляли только самих себя. Их орудием была сила их духа и их логики. Если они не приходили к единому мнению, окончательное решение принималось с помощью «пересчета голов», чего всякий официальный комитет, ударяясь в другую крайность, всегда старается избежать. Именно

таким образом, несмотря на всю драматичность ситуации, было принято решение сосредоточить основные усилия на радаре, против которого возражал Линдеман. Участники этого заседания прекрасно знали, что результат подсчета голосов будет три против одного и что этот один — Линдеман[99]. В таком комитете, как комитет Тизарда, где все члены обладали примерно одинаковой силой воли, а давление извне оказывал только Черчилль, находившийся не у дел и способный причинять лишь мелкие неприятности, подобный итог означал, что Линдеман потерпел поражение.

Я только что сказал, что любой официальный комитет, во всяком случае любой английский официальный комитет, стремится избегать открытого голосования. Я думаю, что в английском кабинете министров также крайне редко прибегают к открытому голосованию, но его суть, то есть само распределение голосов, в каждом случае бывает достаточно ясна. Тому, кто хочет посмотреть на открытое голосование и увидеть эту процедуру во всем блеске, нужно отправиться туда, где никто не стремится смягчить трение

[99] Примечания: 1.99

То есть три независимых члена комитета. Уимперис и Роу были тоже на стороне Тизарда.

между отдельными личностями, например в небольшие колледжи моего родного Кембриджа, где с радостью прибегают к открытому голосованию по любому поводу, включая персональные назначения. Я думаю, что самое интересное открытое голосование XX века происходило в октябре 1917 года, когда В. И. Ленин поставил на голосование ЦК партии большевиков резолюцию о необходимости проведения вооруженного восстания[100]. Во время голосования десять человек поддержали Ленина, а двое — Каменев и Зиновьев — были против.

Кстати, комитеты вовсе не являются порождением английской или американской парламентской системы. Венецианские дожи прекрасно умели работать в комитетах и осуществляли с их помощью большую часть правительственных мероприятий. Совет десяти (в который на самом деле входило 17 человек) и руководители десяти (которые составляли внутренний комитет из 3 человек) принимали большую часть административных решений. Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из нас мог бы сказать им что-то новое о комитетах. Несколько лет тому назад в одной

---

[100] Примечания: *

См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 393.

из своих книг я писал о заседании группы административных работников:

> «Эти люди были честнее, а большинство из них и гораздо способнее средних людей, но за их словами вы угадывали то подводное течение, которое возникает всякий раз, когда группа людей должна выбрать кого-то одного для выполнения определенной работы. Прислушайтесь к таким собраниям, и вы тотчас различите глас любви, владеющей лучшими из людей, — ненасытной любви к власти, которая способна плести самые сложные, самые тонкие и запутанные узоры. Если вы услышите этот глас хотя бы однажды — все равно где, например на выборах председателя крошечного драматического общества, — вы расслышите его потом в колледжах, в епархиях, в министерствах, в кабинетах министров; люди остаются людьми независимо от того, занимаются ли они большим делом или маленьким»[101].

---

[101] Примечания: 1.101
«The New Men», Macmillan, 1954, p. 278–279.

Я до сих пор готов подписаться под каждым из этих слов.

Вторую форму закрытой политики, мне кажется, лучше всего назвать *иерархической,* так как она заключается в передаче команды по цепи. Это тот метод, которым пользуются в армии, в больших учреждениях и на крупных промышленных предприятиях. Внешне он выглядит необычайно просто. Достаточно войти в контакт с лицом, ответственным за данное дело, и необходимые распоряжения сами собой дойдут до исполнителя. Если вы договорились с руководителем, вам больше не о чем беспокоиться. Такого мнения обычно придерживаются люди, которые не представляют себе, что такое иерархия; оно широко распространено среди тех, кто достаточно циничен и недостаточно опытен — одно из самых неприятных сочетаний, как мне кажется. Нет ничего наивнее подобной точки зрения.

В действительности передача команды по цепи осуществляется совершенно иным образом. По существующим стандартам англичане достаточно дисциплинированный народ — я имею в виду нашу гражданскую службу и наши вооруженные силы. Английские офицеры в отличие от некоторых из их американских коллег не так поспешно

высказывают свое мнение, когда оно не совпадает с мнением старших по чину. Но по существу — хотя и не по форме — в обеих наших странах работа строится по одному и тому же принципу.

Для того чтобы привести в движение громоздкую многоступенчатую организационную машину, нужно увлечь людей, работающих на самых разных уровнях. От их решений, от их безразличия или энтузиазма (а главное — от отсутствия пассивного сопротивления с их стороны) зависит, будет ли сделано вовремя то, что нужно, или нет. Тизард прекрасно это понимал, и, по единодушному мнению всех компетентных судей, это обстоятельство сыграло решающую роль при подготовке сети радаров. Он с самого начала пользовался поддержкой высокопоставленных политических деятелей и административных работников (Черчилль и Линдеман не играли тогда никакой роли). На его стороне был штаб авиации и командиры подразделений авиации. А он тратил силы главным образом на убеждение и уговоры младших офицеров, которым предстояло следить за работой радаров, когда те будут готовы.

Точно так же он убеждал и уговаривал ученых, конструирующих радары, и администраторов,

отвечающих за их производство. Как все люди, разбирающиеся в административной работе, Тизард постоянно спрашивал себя: «К кому обратиться? О чем попросить?» Потому что в противовес резолюциям реальное решение вопроса часто зависит от человека, находящегося на нижнем конце цепочки. Такие администраторы, как Хэнки и Бриджес, были знатоками организационной механики: они подгоняли и подталкивали, поощряли и требовали, умело воздействуя на самые недоступные колесики английской государственной машины, и с помощью тех самых приводных ремней, которые придают столь примитивный вид схемам организационной структуры нашего государства, добились того, что радары были готовы вовремя.

Вспоминаю, как мне самому в начале войны пришлось явиться к одному ответственному должностному лицу, что вызвало глубокое изумление и, боюсь, даже возмущение моего непосредственного начальства. Я приступил к работе за несколько месяцев до этого и был одним из младших, и притом временных, сотрудников, но мне было поручено подготовить большое число высококвалифицированных специалистов по радарам. Увлекшись цифрами, никто, конечно,

не позаботился о чисто человеческих нуждах знатоков нового прибора. Получив повестку, я отправился в казначейство. Мой собеседник находился настолько выше меня на иерархической лестнице, что в обычной ситуации контакт между нами был бы невозможен. В данном же случае это не имело значения. Много лет спустя мы стали друзьями. В тот день, однако, наш разговор продолжался не больше пяти минут. Все ли идет по плану? Хватит ли у нас людей? Успеем ли мы к сроку? На эти вопросы я ответил утвердительно. Нужна ли мне какая-нибудь помощь? Пока нет. Вот и все. Иерархическая политика иногда пользуется и такими методами. Когда есть настоящая цель, когда есть укоренившееся, не требующее слов уважение к некоторым правилам, иерархическая политика иногда оказывается весьма действенной.

Это та форма политики, которая требует гораздо больше внимания, чем ей обычно уделяют те, кто хочет представить себе, как работают большие учреждения не в теории, а на практике[102].

---

[102] Примечания: 1.102

Интересным полем исследования могла бы явиться «Бритиш брод кастинг корпорейшн» (Би-би-си): хотя на стороннего наблюдателя она производит впечатление мира Кафки, из ее деятельности можно было бы почерпнуть несколько хрестоматийных примеров иерархической политики.

На практике вы должны прежде всего расстаться с романтическими представлениями об официальной власти. Руководители таких гигантских корпораций, как «Дженерал моторс»{382}, «Дженерал электрик»{383}, или схожих английских фирм в силу самой природы этих объединений не могут действовать теми же методами, что и владельцы небольшой кинокомпании, не могут, даже если бы они этого хотели. Благословенные проявления власти, вроде найма и увольнения служащих, тем менее связаны с реальным содержанием вашей работы, чем сложнее организация, которой вы руководите, и чем более высокий пост вы занимаете. Я думаю, что наиболее интересны и наиболее сложны методы иерархической политики в Соединенных Штатах, во всяком случае интереснее и сложнее, чем в любой стране западного мира.

Третья разновидность закрытой политики, которая применялась во время столкновения Тизарда с Линдеманом, самая простая. Я назову ее *придворной политикой.* К этому виду полити-

---

{382} Комментарии: 2.382

«Дженерал моторс» — крупнейшая американская автомобильная компания.

{383} Комментарии: 2.383

«Дженерал электрик» — электротехническая монополия США, занимает первое место в электротехнической и электронной промышленности капиталистических стран.

ки я отношу любые попытки одного человека осуществлять давление с помощью другого человека, стоящего у кормила власти. Лучшим примером такого рода политики могут служить отношения Линдемана и Черчилля.

В 1940 году, как я уже говорил, Линдеман попросил Тизарда зайти к нему на Даунинг-стрит, 10. В то время Тизард был главным научным советником правительства. Линдеман не занимал никакого официального поста, он был лишь личным другом Черчилля. Еще до того, как их разговор окончился, Тизард знал, что срок его полномочий истек. Через три недели он подал в отставку.

Следующие 18 месяцев, вплоть до конца 1941 года, Линдеман все еще не занимал никакого официального положения, но он обладал такой властью, какой не обладал ни один ученый за всю историю человечества.

У Рузвельта тоже был свой двор, и его администрация, наверное, охотно пользовалась методами придворной политики, но, насколько я знаю, он никогда не имел близких друзей среди ученых,

а Ванневар Буш{384} и его коллеги занимались своей работой, находясь на обычном расстоянии от президентского кресла, и пользовались для связи с Рузвельтом обычными официальными каналами. Гитлер также имел двор, но он, как никто другой, сумел сконцентрировать всю власть в своих руках. Случайным образом около него не оказалось ни одного ученого, хотя он был заинтересован в создании нового оружия. К счастью для человечества, Гитлер был лишен какого бы то ни было научного понимания.

Черчилль и Линдеман действительно работали вместе, как один человек, и вместе принимали все решения, касающиеся науки, а также многие другие. В начале своей карьеры «Серого кардинала» Линдеман всячески это подчеркивал — и тем, что давал интервью на Даунинг-стрит, 10, и тем, что иногда угрожал вмешательством Черчилля. Через некоторое время в этом уже не было необходимости. Те, у кого хватало храбрости, жаловались Черчиллю на то, что Линдеман

{384} Комментарии: 2.384

Буш, Ванневар (1890–1974) — американский, ученый в области электричества и инженер; в период второй мировой войны руководил Управлением научных исследований.

злоупотребляет своим влиянием[103], но им показывали на дверь. Очень скоро в официальных английских кругах поняли, что дружба Черчилля с Линдеманом нерушима и что Линдеман обладает реальной властью. Так же быстро все привыкли к тому, что власть эта простирается довольно далеко, а как только привыкли, смирились, потому что лицезрение человека, уверенно пользующегося властью, действует по большей части завораживающе, как своего рода гипноз. И дело тут не только в своекорыстии, хотя элемент своекорыстия в этом смирении тоже присутствует.

Тот факт, что идея стратегических бомбардировок почти не встретила сопротивления, является типичным примером гипноза власти. Заключения Тизарда и Блэкетта читало не так мало людей. Но многие из них — люди всегда люди — считали, что если можно так бесцеремонно убрать с дороги ученого, занимавшего пост государственного советника, то всем остальным лучше не высказывать своего мнения. В обстанов-

[103] Примечания: 1.103

Рассказывают, что небольшая группа членов Королевского общества пришла к Черчиллю специально для того, чтобы выразить недоверие научным рекомендациям Линдемана. Наверное, это была бы забавная сцена, но я, к сожалению, должен заявить, что в действительности она не состоялась.

ке кризиса, когда многие решения принимаются тайно, люди часто отказываются от права думать и поступать самостоятельно. Я до сих пор помню, как однажды темным вечером ко мне подошел знакомый, которого я всегда считал человеком умным и настойчивым. «Премьер и профессор решили, — сказал он. — Кто мы такие, чтобы им возражать».

Линдеман достиг своей цели; если мерить этой простой меркой, следует признать, что он был самым удачливым придворным политиком нашей эпохи. Чтобы найти другого «Серого кардинала», сумевшего сделать хотя бы половину того, что сделал он, нужно вернуться вспять по крайней мере до того времени, когда жил отец Жозеф. Существует, кроме того, романтический стереотип придворного — гибкого беспринципного человека, занятого только тем, чтобы сохранить свое место при дворе. С этой точки зрения, выражаясь формальным языком, Линдеман был придворным из придворных, и при всем этом трудно назвать человека, более далекого от стереотипного придворного, чем Линдеман. Жизнь не так проста, как кажется, и не так безнадежно скверна. Дружба с Черчиллем вовсе не лишила Линдемана его собственного лица. Целый ряд

интересных идей принадлежал как раз ему, а не Черчиллю. Это была действительно двусторонняя дружба. Конечно, Линдеман относился к Черчиллю с восхищением, но и Черчилль относился к Линдеману не менее пылко. Такого рода дружба встречается нечасто: в жизни Линдемана это было самое бескорыстное и самое горячее чувство; в жизни Черчилля, гораздо более богатой личными привязанностями, она также занимала очень большое место. Ирония судьбы заключалась в том, что дружба, в которой было столько благородства, дружба, которая пробуждала в обоих мужчинах их лучшие чувства, когда дело касалось их двоих, в общественной жизни приводила к ошибочным суждениям.

В закрытой политике все три формы, о которых я рассказывал по отдельности — создание комитетов, иерархическая политика, придворная политика, — переплетаются, взаимодействуют и проникают одна в другую[104]. И каковы бы ни были цели — достойные или недостойные, — способы остаются теми же, так как это всего лишь приспособления, которыми люди пользуются, чтобы добиться каких-то практических результа-

[104] Примечания: 1.104

Несколько примеров такого рода процессов можно найти в моих романах «Наставники», «Новые люди», «Возвращения домой», «Дело».

тов. Мои слова не имеют никакого отношения к сатире. Сатира — это дерзость[105]. Это месть тех, кто на самом деле не понимает окружающего мира или не в силах приспособиться к нему. Лично я хотел бы, чтобы мой рассказ был воспринят как нейтральное изложение фактов. Насколько мне удалось познакомиться с политикой, это то, на чем вертится мир, и не только наш мир; эти же колесики будут приводить в движение тот будущий мир, который в силах нарисовать наше воображение, — более справедливый и более разумный мир. Мне кажется, что люди доброй воли должны постараться понять, как вертится мир, потому что это единственный способ сделать его лучше.

X

Можно ли на основании того, что мы узнали о борьбе Линдемана с Тизардом и о приемах, которые в этой борьбе применялись, составить какое-либо руководство к действию? Существует ли какая-либо возможность проникнуть в скры-

[105] Примечания: 1.105

Это замечание, которое кажется мне тем более справедливым, чем больше я о нем думаю, позаимствовано мной у Памелы Хэнсфорд Джонсон.

тую от непосвященных область взаимодействия науки и правительства и позаботиться о том, чтобы решения, которые принимаются, были хотя бы чуть более разумными?

Я хочу сразу же оговориться, что не знаю простых ответов на эти вопросы. Если бы такие ответы существовали, наверное, они были бы уже известны. Проблема в целом не поддается урегулированию; это самая неподатливая из всех проблем, стоящих перед организованным обществом. Отчасти она является выражением — в сфере политики и администрирования — того разрыва между культурами, о котором я уже говорил в другом месте[106].

Но хотя ответов пока нет, я думаю, что мы прошли достаточную часть пути, чтобы научиться обходить наиболее опасные места. Мы знаем некоторые источники неправильных суждений и неверных решений. Я думаю, что большинство из нас понимают, какую угрозу таит в себе единоличное управление наукой. И какая угроза кроется в ситуации, когда тот, кто командует наукой, чересчур близок к управлению страной,

---

[106] Примечания: 1.106

«Две культуры» (см. выше, с. 17).

(В файле: раздел «Лекции и статьи», глава «Две культуры и научная революция», статья 1 «Две культуры». — *Прим. верст.*)

а рядом с ним нет ни одного ученого — только политические деятели, которые считают его премудрым и всезнающим Профессором, то есть относятся к нему так, как относились к Линдеману некоторые коллеги Черчилля. Мы уже видели все это, и нам не хотелось бы, чтобы подобные вещи повторились.

В то же время меня иногда одолевают сомнения: не становлюсь ли я слишком осторожным, не заболел ли я старомодной любовью к учету и подведению итогов? Линдеман принял несколько неверных решений, но ему же принадлежит целый ряд таких идей, которые могли родиться только в голове ученого.

Представим себе, что в таком же положении единовластного научного правителя оказался бы Тизард или что Ваннивер Буш был так же близок к Рузвельту, как Линдеман к Черчиллю. В обоих случаях объективная польза была бы огромной. Тем не менее я позволю себе напомнить, что ничего подобного пока еще ни разу не случилось. Шансы, что в роли научного диктатора окажется Тизард или Буш, очень малы. В целом же я склонен думать, что явные опасности превышают проблематичные преимущества.

По существу, все ясно. Нельзя допускать, что-

бы один ученый обладал такой безграничной властью, какой обладал Линдеман. Тем более ясно, во всяком случае мне, что есть такие ученые, которые вообще не должны располагать властью. Мы уже столько раз видели, с какой легкостью некоторые деятели науки отступают от своих убеждений, что можем указать тот тип людей, который представляет наибольшую опасность. Научные суждения довольно часто искажаются под влиянием разного рода страхов — впрочем, и ненаучные тоже, — но особенно часто источником самообмана является склонность к фетишизации. К фетишизации приборов, к фетишизации секретности. Обычно, хотя и не всегда, эти две склонности легко уживаются. Под их влиянием принимается 90 % ошибочных научных решений. Ученые, зараженные фетишизацией, не должны принимать участия в правительственных обсуждениях и решениях; ради того, чтобы лишить их этой возможности, стоит идти почти на любые жертвы. Даже если эти ученые — прекрасные специалисты в своей

области. Даже если прибор[107], о котором идет речь, так же эффективен, как атомная бомба, не говоря уже о случае, когда он так же бесполезен, как мины на парашютах, которые предлагал сбрасывать Линдеман[108]. Даже если речь идет об ученом, абсолютно уверенном в своей правоте; на самом деле ученые, самоуверенность которых порождена фетишизмом, опасны вдвойне.

Принцип ясен: тот, кто одержим приборо-манией, представляет собой реальную угрозу. Любое решение, которое примет такой человек — особенно если ему придется сравнивать свои достижения с тем, что сделано в других странах, — скорее всего, будет ошибочным. Чем более высокий пост он займет, тем больше вреда принесет своей стране.

Особенно пагубна для такого рода ученых непосредственная близость к собственному детищу.

---

[107] Примечания: 1.107

Под «прибором» я подразумеваю любое практическое устройство, начиная от приспособления для разбивания яиц и кончая водородной бомбой. Тот, кто способен обожествить яйцеразбивалку, вполне способен обожествить и водородную бомбу.

[108] Примечания: 1.108

Роу, видевший, как принималась большая часть научных решений Англии между 1935 и 1945 годами, склонен считать, что из всех ученых, с которыми он сталкивался, чаще всего ошибался Линдеман. И притом ошибался главным образом тогда, когда речь шла о приложении науки к военному делу (письмо к Ч. П. Сноу от 3 августа 1960 года).

Это нетрудно понять. Прибор здесь, рядом. Ученый знает, что это его творение. Он знает, какими прекрасными качествами оно обладает — кто может знать это лучше его! — знает, какие трудности пришлось преодолеть при его создании. Я сам испытал нечто подобное по отношению к приборам, которые хотя и не были моим детищем, но создавались у меня на глазах.

Когда я в 1942 году увидел, как летит первый английский реактивный самолет, я не мог отказаться от мысли, что вижу нечто уникальное. Это было так же трудно, как отказаться от собственной индивидуальности и поверить, что где-то существует другой человек, точно такой, как я. На самом же деле в то время уже имелось довольно много реактивных двигателей. Причем устройства, созданные немцами, были куда совершеннее наших. Когда я вновь обрел хладнокровие, это обстоятельство перестало казаться мне таким невероятным, так же как тем, кто был связан с радарами, перестало казаться невероятным, что аналогичные приборы в аналогичной обстановке столь же лелеемой секретности разрабатывались одновременно в Англии, в Соединенных Штатах, в Германии и других странах.

Те, кто живет в непосредственной близости от приборов и тратит свои творческие силы на их усовершенствование, обычно не хотят считаться с некой весьма мрачной истиной, заключающейся в том, что во всех странах, находящихся примерно на одинаковом уровне технического развития, изобретаются примерно одни и те же вещи. Поэтому, в частности, почти невозможно себе представить, что в соревновании США и СССР одно из государств сможет добиться сколько-нибудь значительного, не говоря уже о решительном, технического перевеса, так как в обеих странах уровень развития почти совпадает, а размеры вложения научных сил и денег также примерно одинаковы.

Зато есть очень много шансов на то, что одна страна на короткое время окажется впереди в какой-то одной области, а другая — в другой. Такая ситуация при всех колебаниях в общем остается неизменной и может существовать сколь угодно долго. Было бы весьма нереалистично и чрезвычайно опасно надеяться на то, что западный мир как нечто целое добьется постоянного и решительного военного превосходства над Востоком как единым целым. Такого рода надежды нужно считать типичным порождением прибо-

ропоклонничества. Оно принесло Западу гораздо больше вреда, чем любой другой предрассудок. История и наука развиваются иными путями.

У того, кто живет в некотором отдалении от приборов, больше возможностей сохранить остатки здравого смысла. Известие о создании первого ядерного реактора пришло в Англию и стало достоянием некоторых из нас в 1943 году. Выражаясь несколько вульгарным языком тех дней, мы поняли, что атомная бомба в пути. Мы слышали, как люди, опьяненные этим открытием, предсказывали, что Соединенные Штаты станут всемогущими и сохранят это положение навечно. Мы не верили им. Мы вовсе не обладали особым даром предвидения, но мы не были заражены фетишизмом. Мы, конечно, не знали точно, сколько лет потребуется стране с такой научной и технической базой, как СССР, чтобы повторить открытие США, о котором там стало известно. Нам казалось, лет шесть. Мы ошиблись. В подобных случаях сроки всегда преувеличиваются. На самом деле Советскому Союзу понадобилось четыре года.

Большинство хороших администраторов из числа моих знакомых твердо убеждены, что ученые, как правило, не в состоянии справиться с

делом, которое они делают. Для этого убеждения есть достаточно оснований, включая чисто человеческие слабости, и в конце я еще вернусь к нему. Но одна из причин распространенности этого мнения представляется мне весьма характерной. Многим администраторам приходилось выслушивать советы ученых-прибороманов. Бриджес и его коллеги, так же как другие ответственные должностные лица, имевшие отношение к истории Тизарда — Линдемана, вряд ли могли проникнуться уважением к тем, кто был до такой степени лишен широкого и непредвзятого взгляда на вещи[109]. Естественно, что многие из них пришли к убеждению, что в каждом ученом кроется что-то от приборомана.

Мне ничего не остается, как согласиться, что в чем-то они правы. Только я сформулировал бы эту мысль иначе. Приборомания — это некая доведенная до крайности особенность темперамента, которая характерна для всех людей, занятых научной работой. Та или иная степень одержимости свойственна большинству ученых. Многие виды творческой научной работы, быть может, даже большая часть такого рода работы

---

[109] Примечания: 1.109

К самому Тизарду таких претензий, разумеется, никто не предъявлял.

вообще невозможна без одержимости.

Для того чтобы сделать что-то настоящее, ученый, во всяком случае когда он молод, должен напряженно и неотступно, в течение длительного времени думать над какой-то одной задачей. Администратор же, наоборот, должен за очень короткое время мысленно охватить широкий круг различных проблем, так или иначе связанных друг с другом. Отсюда коренное различие в манере их мышления и в поведении. Я уверен, и позднее еще скажу об этом подробнее, что люди, получившие научное образование, могут стать прекрасными администраторами и составить ту прослойку, без которой мы не сможем двигаться вперед иначе, как ощупью, но я согласен с тем, что ученые, пока они поглощены творческими поисками, не склонны уделять внимание административным проблемам и не очень способны в них разобраться.

Фетишизация секретности оказывает такое же пагубное влияние на умственные способности, как и фетишизация приборов. Я знал людей, для которых секретность стала чем-то вроде алкоголя, хотя во всех остальных отношениях они оставались людьми вполне умеренными. Под влиянием секретности у человека появляется ни

на чем не основанное ощущение власти. Совершенно неважно, какие секреты они ценят больше всего — свои собственные или секреты своих противников. Довольно часто можно встретить людей, внешне совершенно заурядных и ничем не примечательных, которые высказываются, отбросив всякую осторожность, потому что они охотятся за секретами другой стороны; при этом они совершенно забывают, что кто-то с другой стороны, почти неотличимый от них самих, охотится как раз за секретами, которые выбалтывают они. Нужно иметь необычайно крепкую голову, чтобы годами хранить секреты и хоть чуточку не помешаться. Бессмысленно прислушиваться к советам того, кто чуточку помешан.

XI

Я готов продолжить список запретов и почерпнутых из опыта рекомендаций. Мы более или менее представляем себе, чего не надо делать и кого не следует привлекать к работе. Познакомившись с историей Тизарда — Линдемана, мы можем дать два-три практических совета. Так, первое, что необходимо при любом разногласии в методах действий, — это наметить положительную программу и уметь четко ее изложить.

Дело не в том, правы вы или ошибаетесь. Это обстоятельство имеет второстепенное значение. Главное — есть у вас положительная программа или нет? Борясь за радары, Тизард и его сторонники твердо знали, что это единственная надежда Англии, а Линдеман не мог противопоставить их уверенности ничего, кроме голой софистики и нескольких разрозненных утверждений. Настаивая на стратегических бомбардировках, Линдеман не сомневался, что знает, как выиграть войну, а Тизард был убежден, что Линдеман не прав, но не мог предложить какой-либо иной план, столь же простой и продуманный во всех деталях. Даже когда решения принимаются на высшем уровне, сложности грубой реальности никому не доставляют удовольствия, и едва намечается какое-нибудь простое решение, как все торопятся его принять.

Мы видели также, что при соблюдении определенных условий такой комитет, как тизардовский, является одним из самых действенных инструментов в руках правительства. Что же это за условия? Их можно сформулировать примерно следующим образом.

1. Задача, поставленная перед комитетом, должна быть конкретна и не слишком величе-

ственна. Научный комитет, который занимается проблемой благоденствия всего человечества, вряд ли добьется успеха. Задание, полученное комитетом Тизарда — защитить Англию от воздушных нападений, ожидавшихся в ближайшем будущем, — являлось, по-видимому, максимумом того, с чем может справиться какой бы то ни было комитет.

2. Комитет должен быть «включен» в систему правительственных учреждений. Обычно этого нетрудно добиться, если за дело берется человек, который достаточно хорошо знает государственную машину (или государственный организм, потому что «машина» — плохое слово). Различные типы государственных машин требуют различного обращения, и обычно иностранцу, как бы прекрасно он ни ориентировался в новых условиях, трудно решить, какое звено является оптимальным для такого рода включения.

Комитет Тизарда пришелся как нельзя более к месту в государственной машине английского образца отчасти благодаря распорядительности организаторов, а отчасти благодаря везению. Он находился не настолько высоко, чтобы потерять связь с рядовыми администраторами и с армейскими офицерами или возбуждать слишком

сильную зависть (необычайно важное обстоятельство в такой тесной стране, как Англия). Но вместе с тем он имел свои собственные каналы связи с министрами и высшими чиновниками. В Соединенных Штатах, если я верно это себе представляю, проблема состоит не в том, что комитет должен непременно стать частью хорошо организованного и мощного государственного аппарата, а в том, чтобы его не удушили конституционные и договорные хитросплетения, гораздо более сложные, чем те, с которыми знакомы англичане. Что же касается Советского Союза, то, как мне кажется, правильное «включение» связано там с общим вопросом о статусе Академии наук СССР.

3. Чтобы принести реальную пользу, комитет должен обладать властью (или захватить ее, как комитет Тизарда). Ему необходимо по крайней мере иметь право осуществлять надзор и инспекцию. Без этого комитет окажется оторванным от реальных фактов, которые должны служить основой для его решений, а заодно и от людей, которым придется проводить эти решения в жизнь. Консультативные комитеты в тех случаях, когда они ограничиваются чисто теоретической деятельностью и не пытаются применить свои рекомендации на практике, в конце концов по-

гружаются в летаргический сон.

Мы уже знаем, что, когда такие условия создавались, комитеты успешно делали свое дело. Создать их снова в каждом отдельном случае достаточно просто. Особенно просто — к несчастью для всех нас, — когда речь идет о военных задачах. Они почти всегда более конкретны, чем «мирные» задачи, поэтому изобретательным людям легче разрабатывать технические проблемы, связанные с войной.

Оковы секретности, опять-таки к несчастью для нас, влияют на сравнительное мышление, но не влияют на развитие науки. В более либеральную эпоху, когда в Кембридже царил Резерфорд, в Копенгагене — Бор, а в Гёттингене — Борн, ученые склонны были считать, что расцвет науки возможен только в свободном обществе; это убеждение было оптимистическим актом веры в тот идеал, который должен быть истинным, потому что он делает жизнь приятнее.

Мне бы хотелось, чтобы они были правы. Я думаю, что каждый, кто знает, что такое секретная наука и секретные решения, тоже хотел бы, чтобы они были правы. Но почти все факты говорят об обратном. Наука нуждается в дискуссиях — это верно; наука нуждается в критике; но

и то и другое вполне можно обеспечить — что и делается — при самых секретных заданиях. Ученые доказали, что они могут работать формально вполне благополучно, а по существу весьма эффективно в таких условиях, которые великие свободолюбивые практики науки сочли бы несовместимыми ни с какими научными занятиями. Но секретность, закрытая тематика и сама обстановка, которая прежним ученым показалась бы морально непереносимой, стали теперь вполне сносными. Если бы можно было сравнить скорость развития одного из засекреченных разделов науки[110] с другими, пока еще избежавшими этой участи, я не уверен, что мы заметили бы существенную разницу. А жаль.

Хотя разница все-таки есть, и касается она прежде всего скорости внедрения в практику достижений открытой науки. Поскольку эти области науки, по определению, не могут быть связаны с военными целями, достижения открытой науки внедряются в практику медленнее. Исключением из этого правила, хотя только частичным, является медицина. В области медицины отдельные задачи часто бывают так же

[110] Примечания: 1.110

То есть из разделов, непосредственно связанных с развитием военной техники.

конкретны, как и военные[111]. На самом деле между ними действительно есть некое мрачное и весьма близкое сходство. Оно-то и придает такой живой интерес и остроту развитию медицины. Скорость развития науки не зависит от того, какую цель она преследует: идет ли речь о разрушении или поддержании жизни — безразлично. Важно лишь наличие самой цели.

Я здесь все время говорю как человек со стороны, но человеку непостороннему тоже трудно сказать, что следует понимать под эффективностью научных исследований и как оценивать развитие науки. Если эти слова имеют какой-нибудь смысл, я считал бы, что и в Соединенных Штатах, и в Англии эффективность исследований в области медицины гораздо выше, чем в военной науке. Решения, которые определяют развитие медицины — может быть, потому, что здесь не обязательна дилемма: все или ничего, — как правило, принимаются гораздо более обдуманно. Это в равной степени относится к

[111] Примечания: 1.111

Верно, конечно, что общество проявляет самую серьезную заинтересованность в военных вопросах и в медицине и что это накладывает глубокий отпечаток на развитие этих областей знания. Если бы общество проявляло такой же большой интерес, скажем, к вопросам транспорта, мы бы очень быстро нашли научное решение этой проблемы.

обеим нашим странам — Англии и США, — хотя техника администрирования у нас разная. Наш Научно-исследовательский совет по вопросам медицины существует, по американским нормам, на нищенские средства и является необычным примером правительственного учреждения, которое действует не как контрольный орган, а как импресарио, что не может не вызвать восхищения всех, кто интересуется государственным управлением.

Таким образом, в военной науке и — в меньшем масштабе — в медицине правительству обычно удается добиться каких-то результатов. Но жизнь состоит в основном из проблем, которые не связаны с попытками приблизить или отдалить смерть.

В этой обширной промежуточной области приложения науки затруднены расплывчатостью задач, менее четкими побудительными стимулами и меньшей заинтересованностью государства. Многие добрые начинания кончаются безрезультатно, хотя правительства Соединенных Штатов и Англии — второе с меньшей убежденностью, — по-видимому, считают, что а) государство тут ни при чем и б) что добрые начинания так или иначе будут поддержаны самим обществом. Вопрос этот

спорен, но лично мне подобные соображения кажутся малоубедительными. Правительствам, впрочем, тоже, так как они создают нечто вроде трамплина, откуда полезные начинания могут устремляться в жизнь. В Соединенных Штатах, если я не ошибаюсь, этим трамплином должен служить Национальный совет научных исследований. В Англии — Консультативный совет по вопросам науки. В Советском Союзе таким трамплином является сама Академия наук, которая представляет собой гораздо менее громоздкую организацию, чем Академия наук США или лондонское Королевское общество. Академия наук СССР состоит примерно из 250 академиков и 150 членов-корреспондентов. В нее входят историки, экономисты, специалисты в области литературы и даже писатели. Что касается Англии и Соединенных Штатов, то, наверное, нельзя не согласиться, что наши научные учреждения недостаточно гибки и работоспособны.

Стоит ли обращать на это внимание? Осталась ли еще для нас с вами какая-нибудь работа? Нужно ли поощрять развитие науки на Западе, если приложения ее и так уже проникли почти во все области жизни?

Нужно ли здравомыслящему человеку иметь

больше материальных ценностей, чем имеет заурядный преуспевающий американский специалист? Или хотя бы столько же? Я не склонен осуждать тех, кто задает мне эти вопросы. И все-таки в конечном счете я их осуждаю.

Почему бы не удовлетвориться тем, что у нас уже есть? Вы сами сказали, что не многие ученые становятся хорошими администраторами. Стоит ли тогда беспокоиться о науке и государственной власти? Может быть, лучше дать ученым возможность заниматься своим делом, как это было всегда, и пусть они время от времени помогают советом тем, кто на самом деле мудрее их?

Разве спасение мира не является самой неотложной, самой главной задачей нашего времени? Так ли уж важно при этом, что будет с учеными? Разве не государственные деятели должны заниматься спасением мира? При чем здесь ученые?

Мне не раз приходилось выслушивать все эти вопросы. Их задают умные люди. Они вовсе не лишены смысла. Но это вопросы, которые не приносят добра. Или, вернее, эти вопросы — плоды того же древа, на котором созревают многие подстерегающие нас опасности и отцветают многие наши надежды. Одна из этих опасностей

— притупление чувства будущего.

Она нависла над всем западным миром. И стала реальной угрозой даже для Соединенных Штатов, хотя в меньшей степени, чем для старых государств Западной Европы. Мы становимся экзистенциалистским обществом, продолжая существовать в том же мире, в котором существуют общества, устремленные в будущее. Ароматом экзистенциализма все сильнее веет от нашего искусства. Мы, в сущности, теряем способность воспринимать какое-либо иное искусство. Эти перемены особенно заметны в тех сферах, которые находятся в непосредственной близости к центру управления нашего общества, в корнях нашей административной системы, в тех приемах, к которым мы прибегаем, принимая секретные решения — я говорил о них в начале этой лекции, — в самом характере наших секретных решений. Мы еще кажемся достаточно гибкими, но не знаем, к какой модели общества надо стремиться. Мы не можем изменить своей основы. А это главное, что нам нужно сделать.

Вот почему я считаю необходимым, чтобы люди науки принимали участие в работе правительства на всех уровнях. Говоря о людях науки, я в данном случае имею в виду всех, кто

получил специальное естественнонаучное или техническое образование, то есть включаю сюда и инженеров, которые нам также очень нужны.

Я делаю особое ударение на ученых, потому что — отчасти благодаря образованию, отчасти благодаря самоотбору — среди них чаще встречаются люди, наделенные творческим социальным воображением, в то время как инженеры, в массе своей более единодушные, чем любая другая профессиональная группа, с одной стороны, стремятся быть на уровне новейших технических достижений, а с другой — легко примиряются с тем обществом, в которое их забросила случайность рождения. Ученые представляют собой гораздо менее однородную прослойку, и некоторые из них обладают как раз теми качествами, в которых мы нуждаемся больше всего.

Дело не только в том, что ученые, работая в правительственных учреждениях, увеличат число людей, влияющих на секретные решения. Это понятно. Я считаю, что это, как уже было сказано в самом начале, принесло бы реальную пользу. Одно из несомненных преимуществ Советского Союза заключается как раз в том, что на высших ступенях политического и административного аппарата этой страны есть много людей

с научным и техническим образованием. Они составляют от 35 до 45 % руководителей высших исполнительных органов и высокопоставленных дипломатов, в то время как в Соединенных Штатах или в Англии эти показатели гораздо ниже. В тех областях, в которых такие люди заведомо более компетентны, чем любой из нас, а их не так мало, они наверняка оказывают благотворное влияние. Но хотя присутствие ученых в правительственных учреждениях принесло бы реальную пользу, главное, по-моему, все-таки в другом. Я считаю, что ученые могут дать нам то, в чем наше экзистенциалистское общество нуждается больше всего, нуждается настолько, что уже не осознает, как это важно и как близка гибель. Я говорю о предвидении.

Я не утверждаю, конечно, что все ученые, и только ученые, обладают даром предвидения. Это очень редкий дар. Военный министр Стимсон, несомненно, обнаружил большую способность к предвидению, чем другие политические деятели того времени, когда 25 апреля 1945 года направил президенту Трумэну меморандум о последствиях взрыва атомной бомбы[112]. Но сравните ме-

[112] Примечания: 1.112

Ср. с биографией Стимсона; Elting E. Morison. Turmoil and Tradition. Houghton Mifflin, 1960, p. 613–643.

морандум Стимсона со знаменитым письмом Франка и чикагских ученых{385}, написанным десятью неделями позже!

Стимсон полагался на свой опыт политика. За плечами Франка и его коллег было научное образование и то, что не очень точно называется знанием. Это даже не совсем знание. Скорее, это ожидание того знания, которое должно прийти. Это некое ощущение, возникающее в процессе научной работы у тех ученых, которые проявляют достаточную интуицию.

Я убежден, что мы грубо недооцениваем это ощущение, уподобляясь людям палеолита, которые, не зная арифметики, наверняка стали бы потешаться над чудаком, вздумавшим считать на пальцах. Большинство ученых, очевидно, не способны к предвидению. Но если они обладают хотя бы крупицей этого дара, тогда их деятельность скорее, чем любой другой вид де-

---

{385} Комментарии: 2.385

…сравните меморандум Стимсона со знаменитым письмом Франка и чикагских ученых. — Имеется в виду доклад, составленный группой ученых под председательством профессора Франка, работавших в Чикаго над «проектом Манхэттен» (август 1942 — август 1946, разработка атомной бомбы). В докладе говорилось об огромных опасностях для мира в случае применения атомного оружия; предлагалось провести демонстрацию атомного оружия в ненаселенном месте, чтобы японцы убедились в бесперспективности продолжения войны. Предложения, высказанные в докладе, как известно, не были приняты во внимание.

ятельности, известный в наше время, дает им возможность наиболее эффективно использовать эту свою способность. Потому что наука по самой своей природе не может существовать вне истории. Каждый ученый осознает, что изучаемый им объект движется во времени; ученые понимают, что сегодня они знают больше, чем те, кто был лучше их, умнее их и глубже их, но жил 20 лет тому назад. Ученые, у которых есть ученики, знают, что через 20 лет ученики будут знать несравненно больше, чем знают сейчас они сами. Ученым не нужно объяснять, что такое общество, устремленное в будущее, потому что наука в своих гуманистических проявлениях также устремлена в будущее.

Это и есть та главная причина, которая заставляет меня желать, чтобы ученые входили в правительство. Я говорил о ней менее определенно, объясняя, почему молодые ученые часто оказываются плохими администраторами. Вернувшись еще раз к деятельности тизардовского комитета, я хотел бы напомнить, что все его решения проводились в жизнь профессиональными администраторами. Если бы на их месте оказались ученые, они почти наверняка справились бы с этой работой гораздо хуже.

Однако это только половина правды. В течение двадцати лет мне приходилось поддерживать контакт с английскими администраторами-профессионалами. Я испытываю к ним глубочайшее чувство уважения, такое же, как к любой другой знакомой мне группе работников-профессионалов. Я считаю их умными, достойными, мужественными, терпимыми и щедрыми людьми. Насколько это в человеческих возможностях, они как единая группа обычно не заслуживают других, менее лестных эпитетов. Но у них есть один недостаток.

Администраторы, как вы знаете, по своему характеру люди активные. Они стремятся жить сегодняшним днем, и эта тенденция поддерживается самим характером их работы, так как главное для них — уметь разрешать текущие проблемы. Часто, когда я наблюдаю, как они без суеты, без применения силы делают свое дело, изливая на собеседника поток логических умозаключений, у меня в мозгу начинает звучать фраза из старой исландской саги: «Снорри был мудрейшим человеком в Исландии, но ему не хватало дара предвидения»[113].

---

[113] Примечания: 1.113
«Saga of Burnt Njal», ch. 113.

Под «предвидением» здесь понимается некая сверхъестественная сила, но цитата все равно не выходит у меня из головы: мудрейший человек, которому не хватало дара предвидения! Чем дольше я наблюдаю за западным миром, тем больше эта фраза меня мучает. В Соединенных Штатах она мучает меня не меньше, чем в Западной Европе. Мы чудовищно компетентны, мы знаем как свои пять пальцев все возможные варианты действий в любом из возможных случаев. Но этого недостаточно. Поэтому я хотел бы, чтобы ученые приняли участие в государственных делах. Горько сознавать, что, когда затихнут исторические бури, единственной эпитафией, которой мы удостоимся, будет эта строка: «Мудрейшие люди, которым не хватало дара предвидения».

Пер. Ю. Родман

Воинствующая моральность науки{˘}

В наше время ученые составляют наиболее важную профессиональную группу. Сейчас работа

{˘} Комментарии: ˘

В декабре 1961 г. Сноу выступил в Нью-Йорке на ежегодной конференции Американской ассоциации содействия научному прогрессу с этой речью. В русском переводе она впервые напечатана в книге Сноу «Две культуры. Сборник публицистических статей».

ученых волнует всех. Сейчас научные открытия влияют на судьбы всего мира, но от самих ученых мало что зависит. И тем не менее потенциально влияние ученых огромно. Остальной мир испытывает страх перед их деятельностью — страх перед научными открытиями и перед теми последствиями, к которым они приводят. Остальной мир трансформирует этот страх, переносит его на самих ученых и склонен считать ученых совершенно непохожими на других людей.

Как бывший ученый, если только мне позволено так себя называть, я знаю, что это чепуха. Я даже пытался изображать ученых в романах и рассказывать об их работе. Я прекрасно знаю, что ученые, в общем, такие же люди, как все остальные. В конце концов, все мы принадлежим к человеческой расе, даже если некоторые из нас утратили сходство с себе подобными. Мне кажется, что я могу рискнуть сделать некоторое обобщение. Те ученые, которых я знал (в силу служебного положения я знал больше ученых, чем другие), были по крайней мере так же безупречны в нравственном отношении, как любая другая группа интеллигенции.

Конечно, это слишком общее утверждение, и оно верно лишь в статистическом смысле. Но

я думаю, что некое зерно истины в нем содержится. Душевные качества, которые я ценю в ученых, не являются такой уж редкостью, но я отношусь скептически ко всем попыткам вдаваться в тонкости, когда речь заходит о душевных качествах. Почти всегда это свидетельствует не об истинной тонкости, а о некой тривиальности мышления. Поэтому я ценю в ученых храбрость, любовь к правде и доброту — те примитивные добродетели, которыми их никак нельзя считать обойденными, особенно если вспомнить о невысоком нравственном уровне, достигнутом остальным человечеством. Я думаю, что в общей массе ученые несколько лучше выполняют свои обязанности мужей и отцов, чем большинство из нас. Я склонен ценить эту их особенность достаточно высоко. У меня нет точных данных, и я очень хотел бы иметь возможность проанализировать цифры, но готов держать пари, что число разводов среди ученых пусть ненамного, но все же ниже, чем в других группах населения, имеющих примерно такое же образование и такое же материальное положение. Я не приношу извинений за то, что считаю это положительным явлением.

У меня есть один близкий друг, весьма крупный

ученый. Он принадлежит к немногим знакомым мне людям этого круга, ведущим такую жизнь, которую называют беспорядочной. Когда мы оба были моложе, он как-то занялся историческими изысканиями, чтобы установить, сколько великих ученых так же страстно интересовались женщинами, как он. Наверное, он почувствовал бы себя несколько увереннее, если бы ему удалось найти какую-нибудь историческую параллель. Я помню, как он сказал мне, что его поиски окончились ничем. Среди по-настоящему великих ученых прошлого кое-кто обладал совершенно бесцветным характером, а все остальные были удручающе нормальными людьми. Единственным лучом надежды была для него жизнь Джероламо Кардано{387}, но один Кардано не мог перевесить всех остальных.

Очевидно, ученые в принципе ничем не отличаются от других людей. Во всяком случае, они не хуже их. Но некоторое отличие все-таки существует. С него я и начал. Нравится им это или нет, работа ученых имеет первостепенное значение для всего человечества. В моральном плане это

{387} Комментарии: 2.387

Кардано, Джероламо (1501 или 1506–1576) — итальянский математик, философ и врач; предложил подвес — прообраз карданного механизма.

обстоятельство кардинально изменило облик нашего времени. В плане социальном от него зависит, выживет человечество или погибнет, а также при каких условиях оно выживет и как погибнет. Чаши добра и зла — в руках ученых. Так сложились обстоятельства. Вполне возможно, что сами ученые здесь ни при чем или «при чем» только отчасти, но изменить эту ситуацию они не могут. Ученые — если не все, то наиболее впечатлительные из них — считают, что эта тяжелейшая ноша незаслуженно взвалена на их плечи. Они хотят только одного — делать свое дело. Я сочувствую им. Но ученые не могут избежать ответственности точно так же, как наравне с остальными людьми они не могут избежать воздействия силы земного притяжения.

Правда, существует один способ, с помощью которого они могут выйти из игры. К этому способу не раз прибегали люди умственного труда, когда оказывалось, что они заплыли слишком далеко, а на море началось волнение.

Он заключается в придумывании категорий или, если вам это больше нравится, в разделении труда. Иными словами, ученые, которые хотят выйти из игры, заявляют: «*Мы* создаем инструменты. А *вы* — весь остальной мир, и прежде всего

политические деятели, — *вы* должны заботиться о том, как их использовать. Инструменты могут быть использованы для достижения таких целей, которые большинство из нас считают недостойными. Это, конечно, прискорбно. Но как ученых нас это не касается».

Таков смысл доктрины этической нейтральности науки. Я не могу принять ее. Я не верю, что ее может принять хоть один ученый, наделенный чувством ответственности. Некоторые считают, что найти точные аргументы, опровергающие эту доктрину, совсем не так просто. Но почти все интуитивно чувствуют, что придумывание удобных категорий — моральная ловушка. Это один из самых простых способов усыпить совесть. Это тот путь, который избрали экономисты начала XIX столетия, в частности Рикардо{388}, когда на их глазах начала совершаться первая промышленная революция. Сейчас нам трудно понять, как люди, интеллигентные люди, оказались настолько бездушны и слепы. Сейчас, в разгар научно-технической, или второй промышленной, революции, мы заняли примерно такую же позицию, как Рикардо. Неужели мы позволим,

{388} Комментарии: 2.388

Рикардо, Давид (1772–1823) — английский экономист, крупнейший представитель классической буржуазной политэкономии.

чтобы наша совесть заснула? Неужели мы не прислушаемся к тому голосу, который говорит почти каждому из нас, что на плечах ученых лежит небывалая ответственность? Можем ли мы поверить в то, что наука нейтральна?

Для меня существует только один ответ на все эти вопросы, и я считал бы бесчестным делать вид, что это не так. Но я воспитан на тех же принципах, что и большинство западных ученых. И я считал бы не менее бесчестным делать вид, что мне ничего не стоит объяснить логически, в чем я вижу сейчас надежду на спасение. Самое большее, что я могу сделать, — это предложить свой черновик. Быть может, какой-нибудь более дальновидный человек воспользуется им и доведет работу до конца.

Разрешите мне начать с замечания, которое на первый взгляд не относится к делу. Каждый, кто занимался наукой, знает, какую огромную эстетическую радость доставляет научная работа. Человек, который сознает, что он участвует в развитии науки, что он находится на пороге какого-то открытия, пусть даже самого незначительного, одновременно сознает, что он постигает красоту мира. Субъективный опыт этого человека и испытываемое им эстетиче-

ское удовлетворение ничем не отличаются от удовлетворения, которое доставляет сочинение поэмы, романа или музыкального произведения. Я не думаю, что можно найти какую-нибудь разницу между эстетическими переживаниями, связанными с научным и художественным творчеством. Литература, посвященная научным открытиям, переполнена изъявлениями эстетической радости. Наиболее полно это чувство выражено, по-моему, в книге Г. Г. Харди «Апология математика». Грэм Грин как-то сказал, что вместе с предисловиями Генри Джеймса это лучшее, что когда-либо было написано о радости художественного творчества. Однако история науки знает много ярких выражений радости. Торжествующий крик, который издал Бояи, когда понял, что создал новую, непротиворечивую, неевклидову геометрию; заявление Резерфорда о том, что он понял, как выглядит атом; уверенность Дарвина, копившаяся годами, еще робкая, но все-таки уверенность в том, что он достиг цели, — все это различные проявления одного и того же состояния эстетического экстаза.

Но этого мало. Результат научной деятельности, любое по-настоящему законченное научное произведение само по себе также имеет эстети-

ческую ценность. Суждения ученых о такого рода работах чаще всего выражаются в эстетических терминах: «Это прекрасно!» или «Это действительно очень красиво!» (как обычно говорят более сдержанные англичане). Эстетические достоинства научных открытий, так же как эстетические достоинства произведений искусства, весьма разнообразны. Мы считаем прекрасными всеобъемлющие теории типа ньютоновской теории всемирного тяготения, потому что нас поражает их классическая простота, но мы ценим и другой род красоты, свойственный релятивистскому обобщению волнового уравнения или описанию структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты, прежде всего из-за их неожиданности. Ученые безошибочно распознают такого рода красоту, когда она встречается на их пути. Наоборот, «некрасивость» возбуждает подозрения ученых, и история показывает, что подозрения эти обычно оправданны. Большинство физиков, например, инстинктивно чувствуют, что причудливый набор известных сейчас элементарных частиц, пестрый, как коллекция марок, вряд ли надолго останется последним словом науки.

Эстетическую ценность имеет не только «чистая» наука. В прикладной науке есть своя

красота, которая, как мне кажется, по характеру ничем не отличается от красоты «чистой» науки. Магнетрон оказался крайне полезным прибором и в то же время очень красивым, причем его красота была прямым следствием его рабочих качеств, ибо этот прибор наиболее экономно делал в точности то, для чего он был предназначен. Инженеры, занятые совершенствованием техники, ценят эстетические достоинства не меньше ученых. Когда они пренебрегают эстетикой и конструируют неуклюжее оборудование, вдвое более тяжелое, чем это необходимо, они первыми понимают, что изменяют своим принципам.

Таким образом, совершенно ясно, что наука доставляет эстетическое удовольствие как в процессе творчества, так и по достижении определенных результатов. Но эстетика не связана с нравственностью, возражают любители раскладывать все по полочкам. Я не хочу тратить время на обсуждение второстепенных деталей, однако так ли это на самом деле? А может быть, эстетика и нравственность — это вообще выдумки, которыми мы тешимся, чтобы отвлечься от чисто человеческих и социальных проблем своего времени? Но давайте переключимся на нечто более конкретное, более тесно связанное с

научной деятельностью и одновременно с нравственностью. Давайте поговорим о стремлении постигнуть истину.

Под *истиной* я опять-таки не подразумеваю ничего особенно сложного. Я вкладываю в это слово тот же смысл, что и ученые. Мы все знаем, что философское рассмотрение понятия эмпирической истины приводит к некоторым неожиданным осложнениям, но большая часть ученых не обращает на них внимания. Ученые знают, что истина — в том смысле, в котором они и все мы употребляем это слово в повседневной речи, — есть то, во имя чего существует наука. Этого для них вполне достаточно. На этом покоится все величественное здание современной науки.

Как бы то ни было, истина, в прямолинейном понимании самих ученых, — это то, что они пытаются узнать. А узнать им нужно, что же находится *там.* Без этого стремления наука не существует. В нем заключена та движущая сила, которая вызывает к жизни научную деятельность. Это стремление внушает ученым непререкаемое уважение к истине на каждом этапе их работы. Иными словами, если вы хотите узнать, что находится *там,* вы не должны обманывать ни самих себя, ни других. Вы не должны лгать самому себе.

Или еще грубее, вы не должны подтасовывать экспериментальные данные.

Любопытно, что ученые иногда пытаются это делать. Недавно я написал роман, сюжет которого построен на научном подлоге. Но один из моих героев, выдающийся ученый, утверждает на страницах книги, что самое удивительное в науке то, что, несмотря на обилие возможностей и соблазнов, подобные вещи случаются чрезвычайно редко. Мы все слышали о пяти-шести раскрытых и нашумевших случаях, многократно описанных в литературе, таких, как «открытие» L-радиации или единственный в своем роде случай с пилтдауновским человеком{389}.

Тот, кто некоторое время вращался в научном мире, наверняка слышал доверительные разговоры о десятке других случаев, которые по различным причинам еще не стали достоянием гласности. Иногда мотивы обмана известны: довольно часто это стремление добиться каких-то преимуществ для себя лично — денег или работы. Но не всегда. Многих толкает на научное мошенничество особый вид тщеславия. На более низком научном уровне подобные вещи случаются, по-

{389} Комментарии: 2.389

Пилтдауновский человек — так называемый зоантроп, «ископаемый человек», останки которого найдены в Пилтдауне, Южная Англия.

видимому, чаще. Время от времени появляются, например, аспиранты, которые ухитряются с помощью обмана получить научную степень.

Но общее число этих людей ничтожно мало по сравнению с общим числом ученых. Кстати, влияние такого рода жульничества на развитие науки также ничтожно. Наука — саморегулирующаяся система. Это означает, что никакая подделка (или чистосердечное заблуждение) не может остаться незамеченной в течение длительного времени. Ни в какой критике извне наука не нуждается, потому что критицизм свойствен самому научному процессу. Так что единственный вред, который приносит научное жульничество, состоит в том, что ученые теряют время на изобличение мошенников.

Примечательно в данном случае не то, что горстка ученых уклоняется от поисков истины, а то, что подавляющее большинство ученых неуклонно идут к своей цели. Это ясно показывает каждому, кто хочет видеть, насколько высок моральный уровень значительного числа людей, занятых научной работой.

Мы не склонны придавать таким вещам особое значение. А между тем сам этот факт чрезвычайно важен. Он отличает занятие наукой (начиная

со студенческой скамьи) от всех других видов интеллектуальной деятельности. Элемент моральности включен в самый процесс научной работы. Стремление найти истину само по себе является моральным импульсом или, во всяком случае, содержит моральный импульс. Методы, которыми ученые пользуются, чтобы отыскать истину, обязывают их к строгой моральной дисциплине. Мы говорим об открытии, например о законе несохранения четности Ли и Янга, что оно верно, имея в виду ограниченный смысл научной истины, точно так же, как мы говорим, что оно красиво, в согласии с критериями научной эстетики.

Мы, кроме того, знаем, что такого рода открытия совершаются в результате ряда действий, которые без моральных импульсов казались бы бессмысленными. Так, эксперименты Ву{390} и ее коллег, в сущности, представляли собой не что иное, как упражнения в отыскании истины. Ученым, воспитанным на такого рода экспериментах, эти опыты кажутся столь же

{390} Комментарии: 2.390

Эксперименты Ву. — Ву Хьенсюн (род. в 1913), получила высшее образование в университете в Нанкине; живет в США; профессор физики Колумбийского университета в Нью-Йорке, работает в области ядерной спектроскопии, слабых взаимодействий, фундаментальных принципов детектирования.

естественными, как дыхание. И тем не менее это нечто удивительное. Если бы научная деятельность включала в себя только этот моральный элемент, мы могли бы с полным основанием говорить о воинствующей моральности науки.

Но действительно ли это единственный моральный элемент? Красота и истина как элементы науки не вызывают возражений ученых. Однако на Западе этим, пожалуй, все и ограничивается. Некоторые ученые согласятся с тем, что я собираюсь к этому добавить. Другие — нет. Меня это не очень волнует, но я встревожен все более широким распространением того опасного отношения к науке, которое я назвал бы циничным конформизмом технократов. Я еще вернусь к этому чуть позже. Что же касается несогласия, то мне хочется напомнить слова Г. Г. Харди, который часто говорил, что серьезный человек не должен тратить время на выражение мнения большинства — есть много людей, которые охотно сделают это вместо него. Вот классический пример научного нонконформизма. Хотелось бы, чтобы таких примеров было побольше.

Сейчас я попробую рассказать, в чем я вижу источник надежды. Ученые, которые пришли в науку до 1933 года, помнят атмосферу того

времени. Когда пожилые люди предаются воспоминаниям о своей прекрасной юности, это всегда очень скучно. Но я рискну вызвать ваше раздражение — Талейран, наверное, тоже вызывал раздражение у своих младших современников — и скажу, что тот, кто не занимался наукой до 1933 года, не знает радостей жизни ученого. Мир науки 20-х годов был настолько близок к идеальному интернациональному сообществу, насколько это вообще возможно. Не думайте, что ученые, входившие в это сообщество, относились к породе сверхлюдей или были избавлены от обычных человеческих слабостей. Я потратил изрядную часть жизни, доказывая, что ученые прежде всего и более всего — люди, поэтому я не собираюсь теперь уверять вас в обратном. Но научная атмосфера 20-х годов была насыщена доброжелательностью и великодушием, и люди, которые в нее окунались, невольно становились лучше.

Тот, кто в те годы провел хотя бы неделю в Кембридже, или в Гёттингене, или в Копенгагене, знает это по собственному опыту. У Резерфорда было не так мало слабостей, но он был действительно великим человеком с необычайно щедрой душой. В его представлении мир науки распола-

гался над миром, поделенным на национальные государства, и правила этим миром радость. С такой же, если не с большей восторженностью относились к науке два других великих ученых — Нильс Бор и Франк, заражавшие своим энтузиазмом многочисленных учеников. Такая же обстановка царила в римской школе физиков{391}.

Интернациональный мир науки скреплялся тесными личными связями. Я могу напомнить, что советский гражданин Петр Капица оказал честь моей стране и много лет работал в лаборатории Резерфорда. Его избрали в члены Королевского общества, он преподавал в Тринити-колледже Кембриджского университета и был основателем и душой лучшего клуба физиков, когда-либо существовавшего в Кембридже. Он всегда оставался гражданином СССР и является сейчас директором московского Института физических проблем. Благодаря ему целое поколение английских ученых имело возможность лично познакомиться со своими русскими коллегами. Подобные связи представляли в то время и представляют сейчас гораздо большую ценность,

---

{391} Комментарии: 2.391

Римская школа физиков — имеется в виду научная школа, которую основал Ферми.

чем любые контакты, осуществляемые дипломатами.

К сожалению, в наши дни это неосуществимо. Я надеюсь дожить до того времени, когда какой-нибудь молодой иностранный ученый вновь сможет провести шестнадцать лет в Беркли{392} или в Кембридже и потом занять почетное положение у себя на родине. Как только это снова станет возможным, нам больше не о чем будет беспокоиться. Но идиллический период существования мировой науки закончился исторической бурей, которая, к несчастью, совпала с бурей научно-технической.

Создание атомной бомбы уничтожило международное сообщество физиков. «Эта прекрасная наука погибла», — как сказал, узнав о взрыве атомной бомбы, Марк Олифант, патриарх австралийских физиков. Формально он оказался не прав. В моральном и духовном смысле, может быть, и прав.

В других областях науки международные сообщества сохранились, например, в биологии. Многие биологи сознают свою причастность к необычайно важным переменам, которые про-

---

{392} Комментарии: 2.392

Беркли — город на Западном побережье США, где находится Калифорнийский университет.

исходят сейчас в биологии, и, подобно физикам 20-х годов, испытывают чувство освобождения и радости. Вполне возможно, что духовными и идейными вождями в науке станут теперь биологи и в следующем поколении именно среди них появятся новые Эйнштейны, Резерфорды и Боры.

Физикам же пришлось испить горькую чашу. После того как было открыто расщепление атома и совершен решительный прорыв в области электроники, физика почти мгновенно превратилась в важнейший источник укрепления военной мощи национальных государств. А большое число физиков стало солдатами без формы. В промышленно развитых странах они до сих пор остаются солдатами.

Трудно сказать, были ли у них шансы занять иное положение. Физики встали на этот путь во время войны с гитлеровской Германией. Большинство ученых считали, что нацизм настолько близок к воплощению абсолютного зла, насколько это возможно в человеческом обществе. Я тоже стоял на этой точке зрения. Я непоколебимо стою на этой точке зрения до сих пор. Но коль скоро нацизм был воплощением абсолютного зла, его нужно было уничтожить, и, если нацисты могли сделать атомную бомбу, что мы до 1944 года

считали возможным и что мучило, как кошмар, всех, кто был хоть сколько-нибудь в курсе дела, значит, мы тоже должны были ее сделать. Для тех, кто не принадлежал к безоговорочным пацифистам, просто не существовало иного выхода. А безоговорочный пацифизм для большинства из нас был неприемлем.

Поэтому я уважаю и в значительной мере разделяю взгляды тех ученых, которые посвятили себя созданию атомной бомбы. Но когда вы встаете на ступеньки эскалатора, передвижение на котором так или иначе затрагивает вашу совесть, самое главное — это знать, сможете вы с него соскочить или нет. Когда ученые стали солдатами, они пожертвовали какими-то элементами полноценной научной жизни — столь неуловимыми, что сами этого не заметили. Перемена не коснулась их интеллектуальной жизни. У меня нет основания считать, что научная работа, приводящая к созданию оружия массового уничтожения, в интеллектуальном отношении чем-нибудь отличается от любого другого вида научной деятельности. Но в моральном отношении отличается.

Возможно, что при некотором стечении обстоятельств этим различием стоит поступиться;

ученые, более добросердечные, чем я, часто занимают такую позицию, и я попытался правдиво изобразить подобную ситуацию в одном из своих романов. Нельзя только делать вид, что поступаться не приходится. Долг солдата — повиноваться. Это основа военного кодекса морали. Но не кодекса морали ученого. Долг ученого — вопрошать и, если нужно, восставать. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Я не анархист, я не считаю, что лояльность дурна сама по себе. И я не утверждаю, что любой мятеж — это благо. Я хочу лишь сказать, что лояльность легко переходит в конформизм, а конформизм часто служит прикрытием для робости и своекорыстия. Точно так же, как и безропотная покорность. Если вы задумаетесь над длинной и мрачной историей человечества, то увидите, что покорные совершили гораздо больше, и притом гораздо более чудовищных, преступлений, чем бунтари. Если вы мне не верите, прочтите книгу Уильяма Ширера «Возвышение и крах третьего рейха». Кодекс морали немецких офицеров требовал беспрекословной покорности. Сами офицеры считали, что более почтенного и богобоязненного союза еще не существовало на нашей земле. И во имя покорности они совершали и помогали

совершать другим самые гнусные преступления в таких масштабах, которых до тех пор не знала мировая история.

Я не утверждаю, что с учеными непременно должно произойти то же самое. Но привычка задавать вопросы не такая уж надежная опора для тех, кто живет в организованном обществе. Мне трудно спокойно говорить об этом. Я двадцать лет занимался административной работой. На это поприще я вступил в начале войны по тем же причинам, по которым мои друзья-ученые начали делать оружие. Меня удерживали на этом поприще те же причины, которые превратили моих друзей в солдат без формы. Английская официальная жизнь не требует такой же дисциплинированности, как армия, но различие не очень велико. Мне кажется, я достаточно хорошо знаю, какими огромными достоинствами обладают те, кто ведет эту суровую жизнь. Но мне, кроме того, известно, как я попал в моральную западню. Я тоже встал на эскалатор. Итог можно сформулировать так: я спрятался за стенами учреждения, я лишился возможности говорить «нет».

Нужно быть очень стойким человеком, чтобы в организованном обществе сохранить возможность сказать «нет». Я говорю это потому, что не

принадлежу ни к очень стойким людям, ни к тем, кому легко остаться в одиночестве и пренебречь мнением своих коллег. Трудно рассчитывать, что многие ученые смогут это сделать. Существует ли какая-нибудь другая, более надежная опора? По-моему, да. Мне кажется, что в научной деятельности скрыт еще один моральный импульс, не менее мощный, чем поиски истины. Этот импульс — *знание.* Есть целый ряд вещей, которые ученые *знают* лучше и глубже тех, кто не представляет себе, что такое наука. Если мы не безнадежно слабы и не безнадежно испорчены, знание должно определять характер наших поступков. Большинство из нас слишком робки, но знание не может не придать нам мужества. Быть может, оно даст нам достаточно мужества, чтобы сделать то, что мы должны сделать.

Я постараюсь выразить свою мысль более конкретно. Все физики *знают,* что получить плутоний сравнительно нетрудно. Мы знаем это не понаслышке и не из газет; для нас это факт, установленный в процессе нашей работы. Мы можем подсчитать, сколько научных работников и инженеров понадобится тому или другому государству, чтобы наладить производство атомных и водородных бомб. Мы *знаем,* что десятку

или больше государств для этого достаточно, наверное, шести лет или даже меньше. Самые информированные из нас всегда преувеличивают такие сроки.

Мы знаем это достоверно — как бы вам сказать? — знаем с полной инженерной достоверностью. Но мы, кроме того — во всяком случае, большинство из нас, — знакомы со статистикой и правилами вычисления шансов. Мы знаем с полной статистической достоверностью, что, если необходимое количество атомных бомб будет изготовлено в нескольких различных государствах, некоторые из них будут взорваны: случайно, по глупости, потому что кто-то сойдет с ума — причины не имеют значения. Значение имеет лишь непреложность статистических выводов.

Все это мы *знаем.* И притом знаем это лучше политиков, потому что наше знание есть результат нашего опыта. Оно является частью нашего сознания. Так неужели мы допустим, чтобы это случилось?

Все это мы *знаем.* Знание накладывает на ученых тяжелую личную ответственность. Дело не только в гражданской ответственности. На ученых лежит большая ответственность, и несколько иного характера. Потому что ученые

испытывают моральное побуждение сказать то, что они знают. В результате они могут лишиться доброго имени в своей собственной стране. Они могут лишиться большего. Однако это совершенно неважно. Или важно только для вас и для меня, но не имеет никакого значения перед лицом возможного риска.

Ибо мы знаем, что поставлено на карту. У нас есть две возможности и очень мало времени. Первая — ограничение ядерных вооружений. И как первый шаг — запрещение всех ядерных испытаний. Я не хочу скрывать, что этот курс сопряжен с определенным риском. Во втором случае речь идет уже не о риске — тут все ясно. Абсолютно ясно. Соглашение о запрещении ядерных испытаний не заключается. Соревнование в накоплении ядерного оружия между великими державами не только продолжается, но и становится более напряженным. В него включаются другие государства…

Таким образом, в одном случае — определенный риск. В другом — неизбежная катастрофа. Выбирая между риском и катастрофой, здравомыслящий человек не колеблется.

Долг ученых — разъяснять смысл этой альтернативы. Этот долг вытекает, как мне кажется, из

самого характера научной деятельности.

Таким же непреложным, хотя и более радостным, долгом ученых является использование благодатных сил науки. Ученым известно, опять-таки с полной научной достоверностью, что промышленно развитые страны обладают всем необходимым для того, чтобы изменить условия существования половины земного шара. Причем изменить сейчас, на протяжении жизни нынешнего поколения. Иными словами, они обладают достаточными ресурсами, чтобы дать возможность половине населения земного шара жить так же долго, как живем мы, и не страдать от голода. Единственное, чего нам не хватает, — это доброй воли. И это мы тоже знаем. Так же, как знаем, что нам неслыханно повезло — вам, американцам, и чуть меньше нам, англичанам. Мы похожи на людей, которые сидят в дорогом уютном ресторане и с удовольствием поглощают пищу, бросая взгляды на окна. Там, на улице, толпятся другие люди и смотрят на нас; волей случая они отличаются от нас цветом кожи и тем, что они голодны. Что же удивительного, что они относятся к нам без особой симпатии? Что же удивительного, что иногда, взглядывая на них сквозь стекло, мы стыдимся самих себя?..

Так что же — в нашей власти взяться за разрешение этой проблемы. Наша совесть требует, чтобы мы приступили к делу. Мы все понимаем, что, если эта проблема не будет разрешена, она породит многие другие проблемы. Возникнет, например, проблема перенаселения земного шара. Обстоятельство угрожающее. И до тех пор, пока люди останутся людьми, будут возникать все новые и новые обстоятельства, угрожающие нашему интеллектуальному спокойствию и нашим моральным устоям. В конце концов, угрожающее положение, если понимать слова в их прямом смысле, не является основанием для бесконечных колебаний и ничегонеделанья. Угроза — это нечто требующее ответа.

Вот почему я считаю, что на плечах ученых лежит тягчайший груз ответственности, более тяжелый, чем на плечах других людей. Я не стану утверждать, что знаю, как они справятся со всеми трудностями. Но вот мои последние слова: я неколебимо верю, что справятся. Ибо, как я уже говорил, нет никаких сомнений в том, что научная деятельность сама по себе прекрасна и правдива. Я не могу этого доказать, но верю, что, поскольку ученые не могут не знать того, что они знают, они не могут не стремиться к добру.

Пер. Ю. Родман

Заметки о гуманизме{˘}

Находясь в июне прошлого года в Москве[114], я имел возможность встретиться с директором Института мировой литературы Иваном Аниси-

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в книге: «Гуманизм и современная литература», М., Изд-во АН СССР, 1963. (Материалы дискуссии, проведенной в 1962 г. СП СССР и ИМЛИ им. Горького.)

[114] Примечания: 1.114

Написано в 1962 году.

мовым{394} и его сотрудниками. Они сообщили мне, что в конце года у них будет проходить дискуссия о гуманизме и его соотношении с марксистско-ленинской философией. Мне было предложено принять в этой дискуссии участие. Я хотел бы присутствовать на таком диспуте, но польза от моего участия невелика, ибо я не имею понятия об общем направлении разговора. Впрочем, мне уже известно на основании беседы с Анисимовым и его друзьями, а также встречи со Щербиной{395} и Балашовым{396}, посетившими меня в Лондоне, что наши взгляды по этому вопросу в сути своей имеют много общего. Вот почему я готов рискнуть и сделать несколько замечаний. Если же от начала до конца я веду речь не о том, то виной тому расстояние, а не моя

{394} Комментарии: 2.394

Анисимов, Иван Иванович (1899–1966) — советский литературовед, член-корреспондент АН СССР, в то время директор Института мировой литературы им. А. М. Горького. О взаимоотношениях И. И. Анисимова и Ч. П. Сноу см. в статье Д. М. Урнова «Дружба с Чарлзом Сноу» в книге: «Большой Иван. Книга об И. И. Анисимове». М., «Правда», 1982, с. 38–43.

{395} Комментарии: 2.395

Щербина, Владимир Родионович (род. в 1908) — советский литературовед, член-корреспондент АН СССР, заместитель директора ИМЛИ.

{396} Комментарии: 2.396

Балашов, Петр Степанович (1905–1978) — советский литературовед, специалист в области английской литературы. Его статьи о творчестве Ч. П. Сноу и П. Х. Джонсон опубликованы в книге: П. С. Балашов.

«Писатели-реалисты XX века на Западе». М., «Наука», 1984.

нерадивость.

Позвольте мне прежде всего определить то значение слова «гуманизм», какое ему придают на Западе. Как термин это слово употребляется поразному. Во-первых, исторически этим термином обозначают совокупность взглядов, философских и художественных, свойственных эпохе зрелого Возрождения, когда система феодализма начала рушиться, новый класс торговой буржуазии проникал в итальянские города и, как следствие этих процессов, явились Леонардо и Верроккьо, Мантенья и Пьеро делла Франческа, великие итальянские художники-ученые, и человек, индивидуальность, стал будто бы хозяином своей судьбы. С точки зрения таких людей, человек, а не бог оказался центром мироздания. Этот перелом обычно относят к XV веку в применении к Италии и на 50–100 лет позднее его прослеживают в Англии, где Шекспир, несмотря на пережитки средневековья, сохранившиеся в его мировоззрении, явил собой тем не менее высший образец писателя-гуманиста.

Но эти перемены были, разумеется, лишь частичными как в отношении всего общества, так и отдельных личностей. В Англии без чьих-либо сознательных намерений возникли устремления

противоположные, а вслед за этим началась борьба, которая невольно расширила круг воздействия гуманистических воззрений. Эта борьба была классовой, она велась во имя классовых интересов. В XVII столетии мелкопоместное дворянство и среднее купечество (растущее в числе благодаря морской торговле) свергли короля и крупных землевладельцев. Классовое расслоение было в то время более сложным, но для общего представления достаточно и этой приблизительной схемы. Противники короля по большей части оказывались кальвинистами. Их бы поразила и привела в ужас мысль о том, что они закладывают основы гуманизма. Между тем именно к этому объективно вела их деятельность. Точно так же в XIX столетии поднимающаяся буржуазия совершала промышленную революцию — не вооруженным путем, а чисто политически. Буржуазия добивалась власти и денег, однако в результате в ее среде сложилось наследие гуманистических убеждений и явились действенные гуманисты.

Мне хотелось бы услышать ваши замечания по данному поводу. Ибо я убежден, что это наследие сохраняет до известной степени ценность. Я не уверен, что вы думаете так же. С вашей стра-

стью к идеям, ясностью анализа и ненавистью к социальному лицемерию (равно и к лицемерию личному, когда о нем заходит речь), я догадываюсь, что вы, прекрасно понимая, в чем заключаются корни гуманизма, не очень-то их жалуете. Я вижу эти корни так же, как и вы. Единственное различие между нами состоит в том, что, с моей точки зрения, конечный результат в общественном смысле может быть желателен вне зависимости от того, каковы были средства его достижения. Разумеется, бывает гуманизм подлинный и гуманизм ложный, и, конечно, среди настоящих гуманистов попадаются люди более слабые и более сильные.

Опасность для гуманизма Запада таилась всегда в убеждении, будто гуманизм — идеология обособленной группы. В Англии в начале этого века наиболее характерной группой такого рода

было объединение «Блумсбери»{397} (по названию района в Лондоне, где жила большая часть членов этого объединения). О некоторых членах «Блумсбери» вам приходилось слышать. Это философ Бертран Рассел, экономист Дж. Кейнс, романисты Э. М. Форстер и Вирджиния Вулф. Некоторые вам неизвестны вовсе: публицист Лоуэс Диккинсон, театральный критик Десмонд Маккарти{398} (который удивительным образом похож внешне на вашего критика Александра Аникста{399}), критик-искусствовед Клив Белл. Почти все эти люди (за исключением аристократа Рассела) вышли из буржуазно-профессиональной среды и жили благополучно. Им была свойственна общность многих черт. Все они были атеистами. По сути, гуманизм любого толка трудно сочетается с ве-

---

{397} Комментарии: 2.397

«Блумсбери» — объединение деятелей английской культуры, созданное около 1906 г. и существовавшее несколько десятилетий. В него входили писатели Вирджиния Вулф и Э. М. Форстер, историк-эссеист Литтон Стрэчи и художник Дункан Грант, искусствоведы Клайв Белл и Роджер Фрай, экономист и коллекционер картин Дж. М. Кейнс и др. Они часто собирались на квартире у Л. Стрэчи или у В. Вулф в лондонском районе Блумсбери, откуда и название объединения. Эти типичные «блудные дети буржуазии» (Горький), разочаровавшиеся в идеалах и ценностях своей среды, критиковали буржуазный прогресс с либерально-консервативных позиций. В основе их взглядов были эстетство, элитарность, философский агностицизм, исторический пессимизм. Их «гуманизм», против которого постоянно выступал Сноу, — это презрение «избранных» к толпе.

{398} Комментарии: 2.398

Маккарти, Десмонд (1878–1952) — английский писатель и критик, был близок в «Блумсбери».

{399} Комментарии: 2.399

Аникст, Александр Абрамович (род. в 1910) — доктор искусствоведения, член бюро Научного совета по истории мировой культуры АН СССР. Автор книг «История английской литературы» (1956), «Творчество Шекспира» (1963), «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга» (1967), «„Фауст“ Гёте» (1979) и др.

рой в бога. (Хотя кое-кто из верующих, например Мориак{400}, Бернанос{401}, Грэм Грин, исповедует христианский гуманизм, весьма своеобразный по своему духу.) Все они, говоря языком западной терминологии, были расплывчато либеральны в политических взглядах. Они все придавали невероятно большой вес тому, что называлось ими «личными отношениями».

Они обладали достоинствами обособленной группировки. Они были весьма утонченны, они, как правило, были терпимы, в известных масштабах они отличались великодушием. Однако искушение, которому они (Рассел в меньшей степени, чем остальные) так или иначе оказывались подвержены, звало их к тому, чтобы видеть в их группке оазис цивилизации, и это сводило на нет потребность в широкой и активной связи с остальным миром.

{400} Комментарии: 2.400

Мориак, Франсуа (1885–1970) — французский писатель, автор романов «Тереза Дескейру» (1927), «Клубок змей» (1932), «Дороги в никуда» (1939) и др.

{401} Комментарии: 2.401

Бернанос, Жорж (1888–1948) — французский писатель, сторонник католицизма. Известны его романы «Дневник сельского священника» (1936), «Новая история Мушетты» (1937), «Господин Уин» (1943), в них показано господство зла в современном обществе. Почти во всех произведениях Бернаноса как положительный идеал представлены католические священники.

У англичан, близких по взглядам мне самому, вступивших в жизнь поколением позже, чем члены «Блумсбери», они вызывали то чувство досады, какое, скажем, вызывал у младшего поколения Тургенев. Нам хотелось чего-то менее уступчивого. Мы отдавали предпочтение, при всех его недостатках, гуманизму Уэллса и Шоу. В пределах целого ряда человеческих чувств Уэллс и Шоу говорили на языке, близком Горькому. Не думаю, чтобы это можно было сказать о группе «Блумсбери». Из русских писателей, которых я знаю лучше других, я назвал бы Чехова и Горького представителями подлинного гуманизма, и еще, пожалуй, Лескова. Я сдержанно отношусь к Тургеневу, но, возможно, я несправедлив в этом смысле. Что касается Толстого, величайшего из романистов, то он не подходит ни под какую категорию.

Но как бы там ни было, в этих сплетениях гуманистических воззрений, сильного и немощного гуманизма, я убежден, есть нечто нерасторжимое — нечто такое, что при разумном подходе с нашей стороны способно дать действенному обществу дополнительную глубину чувств и психологическую устроенность. Терпимость хороша, но в том случае, если она не ведет к пассивности

перед лицом надвигающейся опасной ситуации. Активный гуманизм должен понимать и сочувствовать людям, несущим ответственность за эту опасность, не уменьшая собственной обязанности уменьшить опасность. Великодушие — вещь хорошая, когда оно, однако, не подтачивает воли. Временами необходима ненависть. Необходима, однако, и осмотрительность в том случае, если нет достаточной терпимости и великодушия.

Гуманный взгляд таит множество нравственных ловушек. Не меньше ловушек содержат в себе все виды ненависти и праведного гнева. Ловушек этих также следует остерегаться. Забота об отдельном человеке — хорошая вещь. Жизнь не столь проста, как иногда нас пытаются убедить в этом. Мы жили и живем в величайшей исторической буре — и вас это касается более, чем какого-либо другого народа на Земле.

Одна из лучших сторон истинного гуманизма состоит в заботе об отдельном человеке. В Англии, по моему мнению, есть известная доля подобной заботы, выражающаяся в узаконенной справедливости (порядочности). У меня такое ощущение, что вы относитесь к этому с недоверием. С вашим цепким интересом к психологии и наблюдательностью — я не встречал людей

более психологически наблюдательных, чем мои московские друзья, — вы не даете себе труда разобраться в наших правилах и нормах поведения и выражаете неверие как в истоки этих норм, так и в результаты их действия.

Кое-кто из вас достаточно меня знает, чтобы представлять себе, насколько я нелицеприятен и всегда говорю правду так, как понимаю ее. Я убежден, что английские нормы узаконенной справедливости не следует сбрасывать со счетов, они заслуживают большего внимания. Если где-либо на Западе гуманизм имеет практические нормы выражения, так это у нас. Подобные нормы справедливости, будучи однажды учрежденными, нелегко поддаются изменениям. Они не выдерживают всех напряжений, но некоторым из них способны противостоять. Они создают известную степень духовной устроенности, они окружают отдельного человека определенной областью неуязвимости.

Я постарался высказать некоторые соображения на этот счет в моем последнем романе — «Дело». В этой книге выведена группа людей (работников английского академического института), которые относятся к одному человеку с предвзятостью, хотя есть ряд личных

причин, по которым они имеют основания не сознаваться самим себе в том, почему они поступают таким образом. Эта предвзятость в сильно уменьшенном виде представляет гораздо более значительные предрассудки мирового масштаба, опасные для всех нас. Однако нормы поведения, узаконенные меры предосторожности, человеческая порядочность некоторых членов этой группы предотвращают катастрофу. Человек этот не добивается полной справедливости, но — это писалось в стране компромиссов — приближается к ней.

Это реалистическое произведение. Я был свидетелем такого рода явлений. В них нет ничего чрезвычайного или героического, но они показывают пути, которыми люди, не без доли двойственности, могут сделать свою жизнь более достойной и полной надежд.

Кое-что из этой книги, мне кажется, вносит некоторый вклад в дело активного гуманизма. Этот вклад не способен сдвинуть страсти — общественные или интимные. Но он призван смягчить, в какой-то мере упорядочить и придать значительность ходу общественной жизни и духовной жизни отдельной личности.

Пер. Д. Урнова

Что могут гуманисты?{˘}

ОТВЕТ СНОУ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ»

Когда в 1939 году моя страна объявила войну гитлеровской Германии, у меня не было и тени сомнения, что мы поступили правильно. Мир — великое благо, но не во всех случаях мир — абсолютная ценность. Война — это жестокая насмешка над гуманностью, и все-таки есть вещи хуже войны. Победа гитлеризма была бы одной из таких вещей, которые хуже войны.

С тех пор мои взгляды не изменились. Я всей душой верю, что сегодня нам необходим мир, и особенно мир во взаимоотношениях между двумя величайшими державами — Советским Союзом и США. Я верю в дух Хельсинки, в дух разрядки и не раз высказывался в их поддержку и у себя на родине, и в Америке. Только не нужно питать ни слишком пылких надежд, ни безграничного страха. Мы должны отдавать себе ясный отчет в том, насколько ощутима военная угроза.

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1976, № 12.

Говоря о мире, нам не следует гипнотизировать себя нашей собственной риторикой.

Несомненно, отвращение к войне и гуманные, трезвые стремления к миру резко усилились после того, как было создано атомное оружие. Война и раньше воспринималась как нечто ужасное, однако представления о том, какой могла бы оказаться будущая война, стали теперь совершенно иными после того, как наука продемонстрировала нам это свое достижение.

Некоторым из нас такая война смутно виделась и в те дни, когда шла битва с гитлеризмом. Уже в 1940 году атомная бомба была не просто отдаленной возможностью. Я помню, как пошли слухи о том, что в Чикаго работает специальная научная группа, а чуть позже, в начале 1944 года, мы узнали, что бомба, как тогда выражались люди науки, «на ходу». Эти слухи циркулировали лишь в очень узких кругах посвященных. Меня они не обрадовали. С 1943 года, после Курской дуги, было ясно, что Гитлер проиграл войну. Живя в Лондоне, я почти не испытывал на себе опасностей, связанных с войной, — оставался лишь маловероятный шанс, что я погибну от обычной бомбы старого, всем знакомого образца. Но другая тревога, которая таилась во мне всю эту войну,

теперь начала расти. Если бомбу смогли создать воевавшие на нашей стороне, почему ее не могут создать и немцы? Ведь в технике они добились немалого. Надо сказать, что у нас в Англии люди, разбиравшиеся в этих делах, испытывали такую же тревогу до самого конца войны. Мы, правда, утешались тем, что изготовить бомбу трудно и что к 1945 году у американцев, а возможно, и у немцев бомб могло быть три-четыре, не больше. Но с другой стороны, если и одна или две такие бомбы упадут на Лондон, город от этого налета явно не станет лучше, чем был до него.

Вскоре мы узнали, что наши страхи, не имели под собой оснований, однако они были далеким предвестием той тревоги, которую думающие люди повсюду в мире испытывают с тех самых дней. Реальна ли атомная война? Если да — что останется от нашей Вселенной? Может быть, то, что я сейчас пишу, оттолкнет своей сухой черствостью, но во времена, когда людям приходится, как нам сегодня, жить в условиях исторических бурь, такая черствость становится необходимой. Почти с самого начала, с того потрясения, каким была Хиросима, я никогда не верил в то, что возможна атомная война между двумя крупнейшими державами. И при этом я исходил не из соображений

нравственности и не из веры в действенность гуманистических движений, а из того, что не могут не восторжествовать простое благоразумие, трезвая оценка военных последствий и чувство необходимости. Ни одна великая держава, если только не утрачивается рациональный контроль над совершаемыми ею действиями, не может пойти на смертоносные разрушения, которым никогда не было ничего равного по масштабам.

Вероятно, и в худшем случае кровопролитие не оказалось бы столь ужасным, как предсказывают. Даже водородной бомбе трудно уничтожить сорок миллионов человек — будь то в США, или в СССР, или в менее развитом Китае, где сделать это оказалось бы еще труднее; впрочем, одной такой бомбы вполне хватило бы, чтобы уничтожить большую часть населения Англии или Голландии. Чудовищно, что приходится заниматься столь мрачными выкладками, но я это делаю только для того, чтобы доказать: ни одно общество, если оно не обезумело, не может пойти на подобный риск.

Здравый смысл — его нам прежде всего и необходимо оберегать. Окрыленные надеждой, не будем, однако же, воспарять слишком высоко. Разрядка — прекрасное дело. Если нам будет

сопутствовать удача, вооружения можно сократить, не нарушив равновесия в этой области. Я исхожу из того, что о многих вещах две ведущие державы не смогут договориться, не достигнув прочного взаимопонимания. Советские люди и американцы кое в чем похожи друг на друга гораздо больше, чем им самим представляется, но перед нами здесь, разумеется, принципиально различные общественные структуры, и их различия сохранятся. Оба эти общества в высшей степени устойчивы. Трудности, с которыми сталкивается в своей внутренней жизни Америка, нередко преувеличиваются и иностранцами, и самими американцами. Эти трудности видны всем, но не каждый отдает себе отчет в том, насколько искусно американцы используют для роста потребления достижения техники (это относится и к сельскому хозяйству, и к промышленности) и насколько они убеждены в том, что основам их жизни ничто не угрожает. Я часто и подолгу бываю в этой стране и сужу о ней с уверенностью: как говорят англичане, постороннему всегда видней.

Было бы преступлением, если бы мы впали в благодушие и сочли излишними усилия в борьбе за дальнейшее осуществление разрядки, однако

при всем том я настроен оптимистически до тех пор, пока вопрос о мире находится только в связи с проблемами взаимоотношений двух крупнейших держав. Мне уже много лет, и я не смогу удостовериться в том, насколько верным оказалось мое предсказание, однако я без колебаний рискну всей своей репутацией, отстаивая его истинность.

Но атомные бомбы могут иметь и другие последствия, и здесь мне уже трудно быть столь же оптимистичным. Эти последствия не так уж сложно себе представить; я о них говорил еще шестнадцать лет назад в одном своем нью-йоркском выступлении, и тогда же на меня накинулись с критикой. В настоящее время известно, что атомным оружием располагают пять государств: США, СССР, Англия, Франция, Китай. Но есть еще не менее десяти государств, которые могли бы им располагать, и почти несомненно, что некоторые из этих государств его изготовляют. Это не самое мощное оружие, не самое современное, если иметь в виду технические средства его использования, однако при всем том это — атомное оружие, а оно опасная игрушка. До тех пор пока им владели только две крупнейшие державы, опасность была куда ниже, чем в том

случае, когда оно оказывается в руках многих государств поменьше, причем таких, которые нередко расположены в самых горячих, заряженных конфликтами районах планеты. Если нашему веку уготована атомная война, то она разразится именно в этих районах.

К тому же существует хотя бы теоретическая возможность, что сегодняшние «бунтари», которые пока удовлетворяются организацией сравнительно небольших взрывов, в конце концов раздобудут достаточно плутония, чтобы самостоятельно изготовить примитивные атомные бомбы. Ведь такое осуществить не так уж сложно. Представьте, что одну-две такие бомбы пустят в ход на улицах большого города, — это будет катастрофа. Война от этого не вспыхнет, но моральный ущерб делу мира трудно в этом случае даже вообразить себе, и перспективы прочного мира, основанного на доверии, отодвинутся на много лет.

Вот где должна быть область настоящего сотрудничества между великими державами и, возможно, сотрудничества между людьми, наделенными здравым смыслом и доброй волей, между гуманистами, если это слово звучит точнее. Они должны побудить свои правительства

к тому, чтобы были предприняты действенные меры безопасности. Распространение атомного оружия должно быть остановлено; распространение сырья для атомных бомб должно быть взято под бдительный контроль — точно так же, как распространение эпидемий.

Что могут здесь сделать гуманисты? Что могут здесь сделать писатели, которые должны быть гуманистами, пусть некоторые из выдающихся писателей ими и не были? Для людей Запада термин «гуманизм», к сожалению, означает не то же самое, что он означает в Советском Союзе. Англичане вкладывают в это понятие довольно мелкое содержание. Современные французские интеллигенты склонны считать слово «гуманизм» бессодержательным. Однако люди доброй воли солидарны с тем пониманием гуманизма, которое утвердилось в советском строе мышления: для них это понятие означает уважение к человеку и веру в его будущее. Возможно, нам на Западе придется подыскать другое слово, которое выразило бы тот же смысл. Уважение к человеческому достоинству и вера в человека — это, несомненно, и есть гуманность. И если мы хотим, чтобы XXI век оказался лучше, чем наш, или хотя бы был просто спокойным веком, нам

необходимо научиться ценить таким образом понятую гуманность лучше, чем мы способны были ценить ее в нашем разделенном мире.

Здесь у писателя своя незаменимая роль. Мне кажется, что ответственность писателя может проявляться двумя разными способами. Писатели, как правило, яснее представляют себе ход событий, чем большинство обычных людей, и скорее способны воздействовать на него. Среди них немало таких, кого на Западе называют публицистами, подразумевая, что эти писатели прямо высказываются по животрепещущим проблемам, скажем по тем, о которых я упоминал выше. В таких высказываниях неизбежно обнаруживается некоторая упрощенность. Нередко попросту повторяются совершенно справедливые, но всем и каждому давно знакомые слова — о том, что все люди должны быть братьями или, если перед нами писатель христианской ориентации, что в каждом человеке живут и все другие люди. Прекрасные мысли. По сути, впрочем, это трюизмы, но бывают времена, когда и повторения трюизмов не следует опасаться.

Но подлинно значительный писатель будет стремиться высказать нечто более сложное и трудное. И если мы хотим достичь настояще-

го взаимопонимания между людьми, если мы хотим опираться на твердую почву в нашем стремлении выявить и отстоять в человеке с его сложной природой все самое лучшее, необходимо прислушиваться к тем писателям, которые стараются говорить не об очевидном, а о трудном и неясном. Их устами и говорит настоящее искусство. Для меня, как правило (впрочем, это не значит — всегда), высшие образцы искусства те, в которых присутствует мысль о том, какой должна была бы быть жизнь. Только писатель, если это настоящий писатель, ни в коем случае не должен здесь выдумывать ничего такого, чего в жизни нет. Его долг — осознать и резкую противоречивость человеческой индивидуальности, и возможности человека творить добро. Жизнерадостные картины будущего рисовать несложно. Но писательское слово будет правдивым лишь при том условии, что эта вера в будущее явится итогом непредвзятого исследования жизни — настолько глубокого, насколько это в возможностях таланта каждого художника.

О величии души{˘}

Около трехсот лет тому назад один профессор математики в Кембриджском университете совершил весьма необычный поступок. Он решил, что его ученик — куда более сильный математик, нежели он сам, и во всех отношениях может превзойти его как педагог. Не удовлетворившись этим актом самокритики, профессор вскоре отказался от руководства кафедрой, потребовав, чтобы ученик был немедленно назначен его преемником. С точки зрения истории никто не может утверждать, что профессор совершил ошибку, хотя звали его Барроу{404} и в XVII веке он считался очень хорошим математиком. Но

{˘} Комментарии: ˘

Выступление Сноу в Сент-Андрюсском университете в Шотландии 13 апреля 1962 г. 26 апреля того же года оно было с небольшими сокращениями опубликовано в «Литературной газете». Текст приводится по этой публикации.

В ноябре 1961 г. студенты Сент-Андрюсского университета избрали Сноу ректором университета. Степень почетного доктора этого университета была присвоена М. А. Шолохову.

{404} Комментарии: 2.404

Барроу, Исаак (1630–1677) — английский математик, филолог и богослов, учитель Ньютона. Написал «Оптические и геометрические лекции» (1669–1670), где предвосхитил исследования Ньютона и Лейбница в разработке исчисления бесконечно малых.

учеником его был Исаак Ньютон.

Это один из любимейших моих академических анекдотов. Но, к сожалению, я не умею действовать так же стремительно, как д-р Барроу. И все же приятно представить себе, как пошли бы у нас дела, будь мы все похожи на него. Политики, академики, администраторы, художники, бизнесмены — все внимательно присматриваются, видят более достойного и поступают, как Барроу: «Ваше место здесь, мой дорогой, а мое пониже!»

И в самом деле, если бы все мы осмотрелись, сравнили себя с другими и, как говорят экзистенциалисты, поступили «в духе внутренней свободы», то, насколько я могу судить, произошли бы весьма примечательные перемены.

Увы! Этого не случится. Видимо, Барроу так и останется уникумом и, так сказать, крайним примером величия души. Вот почему я так его люблю. Ибо из всех добродетелей я больше всего восхищаюсь великодушием и больше всего мечтаю обладать именно им. Мужество в сочетании с великодушием — вот та единственная добродетель, которую я хотел бы видеть в тех, кого люблю. Разумеется, я не без интереса и с пользой для себя общался с множеством людей, лишенных и мужества, и великодушия. Но мне

кажется, я не мог бы чувствовать себя уверенно с кем бы то ни было, у кого нет хоть какой-то доли этих качеств.

Что же я подразумеваю под величием души? Ничего особенно сложного. В значительной мере именно то, что мы имеем в виду, употребляя это слово в обыденном разговоре. Если бы мне пришлось дать определение этого понятия, то я начал бы примерно так. Добродетель эта состоит, во-первых, в умении видеть себя и другого, любого другого человека такими, каковы оба действительно есть. Ибо нет истинной добродетели без ясного видения вещей. Великодушие — это, кроме того, стремление видеть в другом человеке лучшее и попытка выявить в нем это лучшее. Естественно, что попутно надлежит выявить лучшее и в самом себе. Все это просто, но корни добродетели далеко не так просты. К ним я еще вернусь.

Вернусь я и к другому вопросу, который волнует меня, хотя никто не может до конца объяснить, в чем здесь дело. Я хочу сказать, что эта основная добродетель, которая, взятая в любой степени, скрашивает жизнь, а взятая в высшей степени — прославляет ее, грозит, судя по всему, исчезнуть из жизни нашего английского общества,

а возможно, и из жизни нашего шотландского общества (впрочем, в этом я не вполне уверен).

Об этом я скажу еще кое-что ниже. Однако было бы бесплодным и нелепым пытаться определить какую-либо добродетель совершенно абстрактно. Добродетели проявляются в действиях. Рассмотрим несколько реальных примеров великодушия. Первым назову шотландца, и не потому, что хочу, кстати, продемонстрировать свой патриотизм, а потому, что, как явствует из всей истории литературы, он был великодушный и добрый человек. Вспомним сэра Вальтера Скотта. Я не считаю его одним из величайших романистов. Но его жизнь, его отношения с другими писателями, его умение переживать и фантастический триумф, и невиданные горести являют собой пример, который должен заставить всех нас краснеть. Если бы часть — пусть небольшая — интеллигенции была хоть в какой-то степени такой великодушной, как Вальтер Скотт, в нашем мире было бы гораздо легче жить. Если бы мне предложили выбрать среди писателей всех стран того, кто является воплощением великодушия, я назвал бы его имя.

Далее я назову Тургенева. Знаменателен для нас сегодня тот факт, что в 1879 году Оксфордский

университет присвоил ему почетную степень. Быть может, я позабыл кого-нибудь, но, по-моему, кроме нашего уважаемого сегодняшнего гостя Михаила Александровича Шолохова, с тех пор ни одному русскому писателю — художнику слова ни разу не присуждалась почетная степень британского университета.

Тургенев смолоду пользовался большим литературным успехом, и этот успех сопутствовал ему в течение всей жизни. Он был на десять лет старше Толстого, и, когда они встретились впервые, Тургенев был самым выдающимся писателем России, а Толстой лишь новичком. Довольно скоро это соотношение изменилось. Толстой опубликовал «Войну и мир», когда ему еще не исполнилось сорока лет, и в поразительно короткий срок был признан первым романистом не только России, но и всего мира. Тургенев был не просто отличным писателем, но и человеком острого критического мировосприятия. Он не мог не признать справедливость оценки, данной Толстому, и это было для него нелегко. Тургенев отдал своему искусству больше, чем другие писатели, много больше, нежели Толстой, — и сознание того, что он превзойден, причиняло ему огромные страдания. И все же он остался

человеком большого сердца. Умирая, он написал Толстому одно из наиболее волнующих писем, какие вообще известны в мировой литературе, прося его вернуться к литературной деятельности и называя его «великим писателем Русской земли».

Люди могут вести себя великодушно и подло. Порой, в мрачные минуты, начинаешь думать, что человечеством движут лишь два фактора: с одной стороны — зависть, с другой — грубое желание плоти продлить свое существование. Но это не совсем так, нет, это совсем не так. Достаточно было провести с Эйнштейном несколько часов, чтобы убедиться в том, что это совсем не так. Или заглянуть в одну из крупных физических лабораторий мира двадцатых-тридцатых годов, в этот героический век физиков, когда Франк работал в Гёттингене, Бор — в Копенгагене, Эрнест Лоуренс{405} — в Беркли, Резерфорд — в Кембридже. Во всех этих городах можно было увидеть людей, которые вели себя более великодушно, чем это могло бы удаться большинству из нас. Однажды между ученым миром Парижа и Ка-

{405} Комментарии: 2.405

Лоуренс, Эрнест Орландо (1901–1958) — американский физик. В 1930 г. выдвинул идею и построил первый циклотрон, имеет труды по ядерной физике, участник создания атомной бомбы.

вендишем возник спор о том, кто первый сделал какое-то второстепенное открытие — Резерфорд или Ланжевен. В спор вмешался Резерфорд и своим громовым голосом заявил: «Если Ланжевен утверждает, что открытие принадлежит ему, значит, это открытие принадлежит Ланжевену!» Дорогой Резерфорд! Были у него свои слабости, но сколько же великого сделал он для многих из нас! Мы обязаны ему уже хотя бы тем, что видели, как работал его творческий гений, как легко все давалось ему, каким это делало его счастливым и великодушным.

Когда люди, подобные этим физикам, объединены друг с другом большим общим замыслом, их слова, брошенные на лету, становятся весьма многозначительными. Для всех этих лабораторий была характерна примерно следующая формула: «Неважно, кого похвалят, лишь бы дело двигалось вперед». Лицемерие, по-вашему? Не говорите так! Я посвятил немало времени описанию поведения людей в подобных ситуациях. Много лет тому назад я был научным работником (не слишком хорошим). Однажды я занимался каким-то исследованием. Работа была весьма тривиальной, чего я не могу сказать о вызванных ею эмоциях. Мне казалось очень существенным:

кого же все-таки похвалят? Иной раз лицемерие может содержать или выражать часть истины. Если человек говорит себе, что, мол, теоретически неважно, кому выпадет слава, то какой-то частицей своего «я» он, возможно, и желает, чтобы это было именно так. Не исключено, что в наших увядших и эгоистических сердцах все еще не погасла искорка надежды и великодушия. Не стоит слишком сильно презирать лицемерие. Поймите его сущность, но не презирайте его. Порой оно есть признак того, чем мы хотели бы быть.

Большинство имен, названных мною, принадлежит великодушным людям и широко известно. Теперь мне хочется назвать менее известного деятеля, Г. Г. Харди. Он не очень популярен просто потому, что его область — чистая математика — чужда большинству из нас. В действительности это был великий и в высшей степени великодушный человек, пожалуй, самый великодушный из всех, кого я знал. Я имел счастье быть с ним знакомым в течение последних шестнадцати лет его жизни.

Позвольте рассказать о нем одну историю. Однажды утром, в начале 1913 года, за завтраком в своей университетской квартире Харди заметил на столе большой конверт с индийскими мар-

ками. Без особого любопытства он вскрыл этот конверт и, как ожидал, нашел в нем несколько листов бумаги. Это были весьма странные теоремы без всяких доказательств. Кто это: гениальный шарлатан или неизвестный математический гений Индии? Вечером он пошел обсудить этот вопрос со своим сотрудником Дж. И. Литлвудом, которого упорно ставил выше себя. Вскоре оба ученых пришли к единодушному выводу, усмотрев в присланной работе проявление врожденной гениальности.

В этом Харди убедился менее чем за сутки после получения рукописи. Но он не ограничился пассивным признанием, а собрал деньги, чтобы выписать в Англию автора, бедного клерка из Мадраса по имени Шриниваза Рамануджан. Далее Харди, достигший апогея своей славы, в течение нескольких лет отдавал все свое время и труд Рамануджану. Харди обучал своего ученика основным положениям элементарной математики, ибо тот был мало образован. И он дождался награды. За удивительно короткий срок Рамануджан написал большое количество оригинальных работ…

Тон нашего нынешнего общества некрасив. Он проникает во все наши дела, и никто не может

избавиться от этого. Я, во всяком случае, не могу.

Возможно, дело в том, что этот неприятный тон — тон общества, которое вдруг убедилось в угасании своих сил. Возможно, что он связан с более сложными и знаменательными явлениями и отражает их. Об этом было бы лучше поговорить при более подходящем случае.

Сегодня же я хочу сказать лишь одно: мы рискуем забыть, что значит проявлять величие души. И не думайте, что мы в этом отношении лучше, когда вместе с вами думаем и говорим о странах, которые крупнее и мощнее нашей страны.

Сколько англичан действительно понимают или желают понять то великое и вызывающее всяческое восхищение, что осуществлено последним поколением народа Соединенных Штатов? Сколько англичан понимают или желают понять, что за последние двадцать лет Соединенные Штаты сделали примерно восемьдесят процентов всего, что было достигнуто наукой западного мира? В свое время мы тоже делали неплохие дела, делаем их и поныне. И мы имеем право гордиться тем, что делаем, — надо только всегда и во всем соблюдать верность пропорций.

Точно так же надо сохранять эти пропорции при оценке последней войны. Сколько англичан

понимают или хотят понять, что Советский Союз понес потери, или, скажем более резко, потерял мертвыми столько людей, сколько никогда не теряла ни одна великая страна? Что там погиб в бою, умер от голода, умерщвлен такими способами, которые непостижимы человеческому воображению, один из каждых десяти мужчин, женщин и детей, населяющих страну? Мы даже не можем догадаться об этих страданиях, но если вы почитаете современную советскую литературу, то убедитесь, что советские люди отлично представляют себе все это.

А сколько англичан понимают или желают понять, что в 1945 году, сразу же вслед за этими апокалиптическими муками. Советский Союз обратил свою энергию на народное образование? Размах этого образования, проводимого вглубь и вширь, ошеломляет нас. Мы уже видели удивительные предметы, несущиеся в пространстве вокруг Земли. Мы, несомненно, увидим еще более замечательные результаты.

До сих пор я обращался только к моим соотечественникам. Теперь, если вы готовы еще немного послушать меня, я обращусь ко всем.

Я уже говорил и повторяю, ибо это самая неоспоримая социальная истина нашего времени, что

примерно одна треть мира богата, а две остальные его трети бедны.

Я имею в виду самые простые вещи. В Северной Америке, в большей части Европы, в Австралии и Новой Зеландии, а теперь и в России подавляющее большинство населения получает достаточное питание и не умирает преждевременно. Вот что я подразумеваю под «богатством» в мире, суровость которого неохотно признают те из нас, кто родился счастливым.

В остальной части мира мы видим противоположную картину. Большая часть населения не имеет достаточного количества продовольствия. С момента рождения этих людей их шансы на благополучную жизнь вдвое меньше, чем наши. Это жестокие слова, но мы ведь говорим о жестоких вещах, о тяжелом труде, голоде, смерти. Таковы социальные условия существования большинства наших братьев по роду человеческому. Они отличаются от наших социальных условий. В этом одна из причин, побуждающих их взывать к нашему великодушию. Если мы не выкажем его теперь, то наши надежды и наши души как бы высохнут, и тогда может пройти очень много времени, покуда люди вновь вспомнят о душах и надеждах.

А ведь будущее в наших руках, надо только позаботиться о нем. Есть средства, с помощью которых мы можем добиться того, чтобы бедняки всего мира перестали быть бедняками…

Я не утверждаю, будто отыскание подобных человеческих средств окажется легким делом, но существуют знания, и, поскольку они существуют, ни один человек, наделенный хотя бы минимальным воображением или доброй волей, не может и не должен успокаиваться.

Все эти социальные проблемы — самые важные социальные проблемы нашего времени — обязывают нас учитывать каждую крупицу мужества и великодушия, какие мы только сумеем обнаружить. Раньше я заметил, что великодушие в действии есть простая добродетель, но что корни ее сложны. Один из этих корней — любовь, или сострадание, или благотворительность, или братство — неважно, как мы назовем клей, что скрепляет нас воедино.

Другой корень — это чувство реальности, предполагающее чувство юмора. И еще один корень — своеобразное тщеславие. То самое тщеславие, которое заставляет нас желать быть лучшими, чем мы есть от природы. Не пугайтесь этого слова. Все мы вышли из земли, и причины чело-

веческого превосходства часто более просты, чем мы предполагаем. Есть два противоборствующих тщеславия, которые каждый из нас обнаруживает в себе. Одно — это тщеславие самосозерцания, когда мы заглядываем в свое внутреннее «я», влюбляемся в собственные пороки и грязь и с полным удовлетворением пребываем в них. Другое — это то тщеславие, которое пытается сделать нас лучше.

В одной из моих книг персонаж, выступающий от имени автора, говорит: «Я хочу встретить человека, который знает что-то о себе. И ужасается самого себя. И должен простить себя, чтобы двигаться дальше».

Вот, с моей точки зрения, то тщеславие, которое пытается сделать нас лучше. Нам надо простить самих себя, найти то хорошее, что есть в нас, попробовать быть лучше, чем мы есть.

И если нам достанет добродетели для выполнения подобной задачи, то все эти источники силы понадобятся нам. Этот мир — наш мир. Мы можем сделать из него что-то хорошее или можем разрушить его. Но отрешиться от него мы не можем. Если мы не проявим добродетели, мир этот превратится в ад.

Но мне кажется, не стоит быть добродетельным

ни в социальном, ни в политическом смысле, если мы не сумеем в практике наших человеческих отношений максимально улучшить самих себя как индивидов. Мы живем в век, когда крушение надежд и страх ожесточают людей, наполняют их ненавистью, а ненависть — худший побудительный мотив как в личных, так и в общественных делах.

Мы не так уж значительны. Мы довольно жалки. Добродетель трудна для нас. Но не забывайте: ненавидеть легко и разрушать легко. Этот особый сорт легкости в конечном счете и отравляет наши души.

Возможности и надежды{˘}

Редакция «Литературной газеты» обратилась ко мне с просьбой поделиться своими мыслями о том времени, когда мы будем жить в условиях подлинного мира. Какие светлые перспективы откроются тогда перед человечеством? С радостью и гордостью откликаюсь на эту просьбу. Думается, почти все то, что я мог бы сказать, уже

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в «Литературной газете» 28 мая 1960 г. Написано по просьбе редакции в связи с предстоявшим приездом Ч. П. Сноу и П. Х. Джонсон в СССР.

многократно говорилось людьми доброй воли. Но это неважно. Немало есть у людей сокровенных надежд, повторять которые не грех. Меня мало занимают «умники», стремящиеся быть оригинальными за счет правды. Я считаю, что полезно делиться друг с другом своими надеждами.

Для того чтобы человечество могло вздохнуть полной грудью под чистым небом, необходим подлинный мир. Я убежден, что у нас будет подлинный мир. Я уверен в правильности этого больше, чем в правильности другого политического предсказания. Но мир не придет ни сегодня ни завтра сам по себе. От всех нас потребуются усилия, терпение, непоколебимость перед лицом разочарований. Одной доброй воли недостаточно, хотя никогда еще на земле не было так много людей, столь страстно жаждущих мира. Но мы должны обеспечить и, несомненно, обеспечим его.

Но вот наступит мир, и что же тогда? Вряд ли надо говорить, что открывающиеся перед нами перспективы чудесны. Если рассуждать с точки зрения биологической истории, то род человеческий едва только начал жить. Прошло, быть может, всего лишь полмиллиона лет с начала эволюции наших предков. Если мы не уничтожим

сами себя, то жизнь человека на нашей планете будет длиться еще тысячи миллионов лет. Лишь несколько тысяч лет назад люди начали заниматься земледелием. Только несколько веков прошло с тех пор, как совершилась научная, промышленная революция, которая к настоящему времени дает по крайней мере потенциальную возможность обеспечить всех людей пищей, медицинским обслуживанием, материальным комфортом. Сейчас мы, бесспорно, переживаем один из кульминационных моментов истории. Но некоторые из нас еще стоят одной ногой в старом мире и не полностью понимают происходящее.

Мы еще не вполне отдаем себе отчет в том, чем является для нас промышленное развитие и чем оно в гораздо большей мере окажется для наших потомков. Многие писатели или художники — достоверно я могу говорить лишь о тех, что живут на Западе, — испугались этого нового развития промышленности и техники и обратили свои взоры назад, к более примитивным социальным системам. И все же эта новая, высокоорганизованная жизнь, в ходе которой производятся материальные блага в количествах, казавшихся немыслимыми еще тридцать лет назад, пред-

ставляет собой уже сейчас, а в дальнейшем станет в еще большей степени главной основой нашего социального существования. Писатели, отворачивающиеся от этой жизни, тем самым отворачиваются от общества.

Те, кто не видит или не хочет понять чудесные перемены в мире, страдают удивительным отсутствием воображения. Возможно, потребуется еще какое-то время, пока писатели интуитивно и без всякого напряжения поймут все это. Доказательства правомерности подобных надежд перед нашими глазами. Эти доказательства состоят в подробностях повседневной жизни людей, которых мы знаем. Я родился в 1905 году в бедной семье, жившей в промышленном городе. Когда я смотрю на современные дома, в которых обитают заводские рабочие, перемены кажутся мне разительными. Перемены, совершившиеся в жизни вашей страны, должны казаться вам не просто разительными, но прямо-таки фантастическими. Ваш народ — если иметь в виду материальные условия его повседневного быта — нынче становится богаче нашего народа. И когда вы обгоните нас, мы будем вас приветствовать. Мы не забыли, что вы выстрадали во время войны. Мое поколение в Англии никогда не забудет этого. Какого

бы благосостояния, достатка и успеха ни достиг ваш народ, мы будем считать, что это меньше, чем вы заслуживаете. Ни один народ в истории никогда не заслуживал зажиточной жизни больше, чем вы.

Итак, наши надежды в области социального прогресса не должны знать границ. Жизнь каждого человека в вашей и в моей странах будет становиться все более богатой, в смысле обеспеченности пищей, жильем, медицинской помощью; машины будут все больше облегчать труд людей. Добиться всего этого в наших силах. Ведь сегодня мы владеем такой богатой техникой!

Полагаю, что материальные условия жизни человека подвластны нам и что мы можем избавить его от лишений. Но я не думаю, что некоторые индивидуальные стороны человеческого существования подвластны нам в той же мере, и считаю, что было бы неразумно и негуманно возбуждать в этом смысле ложные надежды. Позвольте привести следующий пример. У моего друга, одного из высоких должностных лиц, был такой сын, какого только может пожелать себе человек. Недавно этот юноша умер в возрасте 19 лет от рака костей. Я думаю, что этот случай

может вызвать у всех нас двоякую реакцию. Мы должны постараться достигнуть со временем такого положения, когда рак костей станет излечим. И это может случиться сравнительно скоро. Активно содействовать этому — наш социальный долг, вытекающий из условий нашего социального существования. Но с другой стороны, мы не можем забывать, что при всей доброй воле, знании и предвидении, какие только могут быть в мире, как человеческие существа, мы не можем быть застрахованы от болезней и иных превратностей судьбы.

На долю каждого из нас выпадают те или иные личные страдания. Всем нам приходится быть свидетелем страданий любимых людей. Смерть близких причиняет нам страшную боль. Это устранить нельзя. То, что я хочу сказать, сводится к следующему. В нашем личном жизненном опыте имеется трагический элемент; он сохранится, покуда человек останется человеком, и мы не могли бы считать себя людьми, если бы не чувствовали этого. С другой стороны, мы не были бы вправе считать себя людьми, если бы не посвятили себя тому, чтобы страдания других были сокращены до предельного минимума. Каждый из нас умирает в одиночку — что ж, такова судь-

ба, против которой мы не можем бороться, но есть в нашей жизни немало вещей, не зависящих от судьбы, и мы не будем достойны имени людей, если не станем с ними бороться.

Как это ни печально, но приходится сказать, что есть одна первостепенная задача, которую необходимо решить прежде, чем вы в своей стране, а мы в нашей сможем удобно усесться в кресла и, откинувшись на спинки, предаться духовным радостям. В этом веке мы пережили одну из бурь истории — вы в большей степени, чем любой другой народ, — и, хотя мы уже видим, как небо проясняется, хорошая погода еще не наступила. Я хочу привести выдержку из публичной лекции, которую прочел в мае прошлого года в моем старом Кембриджском университете. Мне не хотелось бы, чтобы советские читатели думали, будто я говорю им одно, а моим соотечественникам — другое. Нехорошо разговаривать двумя различными голосами. Итак, в этой лекции, озаглавленной «Две культуры и научная революция», я сказал следующее:

> «Главная проблема научной революции состоит в том, что народы индустриальных стран становятся все богаче,

тогда как народы слаборазвитых стран в лучшем случае стоят на месте. Таким образом, разрыв между промышленно развитыми странами и остальными становится с каждым днем все большим. Если говорить в мировом масштабе, то это — разрыв между богатыми и бедными.

Среди богатых следует назвать США, Великобританию, некоторые из говорящих на английском языке стран британского Содружества наций, как, например, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, большую часть стран Европы и СССР. Китай пока еще находится где-то посередине, он только совершает индустриальный скачок. Все остальные страны — бедные. В богатых странах люди живут дольше, едят лучше, работают меньше. В бедной стране, например в Индии, срок жизни человека в два с лишним раза меньше, нежели в Англии. Есть факты, свидетельствующие о том, что индийцы и другие азиатские народы потребляют, в абсолютных количествах, гораздо меньше продуктов питания. Так или иначе,

но признано, что во всех слаборазвитых странах народы потребляют лишь тот минимум продовольствия, который необходим для поддержания жизни. А работают они так, как всегда приходилось работать людям со времен неолита и по сей день. Жизнь подавляющего большинства людей была неизменно трудной, жестокой и короткой. В бедных странах так дело обстоит и поныне.

И это неравенство между богатыми и бедными очевидно для всех. Вполне естественно, что особенно глубоко сознают его бедные. И раз это так, то оно не сможет длиться долго. Много вещей на свете может сохраниться до 2000 года, но это положение должно измениться. Поскольку „секрет“ обогащения стал известным — а это так, — мир не сможет выжить, оставаясь наполовину богатым и наполовину бедным».

Я настаиваю на этих словах. По-моему, они выражают очевидную истину. В течение жизни ближайших двух поколений, скажем в течение грядущих пятидесяти лет, богатые страны обяза-

ны помочь индустриализации отсталых стран. Эта задача по плечу человеку. И если ее решать в духе здравого смысла, то главное бремя должны возложить на себя две наиболее могущественные державы, то есть СССР и США. Но и другие страны, например моя страна, должны внести свою лепту путем ассигнования капиталов, поставок средств производства, посылки ученых и инженеров.

Разумеется, задача эта грандиозна. Не приходится недооценивать трудности политического характера, хотя если мы перейдем от пассивного к активному сосуществованию, стремясь к положительным целям, то известная доля политического напряжения автоматически ослабнет. Технические трудности менее серьезны, чем политические, но и они достаточно велики. Некоторые англичане (в частности, Джон Бернал в книге «Мир без войны») считают, что все это может быть осуществлено без каких-либо существенных материальных жертв со стороны народов СССР, США и Англии. Должен сказать, я в этом сильно сомневаюсь. Мне думается, что в этом случае темп роста нашего внутреннего процветания должен будет снизиться. И весьма большое число лучших представителей нашей технической молодежи должно будет посвятить

лучшую часть своей трудовой жизни народам Азии и Африки.

Но это должно произойти, тем или иным путем, но должно. Пока это не произойдет, наша совесть не будет чиста, а мир не будет в безопасности. Когда азиаты и африканцы достигнут того же уровня процветания, которого мы достигли, то мы честно сможем себе сказать, что вступили в подлинный Золотой век, в первый Золотой век всего человечества. Нам, людям пожилым, уже не доведется увидеть, каким будет этот век. Наши дети, если им повезет, увидят его. А вот внуки — те обязательно увидят, если только с нашим миром не случится что-то очень плохое.

Когда все это станет действительностью, когда люди по-настоящему поставят под свой контроль силы природы, тогда расцветет такое искусство, какое мы себе и представить не можем. Романы будут писаться людьми, резко отличными от нас. Наши романы в сравнении с романами будущего покажутся детскими поделками. Бесспорно, что во всем мире возрастут критерии художественных оценок. Мировая культура углубится, в нее вольются потоки культур, остававшихся до сих пор как бы безгласными. Таким образом, роман, бывший до наших дней европейской литера-

турной формой Толстого, Бальзака и Диккенса, станет предметом собственной творческой разработки для писателей, которые сегодня, возможно, не знают даже имен этих мастеров…

Мне думается, что в любой передовой индустриальной стране, где народ не будет тревожиться за свое пропитание, жилье и здоровье, несомненно, найдется очень большое число людей, которым довольно скоро наскучит нескончаемое накопление технических новинок. Возможно, что на протяжении еще одного поколения людям будет приятно обзаводиться большим, чем нужно, числом телевизоров, автомобилей или электрических приборов. Но все это скоро начинает надоедать. Какой же человек, если у него есть хоть крупица разума, захочет иметь два телевизора или три автомобиля. Дух человеческий чрезвычайно беспокоен. Для него недостаточны технические новинки, больше того, они могут превратиться для него даже в обузу, в нечто, тянущее человека вниз.

Однако это не наша проблема. Она будет решена другими людьми, в более спокойные времена. Перед ними откроется будущее более мирное и изобильное, чем мы осмеливаемся даже мечтать. Они будут думать о своем будущем, как мы ныне

думаем о нашем.

Недавно мне довелось прочитать письмо Ибсена, который наряду с Чеховым является одним из величайших драматургов нашего века. В январе 1882 года Ибсен писал: «По-моему, правы те, которые ближе всего к союзу с будущим».

Такова жизнь романа{˘}

Насколько я помню, ученые мужи на Западе всегда предсказывали гибель художественной литературы. Особенно упорно они твердили, что роман либо уже мертв, либо находится на краю могилы. И все-таки он продолжает бороться за существование. За последние 20 лет написано немало интересных романов. Мы, конечно, не можем предвидеть, как оценят их наши потомки. Я лично считаю, что эти книги не совсем способны выдержать сравнение с великими произведениями, созданными в XIX веке. Но такого рода прогнозы зачастую оказывались ошибочными, и в истории литературы записано множество утверждений, которые теперь кажутся нам неле-

{˘} Комментарии: ˘

Опубликовано в «Литературной газете» 15 октября 1975 г. Написано по просьбе редакции газеты в связи с предстоявшим приездом Сноу в СССР.

пыми.

Во всяком случае, мы можем с уверенностью сказать одно, а именно: каковы бы ни были достоинства современной литературы, она лишилась своего влияния. Она уже не играет в жизни отдельных людей, а также в общественном сознании той роли, которая принадлежала ей еще совсем недавно, скажем до начала первой мировой войны. На Западе это видно совершенно отчетливо. Я не берусь утверждать, что такое же явление возникает и в Советском Союзе, — буду говорить только о том, в чем мог убедиться лично. В Англии, в Соединенных Штатах и даже во Франции (где литература традиционно пользовалась большим престижем, чем в странах английского языка) художественная литература, да, пожалуй, и печатное слово вообще утратили до некоторой степени свою прежнюю силу воздействия и свою былую значимость. Этот процесс не протекает бурно, но все признаки говорят об одном и том же. Будет нелишним попытаться выявить некоторые объективные причины.

Одной из них, конечно, является превращение науки в господствующую интеллектуальную силу нашей эпохи. Об этом уже достаточно известно, и нет надобности повторяться. Литература спо-

собна говорить то, что не может сказать наука, но утверждения науки ясны и часто неопровержимы. Они отразились на наших представлениях о самих себе в большей мере, чем мы в этом отдаем себе отчет. Пожалуй, самым ярким примером, относящимся к последнему времени, является открытие строения ДНК и генетического кода{408}. Это открытие понемногу включается в наше общее понимание того, что мы собой представляем. Подобно учению Дарвина, оно никогда не будет отвергнуто. Перед лицом таких грандиозных триумфов и революций разума литература как бы отступила на задний план.

Все это — нечто неуловимое, подспудное, если хотите — относящееся к области теории. Но существует еще одна причина, по которой печатное слово лишается своего прежнего значения, и причина эта чисто практическая. Она попросту связана с техникой, с изобретением электронной лампы. Радио и в еще большей мере телевидение

{408} Комментарии: 2.408

...открытие строения ДНК и генетического кода. — Имеется в виду гипотеза Уотсона — Крика, выдвинутая в 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком. Согласно этой гипотезе, дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — носитель наследственных качеств у всех живых организмов; молекула ДНК имеет вид двойной спирали или веревочной лестницы. В 1968 г. была опубликована книга Уотсона «Двойная спираль». Уотсон и Крик работали в той же самой Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, где когда-то работал и Сноу.

стали вытеснять печатное слово как главное средство коммуникации, и это происходит все заметней. Большинство людей явно предпочитает не читать, а слушать, а еще лучше — одновременно слушать и смотреть. И это относится в той же мере к людям высокообразованным, с детства привыкшим проводить все свое время в чтении, как и ко всем остальным. В Англии уже никого не удивляет, что видные литераторы (хорошо известные советским друзьям) обсуждают последний многосерийный телевизионный фильм с большим энтузиазмом и горячностью, чем только что опубликованную книгу.

Многосерийные телефильмы часто делаются в Англии очень хорошо, и многие из них представляют собой экранизацию известных романов. Любопытно, что это побуждает некоторых телезрителей прочитать сам роман. Так, инсценировка «Войны и мира» (встретившая одобрение большей части моих русских знакомых, фильм, где очень хорош Пьер Безухов, которого играет один из наиболее одаренных молодых английских актеров) чрезвычайно увеличила тиражи английских изданий этой книги. Голсуорси совершенно вышел из моды как в Англии, так и в Америке, а после того, как «Сага о Форсайтах»

была показана по телевидению, книга стала раскупаться так же, как при жизни автора.

Таков выигрыш: некоторые из лучших произведений классической литературы приобретут в преображенной телевизионной форме значительно большую аудиторию, чем они имели когда-либо ранее. Однако в целом влияние радио и телевидения на печатное слово является негативным. Число читателей газет постепенно, но заметно снижается. То же относится к еженедельникам и журналам. Больше всего пострадало издание романов — с исключениями, о которых пойдет речь ниже.

Тиражи первых изданий романов, выходящих в свет в Лондоне или Нью-Йорке, невелики по советским масштабам. Многие советские писатели пришли бы в ужас, если бы им предложили такие цифры. Эти первые издания книг, которые мы называем «переплетенными», действительно хорошо переплетены, хорошо напечатаны и стоят дорого. Именно на них пишутся рецензии. А поскольку напечатать книгу становится слишком дорого, издатели не решаются рисковать.

Преуспевающие авторы по-прежнему чувствуют себя хорошо. Значительная часть их доходов поступает от последующих изданий — в бумаж-

ных обложках, которые обычно появляются через год-два. Самое известное издательство такого рода — «Пенгуин», но имеется также много других. Эти книжки в бумажных обложках дешевы — обычно они стоят на русские деньги меньше рубля, — и писатель, пользующийся популярностью, может рассчитывать, что его вещи разойдутся в миллионах экземпляров. Но это возможно лишь после того, как прием, оказанный первому изданию, гарантирует определенную долю успеха. Для молодых авторов добиться этого становится труднее с каждым днем. Говоря упрощенно, общий результат новой издательской практики сводится к тому, что уменьшаются шансы на удачу. Авторы, имеющие успех, оплачиваются так же, как прежде, или даже лучше, а те, которые успехом не пользуются, или начинающие, скорее всего, остаются за бортом.

Все это не способствует тому, чтобы человек решился стать профессиональным романистом. Разумеется, пишется много романов, но перед писателем возникла как бы невидимая преграда, мешающая полной непосредственности, непринужденности творческого процесса.

Возможно, на сознание писателей повсюду воздействуют обстоятельства, лежащие глубже,

чем те, которые были упомянуты. Может быть, мир меняется слишком быстро — не в смысле социальных перемен, а в смысле тех форм повседневного бытия, в котором мы движемся и дышим. В этом отношении писатели XIX века находились в лучших условиях, чем их преемники. У меня есть на этот счет своя теория, и я вполне готов к тому, что ее встретят в штыки. Она заключается в том, что писатели-реалисты должны жить в привычной и понятной им обстановке — я имею в виду состояние определенной стабильности. Они могут и должны стремиться к другой, лучшей жизни — об этом свидетельствуют почти все крупные художественные произведения. Однако они должны без труда понимать и ту жизнь, с которой находятся в непосредственном соприкосновении.

Именно по этой причине попытки точного отображения современности представляют непреодолимые трудности для большинства авторов реалистических романов. Это удалось одному-двум крупнейшим писателям, например Достоевскому. Можно привести ряд примеров из английской и французской литературы. Диккенс делал кое-какие попытки такого рода, но без особого успеха. Действие его основных романов,

как и большинства крупнейших романов писателей всего мира, разворачивается задолго до того времени, когда они написаны. В этом случае у автора есть определенная дистанция во времени. Именно так пишут теперь советские писатели о войне с Германией, которая окончилась уже 30 лет назад.

Некоторые из лучших английских романистов, получивших большую известность в последнее время, используют подобный прием. Джон Фаулз{409}, например, чрезвычайно популярный в Англии и еще больше в Америке, обладает особым искусством создавать дистанцию между собой и своим материалом. Он — настоящий писатель, совершенно не связанный ни с какими литературными группировками. Такими же приемами овладел Дж. Фаррелл{410}. То же можно сказать и о

{409} Комментарии: 2.409

Фаулз, Джон (род. в 1926) — английский писатель, романист, эссеист, новеллист; в своем творчестве часто обращается к изображению судеб современной интеллигенции; автор романов «Коллекционер» (1958), «Маг» (1965), «Башня из черного дерева» (1977) и др.

{410} Комментарии: 2.410

Фаррелл, Джеймс Томас (1933–1979) — английский писатель, автор «Имперской трилогии» (романы «Беспорядки», 1970; «Осада Кришнапура», 1973; «Схватка в Сингапуре», 1978), которая является одним из значительных историко-социальных произведений в современной английской литературе. В романах трилогии, не связанных единым сюжетом или хронологией, представлены различные исторические периоды, но каждый раз это этапы заката империи.

Сьюзн Хилл{411} — самой многогранной и творчески одаренной из наших молодых писательниц.

Однако трудности действительно существуют, и отход от реалистического романа тоже действительно имеет место — это относится как к писателям, так и к читателям. Убедительным доказательством могут служить данные о том, что читают для своего удовольствия студенты американских и английских университетов. В мое время мы жадно поглощали реалистические романы — английские, русские, французские, американские. Совсем не то и, во всяком случае, далеко не в такой мере читают современные студенты. Население американских студенческих городков колоссально — в них живет около 10 миллионов человек. Книг в переплетах они не приобретают, но покупают те, которые издаются в бумажных обложках. Вкусы этой части читающей публики оказывают значительное влияние на издательское дело в США, и эти вкусы хорошо известны.

{411} Комментарии: 2.411

Хилл, Сьюзн (род. в 1942 г.) — английская писательница, которая в своем творчестве продолжает традиции английской реалистической прозы психологического направления, ее произведения нередко автобиографичны. Широко известны ее романы «Господа и дамы» (1968), «Я — король замка» (1970), «Странная встреча» (1971), сборник рассказов «Альбатрос» (1971).

У молодежи теперь страсть к фантастике. Из книг, имевших бурный успех за последние годы, две написаны англичанами — Толкиеном{412} и Адамсом{413}, автор третьей, Воннегут{414}, — американец. Эти книги разошлись во многих миллионах экземпляров. Все они написаны весьма талантливо, но так же мало похожи на реалистические романы, как «Путешествие Гулливера» или «Алиса в стране чудес». Роман Толкиена «Владыка колец» — огромная по объему вещь, больше «Войны и мира», но многие студенты знают ее чуть ли не наизусть. На первый взгляд это приключенческая книга, действие которой происходит в вымышленной стране и в вымышленное время, а в действительности это замаскированная христианская притча. В книге

{412} Комментарии: 2.412

Толкиен, Джон Роналд Руэл (1892–1973) — английский писатель, автор сказочной эпопеи из трех романов: «Хоббит» (1937), «Властелин колец» (1950–1951), «Сильмариллион» (1977). Эпопея начинается как детская сказка, но постепенно превращается в философское повествование, затрагивающее самые животрепещущие проблемы современности.

{413} Комментарии: 2.413

Адамс, Ричард (род. в 1920) — английский писатель, автор аллегорических романов «Уотершипские холмы» (1972), «Шардик» (1974): иносказательный роман, в котором явно угадывается современная Англия, «Чумные собаки» (1978) носит более социальный характер.

{414} Комментарии: 2.414

Воннегут, Курт (род. в 1922) — американский писатель, гуманистическая и антивоенная направленность его творчества отразилась в

таких романах, как «Колыбель для кошки» (1963), «Да благословит вас бог, мистер Розуотер» (1965), «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (1969).

Ричарда Адамса «Уотершипские холмы», как это ни странно, речь идет о сообществе очень умных кроликов, стремящихся противостоять опасностям, угрожающим их образу жизни.

Оба эти произведения созданы высококвалифицированными литераторами. Недавно умерший Толкиен был в течение многих лет профессором англосаксонской филологии в Оксфорде. Оба писателя, подобно Воннегуту, проявляют в своей фантастике и притчах отвращение к технической цивилизации. Возможно, что именно это отвращение встречает такой живой отклик у стольких молодых людей. Обе книги не произвели на меня особого впечатления, но они представляют собой литературное явление, которое нельзя игнорировать.

Отход писателей от реалистического романа принимает также и некоторые другие любопытные формы. Имеются все основания полагать, что количество литературных талантов примерно одинаково у разных поколений, но направление, в котором развиваются эти таланты, может быть самым разным. У нас это заметно весьма отчетливо. Люди, которые в свое время были бы прекрасными романистами, теперь зачастую обращаются к жанру биографий. Немного найдется

выдающихся деятелей в английской истории или литературе, кто не был бы описан в форме художественной биографии. Английская литература существует очень давно, но никогда еще уровень биографических произведений не был таким высоким, как сейчас.

Точно так же огромной популярностью пользуется мемуарная литература — ее охотно читают те, кто раньше предпочел бы романы. Некоторые лучшие произведения о войне пришли к нам именно в этой форме, но их нельзя назвать английскими или американскими эквивалентами лучших советских военных романов — возможно, потому, что для нас война не была таким катаклизмом, таким всеохватывающим явлением.

Книги о путешествиях, которые англичане любили еще с XVIII века, пишутся так же хорошо, как всегда. То же можно сказать и о целой области, которую мы называем высокой журналистикой. Этот термин не уничижительный — он относится к произведениям, которые хотя написаны быстро и касаются событий сегодняшнего дня, но тем не менее обладают определенными художественными достоинствами. Наилучший пример — знаменитая книга Джона Рида.

Анализ истории английской поэзии последних

60 лет наталкивает на вопрос, не пойдет ли и роман таким же путем — не превратится ли он в камерное искусство, внушающее некоторое уважение, имеющее некоторые достоинства, доступные лишь посвященным, но мало понятные более широкой публике? Было бы нереалистичным исключить такую возможность. В истории литературы имеется немало примеров того, как широко распространенные жанры выходили из употребления. Один из наиболее наглядных примеров такого рода — драма в стихах. В Англии конца XVI века не один Шекспир, но все уважающие себя писатели писали драмы в стихах. Этот жанр считался первоклассным. То же самое наблюдалось несколько позднее во Франции времен Расина и Корнеля. А затем этот жанр умер. Делались бесчисленные попытки его возрождения. Почти все выдающиеся английские поэты XIX века — Байрон, Шелли, Браунинг, Суинберн, Теннисон и многие другие — пробовали писать драмы в стихах. Все эти драмы ужасны — хотя среди них одни лучше, другие хуже. В 1940-х годах Т. С. Элиот снова сделал попытку такого рода, но его пьесы опять-таки не более чем курьезны.

Такая же судьба может постигнуть и роман, но вряд ли это случится. Не могу сказать, что,

утверждая это, я исходил только из своих личных вкусов. Имеются убедительные соображения, почему именно роман будет существовать и даже окрепнет.

Во-первых, это великая форма, обладающая огромной гибкостью, форма, в которой могут найти применение таланты самого различного рода — психологические, социальные, интеллектуальные, равно как и повествовательные. Во-вторых, хотя в наше время трудно писать превосходные романы, зато определенно легко — занимательные. Доказательство тому — некоторые наши отличные детективные и приключенческие истории, в которых зачастую видно значительно больше природного дарования их авторов, чем в большинстве наших «серьезных» романов.

Изучение этих боковых ветвей романа может натолкнуть на весьма важные выводы, и, вероятно, они уже делаются. Например, стремление к живости изложения всегда вызывало пренебрежение у эстетов. Но ведь нет сомнения в том, что роман, не заставляющий читателя спешить перевернуть страницу, — это вообще не роман. Занимательная литература побуждает нас вспомнить эту простейшую истину.

Более сложным вещам нас научили литератур-

ные изыски, появившиеся в XX веке. Кое-какие из них были убийственными для искусства, но некоторые дают нам представление о новых возможностях и новых силах. Например, Пруст был, в сущности, великим критическим реалистом, возможно, последним крупнейшим реалистическим романистом Запада. Он показал — в необычной форме, к которой надо было как-то привыкнуть, — что традиционный критический реализм может сочетаться с интеллектуальной сложностью, и, таким образом, он поднялся над гипертрофированным романтизмом своего великого учителя Бальзака.

Но есть куда более простая причина, почему роман и искусство литературы в целом не покинут поле битвы. Жизнь вокруг нас меняется, и темпы перемен очень велики, но какая-то часть писательской натуры остается прежней. Писателями управляют многие побуждения, и одно из них, не являющееся постыдным, заключается в стремлении оставить после себя память. Все современные технические средства связи кажутся эфемерными. Телевизионную пьесу могут смотреть миллионы людей в течение одного-двух часов, а многосерийную — в течение нескольких часов, но ее воздействие не может быть длитель-

ным. Тогда как книги живут долго. Они не вечны. Бессмертие — мечта подростков. Однако, если повезет, одна или две книги романиста могут быть прочитаны и поняты и через 30 лет. Для большинства писателей это много — вполне достаточно, чтобы преодолеть существующие трудности, вполне достаточно, чтобы оправдать жизнь, отданную литературе.

Интервью
Говорить правду{˘}

(Беседа о принципах и системе творческой работы)

Интервью журналу «Review of English Literature»

Вопрос. Сэр Чарлз, существует мнение, что «Чужие и братья» — я имею в виду первый роман вашего цикла — является до известной степени автобиографическим и отражает дни вашей юности, проведенные в Лестере{416}. Верно ли это?

Ответ. Автобиографический элемент в этом романе очень силен. Молодым человеком я находился в Лестере примерно в том же положении, что и герой книги Льюис Элиот. Но сюжет романа как цепь событий, сюжет — вымышленный.

Вопрос. Насколько мне известно, ваши соб-

{˘} Комментарии: ˘

Перевод интервью, данного в 1962 г., опубликован в журнале «Вопросы литературы», 1964, № 2.

{416} Комментарии: 2.416

Лестер — главный город графства Лестершир на севере Англии, где родился и вырос Ч. П. Сноу.

ственные интересы и занятия с молодых лет относились к области науки. Интересно, является ли в какой-либо мере автобиографическим роман «Поиски»?

Ответ. Я получил образование в области естественных наук и, принимаясь впоследствии за какое-нибудь дело, как правило, старался сделаться в этой сфере профессионалом. Так, став по образованию ученым, я намеревался посвятить себя исследованиям и преуспеть, насколько удастся, в этом направлении. Но на самом деле все обстояло сложнее. По существу, я всегда, то есть примерно с восемнадцати лет, чувствовал, что хочу стать писателем. Однако я был беден, и это вынуждало меня не мешкая устраивать свою жизнь. Я понимал, что мне суждено принадлежать к такого сорта писателям, которым приходится пробивать себе дорогу, накапливая материал для творчества. Так что я был вполне удовлетворен избранной мною научной карьерой и стремился получить от нее все, что можно. Но всегда конечной целью и высшей мечтой оставались для меня мысли о писательстве.

Вопрос. Можно ли считать, что большая часть ваших произведений является преображенной автобиографией? И что в мыслях и переживаниях

героя, если не в событиях и ситуациях, повторяется обычно вами лично пережитое?

Ответ. Об автобиографичности событий и ситуаций нельзя говорить в том смысле, как это обычно понимается читателями; события и ситуации проходят длительную творческую «обработку». Что же касается чувств и переживаний, то это совершенно верно.

Вопрос. Насколько Льюис Элиот — это вы сами? Или же он исключительно литературный персонаж?

Ответ. Мне думается, что в существе своем Льюис Элиот — это я. Поступками и обстоятельствами своей судьбы он часто оказывается непохож на меня. Однако во всех своих значительных и показательных проявлениях он — это я.

Вопрос. Вы сказали, что стали думать о писательстве довольно рано. Когда собственно литературное творчество сделалось для вас серьезным занятием?

Ответ. Я написал роман (который, к счастью для меня, так и не увидел печати), когда был аспирантом Лестерского университета. Он был очень плох, и не думаю, чтобы сохранился хоть один его рукописный экземпляр. Как я уже сказал, к счастью, этот роман не был напечатан.

Вопрос. Как он назывался?

Ответ. Краснея, должен сознаться, что роман этот назывался «Искания юности».

Вопрос. Был ли детективный роман «Смерть под парусом» действительно первым опубликованным вами художественным произведением?

Ответ. Да, если не считать небольших отрывков в университетских журналах.

Вопрос. Что побудило вас написать «Смерть под парусом»?

Ответ. Думаю, просто пришло время, когда я — мне было тогда двадцать пять лет — стал по-настоящему задумываться над тем, что же будет для меня делом жизни. И я решил попробовать свои силы. До этого я долгое время занимался научной работой и теперь искал способ развязать себе язык.

Вопрос. Значит, это был вполне серьезный литературный опыт, а не просто развлечение?

Ответ. Да.

Вопрос. Мне показалось несколько странным, что ваша вторая книга, «Новые жизни за старые», вышла в свет анонимно, в то время как «Смерть под парусом» — нет. Была ли к тому особая причина?

Ответ. Две причины. Во-первых, я был глубоко

не удовлетворен этой книгой. У меня не было большого желания подчеркивать свою причастность к ней. Была и чисто практическая причина. Я добивался одной работы, а обстановка тогда была несколько иной, чем сейчас, и я чувствовал, что публикация такого рода книги мне добра не принесет. Работа же эта мне была очень нужна.

Вопрос. Если бы не война, могли бы вы уже тогда целиком посвятить себя литературной работе? Мне вспоминается, как Артур Майлс в конце романа «Поиски» решает от науки обратиться к литературе.

Ответ. После публикации «Поисков» я много думал над этой проблемой. Однако всякому, кто тогда был, вроде меня, человеком политически вполне сознательным и активным, было совершенно ясно, что война не заставит себя ждать. Хотя и казалось, будто решительная развязка так и не наступит. Вот почему я полагал, что мне следует продолжать свою деятельность в Кембридже, поскольку я знал, что мой долг призовет меня к участию в войне.

Вопрос. Только война заставила сделать перерыв между появлением «Чужих и братьев» и «Светом и тьмой»?

Ответ. Нет. Война заставила сделать перерыв

на три-четыре года, но не на семь. Я писал довольно постоянно с того времени, как отошел от военных дел осенью 1944 года. Работа над романами цикла шла в ином порядке, чем их издание. До известной степени я писал их все разом. Первыми были завершены «Чужие и братья», однако совсем в другом виде, чем они были впоследствии опубликованы. Я ими не был тогда доволен. Все же я принялся за «Совесть богачей», и опять же первый вариант романа значительно отличался от окончательного. Потом я доработал «Чужих и братьев», придав им их настоящий вид, но не прикасался к «Совести богачей», так как в силу некоторых частных причин я собирался повременить с изданием этого романа. В 1945 году я написал «Наставники» — роман, который, как мне тогда показалось, придает всему циклу несколько иной тематический поворот в сравнении с задуманным мною. И я написал «Свет и тьму». Публиковал я романы в такой последовательности: «Чужие и братья», «Свет и тьма», «Пора надежд» (написано было позднее), наконец, «Наставники». Но мне хотелось бы, чтобы читатели принимались за «Совесть богачей» после «Чужих и братьев» — тогда весь замысел становится ясно виден.

Вопрос. На каком этапе работы определилась сквозная идея всего цикла? Была ли она ясна вам во время работы над «Чужими и братьями»?

Ответ. В основе своей да. Эта идея стала вырисовываться передо мной — едва ли не вдруг — в Марселе 1 января 1935 года. Я шел по улице. Была пронзительно холодная ночь, много ниже нуля. Я должен был, прилетев из Лондона, провести в Марселе ночь и на следующий день пароходом отплыть на Сицилию. Состояние мое было жалким. Мне казалось, что все в моей личной жизни и творческой работе идет «не так». Неожиданно я увидел, почувствовал или представил себе, назовите, как вам угодно, и внешние контуры романа «Чужие и братья», и внутренний склад его построения, а именно: соотношение, или диалектическую взаимосвязь, между процессом самоанализа, которым занят Элиот, и тем, что происходит с ним. В эту минуту я почувствовал себя невероятно счастливым. Общий замысел сложился в несколько мгновений.

Вопрос. Побудили ли вас к этому какие-либо частные обстоятельства? Связана ли идея цикла с романом «Поиски», в котором, как представляется, уже намечено многое из того, что было развито и продолжено вами в цикле?

Ответ. Это замечание мне кажется справедливым. Основные идеи занимали меня уже во время работы над «Поисками». Озарение, о котором я рассказал вам, посетило меня как раз несколько месяцев спустя после окончания «Поисков». Все это бродило во мне, и вдруг я понял, что мне следует делать.

Вопрос. Не помните ли вы, когда впервые общий замысел распался на отдельные романы?

Ответ. В значительной степени в течение 1937 и 1938 годов. Думаю, что, порывшись в бумагах моих издателей, можно обнаружить планы всего цикла что-нибудь около 1938–1939 годов или чуть позже.

Вопрос. В какой степени изменился первоначальный замысел с ходом времени?

Ответ. В построении — не очень, скорее в подходе к изображению, особенно это касается центрального героя Льюиса Элиота. Я ныне менее пассивен и в значительно меньшей степени склонен признавать зависимость судьбы героя от планов и намерений автора, чем в то время, когда я только приступал к работе. Но общее построение цикла, в собственно литературном смысле слова, не претерпело больших изменений. Изменилась несколько общая атмосфера,

поскольку, строя далекие планы, трудно все же предвидеть будущее. Вообще свою собственную судьбу предугадать очень трудно.

Вопрос. Являлась ли высказанная в предисловии к «Совести богачей» мысль о соотношении между тем, что Элиот наблюдает, и тем, что чувствует, всегда существенной для вашего замысла?

Ответ. Да, в этом и состояла идея, овладевшая мной 1 января 1935 года. В этом сердцевина всего замысла.

Вопрос. Нельзя ли в общих словах узнать, как будет завершен весь цикл?

Ответ. Пожалуйста. Стержень цикла держится на том соотношении, о котором вы сказали. Грубо говоря, цикл включает три книги внутренних переживаний. Одна из них — «Пора надежд», другая — «Возвращения домой», и будет еще третья, завершающая. Внутренними процессами заняты частично и другие книги цикла. Но эти три книги должны быть посвящены этим процессам полностью. И в зависимости от них находятся книги более внешнего обзора. Для того чтобы подойти к самой последней, одиннадцатой книге цикла, надо написать еще три «внешних» книга. Одну из них я недавно закончил. Роман «Дело» — это

последняя из книг, связанных с Кембриджем. Уже есть еще одна книга, причем довольно короткая, даже, пожалуй, слишком короткая для меня. Книга о процессах, происходящих вовне героя, но тем не менее показывающая поворотный момент в сознании Льюиса Элиота. Этот роман называется «Преданные»[115]. Затем последует гораздо более объемистая книга под названием «Коридоры власти», она будет посвящена высшему слою руководства и общественной жизни Англии. И наконец, в заключительном романе мы вернемся к самому Льюису Элиоту.

Вопрос. Таким образом, вместе с окончанием цикла мы подойдем непосредственно к нашим дням. Не так ли?

Ответ. Правильно. Действие романа «Дело» происходит в 1953–1954 годах; «Преданные» относится к несколько более раннему времени — к 1945–1947 годам. «Коридоры власти» будут охватывать что-нибудь около 1955–1959 годов, и последний роман будет отстоять по времени от срока работы над ним приблизительно на пару лет.

Вопрос. Ваши романы появляются на свет один

---

[115] Примечания: 1.115

Этот роман Сноу не опубликовал; отдельные его эпизоды вошли в «Сон разума».

за другим в течение последнего времени с удивительным постоянством. Значит ли это, что вы легко работаете?

Ответ. Планы и замыслы возникают у меня довольно легко. Особенно я люблю обдумывать книги. Насколько просто дается мне сам процесс творчества — не знаю. Пишу я постоянно, но довольно медленно: мне кажется, той легкости, какой обладали поистине «легкие» писатели, вроде Бальзака и Томаса Вулфа[116], мне не дано.

Вопрос. Когда, собственно, вы пишете?

Ответ. Это трудный и загадочный вопрос. Когда я непосредственно принимаюсь за работу, я стараюсь как можно больше работать по утрам все свободное время. Когда я начинал свой литературный путь, мне приходилось заниматься, кроме того, множеством посторонних дел. Поэтому я писал по субботам и воскресеньям, а также в обеденные часы. Я приучил себя обходиться без обеда, если только того не требовали деловые встречи, и всегда пользовался этими часами для творческой работы.

---

[116] Примечания: 1.116

Томас Вулф (1900–3938) — известный американский писатель, автор романа «Оглянись на дом свой, ангел» (1928). Отличался «безудержностью вдохновения» — рукописи его книг быстро разрастались до неимоверных размеров. — *Прим. перев.*

Вопрос. Стало быть, вы обладаете способностью быстро переключаться с одного занятия на другое?

Ответ. Нет, мне это давалось нелегко, но я приучил себя к этому. В идеале, если у меня выдавалось четыре свободных утра, первое обычно оказывалось потерянным — во всяком случае, больше трех-четырех сотен слов в то утро мне написать никогда не удавалось. Затем я писал примерно от восьми до девяти сотен слов в день. Таким образом было написано большинство моих книг.

Вопрос. Много ли вы правите?

Ответ. Да. Каждый из первоначальных вариантов много раз в процессе работы пересматривается. Рукописи выходят вдоль и поперек исчерканными. Я продолжаю править после того, как книга закончена. Как я уже сказал, многие из первоначальных вариантов моих книг весьма существенно отличаются от окончательных.

Вопрос. Когда вы работаете над рукописью, вы вычеркиваете и пишете тут же или же меняете всю страницу?

Ответ. Пишу и вычеркиваю тут же. Я пишу всегда на правой половине страницы и левую оставляю для правки, так что там со временем

появляются в большом числе всякие вставки, загогулины, варианты и т. п.

Мне кажется, это характерный метод работы для литератора, с трудом подыскивающего нужные слова и далеко не сразу удовлетворяющегося результатами этих поисков.

Вопрос. Вы пишете пером?

Ответ. Да, и всегда невозможным, невразумительным, головоломным почерком.

Вопрос. Интересно, какие условия для работы вы предпочитаете?

Ответ. Пожалуй, я предпочитаю тишину, покой, одиночество, но на самом деле редкий профессионал получает такие условия. Одно из непременных свойств профессионала заключается в способности как можно меньше поддаваться всяким внешним раздражителям в процессе работы. Если этого свойства не развить в себе, нужных условий вы никогда не добьетесь. Если вы можете писать лишь в атласном халате, в комнате окнами на северо-восток, при температуре 67 градусов по Реомюру, то ваши шансы на успех невелики.

Вопрос. Пользуетесь ли вы записными книжками?

Ответ. Да, сам замысел моего цикла и условия

моей жизни сделали это непременным, даже если бы я и не чувствовал в этом потребности. Кроме того, к этому вынудил меня значительный перерыв в моей литературной деятельности в годы войны. Так что я постоянно вел записи. Я пользовался обычными записными книжками государственного служащего размером в половину общей тетради. В первой части книжки я набрасывал сюжетную канву романа, главу за главой, затем переворачивал книжку наоборот и составлял портреты персонажей. У меня, как правило, имелись подробные жизнеописания даже второстепенных персонажей. Кроме того, у меня всегда имелись при себе книжки для случайных записей.

Вопрос. Имеете ли вы обыкновение, находясь, скажем, в каком-либо общественном месте и услышав фразу, заметить себе «пригодится»?

Ответ. Да, именно так. Вдруг вы слышите фразу, которая сразу раскрывает характер, или видите сцену, выражение лица или манеру говорить — все это составляет материал творчества. Иногда попадаются очень ценные истории судеб.

Вопрос. Это составляет ваше понимание характера или способа обрисовки действующих лиц?

Ответ. Да, я стараюсь отобрать нечто спо-

собное раскрыть существо данного характера, особенности его проявления. Если ваш взгляд обладает проницательностью, то вот, как мне кажется, путь, по которому нужно следовать. Но чем больше вы наблюдаете за интересующим вас характером по ходу работы, тем больше убеждаетесь в способности этого характера самостоятельно вести себя, действовать совершенно непредвиденным способом, хотя суть его останется в сравнении с первоначальным замыслом неизменной.

Вопрос. Стало быть, ваши персонажи в основе своей реально существующие люди?

Ответ. Большая часть из них, и, я думаю, лучшая. Но всякий писатель-реалист, работая над образом героя, проделывает долгий путь от прототипа к образу.

Некоторые из моих персонажей представляют собой сознательную комбинацию из многих лиц, особенно в тех случаях, когда я чувствовал, что вступаю на опасную почву: если бы я описал то или иное лицо прямо с натуры, это сразу сделалось бы замеченным.

Вопрос. Испытываете ли вы к своим персонажам симпатию, и если да, то к каким в особенности?

Ответ. Должен признаться, что да, испытываю… Я вообще безо всякой сентиментальности в гораздо большей степени люблю людей, чем питаю к ним неприязнь. Мне, как правило, приятны те люди, о которых я пишу. В первую очередь, естественно, главные герои. Я, пожалуй, не смог бы писать долго о человеке, который мне несимпатичен. Вот почему мне дороги Пэссант, Рой Калверт, Чарлз Марч, мистер Марч, Артур Браун. Что же касается женских персонажей, имеющих близкое отношение к Элиоту, то слово «симпатия» по отношению к ним наиболее подходяще.

Вопрос. В романе «Новые жизни за старые» один из персонажей — писатель Ванден — говорит: «Высшее искусство состоит лишь в совершенном знании людей…» Согласны ли вы с этим теперь?

Ответ. Мои представления усложнились. Именно такого рода искусство остается для меня самым высоким; как видно, я инстинктивно чувствовал это еще в молодости. Теперь я этого с такой уверенностью не повторил бы, хотя по-прежнему подобное искусство сохраняет для меня первостепенное значение. Мои воззрения не изменились, но я уже в меньшей степени владею способностью эти воззрения категорически

высказывать.

Вопрос. Вам, кажется, приятно слышать похвалы от критики, подчеркивающей ваше хорошее знание людей?

Ответ. Да. Мне представляется, что это моя наиболее сильная сторона. Мне, например, понравилось, как недавно кто-то сказал, имея в виду роман «Поиски», что я живу среди своих персонажей так же, как математики существуют в мире теорем.

Вопрос. Одно меня несколько озадачивает. В ваших романах очень редко встречаются специальные выражения и термины из области новейшей психологии. Не кажется ли вам, что, поскольку новейшая психология стремится свести на нет идею личной ответственности человека за общие судьбы, вы как писатель должны ее, эту психологию, отбросить или же пользоваться ею весьма ограниченно?

Ответ. Это верный, но не полный ответ. В молодые годы я довольно много занимался ана-

литической психологией{417}. Как ученый, я относился к ней с большим недоверием, чем как писатель. В известной степени дело обстоит так и сейчас. Я убежден, что, хотя писателю следует знать аналитическую психологию, он не должен вводить ее прямым образом в свои произведения. С научной точки зрения, мне кажется, это не более чем догадки: своих истинных результатов аналитическая психология еще не достигла. Поэтому, пользуясь ее результатами сегодня, мы рискуем выглядеть смешными и невежественными в то время, когда будут получены подлинно научные результаты. Мне кажется также, что в искусстве, прежде всего в романе, человеческая личность раскрывается через обычные понятия, такие, как воля, сознание и т. д., гораздо точнее, чем через современные представления аналитической психологии. Вот почему я избегаю употреблять их в романах, хотя в некоторых случаях вы их обнаружите. И думаю, я не ошибся. Если бы мне пришлось начинать сначала, я выбрал бы тот

{417} Комментарии: 2.417

Аналитическая психология — учение швейцарского психолога и философа-идеалиста Карла Густава Юнга (1875–1961) о коллективном бессознательном, в образах которого, так называемых архетипах, он видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений; взгляды Юнга оказали влияние на культурологию, новейшую антропологию, литературу.

же путь.

Вопрос. Насколько я себе представляю, вопрос о личной ответственности за свои действия имеет в ваших глазах очень большое значение?

Ответ. О да. Это сказывается во всем, что я делаю.

Вопрос. Не могли бы вы описать основные этапы работы над романом? Разрабатываете ли вы до деталей предварительный план?

Ответ. Да, более детально, чем это обычно делают романисты. И тему, и основных персонажей, и сюжет — все я обдумываю прежде даже, чем принимаюсь делать наброски в записной книжке. Затем я записываю сюжет, имея в голове тему. Далее разбиваю общий план на главы, и, как правило, со значительными подробностями. После того как главы размечены, в них очерчиваются действующие лица. Причем особенное внимание я обращаю на общий смысл каждой из глав. Эта работа часто отнимает у меня несколько месяцев, а иногда и лет, прежде чем я напишу хоть одно слово собственно текста романа.

Вопрос. Когда вы начинаете писать, вы строго следуете избранному плану?

Ответ. Да. Я не верю в начало «с середины»... Я почти уверен, что если вы придаете значение

творческому процессу, как это делаю я, то обратный порядок в работе может нанести ущерб повествованию, сбив его с ритма и даже спутав его. Я думаю, что коль скоро произведение распланировано, то лучше, а для меня так непременно, продвигаться от начала к концу.

Вопрос. Находите ли вы, что с течением времени ваше искусство как романиста совершенствуется?

Ответ. В некотором смысле да, но вообще это трудный и коварный вопрос. До известной степени ни один романист, конечно, не способен сохранять стремительный темп развития, который он принимает поначалу. В умении, в знании того, как лучше обрисовать сцену или персонаж, вы постоянно совершенствуетесь — с опытом все это дается легче. Да и знания накапливаются. Большинство романистов постоянно развивают свое искусство на протяжении творческого пути, однако темп этого развития заметно замедляется. Надеюсь, пока это мне не грозит, я этого пока не ощущаю, но, когда это произойдет, я об этом узнаю последний.

Вопрос. Есть ли в искусстве романа какие-либо стороны, которые вы хотели бы развить у себя в большей степени?

Ответ. Разумеется. Всякий раз, когда я читаю Толстого, я завидую дару, с каким он рисует живые сцены, создавая совершенно невероятную физическую ощутимость всего, что только попадает в поле его зрения. Очень немногие писатели обладали этим даром. Я к ним, конечно, не принадлежу. Этому дару я особенно завидую.

Вопрос. Какая из ваших книг, вы думаете, вам особенно удалась?

Ответ. Это в свою очередь нелегкий вопрос. Я готов признать, что «Наставники» удались лучше других, но, с другой стороны, это далеко не тот уровень, к которому я стремлюсь.

Вопрос. Несколько лет тому назад в Лондоне была поставлена ваша пьеса, а недавно с большим успехом прошла инсценировка романа «Дело». Собираетесь ли вы еще писать для сцены?

Ответ. Не думаю. Мне, как, впрочем, многим писателям, с невероятным трудом дается сценический язык. Диалог, переданный натуралистически, равно как и диалог стихотворный, мне кажется, в наше время уже не достигает эффекта. Если бы я взялся писать пьесы, я бы шел от Ибсена, но я просто-напросто не нахожу и никогда не мог бы найти подходящей для этого сценической формы. До тех пор пока я не отыщу

нужную мне форму сценического диалога, я не стану писать для театра.

Вопрос. А рассказы? Вы пишете рассказы?

Ответ. По правде сказать, за всю свою жизнь я не написал ни одного рассказа. Отчасти это объясняется обстоятельствами моей необычайно сложной жизни. Творческую энергию, которой я обладал, мне следовало потратить на романы. Если бы со времени публикации романа «Поиски» я сделался профессиональным писателем, я бы неизбежно стал писать рассказы. Но мне приходилось беречь силы для того, что мне так хотелось осуществить. Не думаю к тому же, чтобы рассказ оказался подходящей для меня формой. Я добиваюсь впечатления обобщающей картиной, а рассказ по природе своей к широте не располагает. Но попробовать свои силы в этом жанре я, вероятно, решусь.

Вопрос. Если еще раз вспомнить писателя Вандена из романа «Новые жизни за старые», то там он называет Достоевского, Пруста и, «пожалуй, Толстого» величайшими романистами. Склонны ли вы подтвердить это мнение теперь?

Ответ. Вы поступаете довольно жестоко и коварно, «спрашивая с меня» за Вандена, ибо Ванден выражает взгляды моей молодости. Я не

могу сказать, что ныне придерживаюсь тех же воззрений. Толстой представляется мне ныне величайшим из романистов. Я по-прежнему считаю Пруста в числе четырех-пяти крупнейших имен, это уровень высшего класса. Достоевский в мои молодые годы значил для меня чудовищно много, но, как это часто случается, со временем я начал чувствовать, что его авторитет в моих глазах тускнеет. Пожалуй, я поместил бы Достоевского в высший класс, но на одно из последних в этом классе мест. В то же время я включил бы теперь в этот класс Бальзака и, как ни странно, Диккенса, которого я, становясь старше, ценю все выше. Мне кажется, что он единственный из английских романистов способен встать в один ряд с названными именами.

Вопрос. Какие романисты, помещенные вами в высший класс, особенно вам нравятся?

Ответ. Иногда романисты меньшего масштаба нравятся мне больше, чем самые великие.

Я люблю Джордж Элиот, люблю Троллопа[117], Стендаля, Тургенева. Я невероятно высоко ставлю Лоуренса, хотя и не могу сказать, что люблю его.

Вопрос. Испытывали ли вы в ходе творчества какие-либо четко осознанные вами влияния? Мне удалось заметить, в частности, что Артур Майлз охотно обращается к Уэллсу. Являются ли причиной этого его научные интересы?

Ответ. Не думаю, чтобы влияние Уэллса серьезно отразилось на моих книгах, хотя некоторые следы этого есть в «Поисках». Мне кажется, что наибольшее влияние на меня оказали не английские, а русские романисты. По-разному я многому учился у Толстого, Тургенева, немного у Достоевского и даже у такого менее крупного русского писателя, как Лесков.

Вопрос. И все же вы пишете в сугубо английской традиции. Возможно, кое-что было вами воспринято извне без сознательного стремления

---

[117] Примечания: 1.117

Об Энтони Троллопе (1812–1882), ученике Теккерея, живописавшем английский быт второй половины прошлого века — писателе фактически забытом, хотя и занесенном во все истории литературы, — Сноу напоминал неоднократно. Этот романист, помимо прочих причин, привлекал Сноу, возможно, еще и потому, что и ему приходилось некогда сочетать в себе две профессии: он был писателем и служащим Главного почтового ведомства. Кроме того, он, как и Сноу, стремился передать в романах свой разносторонний опыт знания английской жизни — писал и политические, и бытовые романы.

к этому?

Ответ. Да, это вполне вероятно. Видите ли, по образованию я физик, и, хотя я всегда много читал, в начале своего творческого пути мои познания в английской литературе были незначительны. Только в сорок лет я по-настоящему прочел Диккенса, да, пожалуй, и вообще всех первостепенных английских писателей XIX столетия. Читая мои книги, нетрудно заметить, как я отзывался на различного рода воздействия. Но ни о каком сознательном следовании кому-либо из моих английских предшественников говорить не приходится.

Вопрос. Ваши книги, по-моему, являются не только выдающимися, но и чрезвычайно глубоко осознанными достижениями искусства. Кажется, что вы не только руководствовались весьма определенными идеями при отборе материала, но и добивались чего-то весьма определенного в области романа как жанра. Каковы ваши воззрения на технику художественного письма?

Ответ. Мне случалось высказывать их довольно часто, как вы, вероятно, знаете. Я начал писать в духе сознательного — это слово выбрано вами удачно — протеста против чисто формального романа, представленного, скажем, Джойсом и

Вирджинией Вулф. Мне казалось тогда, и я остаюсь при этом мнении по сию пору, что формализм такого толка несет мало смысла и не имеет будущего. Кроме того, я полагаю, что такого рода искусство не может быть серьезным, насколько я понимаю «серьезность». Как только вы изымаете человека из общественного окружения, вы тем самым не делаете его интересней, не делаете его значительней, напротив, он становится крайне обыденным. Вот почему литература формализма на протяжении 1914–1950 годов была связана не обязательной, но и не случайной зависимостью со всякого толка социальной реакцией. Для меня все это неприемлемо. Я не приемлю обыденности. Я не приемлю реакции. Я не приемлю искусства, из которого изъят интеллект. Со своей стороны я старался писать книги, в которых была бы показана личность, прежде всего личность. Я старался также обрисовать эту личность в ее общественных взаимоотношениях, старался безо всякого стыда апеллировать к разуму, ибо для нас в нем заключено самое существенное и интересное. В заключение хочу заметить, что именно такой роман имеет право на долгую жизнь и только в таком романе мы можем узнать себя и о себе.

Вопрос. Должен ли роман повествовать нам

исключительно о нас и о мире, в котором мы живем?

Ответ. Нет, я полагаю, что роман может затрагивать и другие существенные проблемы. Но мне трудно представить себе общество, в духовной жизни которого такой роман мог бы играть существенную роль. Я убежден, что во всяком обществе, заботящемся о своем состоянии, роман, о котором я говорил; должен явиться основной формой литературного искусства.

Вопрос. Какие современные английские романисты подают, по вашему мнению, значительные надежды на будущее?

Ответ. Мне трудно об этом судить. Возможно, что в таком обществе, как наше, романы вообще очень трудно писать. И наиболее обещающие таланты обращаются к иным жанрам.

Вопрос. В чем, по-вашему, состоит основная трудность для творчества романиста в нашем обществе?

Ответ. Всякий романист стремится быть как можно ближе к своему читателю, стремится узнать его как можно лучше. До известной степени в Англии дело обстоит проще, чем в Америке, поскольку у нас круг людей, читающих романы, более однороден. Но эта часть общества сама

по себе не играет решающей социальной роли, между тем как возникают и растут различные подвиды искусств и других форм массового воздействия, которые приобретают все большее значение. Нужен необычайно большой талант, чтобы к тебе прислушивались во всей этой шумной суете.

В опрос. Не значит ли это, что общество со времен войны изменилось настолько, что ни один из мало-мальски заметных молодых писателей еще не сумел постичь суть этих перемен?

Ответ. Возможно. Я бы сказал, что это оптимистический взгляд на сложившееся положение. Хотелось бы думать, что так оно и есть. Хотелось бы верить, что явится новый Бальзак, который сумеет управиться с современным ему обществом так же, как это некогда удавалось Бальзаку.

Вопрос. Я представляю себе вас человеком очень глубоких политических убеждений. Как эти убеждения отразились на вашем творчестве?

Ответ. Не совсем прямым путем. Своей основной задачей как писатель я считаю обязанность говорить обществу правду, говорить: «Вот каковы люди, вот материал, из которого они должны строить». Я не сомневаюсь, что общество, о котором я мечтаю, было бы построено, если бы у него

в руках оказался предлагаемый мной материал. Мне представляются, однако, всякие социальные проекты бессмысленными, если в них не учтена ограниченность и зыбкость возможностей общества, о котором вы пишете, если не учтены своекорыстные страсти, владеющие людьми, для которых вы пишете, страсти, от которых вы сами до конца не свободны. Что касается романов, то в них я дальше этого социальных целей не преследую. В то же время в своей недавней Ридовской лекции[118] я прямо изложил свои общественные воззрения. В идеале я хотел бы, чтобы мои романы читались с постоянным обращением, как к комментарию, к этой лекции.

Вопрос. Таким образом, ваши романы и Ридовская лекция скорее дополняют друг друга, чем повторяют?

Ответ. Вот именно. Я не принадлежу к такого сорта людям, которые в искусстве провозглашают одно, а в жизни поступают иначе. Но есть просто вещи, о которых трудно говорить на языке

---

[118] Примечания: 1.118

Так называемые «Ридовские лекции», или «чтения», были учреждены в Кембридже еще в XVI столетии крупным сановником и сохранили за собой его имя. Ридовская лекция читается с тех пор ежегодно каким-либо значительным деятелем науки или литературы на избранную им тему. Лекция Сноу называлась «Две культуры» (прочитана в 1959). Текст ее помещен в настоящем сборнике.

искусства, и, напротив, есть вещи, не подходящие для четкой политической программы.

Вопрос. Стало быть, вы были бы удручены, услышав, что цикл романов, посвященных Льюису Элиоту, воспринимается как «руководство к преуспеянию в Англии» или, скажем, «Наставники» как «пособие по методам управления»?

Ответ. Я не был бы удручен. Кстати, кажется, Лайонел Триллинг{418} назвал «Наставников» политической схемой. Но, если быть честным до конца, едва ли следует признать, что это целиком правильно. Проблема поражения интересует меня, пожалуй, в большей степени, чем проблема удачи. Всякий, кто знает мои романы так же хорошо, как вы, поймет, что моим героям жизнь давалась нелегко. Я имею в виду Джорджа Пэссанта, Калверта, Чарлза Марча и других.

Вопрос. Насколько я помню, в «Поре надежд» одна из девушек спрашивает Льюиса Элиота, чего он прежде всего добивается в жизни, и он отвечает: успеха. Затем — любви. Не могли бы вы

{418} Комментарии: 2.418

Триллинг, Лайонел (1905–1975) — американский литературовед, одно время «левый интеллигент»; затем в 40–50-х гг. выступил с критикой литературы социального протеста; проделал путь от умеренного либерализма к анархизму. В книге «По ту сторону культуры» (1965), объединившей его статьи разных лет, выразил согласие скорее с основным оппонентом Сноу по вопросу о «двух культурах» — английским литературоведом-неоконсерватором Ф. Р. Ливисом (1895–1978).

развить эти ответы?

Ответ. Совершенно очевидно, что через все романы, а лучше сказать, через всю их автобиографическую сторону проходит интерес к успеху и власти. Как-то я уже говорил, что, если, например, писатель издал ряд книг, в которых значительную роль играет баскетбол, его не станут спрашивать, почему в его книгах так часто идет речь о баскетболе. То же самое и со мной. Меня занимают проблемы успеха и власти не только как предметы для размышлений, но и как материал моего личного жизненного опыта. Но если, читая мои книги, обращать внимание только на эту сторону их содержания, их смысл не будет раскрыт так, как я того хотел. Автор очень часто оказывается плохим судьей исполнения своих собственных намерений. Но я убежден, что в судьбе Льюиса Элиота есть менее заметные черты, которые, однако, имеют куда большее значение. Надо, кроме того, учесть, что Элиот не просто преуспевающий человек, если принять во внимание его способности. Без ложной скромности могу сказать, что, если бы я в своей жизни прежде всего добивался власти, я прожил бы другую жизнь и занимал бы совсем иное место, чем теперь.

Вопрос. Не могли бы вы в заключение нашей беседы поделиться своими планами…

Ответ. Что ж, главное в моих планах на будущее — все время писать. Я уже говорил вам о том, как собираюсь закончить свой цикл романов. Затем я хотел бы написать роман совсем другого рода, совершенно от цикла независимый. Кроме того, я намерен высказаться по ряду политических проблем: обидно быть связанным с различными слоями общества в столь драматическое и революционное время, как наше, и не высказать своего мнения относительно того, что нам следует делать. Если я этого не сделаю, я буду считать, что не выполнил до конца своего долга перед современностью. Но главное — я больше всего хочу писать романы, — романы, которые в той или иной степени рисовались моему воображению, когда я работал над циклом.

Пер. Д. Урнова

Именной указатель

Адамс Ричард 312.
Александер Джордж 101–103.
Анакреонт (Анакреон) 33.
Андерсен Джон 192, 206.
Аникст А. А. 23, 292.
Анисимов И. И. 290.
Анита 33.
Асквит Герберт Генри 109.
Байрон Джордж Ноэл Гордон 313.
Балашов П. С. 291.
Бальзак Оноре де 25, 39, 46, 49, 61, 65, 71, 75, 89, 90, 104, 219, 236, 308, 314, 324, 326.
Бальфур Артур Джеймс 206.
Бальфур Фрэнсис Мейтлэнд 116.
Барроу Исаак 298.
Беннетт Арнолд 102, 110, 132.
Бергонци Бернард 120.
Бержерак Сирано, де 33.
Бернал Джон Десмонд 167, 184–194, 202, 308.
Бернанос Жорж 292.
Бивербрук Уильям Максуэлл 254.
Биднелл Мария 63, 65, 67, 74, 77.

Блэкетт Патрик Мейнард Стюарт 157, 164, 189, 239, 243–250, 256, 258, 269.
Боккаччо Джованни 33.
Болдуин Стенли 242, 245, 246.
Бор Нильс Хенрик Давид 104, 138, 147, 148, 150, 151, 154, 165, 167, 168, 239, 275, 286, 300.
Борн Макс 143, 150, 275.
Браунинг Роберт 92, 94, 313.
Брод Макс 126.
Бронте Шарлотта 50.
Брэгг Уильям Генри 187.
Брэгг Уильям Лоренс 195.
Булвер-Литтон Эдуард Джордж 79.
Бурже Поль Шарль Жозеф 84, 89, 106.
Буш Ванневар 267, 269.
Бэкон Роджер 121.
Бэкон Фрэнсис 176.
Бэрроу Исаак 298, 299.
Валлентайн Антония 144, 148.
Веллингтон Артур Уэлсли 157.
Верлен Поль 128.
Вероккьо 291.
Витгенштейн Людвиг 189.
Вольтер 33.
Воннегут Курт 312.
Ву Хьенсюн 285.

Вулф Вирджиния 292, 325.
Ган Отто 165.
Галуа Эварист 179.
Гарднер Изабелла 92.
Гаусс Карл Фридрих 177.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих 146.
Гейгер Ханс 165.
Гейзенберг Вернер 143, 150, 238.
Гёте Иоганн Вольфганг 126, 134.
Гитлер Адольф 149, 250, 252, 256, 267, 295.
Годкин Эрвин Лоуренс 89.
Голдберг Руб 249.
Голсуорси Джон 310.
Гольдбах Христиан 135.
Гопкинс Гарри Ллойд 241.
Гопкинсон Бертран 240.
Горький А. М. 114, 165, 292, 293.
Грейвз Роберт Рэнке 137.
Грин Грэм 170, 282, 292.
Грин Роберт 197.
Гроссман Марсель 143.
Гувер Герберт Кларк 133.
Гурмон Реми де 33.
Гэрри Стефен 21.
Гюго Виктор Мари 71, 75.
Данте Алигьери 149.

Дарвин Чарлз Роберт 116, 282, 310.
Дарвин Чарлз Галтон 161.
Джеймс Генри-старший 85, 86, 87.
Джеймс Генри 38, 42, 43,45–50, 61, 82–109, 118, 170, 184, 282.
Джеймс Уильям 85–89, 95.
Джойс Джеймс 57, 58, 186, 325.
Джонсон Памела Хэнсфорд 269.
Джонсон Сэмюэл 159.
Джонсон Эдгар 62.
Ди Филип 158.
Диккенс Джон 62, 63.
Диккенс Чарльз 22, 23, 38,41, 50, 54, 61–82, 84, 90, 93, 104, 105, 113, 114, 117–119, 202, 308, 311, 324, 325.
Дирак Поль Адриен Морис 140, 150, 168, 189, 197, 239, 259.
Доде Альфонс 86.
Донн Джон 186.
Достоевский Ф. М. 22, 30, 48, 56, 57, 58, 67, 68, 71, 75, 78, 84, 90, 92, 95, 104, 105, 154, 311, 324, 325.
Еврипид 33.
Закревская-Будберг М. И. 111.
Зеелиг Карл 150.
Золя Эмиль 46.
Зоммерфельд Арнольд 146, 147.

Ибсен Генрик 105, 211, 309, 323.
Инфельд Леопольд 151, 152, 154, 171.
Йитс (Йетс, Ейтс) Уильям Батлер 129, 199, 200.
Кант Иммануил 146.
Капица П. Л. 157, 159, 165, 166, 167, 177, 189, 216, 239, 286.
Кардано Джероламо 281.
Кафка Франц 126, 136, 146, 266.
Кейзин Альфред 238.
Кейнс Джон Мейнард 189, 292.
Кеннеди Джон Фицджеральд 137, 174.
Кид Томас 197.
Киллиан Джеймс 260.
Киплинг Джозеф Редьярд 112.
Кистяковский Джордж Б. 260.
Китс Джон 117.
Кокрофт Джон Дуглас 157, 161, 167, 189, 216, 225, 239, 251, 255.
Коллинз Уильям 77.
Коменский Ян Амос 121.
Коперник Николай 145.
Корнель Пьер 313.
Ксавье Фрэнсис 226.
Лакло Пьер Шодерло де 33.
Ландау Л. Д. 167.
Ланжевен Поль 152, 300, 301.

Лауэ Макс фон 145.
Ленин В. И. 114, 180, 264.
Леонардо да Винчи 291.
Лесков Н С. 293, 325.
Ли Цзундао 205, 285.
Линдеман Фредерик Александр 153, 233–259, 262, 263–270, 272, 273.
Литлвуд Джон Идензор 135, 169, 170, 172,175, 176, 177, 179, 180, 189, 208, 209, 301.
Ллойд Джордж Дэвид 114, 125, 138, 169, 180.
Лоренс (Лоуренс) Дейвид Герберт 27, 29, 30,55, 113, 211, 324.
Лоуренс Эрнест Орландо 300.
Лоуэлл Джеймс Рассел 89, 90, 93.
Льюис Джордж Генри 71, 81.
Льюис Перси Уиндхем 199.
Лэнг Космо Гордон 162.
Макиавелли Никколо ди Бернардо 121.
Маккарти Десмонд 292.
Маккензи Комптон 101.
Макмиллан Гарольд 40, 174.
Максвелл Джеймс Клерк 143, 157.
Мантенья Андреа 291.
Марич Милева 144, 146.
Маунтбеттен Луи 186, 192, 193.
Мелеагр 33.

Минковский Герман 142.
Монд Людвиг 211.
Мопассан Ги де 91, 99.
Мориак Франсуа 292.
Моррис Уильям 211.
Мур Джордж Эдуард 110.
Муссолини Бенито 87.
Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 55, 109.
Нернст Вальтер 145, 233, 237.
Нильс Хенрик Абель 179.
Нортон Чарлз Элиот 89, 90, 93.
Ньютон Исаак 45, 139, 147, 149, 173, 180, 298.
Олдингтон Ричард 24–37.
Олифант Марк Лоуренс 160, 165, 251, 256, 286.
Оруэлл Джордж 202.
Остин Джейн 48, 49, 67, 83, 136, 212.
Павлов И. П. 117.
Паули Вольфганг 143.
Паунд Эзра Лумис 35, 131, 199, 200.
Перес Гальдос Бенито 48, 56, 89, 107.
Пикассо Пабло 186.
Планк Макс 145, 149.
Пруст Марсель 33, 48, 49, 56, 57, 58, 69, 89, 91, 92, 94, 98, 104, 125, 241, 314, 324.
Пушкин А. С. 20, 124.
Пьеро делла Франческа 291.

Раби Изидор Айзек 261.
Рамануджан Шринваза 169, 170, 175, 177–179, 302.
Расин Жан 313.
Рассел Бертран 164, 179, 180, 208, 292.
Резерфорд Эрнест 109, 131, 138, 140–142, 147, 148, 157–167, 169, 170, 186, 189, 197, 198, 216, 231, 232, 237, 239, 275, 282, 286, 287, 300, 301.
Рембо Артюр 36.
Рембрандт Харменс ван Рейн 149.
Рескин (Раскин) Джон 211.
Рид Джон 313.
Рикардо Давид 282.
Рильке Райнер Мария 202.
Риман Бернхард 147, 179.
Роллан Ромен 146.
Рузвельт Франклин Делано 139, 154, 155, 241, 267, 270.
Сведенборг Эмануэль 86.
Сезанн Поль 186.
Сеймур Роберт 65, 66.
Сименон Жорж 49.
Скотт Вальтер 81, 299, 300.
Скрибнер Чарлз 107.
Смит А. 196, 197.
Спиноза Бенедикт 140, 141.

Сталин И. В. 166, 191.
Стендаль 48, 56, 61, 63, 71, 75, 99, 324.
Стивен Лесли 94.
Суинберн Алджернон Чарлз 313.
Сцилард (Силард) Лео 155.
Талейран (Талейран-Перигор) Шарль Морис 285.
Твардовский А. Т. 124.
Тейлор Генри 37.
Тейлор Джефри Инграм 161.
Теллер Эдвард 155.
Теккерей Уильям Мейкпис 38, 71.
Теннисон Альфред 94, 313.
Тернан Эллен Лоулесс 75–81, 119.
Тизард Генри 159, 164, 230–260, 262, 263, 265–270, 272–274.
Толкиен Джон Роналд Руэл 312.
Толстой Л. Н. 18–20, 22, 23, 30, 38, 39, 45, 48, 49, 54–57, 71, 75, 78, 89, 90, 92, 104, 118, 124, 144, 154, 230, 293, 300, 308, 323–326.
Томсон Джозеф Джон 157.
Торо Генри Дейвид 129, 130, 211.
Триллинг Лайонел 327.
Троллоп Том 73.
Троллоп Энтони 37–61, 67, 71, 73, 75, 84, 92, 95, 185, 324.

Трумэн Гарри 278.
Тургенев И. С. 23, 71, 84, 92, 293, 300, 324, 325.
Уайльд Оскар 102.
Уилсон Эдмунд 64.
Уильямс Роджер 258.
Уинтерс Айвор 129.
Унтермсйер Луис 125, 126, 130, 137.
Уортон Эдит 84, 87, 89, 106, 107, 108.
Уотсон Уотт 244, 253.
Уэллс Герберт Джордж 63, 84, 89, 102, 104, 109–123, 131, 132, 134, 138, 140, 172, 292, 325.
Фарадей Майкл 148, 161, 187.
Фаррелл Джеймс Томас 312.
Фаулер Ральф 161.
Фаулз Джон 312.
Ферли Джоффри 62.
Ферми Энрико 155.
Филд Джозеф 41.
Филдинг Генри 30.
Фихте Иоганн Готлиб 146.
Флобер Гюстав 92.
Форстер Эдуард Морган 136, 292.
Франк Джеймс 150, 278, 286, 300.
Фрост Роберт 123–137.
Фуллертон Мортон 91, 108.
Хаксли Джулиан Сорелл 123.

Хаксли (Гекели) Томас Генри 94, 116.
Харди Годфри Гарольд (Харолд) 110, 115, 125, 133, 135, 137, 138, 140–142, 148, 152, 156, 160, 164, 168–184, 185, 186, 189, 197, 208, 209, 239, 282, 285, 301, 302.
Харди (Гарди) Томас 71, 75, 13.
4 Хатчинсон Артур 187, 188.
Хаусмен (Хаусман) Альфред Эдуард 110, 129, 189.
Хемингуэй Эрнест Миллер 136.
Хевеши Дьердь 165.
Хенли Уильям Эрнест 34.
Хилл Арчибалд Вивиен 243, 244, 247–251.
Хилл Сьюзн 312.
Хогарт Кейт 65, 74, 76, 81.
Холдейн Джон Бердон Сандерсон 188.
Хопкинс (Гопкинс) Фредерик Гоуленд 189.
Хоторн (Готорн) Натаниел 41.
Хоуэлс Уильям Дин 89.
Хэнки Морис П. 123, 245, 246, 251, 265.
Чедвик Джеймс 157, 166,188, 239.
Чемберлен Остин 243.
Черчилль Уинстон Леонард (Спенсер) 112, 118, 138, 140, 141, 153, 174, 233, 241, 242, 244, 246, 249–252, 255, 260, 261, 263, 267–276.
Чехов А. П. 293, 309.
Чуковский К. И. 23.

Швейцер Альберт 226.
Шекспир Уильям 62, 68, 103, 134, 149, 176, 198, 204, 291, 313.
Шелли Перси Биш 313.
Ширер Уильям 288.
Шолохов М. А. 21–24, 299.
Шоу Джордж Бернард 102, 103, 114, 117, 120, 292.
Щербина В. Р. 291.
Эддингтон Артур Стенли 188, 197.
Эдриан Эдгар Дуглас 197.
Эйзенхауэр Дуайт Дейвид 174.
Эйлер Леонард 177.
Эйнштейн Альберт 45, 125, 135, 137–156, 165, 168–175, 179, 259, 287, 300.
Эккерман Иоганн Петер 126.
Элиот Джордж 38, 48, 50, 70, 71, 81, 94, 324.
Элиот Томас Стернз 106, 126, 128, 133, 134, 157, 197, 312.
Эмерсон Ралф Уолдо 87, 211.
Эплтон Эдуард Виктор 250.
Эшби Эрик 210.
Янг (Ян Джэньнин) 205, 285.